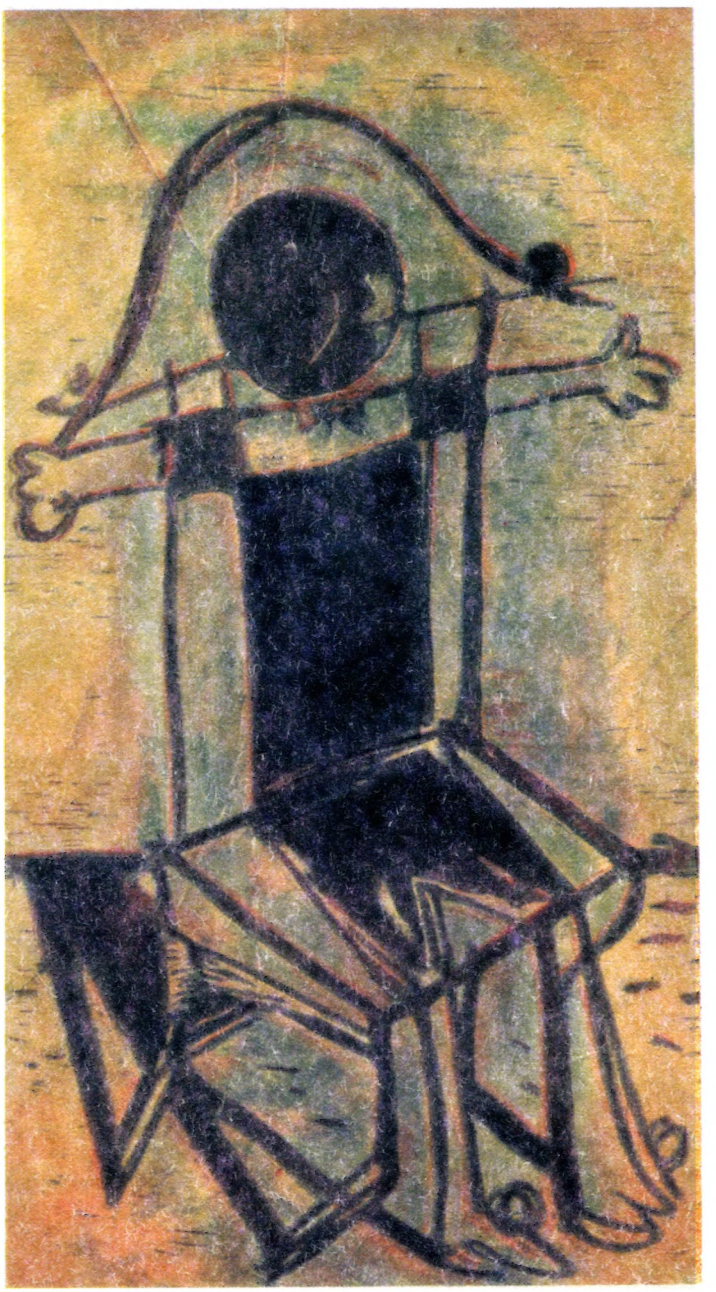
ISSN 0130-6545

12.1994

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

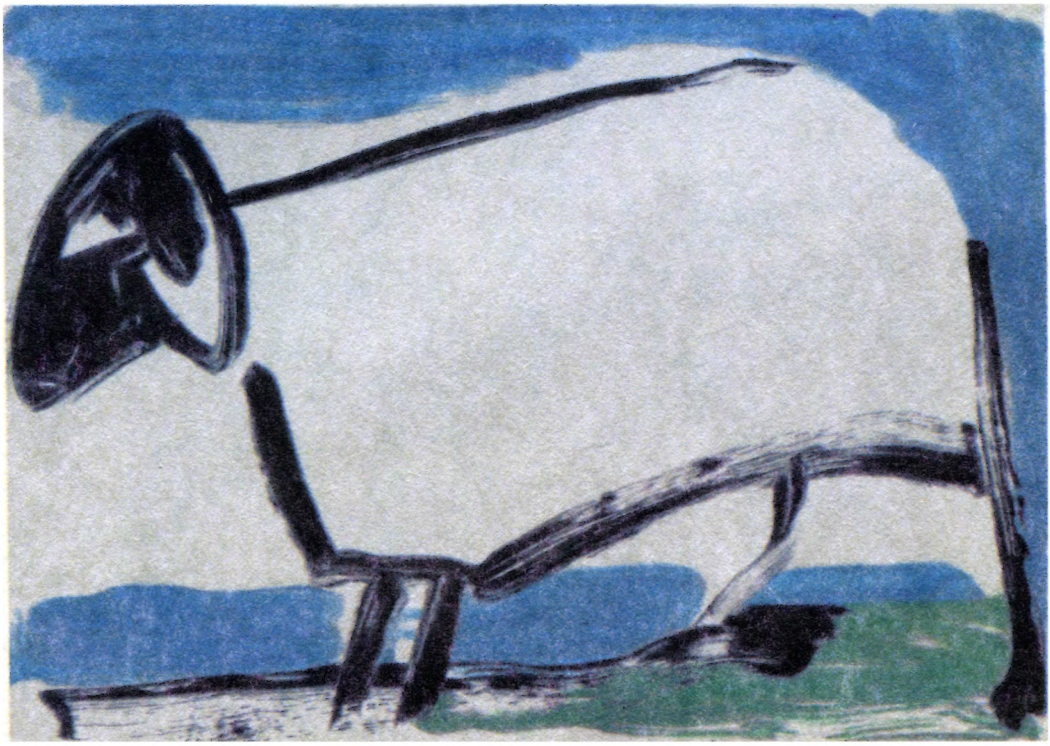


В номере:

ТОНИ МОРРИСОН
Возлюбленная

ДОМ ПОЭЗИИ

РОМЕН ГАРИ
Ночь будет спокойной



ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

МОСКВА

1994 год, год стремительного роста цен на почтовые услуги, бумагу и типографские работы, был для нас, сотрудников периодических изданий, очень трудным. И если все двенадцать номеров «Иностранной литературы» вышли, и вышли в срок, то этим в немалой степени мы обязаны организациям, приходившим нам на помощь в самые критические моменты. От лица всех наших читателей выражаем глубокую признательность

Комитету Российской Федерации по печати
Фонду «Initiative Interlitfonds e. V.»
ЮНЕСКО
Министерству иностранных дел Франции
Акционерному банку конверсии
Немецкому культурному центру им. Гёте
Немецкому книжному центру
Итальянскому Институту культуры в Москве

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР — КОНВЕРСБАНК А. О.
(АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК КОНВЕРСИИ)**

Главный редактор

А. Н. СЛОВЕСНЫЙ

Редакционная коллегия:

Л. Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
Н. Я. КАЗАРЦЕВА — заведующая отделом критики и публицистики
Г. Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

О. Г. БАСИНСКАЯ — и. о. ответственного секретаря

Общественный редакционный совет:

С. С. АВЕРИНЦЕВ, В. П. АКСЕНОВ, С. К. АПТ, П. Л. ВАЙЛЬ,
Е. Ю. ГЕНИЕВА, А. А. ГЕНИС, В. П. ГОЛЫШЕВ, Т. П. ГРИГОРЬЕВА,
А. Н. ЕРМОНСКИЙ, В. В. ЕРОФЕЕВ, А. М. ЗВЕРЕВ, Вяч. Вс. ИВАНОВ,
В. Б. ИОРДАНСКИЙ, Т. П. КАРПОВА, Л. З. КОПЕЛЕВ, А. С. МУЛЯРЧИК,
Д. Б. РЮРИКОВ, М. Л. САЛГАНИК, Е. М. СОЛОНОВИЧ, Н. Л. ТРАУБЕРГ,
М. А. ФЕДОТОВ, Б. Н. ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — председатель Совета
ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия), ЭРВЕ БАЗЕН (Франция),
КРИСТА ВОЛЬФ (Германия), ТОНИНО ГУЭРРА (Италия),
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания), ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа),
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (Германия), АРТУР МИЛЛЕР (США),
АНАНТА МУРТИ (Индия), КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония),
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария),
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения),
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба),
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал), УМБЕРТО ЭКО (Италия)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ — ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

12 декабрь 1994

СОДЕРЖАНИЕ

ТОНИ МОРРИСОН — Возлюбленная *(Роман. Перевод с английского И. Тогоевой)* 5

Дом Поэзии — ЖАК ШАРПАНТРО, ЖАН-ЛЮК МОРО, ЖАН ЛЕСТАВЕЛЬ, РОБЕР УДЛО, ЛЮК ДЕКОН *(Стихи. Перевод с французского. Вступление И. Кузнецовой)* 181

ДИНО БУЦЦАТИ — Рассказы *(Перевод с итальянского Г. Киселева и М. Аннинской)* 194

ДЖОН КОЛЬЕР — Если бы молодость знала, если бы старость могла... *(Рассказ. Перевод с английского А. Ливерганта)* 204

Документальная проза

РОМЕН ГАРИ — Ночь будет спокойной *(Фрагменты книги. Перевод с французского Н. Паниной)* 212

Публицистика

Л. МЯСНИКОВ — Contra criticos linguaruam ortificiosarum, aut docet autem Utopia 234

К нашим иллюстрациям

О. ХЛЕБНИКОВА — «...я подобен ливню...» 245

У книжной витрины 248

Содержание журнала за 1994 г. 251

Авторы этого номера 254

© Иностранная литература, 1994

В следующем номере «ИЛ»

Новый год мы открываем специальным номером «КОНЕЦ ВЕКА, КОНЕЦ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ», посвященным теме, о которой, по мере приближения 2000 года, в мире говорят все больше и больше. Год с тремя нулями — это и напоминание об Апокалипсисе, и подведение итогов, и новая точка отсчета.

В январском номере:

Остроумный, изящный, увлекательный роман МАЛЬКОЛЬМА БРЭДБЕРИ **«Профессор Криминале»**, своеобразная панорама политической и литературной жизни конца века. Это блестящий образец нового европейского романа, герой которого — хамелеон, прагматик, философ, обуреваемый земными страстями,— предстает архетипом человека 90-х годов.

В поэтическом разделе под общим названием **«Антиэлегии»** — стихотворения ЛУИСА СЕРНУДЫ, ОКТАВИО ПАСА и ЧЕСЛАВА МИЛОША, объединенные темой «перелома времен».

Увиденный глазами собратьев по перу коллективный портрет ХОРХЕ ЛУИСА БОРХЕСА, писателя, который определил судьбы западной литературы XX века,— в новой рубрике «Портрет в зеркалах».

Цветные иллюстрации номера — работы немецких неоэкспрессионистов:

На 1-й стр. обложки — МАРКУС ЛЮПЕРЦ «Арлекин» (1982/83)
На 2-й стр. обложки — КАРЛ ХОРСТ ХЁДИКЕ «Ирландская овца» (1982)
На 3-й стр. обложки — ЙОРГ ИММЕНДОРФФ «Patriot FF»,
фрагмент из «Кафе Германия» (1983)

По вопросам, связанным с доставкой нашего журнала, обращаться в Агентство по распространению печати издательства «Известия» по адресу: 103791, ГСП, Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

В Москве журнал можно приобрести в редакции, в Доме книги на Новом Арбате и в киоске Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы.

Художественный редактор **С. И. Мартемьянова**
Технический редактор **С. В. Бейлезон**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41. Телефон 233-51-47, факс 233-50-61.
Сдано в набор 16.09.94. Подписано в печать 11.11.94. Формат 70x108 1/16. Печать офсетная.
Бумага газетная. Усл. печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,8. Уч.-изд. л. 26,35. Заказ № 130.

Тираж 33 800 экз. Цена по подписке: 1700 р.

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий». 103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

ТОНИ МОРРИСОН

Возлюбленная

РОМАН

Перевод с английского И. ТОГОЕВОЙ

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ 1993 г.

Их было более
шестидесяти миллионов

...не Мой народ назову
Моим народом и не
возлюбленную — возлюбленной...

Послание к Римлянам; 9, 25

Часть первая

Неладно было в доме номер 124. Хозяйничало там зловредное маленькое привидение, дух ребенка. Женщины и дети, жившие в доме, отлично знали это. И долгое время, каждый по-своему, как-то мирились с тем, что отравляло им жизнь, но к 1873 году Сэти и ее дочь Денвер остались его последними жертвами. Бэби Сагз, свекровь Сэти и бабушка Денвер, умерла, а мальчики, Ховард и Баглер, давно уже сбежали из дома — им тогда еще и тринадцати не было. Баглера доконало зеркало, вдруг разлетевшееся вдребезги, когда он захотел посмотреться в него; а Ховард сломался, когда увидел на только что испеченном пироге отпечатки двух крошечных ладошек. Ни тому, ни другому больше намеков не потребовалось: ни перевернутых горшков с только что сваренным горохом, дымящейся грудой вываленным на пол; ни появления у порога крошек печенья, которые сами собой собираются в аккуратные кучки. Не стали они ждать и затишья — порой неделями или даже целыми месяцами в доме было спокойно. Нет. Оба сбежали — стоило дому совершить против каждого из них то, чего уже нельзя было вытерпеть дважды. Сбежали через два месяца, прямо среди зимы, оставив свою бабку Бэби Сагз, свою мать Сэти и свою маленькую сестренку Денвер в серо-белом доме на Блустоун-роуд совершенно одних. Тогда у этого дома еще и номера-то не было, потому что Цинциннати сюда дотянуться не успел. В сущности, и Огайо всего каких-то семьдесят лет как стал называться штатом. И вот сперва один брат, а потом и второй сунули в шляпы узелки с нехитрым имуществом, подхватили башмаки и удрали из того дома, который так живо проявлял по отношению к ним свою неприязнь.

Бэби Сагз даже и головы не подняла. Лежа в постели, больная, она слышала, конечно, как внуки уходят, но вовсе не потому не проронила ни звука. Странно, думала она, как долго они не могли понять, что другого такого дома, как их, на Блустоун-роуд, и в помине нет! Она ощущала себя как бы между «паскудством жизни», как она это называла, и мстительной злобностью мертвых; ей было все равно, жить ли дальше или покинуть мир живых; и ее весьма мало волновало бегство из дому двух перепуганных мальчишек. Ее прошлое, как и настоящее, было непереносимо; а поскольку она знала, что смерть дает все что угодно, только не забвение, то использовала немногие оставшиеся силы, размышляя о цветах радуги.

© Toni Morrison, 1987

— Принеси что-нибудь сиреневое, если найдется. Или хоть розовое...

И Сэти непременно старалась угодить ей — приносила лоскуты сиреневого и розового цвета и даже показывала собственный язык. Зимы в Огайо особенно неприветливы, если хочется многоцветья. В небесах — один и тот же спектакль в серых тонах, а уж сам вид города Цинциннати и вовсе не способен пробудить радость. Так что Сэти с Денвер старались сделать для Бэби Сагз все что могли и что позволял им дом. Вместе они вели борьбу, довольно вялую впрочем, с возмутительным поведением этого странного места; с перевернутыми помойными ведрами, со шлепками по заднице, с невесть откуда взявшимися отвратительными запахами. Потому что истоки этой злобы были им известны так же хорошо, как и истоки света.

Бэби Сагз умерла вскоре после того, как сбежали братья, так и не проявив ни малейшего интереса ни к их бегству, ни к собственному уходу из жизни; и сразу после этого Сэти и Денвер решили прекратить свои мучения и вызвать привидение на поединок. Или хотя бы на переговоры. И вот, взявшись за руки, мать и дочь громко крикнули:

— А ну выходи! Выходи сейчас же, а то хуже будет!

Буфет чуть отодвинулся от стены, но остальное осталось на своих местах.

— Должно быть, это бабушка Бэби мешает,— сказала Денвер. Ей было десять, и она никак не могла простить Бэби Сагз того, что та умерла.

Сэти открыла глаза.

— Вряд ли,— возразила она дочери.

— Тогда чего же оно не выходит?

— Ты забываешь, какое оно маленькое,— напомнила Сэти.— Малышке ведь и двух лет не исполнилось, когда она умерла. Слишком мала была, чтобы что-то понимать. И почти еще ничего не говорила.

— Зато теперь она наверняка не желает ничего понимать! — сказала Денвер.

— Может быть. Но если б она захотела выйти к нам, так я бы уж непременно все ей разобъяснила.— Сэти выпустила руку дочери, и они вместе придвинули буфет обратно к стене. За окном возница огрел лошадь кнутом, пуская ее в галоп,— все стремились поскорее миновать дом номер 124.

— Ты все говоришь «маленькая», а на колдовство у нее небось сил хватает, нечего сказать! — сердито заметила Денвер.

— У меня тоже тогда сил хватило с избытком на любовь к ней,— откликнулась Сэти, снова все вспомнив. Желанная прохлада, кругом заготовки для надгробий, и тот выбранный ею камень, к которому она прислонилась, широко расставив ноги, и могильный холод внутри... Камень был нежно-розовый, точно ногти младенца, и посверкивал блестками кварца. Десять минут, сказал он. Десять минут, и я сделаю это бесплатно.

Десять минут за двенадцать букв. А если еще десять, могла бы она попросить его прибавить «дочери моей»? Она тогда не решилась спросить и до сих пор мучилась сознанием того, что это было вполне возможно — что за двадцать минут или, скажем, за полчаса она могла бы расплатиться за все те слова, что священник произнес на похоронах (да только это, собственно, и можно было сказать), и резчик вырезал бы их на том камне, который она выбрала в качестве надгробия: Возлюбленной дочери моей. Но она уплатила — так уж договорилась — всего лишь за одно слово, самое главное. Она думала, этого достаточно, отдаваясь резчику среди каменных глыб, а его молодой сын следил за нею, и на лице его было написано затаенное вожделение и застарелая злость. Да, этого слова конечно же, было достаточно. Достаточно, чтобы ответить еще одному священнику, еще одному аболиционисту и целому городу, исполненному отвращения к ней.

Рассчитывая обрести душевный покой, она совсем позабыла о другой душе: душе ее малышки дочери. Кто бы мог подумать, что в такой крохе может таиться столько злобы? Нет, отдаться среди будущих надгробий резчику под злобно-голодными взглядами его сына было мало. И она

должна была еще прожить долгие годы в доме, находящемся в полной власти духа, духа ребенка, которому перерезали горло и который ей этого не простил; и все же те десять минут, когда она стояла, широко расставив ноги и прижавшись спиной к камню цвета зари, сверкавшему яркими блестками, показались ей длиннее целой жизни; они были точно наполнены живой кровью, еще более горячей, чем та, что лилась из раны на шее ее девочки, все руки у нее были в этой крови, густой, как масло, и липкой.

— Можно переехать в другой дом,— предложила она как-то своей свекрови.

— А зачем? — спросила Бэби Сагз.— Нет в этой стране такого дома, который не был бы битком набит духами несчастных, забитых негров. Нам еще повезло, что наше привидение — ребенок. А что, если бы сюда явился дух моего мужа? Или твоего? Нечего и говорить о переезде. Ты судьбу не гневи: ты счастливая, у тебя ведь еще трое. Трое цепляются за твою юбку, а четвертая безобразница шлет приветы с того света. Вот и будь за это благодарна! У меня их было восемь. И ни одного не осталось. Четверых продали, еще четверых как не бывало, и духи их, наверно, в чьем-нибудь доме тоже творят зло.— Бэби Сагз провела ладонью над глазами.— Моя первая девочка... Я только и помню, что она подгоревшую хлебную корочку любила. Это тебе как? Восемь детей родила — и помню только это.

— Позволяешь себе помнить,— возразила тогда Сэти, хотя прекрасно понимала, как это бывает; у нее теперь тоже остался только один ребенок: мальчиков прогнал из дому дух мертвой малышки. И она уже плоховато помнила Баглера. У Ховарда, по крайней мере, голова была такой формы, что захочешь — не забудешь. А вообще она немало сил потратила, чтобы помнить об этом как можно меньше — чем меньше, тем спокойнее. Вот только мысли не всегда подчинялись ей. Бежит она, скажем, по полю, мечтая об одном — поскорее добраться до колонки и смыть зеленый травяной сок и лепестки ромашек с исхлестанных травой ног. И ни о чем таком не думает. Картина забавлявшихся с ней тогда в амбаре мужчин стала теперь столь же безжизненна, как и ее спина, где нервные окончания утратили чувствительность, а плоть стала похожа на стиральную доску. И даже слабого запаха тех чернил, или дубовой коры, или вишневой смолки, из которых они делаются, она теперь не ощущает. Вообще ничего. Чувствует только, как ветерок овевает лицо, пока она спешит к воде и смывает лепестки ромашек и семена трав, смывает тщательно, думая только об этом — сама виновата: решила сдуру сократить путь на полмили, а не подумала, как высоки уже травы, и теперь ноги до колен невыносимо чешутся и зудят. И вдруг что-то случается. Плеск воды; башмаки и чулки, брошенные как попало у тропинки; пес Мальчик лакает из лужи у ее ног — и вдруг откуда ни возьмись появляется Милый Дом, надвигается, катится прямо на нее, и вся усадьба раскидывается перед нею во всей своей бесстыдной красоте, хотя каждый листочек там способен заставить ее взвыть во весь голос. С виду усадьба никогда не казалась такой ужасной, какой была на самом деле, и Сэти удивлялась: неужели и ад — тоже место красивое? Ну, там, разумеется, адское пламя, и серой пахнет, и все такое прочее, но только все это спрятано за кружевными стенами пещер. И на ветвях самых прекрасных сикомор в мире — повешенные. Ей стало стыдно: вспомнила удивительной красоты печальные деревья прежде тех парней. И сколько она ни старалась, но сикоморы каждый раз вспоминались ей прежде парней, и она никак не могла простить за это собственную память.

Смыв последний лепесток ромашки, Сэти двинулась дальше, к дому, по дороге подобрав свои чулки и башмаки. И словно для того, чтобы еще сильнее наказать себя за эти воспоминания, сразу заметила, что на крыльце, не более чем в двадцати шагах от нее, сидит Поль Ди, последний из живших когда-то в усадьбе Милый Дом мужчин. И хотя Сэти никогда бы не спутала его лицо ни с одним другим, она все-таки спросила:

— Это ты?

— Вернее, то, что от меня осталось.— Он встал и улыбнулся ей.— Ну как ты, детка? Вижу, вижу, что босиком идешь.

И когда она вдруг рассмеялась, смех полился свободно и молодо.

— Да мне все ноги травой на лугу исхлестало. Да еще ромашка налипла.

Он сморщился так, словно проглотил полную ложку чего-то горького.

— И не говори! Ужасно, когда эта ромашка к голым ногам липнет!

Сэти смутилась. Скомкала чулки и сунула их в карман.

— Ну что ж, заходи в дом.

— Хорошо у тебя тут на крыльце, Сэти. Прохладно.— Он снова сел, глядя куда-то за дорогу, на луг — боялся, что глаза выдадут проснувшееся вдруг желание.

— Восемнадцать лет,— проговорила она тихо.

— Восемнадцать,— откликнулся он.— И готов поклясться: все восемнадцать лет я куда-то шел. Можно и мне тоже? — Он кивком показал на ее босые ноги и принялся расшнуровывать ботинки.

— Хочешь ноги вымыть? Давай-ка я тебе тазик с водой принесу.— Теперь она была от него совсем близко.

— Да нет, чего там. Не впервой. Этим ногам еще топать и топать.

— Не можешь же ты уйти прямо сейчас, Поль Ди! Погости хоть немного.

— Ну, по крайней мере, Бэби Сагз-то я повидать должен. Где она, кстати?

— Умерла.

— О Господи, нет! Когда?

— Да теперь уж восемь лет. Почти девять.

— Тяжело умирала? Хоть бы не тяжело!

Сэти покачала головой.

— Легко. Отошла — словно пенку с молока сдули. Жить ей было куда тяжелее. Жалко, что ты ее не застал. Ты что ж, за этим сюда пришел?

— В том числе и за этим. Но главное — на тебя посмотреть. А если начистоту, то сейчас я готов пойти куда угодно. Куда угодно — лишь бы дали пожить спокойно.

— А ты хорошо выглядишь, Поль Ди.

— Черти напутали: я особенно хорошо выгляжу... когда внутри у меня что-то не то.— Он выразительно посмотрел на нее, и последние слова прозвучали двусмысленно.

Сэти улыбнулась. Вот так они всегда — когда-то давно все они так вели себя. Все мужчины Милого Дома до Халле и после того, как она вышла за него замуж, обращались с ней чуть-чуть насмешливо, по-братски, капельку заигрывая, подтрунивая — не сразу и догадаешься, что за этим стоит.

Поль Ди казался в точности таким, как и тогда, в Кентукки, если не считать копны отросших волос да какого-то ожидания в глазах. Блестящая, как сланец, черная кожа; спина прямая. Для человека с таким, в общем-то, неподвижным лицом удивительной была его мгновенная готовность улыбнуться, разгневаться, огорчиться с тобой вместе. Словно всего-то и требовалось — привлечь к себе его внимание, и в нем мгновенно возникали те же чувства, что и в тебе. Глазом не успеешь моргнуть, а лицо у него уже совсем другое — словно свои эмоции он хранил очень близко, сразу под кожей.

— Мне ведь не нужно и спрашивать о нем, да? Ведь ты бы сказал мне, если б что-нибудь знал, верно? — Сэти посмотрела на свои босые ноги, и снова перед ней возникли те сикоморы.

— Сказал бы. Конечно сказал бы. Но я и теперь знаю не больше, чем тогда.— Если не считать маслобойки, подумал он, но тебе-то об этом знать вовсе не нужно.— А ты разве надеешься, что он еще жив?

— Нет. Мне кажется, он умер. И моя вера не помогла б ему выжить.

— А как считала Бэби Сагз?

— Точно так же, да только если ее послушать, так все ее дети непременно умерли. Говорила, что в точности знала тот день и час, когда каждый из них умирал.

— А когда, по ее словам, умер Халле?

— В тысяча восемьсот пятьдесят пятом. В тот самый день, когда у меня дочка родилась.

— Так ты все-таки родила! Вот уж не думал, что ты с этим справишься! — Он усмехнулся.— Ведь на сносях удрала!

— Пришлось. Ждать-то больше нельзя было.— Она, потупившись, тоже вдруг подумала: а до чего же странно все-таки, что она тогда справилась. Но если б не та девочка, что хотела бархат купить, ничего бы у нее не вышло.

— Неужели все сама, одна? — В голосе его слышались и гордость за нее, и обида. Молодец, а все ж таки ему было обидно, что ей не понадобилась ничья помощь, ни Халле, ни его самого.

— Почти что сама. Да нет, мне одна белая девушка помогла.

— Ну так, благослови ее Господь, она и себе помогла.

— Если хочешь, оставайся ночевать, Поль Ди.

— Как-то ты не слишком уверенно это предлагаешь.

Сэти глянула поверх его плеча на закрытую дверь.

— Да нет, что ты! Я от всего сердца, вот только ты уж прости — у нас тут не прибрано. Входи, входи. Поговори с Денвер, пока я поесть приготовлю.

Поль Ди связал шнурки ботинок, перекинул их через плечо и прошел следом за Сэти в дом, тут же попав прямо в пятно красного пульсирующего света, словно замкнувшееся вокруг него.

— У вас тут, я вижу, гости? — прошептал он, остановившись и нахмурившись.

— Случается,— откликнулась Сэти.

— Господи ты Боже мой! — Поль Ди попятился к двери.— Неужто злые духи завелись?

— Нет, этот дух не злой. Скорее грустный. Да входи же. Шагай смелее.

Он внимательно посмотрел на нее. Куда внимательнее, чем в первый раз, когда она вышла из-за дома с голыми, мокрыми, блестящими ногами, неся туфли и чулки в руке, а другой рукой приподняв юбку. Девчонка Халле — та самая, с суровым взглядом и таким твердым характером, какой еще поискать. В Кентукки он никогда не видел ее простоволосой. И хотя сейчас лицо ее стало на восемнадцать лет старше, оно казалось нежнее и мягче. Из-за пышных волос. Лицо у нее было слишком спокойное, застывшее и настоящего покоя не сулило; радужки черных глаз того же цвета, что и кожа, из-за чего лицо казалось безглазой маской. Женщина Халле. Рожавшая ему каждый год. Она и тогда сидела у окна беременная и говорила ему, что собирается бежать. Своих троих детей она уже отправила на тот берег с другими неграми-беглецами. К матери Халле, что жила в пригороде Цинциннати. Рассказывая ему об этом в крошечной хижине и наклонившись так близко к огню, что чувствовался запах нагретой материи, из которой сшито было ее платье, она смотрела на него, и глаза ее не отражали пламени. Они были точно два бездонных колодца, в которые ему было страшно заглянуть. Ему казалось, что даже если бы глазницы эти действительно были пусты, то все равно их нужно было бы чем-то прикрыть, оградить, поставить отметину, чтобы люди знали о том, что таится за этой опасной пустотой. Так что в глаза он ей не смотрел, а смотрел в огонь, и она все рассказывала и рассказывала ему, поскольку мужа ее не было с ними и больше рассказывать было некому. Мистер Гарнер умер, а у жены его выросла опухоль на горле величиной со сладкую картофелину, и теперь миссис Гарнер ни с кем говорить не могла. Сэти тогда наклонилась как можно ближе к огню, насколько позволял ее большой живот, и рассказывала ему, Полю Ди, последнему из мужчин Милого Дома, о своих планах.

На ферме их было шестеро, только одна из них женщина — Сэти. Миссис Гарнер плакала как маленькая, когда продавала его брата, чтобы уплатить долги, которые тут же обнаружились, стоило ей овдоветь. А потом явился этот учитель и стал наводить порядок. И погубил еще троих мужчин Милого Дома и навсегда погасил огонь в глазах Сэти, превратив их в два зияющих колодца, в прорези в черной маске, которые даже пламени очага не отражали.

Теперь взгляд ее снова стал суровым, однако само лицо казалось мягче из-за обрамлявших его волос, и он поверил ей настолько, что перешагнул порог ее дома, оказавшись в пятне пульсирующего красного света.

Она оказалась права. Это был очень печальный дух. Пройдя сквозь красное пятно, Поль Ди почувствовал, что печаль пропитала его насквозь, ему даже плакать захотелось. Освещенный нормальным светом стол, словно был где-то очень далеко от него, однако он вполне успешно добрался туда — и с сухими глазами.

— Ты же говорила, она умерла легко. Точно пенку с молока сдули,— напомнил он ей с укором.

— Это не Бэби Сагз,— ответила Сэти.

— А кто ж тогда?

— Моя дочь. Та, которую я тогда отослала вперед вместе с мальчиками.

— Так она умерла?

— Да. Последнее, что у меня осталось,— это та девочка, которой я была беременна, когда убежала. Мальчиков тоже больше нет. Оба ушли отсюда еще до того, как Бэби Сагз умерла.

Поль Ди посмотрел туда, где печаль только что пропитала его насквозь. Красный свет погас, но в воздухе еще слышался тихий-тихий плач.

Что ж, может, оно и к лучшему, подумал он. Если у негра есть ноги, так нужно ими пользоваться. Не то, если слишком засидеться, кто-нибудь непременно захочет тебя связать. И все-таки... даже если ее мальчиков в доме нет...

— И ни одного мужчины в семье? Как же ты тут одна?

— Не одна, с Денвер,— возразила она.

— И как вам тут, ничего?

— Нормально.

Заметив в его взгляде сомнение, она прибавила:

— Я работаю поварихой в ресторане, в городе. Да еще немножко шью тайком.

И тут Поль Ди улыбнулся: вспомнил ее свадебный наряд. Сэти было тринадцать, когда она объявилась в Милом Доме, и взгляд у нее уже тогда был достаточно суровым. Она оказалась просто подарком для миссис Гарнер, только что лишившейся помощи Бэби Сагз во имя высоких принципов своего супруга. Пятеро молодых мужчин Милого Дома глянули на девочку и решили пока оставить ее в покое. Молодость брала свое — они так настрадались от отсутствия женщин, что совокуплялись с телками. И все-таки оставили девочку с суровым взглядом в покое, чтобы она смогла сделать свой собственный выбор, хотя каждый из них готов был превратить остальных в отбивные, лишь бы завладеть ею. Чтобы выбрать, ей потребовался год — долгий, мучительный год, в течение которого они метались по ночам на своих жалких тюфяках, пожираемые мечтами о ней. Целый год они изнывали от желания, и целый год насилие казалось им единственным даром жизни. Однако вели они себя сдержанно — только потому, что были из Милого Дома и мистер Гарнер вечно хвалился ими перед другими фермерами, а те только головами качали.

— У всех у вас молодые парни есть,— говорил мистер Гарнер.— Молодые, постарше, разборчивые, неряхи. А вот у меня в Милом Доме все негры — настоящие мужчины! Все до одного. Я их купил, я их и вырастил. И каждый из них теперь настоящий мужчина.

— Ты, Гарнер, поосторожней. Не всякого ниггера можно мужчиной назвать.

— Это точно. Если ты их боишься, так и они никогда мужчинами не станут.— Тут Гарнер начинал улыбаться во весь рот.— А вот ежели сам ты настоящий мужчина, так тебе захочется, чтобы и негры твои мужчинами стали.

— Вот уж ни за что не позволил бы, чтоб мою жену одни черные мужики окружали!

Этих слов Гарнер всегда особенно ждал.

— Так ведь и я о том же,— говорил он. И всегда наступала длительная пауза, прежде чем сосед, бродячий торговец, дальний родственник или кто-то еще осознавал истинный смысл его слов. Затем следовал жестокий спор, иногда и потасовка, и Гарнер приезжал домой в синяках и страшно довольный собой, в очередной раз доказав, что истинный уроженец Кентукки всегда достаточно строг и достаточно умен, чтобы сделать из своих негров мужчин и называть их мужчинами.

Итак, их было пятеро, чернокожих мужчин Милого Дома: Поль Ди Гарнер, Поль Эф Гарнер, Поль Эй Гарнер, Халле Сагз и Сиксо, дикий человек. Всем около двадцати, и ни одной женщины поблизости, и все они совокуплялись с телками, мечтали о насилии, метались на своих тюфяках в беспокойных снах, расчесывали кожу на бедрах и ждали, что решит новая девушка — та, что заняла место Бэби Сагз, которую Халле выкупил за пять лет работы по выходным. Может быть, именно поэтому она и выбрала Халле. Веский довод в его пользу — не всякий двадцатилетний парень способен так любить мать, чтобы работать без выходных в течение целых пяти лет только ради того, чтобы старуха получила наконец возможность просто сесть и посидеть спокойно, отдыхая.

Она выжидала год. И мужчины Милого Дома ждали с нею вместе, а между тем забавлялись с телками. Она выбрала Халле, а для первой брачной ночи сама сшила себе тайком наряд.

— Может, поживешь немного у нас? Одного-то дня после восемнадцати лет маловато будет, чтоб передохнуть.

Из полутемной комнаты, где они сидели, наверх, на второй этаж, вела белая лестница. Поль Ди видел лишь краешек оклеенной бело-голубыми обоями стены — на голубом фоне то ли пятнышки, то ли хлопья желтоватого цвета среди белых снежинок. Сверкающая белизна перил и ступенек приковывала к себе взгляд. Чувства его были обострены настолько, что он явственно ощущал в воздухе над этой лестницей невидимые волшебные чары. Зато девушка, что спускалась по лестнице, казалось, прямо из воздуха, была совершенно земной, пухленькой, темнокожей, с хорошеньким личиком насторожившейся куколки.

Поль Ди посмотрел сперва на девушку, потом на Сэти, которая улыбнулась и пояснила:

— А вот и моя Денвер. Это Поль Ди, детка, из Милого Дома.

— Доброе утро, мистер Ди.

— Гарнер, детка. Поль Ди Гарнер.

— Да, сэр.

— Ну наконец-то я тебя увидел! В последний раз, когда мы виделись с твоей мамой, ты была очень недовольна и вовсю брыкалась у нее в животе.

— Она и сейчас такая,— улыбнулась Сэти,— особенно если ей позволить залезть туда.

Денвер стояла на самой нижней ступеньке; ее вдруг обдало волной горячего смущения. Уже давным-давно никто (ни та добрая белая женщина, ни священник, ни представители местной общественности, ни газетчики) не заходил к ним, не сидел у них за столом и не говорил сочувственных слов фальшивым голосом, что было особенно противно, потому что в глазах у них таилось странное любопытство. Лет двенадцать назад, задолго до того, как умерла бабушка Бэби, к ним перестали заглядывать и бывшие друзья, и просто прохожие. Никто из цветных. А уж этот человек с ореховыми глазами тут и подавно не бывал — да и никто другой, ни с вопросами и записной книжкой, ни с углем, ни с апельсинами на Рождество. А теперь явился, и с ним ее матери явно хотелось поговорить; и она даже сочла возможным разговаривать с ним босая. И выглядела при этом — да и вела себя! — совершенно как девчонка; и куда-то вдруг делась та горделивоспокойная, точно королева, женщина, которую Денвер знала всю свою жизнь. Та, что никогда не отводила глаз! Даже когда какого-то человека кобыла забила копытами насмерть перед рестораном Сойера. Даже когда свиноматка начала вдруг прямо при них пожирать свой приплод. А когда

маленькое привидение, рассердившись, так ударило их пса Мальчика об стену, что сломало ему две лапы и выбило глаз, и, забившись в судорогах, он прикусил собственный язык, мать тоже ничуть не смутилась. Взяла молоток потяжелее, как следует стукнула им Мальчика по голове, чтобы пес потерял сознание, обмыла ему морду, залитую кровью и слюной, вставила обратно выбитый глаз, перевязала перебитые лапы и вложила их в лубки. Пес поправился, но больше не лаял и ходил как-то боком — в основном из-за поврежденного глаза, потому что сломанные лапы срослись нормально, но теперь ни зимой, ни летом, ни в дождь, ни в жару его невозможно было уговорить снова зайти в дом.

И вот эта спокойная, разумная женщина, которая способна была справиться со взбесившимся от боли псом, сидит положив одну босую ногу на другую и покачивает ею в воздухе, а на родную дочь и смотреть не желает! Словно ей это противно. Но главное — и она, и этот мужчина оба босые! Денвер было жарко, стыдно и ужасно одиноко. Все ее всегда покидали — сперва братья, потом бабушка, и это было очень тяжело, потому что никто из детей не хотел с ней играть или висеть головой вниз, уцепившись согнутыми в коленях ногами за перила веранды. Но даже и это не было так ужасно, как сейчас, когда ее мать беспечно смотрела куда-то в сторону, и у Денвер вдруг возникло желание,— да-да, впервые! — чтобы привидение немедленно сотворило что-нибудь злобное.

— Очень милая юная леди,— сказал Поль Ди.— И очень хорошенькая. На отца похожа.

— А вы знали моего отца?

— Знал. Хорошо знал.

— Правда, мам? — Денвер с трудом пыталась побороть недоверие.

— Ну конечно! Я же сказала: он из Милого Дома.

Денвер присела на нижнюю ступеньку лестницы. Собственно, ничего другого не оставалось; нужно же было пристойно выйти из дурацкого положения. Эта парочка все твердила «твой отец» и «Милый Дом» с таким видом, что становилось ясно: все это принадлежит им, а она здесь ни при чем. Даже ее исчезнувший отец не принадлежит ей. Когда-то его отсутствие больше всего касалось бабушки Бэби — его, единственного из своих сыновей, она горько оплакивала, потому что именно он выкупил ее из рабства. Потом отец стал пропавшим мужем Сэти. Теперь он оказался пропавшим другом этого незнакомца с ореховыми глазами. Значит, только те, кто знал его раньше («знал его хорошо»), имеют право на него отсутствующего? Как имеют право и на воспоминания об этом Милом Доме, могут шептаться о нем и украдкой переглядываться при этом? И снова Денвер захотелось, чтоб явилось привидение и продемонстрировало, на что оно способно во гневе, хотя раньше его выходки доводили ее до изнеможения.

— У нас здесь привидение живет,— сказала она, и это подействовало. Они больше уже не казались отдельной от нее дружной парочкой. Мать перестала болтать в воздухе ногой и вести себя как молоденькая девчонка. Пелена воспоминаний о Милом Доме растаяла в глазах того мужчины, для которого она вдруг в эту девчонку превратилась. Он быстро взглянул на ярко-белую лестницу у Денвер за спиной.

— Да, я слыхал,— сказал он.— Но печальное, как говорит твоя мама. Не злое.

— Нет, сэр,— сказала Денвер,— не злое. Но и не печальное.

— Какое же тогда?

— Обиженное. Одинокое и обиженное.

— Правда? — Поль Ди повернулся к Сэти.

— Вот не знаю, одинокое ли,— проворчала та.— Может, и обиженное, и даже очень сердитое, да только не понимаю, чего это ему быть таким уж одиноким, если оно нас ни на минуту не оставляет.

— Наверно, что-то получить от вас хочет?

Сэти пожала плечами:

— Это ведь совсем крошка.

— Моя сестра,— сказала Денвер.— Она здесь умерла, в этом доме.

Поль Ди поскреб заросший щетиной подбородок.

— Похоже на ту историю с невестой без головы, что потом вернулась и все бродила в лесочке за Милым Домом. Помнишь, Сэти?

— Разве можно забыть? Ужасно...

— Интересно, почему все вы, кто сбежал из этого Милого Дома, никак не перестанете говорить о нем? Может, там было так мило, что лучше бы вам было остаться?

— Ты с кем это так разговариваешь, девчонка?

Поль Ди рассмеялся:

— Все верно, верно! Она права, Сэти. Не был он для нас ни милым, ни тем более домом.— Он покачал головой.

— Зато там мы были все вместе! — сказала Сэти.— Вместе. И от этого никуда не уйти, хотим мы того или нет.— Она зябко передернула плечами и погладила их, словно возвращая им покой.— Денвер,— обратилась она к дочери,— разожги-ка плиту. Нельзя же так: старый друг пришел к нам в гости, а мы его даже и не угостили ничем.

— Не стоит беспокоиться на мой счет,— сказал Поль Ди.

— Никакого беспокойства — обычная еда, вот только булочки испеку. А остальное я захватила из ресторана. Уж если топчешься у плиты от зари до зари, то обед-то, по крайней мере, домой принести можно? Ты против щуки ничего не имеешь?

— Если она ничего не имеет против меня,— улыбнулся Поль Ди.

Ну вот, опять начинается, подумала Денвер. Повернувшись к ним спиной, она заталкивала в печку растопку. Напихала слишком много и чуть не потушила занявшийся было огонь.

— А почему бы вам заодно и не переночевать у нас, мистер Гарнер? Тогда вы с мамой могли бы всю ночь напролет проговорить о Милом Доме.

Сэти сделала два быстрых шага в сторону плиты, но не успела она схватить Денвер за воротник, как девушка вдруг опустила голову и расплакалась.

— Да что с тобой такое? Никогда не видела, чтобы ты так себя вела!

— Да ладно,— сказал Поль Ди.— Я ведь ей совсем чужой.

— Тем более. Разве можно так вести себя с чужим человеком? В чем дело, детка? Может, случилось что?

Но Денвер уже рыдала так, что не могла вымолвить ни слова. Она не пролила за девять лет ни слезинки, но теперь слезы лились рекой и промочили насквозь платье на ее весьма пышной и вполне уже женской груди.

— Я больше не могу! Не могу!

— Что — не можешь? Чего это ты не можешь?

— Не могу жить здесь. Я не знаю, куда мне пойти и что нужно сделать, но здесь жить я больше не могу. Никто с нами не разговаривает. Никто к нам не заходит. Парням я не нравлюсь. Девушкам тоже.

— Милая моя девочка...

— Что это она говорит насчет того, что «никто с вами не разговаривает»? — спросил Поль Ди.

— Это все из-за дома. Люди не...

— Нет, не из-за дома! Это из-за нас! Из-за тебя!

— Денвер!

— Не надо, Сэти. Конечно, молодой девушке тяжело жить в доме, где обитают духи. Всякому было бы нелегко.

— Куда легче, чем многое другое.

— Слушай, Сэти, вот я, взрослый мужчина, все на свете видел и испытал, но я уверен, что с духами жить любому трудно. А может, вам лучше переехать отсюда? Кому он принадлежит, этот дом?

Сэти метнула на Поля Ди ледяной взгляд поверх плеча Денвер.

— А тебе не все равно?

— Они что ж, не позволят вам выехать?

— Нет.

— Сэти!

— Нет. И слышать не желаю. Никаких переездов! Никаких отъездов! Все и так совершенно нормально.

— Считаешь, что все нормально, когда твоя дочка с ума сходит?

Что-то в доме насторожилось, затихло тревожно, и в наступившей напряженной тишине Сэти отчетливо проговорила:

— У меня на спине дерево, в доме моем привидение, и между мной и им — только моя дочь, которую я сейчас в объятиях держу. Я никуда больше не побегу — ни от кого. И ни от чего на свете. Я уже одно бегство совершила и расплатилась за него сполна, но вот что я скажу тебе, Поль Ди: слишком дорогой была та цена! Слышишь? Слишком дорогой. А теперь, если хочешь, садись вместе с нами за стол или уходи и оставь нас в покое.

Поль Ди, не отвечая, порылся в кармане и вытащил свой кисет — как бы полностью сосредоточившись на затянувшейся в узел тесемке, а Сэти тем временем отвела Денвер в гостиную, соседнюю с той большой комнатой, где он сидел. Бумаги для курева у него все равно не было, однако он продолжал возиться с кисетом, прислушиваясь через открытую дверь к тому, как Сэти успокаивает дочь. Когда она вернулась, то, не глядя на него, прошла прямо к маленькому столику возле плиты и повернулась к нему спиной. Теперь он мог сколько угодно, не отвлекаясь, разглядывать ее замечательные волосы.

— Что это еще за дерево у тебя на спине?

— Уф.— Сэти поставила на стол тяжелую миску и снова нагнулась — за мукой.

— Я спрашиваю, что это за дерево у тебя на спине? У тебя что, на спине что-нибудь выросло? Я ничего такого не вижу.

— И все равно оно там.

— Да кто тебе такое сказал?

— Одна белая девушка. Так она это назвала. Сама-то я его никогда не видела и не увижу. Но она так сказала: похоже, мол, на деревце. На вишневое деревце. Ствол, ветки и даже листочки. Маленькие вишневые листочки. Только было это восемнадцать лет назад. Теперь-то уж небось и вишни поспели, откуда мне знать.

Сэти легонько облизнула указательный палец и быстро коснулась им плиты, пробуя, насколько та нагрелась. Потом просеяла муку сквозь пальцы, разделяя ее на кучки, на маленькие холмики в поисках клещей. Ничего не обнаружив, она насыпала чуточку соды и соли в сложенную горсткой руку и смешала все это с мукой. Потом достала жестянку с топленым свиным жиром, зачерпнула оттуда полгорсти и ловко растерла муку с жиром, левой рукой сбрызнув все это водой. Потом замесила густое тесто.

— У меня еще было полно молока,— проговорила она вдруг.— Я была беременна Денвер, но для моей малышки молока у меня еще хватало, и я не переставала кормить ее до того самого дня, когда отослала ее к Бэби Сагз вместе с Ховардом и Баглером.— Сэти принялась формовать булочки с помощью деревянной лопатки.— Каждый мог за версту учуять запах моего молока — чего там, вечно у меня на груди были пятна, всем в глаза бросались, только я ничего не могла с этим поделать. Ну да все равно. Я непременно должна была доставить малышке молоко. Никто ведь не собирался кормить ее своим молоком. Никто не знал, когда ее нужно кормить и сколько ей нужно, а ведь сама она не могла об этом сказать. Никто не знал, что у девочки не могут отойти газы, если ее все время держать на плече — они у нее отходили, только когда она плашмя лежала у меня на коленях. Никто ничего этого не знал, кроме меня, и ни у кого не было для нее молока, кроме как у меня. Я сказала об этом тем женщинам в поезде. Попросила их свернуть тряпочку в узелок, намочить в подсахаренной воде и давать ей сосать, чтобы за те несколько дней, пока я доберусь туда, она меня не забыла. Ничего, я бы поспела вовремя — и с молоком для нее.

— Мужчины, конечно, об этом толком не знают,— сказал Поль Ди, засовывая кисет обратно в карман,— да только всем ясно, что нельзя грудного младенца надолго от матери отрывать.

— А может, им ясно и то, каково это, отрывать от себя ребенка, когда груди твои полны молока?

— Мы ведь с тобой о дереве толковали, Сэти!

— После того, как я ушла от тебя к себе, явились те парни и отняли у меня мое молоко. Они именно за этим и явились. Повалили меня, держали и отняли молоко. Я про них наябедничала миссис Гарнер. Из-за этой своей опухоли она говорить не могла, но слезы у нее из глаз так и катились. Ну а эти парни прознали, что я наябедничала. И тогда этот учитель велел одному из них заголить мне спину и располосовать ее так, что вышло вроде как дерево. Оно и сейчас там растет.

— Они тебя плетью из воловьей кожи избили?

— И отняли мое молоко.

— Они тебя плетью избили? Беременную?

— И отняли мое молоко!

Пышные белые кругляшки теста ровными рядами ложились на противень. Сэти снова коснулась плиты влажным кончиком пальца. Потом открыла дверцу духовки и сунула туда противень с булочками. Закрыв дверцу и распрямившись, она почувствовала, что Поль Ди подошел к ней сзади и обнял; ладони его были у нее под грудью. Она уже поняла, хоть и не могла этого почувствовать, что щекой своей он прижался к ветвям вишневого деревца, высеченного у нее на спине.

Не сделав в своей жизни ровным счетом ничего для этого, он почему-то стал тем человеком, в присутствии которого, стоило ему войти в дом, женщины тут же начинали плакать. Потому что перед ним могли это делать. Видно, что-то такое было в нем благословенное. Женщины, видевшие его впервые, начинали плакать и рассказывать ему, как болят у них грудь и колени. Даже самые сильные и мудрые женщины рассказывали ему то, что могли сказать только друг другу: о том, что происходит в них со временем; каким сильным становится вдруг желание, стремление к плотской любви — неукротимое, жадное, дикое и куда сильнее, чем в пятнадцать лет; о том, как это смущает их и печалит; о том, что втайне они мечтают умереть — чтобы навсегда покончить с этим позорным вожделением; и что сон и покой для них куда дороже каждого нового дня жизни. А юные девушки украдкой признавались ему, какие яркие и постыдные сны видят порой и как долго живы потом ощущения от этих снов. И поэтому, даже не зная истинной причины, Поль Ди не был удивлен, когда Денвер начала ронять слезы в очаг. Или когда, через четверть часа, рассказав ему об отнятом у нее молоке, ее мать тоже заплакала. Подойдя к ней сзади, изогнувшись над ней полной добра радугой, он поддерживал ее груди своими ладонями. Он терся щекой об ее спину, ощущая случившуюся с ней беду, ее истоки, ее корни, ее толстый ствол и прихотливо переплетенные ветви. Скользнув пальцами по крючкам на ее платье, он уже знал, не видя, что вскоре польются слезы. А когда лиф платья упал и обернулся вокруг ее бедер и Поль Ди увидел то, что было изображено — выковано? вырезано? — у нее на спине, словно одержимый неведомой страстью кузнец-мечтатель создал этот прихотливый барельеф и теперь стыдится выставлять его на всеобщее обозрение, он смог только подумать (но не сказал этого вслух): «О Господи, детка!» И не было ему ни терпежу, ни покоя, пока он не дотронулся до каждого неровного шрама, до каждого листочка этого небывалого дерева собственными губами; ни одного из этих прикосновений Сэти почувствовать не могла, ибо кожа у нее на спине омертвела, полностью утратила чувствительность много лет назад. Но она знала одно: теперь — наконец-то! — груди ее покоятся в чьих-то надежных руках.

Неужели нельзя освободить хоть немного места, хоть немного времени в этой слишком богатой событиями жизни, думала Сэти, неужели нет хоть какого-нибудь способа сдержать ее неустанный бег, забыть на минутку о постоянной занятости и просто постоять немножко вот так, обнаженной и свободной от плеч до талии, когда груди твои покоятся в чьих-то еще надежных руках, и вновь ощутить запах украденного у нее материнского молока и замечательный аромат пекущегося хлеба? Может быть, на этот

раз, застыв как мертвая у кухонной плиты, она сумеет наконец почувствовать ту боль, которую должна была бы чувствовать в своей спине? Чему-то поверить и что-то вспомнить, потому что последний из мужчин Милого Дома сейчас рядом и готов сразу подхватить ее, если от этих мыслей она потеряет сознание.

Плита, нагревшись, перестала потрескивать. Денвер в соседней комнате совсем притихла. Пятно пульсирующего красного света не возвращалось, а Поль Ди дрожал так, как не дрожал с 1856 года, когда дрожь била его восемьдесят три дня подряд. Запертый в ужасной норе и закованный в кандалы, он тогда трясся так, что не мог даже закурить или просто почесаться. Сейчас, правда, у него дрожали в основном ноги. Ему потребовалось некоторое время, чтобы догадаться, что ноги у него дрожат не от нервного возбуждения, а от того, что под ним колышутся доски пола; дом что-то пережевывал, скрежетал и раскачивался. Весь. Сэти беспомощно соскользнула на пол, пытаясь снова влезть в верхнюю часть платья и одновременно удержать собственный дом на месте. Так, на четвереньках, ее и увидела Денвер, вылетевшая из гостиной — в глазах ужас, на губах неясная улыбка.

— Черт побери! Да успокойтесь вы! — кричал Поль Ди, падая и стараясь за что-нибудь уцепиться.— А ну убирайся из этого дома! Убирайся к чертовой матери! — Кухонный стол тут же бросился на него в атаку, и он схватил стол за ножку. Наконец ему удалось подняться, и он, так и не сумев выпрямиться до конца, поднял столик за две ножки и с размаху стал бить им куда попало, круша все подряд и яростно крича бушующему дому: — Хочешь драться со мной? Давай! Выходи! Черт тебя побери! Ей и без тебя за десятерых досталось. Хватит!

Чудовищная дрожь, сотрясавшая дом, почти прекратилась, и он лишь иногда передергивался и пошатывался, но Поль Ди продолжал орудовать кухонным столом, пока все предметы не застыли в абсолютном покое. Весь в поту, тяжело дыша, Поль Ди прислонился к стене в том месте, где раньше стоял буфет. Сэти так и лежала, скрючившись возле плиты, и прижимала к груди спасенные башмаки. Все трое, Сэти, Денвер и Поль Ди, дышали в такт, словно одно усталое существо. И явственно слышалось еще чье-то дыхание, тоже очень усталое.

Оно исчезло. Дом умолк. В воцарившейся тишине Денвер приблизилась к плите. Поворошила головешки, вытащила из духовки противень с булочками. Варенье из банки куском студня лежало среди осколков и мусора в углу нижнего отделения буфета. Денвер вытащила другую банку с вареньем и, поискав глазами тарелку, обнаружила половинку одной возле самой двери. Булочки, варенье и половинку тарелки она вынесла на крыльцо и присела там на ступеньку.

А эти двое ушли наверх. Босиком, ступая легко и неслышно, они поднялись по белым ступеням, оставив ее, Денвер, внизу. Одну. Она распечатала банку, сняла тряпочку и удалила тонкий слой воска. Потом вытряхнула варенье на краешек разбитой тарелки. Потом взяла булочку и отломила ее чуть подгоревшую корочку. Из белой серединки колечками потянулся парок.

Она очень скучала по своим братьям. Баглеру и Ховарду сейчас должно было бы исполниться двадцать два и двадцать три. Хотя они обычно ее не обижали и всегда уступали ей любимое место в изголовье кровати, она отлично помнила и то, как они, усевшись с ней на белых ступеньках лестницы,— кто-нибудь, Баглер или Ховард, зажимал ее между коленями, не давая уйти,— наслаждались, заставляя ее слушать страшные-престрашные (замри, ведьма!) истории, применяя давно испробованный и безотказный способ напугать ее до смерти. И Бэби Сагз тоже о многом рассказывала ей, лежа в гостиной. Днем бабушка пахла древесной корой, а ночью — листвой. Денвер хорошо это знала, потому что отказывалась спать в своей прежней комнате с тех пор, как убежали ее братья.

А теперь ее мать поднялась наверх с мужчиной, который только что

прогнал из дому единственное существо, заменившее ей друга. Денвер обмакнула кусочек булки в варенье и медленно, методично, с совершенно несчастным видом принялась жевать.

Не то чтобы поспешно, но и не теряя времени даром, Сэти и Поль Ди взобрались по белой лестнице на второй этаж. Ошеломленный свалившимся на него счастьем, тем, что отыскал ее дом и ее в нем, а также тем, что сейчас они совершенно определенно будут заниматься любовью, Поль Ди решил выбросить последние двадцать пять лет из своей памяти. На одну ступеньку впереди него шла та, что некогда сменила Бэби Сагз на ее посту, та самая новая девушка, о которой они мучительно мечтали ночами и совокуплялись с телками, ожидая, пока она сделает свой выбор. Он всего лишь поцеловал ее в словно покрытую сварными швами спину, однако это потрясло весь дом, а его самого заставило разнести здесь все вдрызг. Что ж, теперь он совершит нечто большее.

Она вела его вверх по лестнице, туда, где свет, казалось, падал прямо с небес, потому что окна на втором этаже были сделаны в наклонном потолке, а не в стенах. Там были две комнаты, и она провела его в одну из них, надеясь, что он не станет возражать против того, что она не готовилась к этому событию специально; что хотя она и сумела вспомнить, что такое желание, но совсем позабыла, как оно действует на человека: руки точно сведены судорогой и беспомощны, и нападает странная слепота — единственное, что видишь сразу,— это место, где можно лечь, а остальное — дверные ручки, всякие тесемки, крючки, та печаль, что таится в углах дома, быстротечное время — лишь помехи для главного.

Все было кончено еще до того, как они успели сорвать с себя одежду. Полуобнаженные, задыхаясь, они лежали рядом, испытывая отвращение друг к другу и к тому свету, что лился на них прямо с небес. Он слишком долго мечтал о ней, и вообще — все это было слишком давно. Ей же мечтания теперь не были свойственны совсем, и они оба испытывали разочарование и смущение, не решаясь заговорить друг с другом.

Сэти лежала на спине, отвернув от него лицо. Краешком глаза Поль Ди видел плавную линию ее груди и не испытывал ни малейшего удовольствия: он определенно мог бы обойтись и без этих больших, округлых, чуть обвисших и плосковатых грудей, а ведь там, внизу, он принял их в свои руки как самую большую драгоценность. И загадочный лабиринт страшных рубцов у нее на спине, который он исследовал на кухне с жадностью золотоискателя, наткнувшегося на богатую жилу, оказался на самом деле сплетением отвратительных шрамов. Никакое это было не дерево. Может, немного и похоже, да только ничего общего с теми деревьями, которые он хорошо знал, ибо деревья всегда манили его к себе; деревьям можно было доверять, можно было открыть им душу, поговорить с ними, как он это часто и делал еще в Милом Доме, когда после обеденного перерыва возвращался в поля. Он всегда останавливался передохнуть по возможности в одном и том же месте, и выбрать это место оказалось нелегко, потому что вокруг Милого Дома росло куда больше прекрасных деревьев, чем на любой другой здешней ферме. Выбранное им дерево он назвал Братцем и часто сидел под ним, иногда один, иногда с Халле или с кем-то из Полей, но чаще всего с Сиксо, который тогда был очень тихий и кроткий и пока еще разговаривал по-английски. Иссиня-черный, с ярко-красным языком, Сиксо вечно экспериментировал с заготовленной с ночи картошкой, пытаясь непременно уложить ее так, чтобы дымящиеся от жара камни оказались на самом дне ямки, сверху картошка, а потом всякие прутики и веточки, чтобы к обеденному перерыву, когда они соберут стадо и придут к Братцу, картошка была бы в самый раз. Он мог ради этого, например, встать среди ночи и специально отправиться туда, в такую даль, чтобы выкопать в земле ямку при свете звезд; а иногда он пробовал не

слишком сильно нагревать камни и клал на них картошку, предназначенную для дневной трапезы, сразу после завтрака. Картошка никогда не получалась у него так, как он хотел, но они все равно съедали ее — недопеченную, подгоревшую, пересушенную или просто почти сырую, смеясь, сплевывая шелуху и давая Сиксо разные советы.

Время никак не желало подчиняться расчетам Сиксо, и совладать он с ним не мог. Однажды он, с точностью до минуты рассчитав тридцатимильный поход на свидание с женщиной, вышел в субботу, когда луна была как раз там, где и требовалось, добрался до хижины своей возлюбленной еще до того, как в церкви зазвонили к обедне, и ему как раз хватило времени, чтобы поздороваться с ней и тут же отправиться назад, чтобы успеть к утренней перекличке в понедельник. Он шел пешком семнадцать часов, потом посидел у нее ровно час и прошагал еще семнадцать часов в обратном направлении. Весь день Халле и все остальные старательно скрывали от мистера Гарнера, как Сиксо измотан. В тот день они, разумеется, никакой картошки не ели — ни простой, ни сладкой. Вытянувшись под Братцем, спрятав от них свой ярко-красный язык и иссиня-черное лицо, Сиксо весь обеденный перерыв проспал как мертвый. Вот это был настоящий мужчина, и это было настоящее дерево! Куда ему самому! Да и то «дерево», что лежало с ним рядом в постели, тоже оказалось ненастоящим.

Поль Ди посмотрел в окно над изножием кровати и закинул руки за голову. При этом его локоть коснулся плеча Сэти. Она вздрогнула от прикосновения грубой материи к своему голому плечу. Она и забыла, что он так и не успел снять рубашку. Собака, подумала она и тут же вспомнила, что сама помешала ему. И что сама тоже не успела снять нижнюю юбку, а ведь она-то начала раздеваться еще до того, как увидела его на веранде,— уже тогда она сняла и чулки, и башмаки, да так и несла их в руках, пока он не посмотрел на ее босые ноги и не попросил разрешения тоже разуться. А потом, когда она стряпала у плиты, он еще больше ее раздел. Так что если учесть, как скоро они вообще принялись раздеваться, то теперь-то уж должны были бы быть совершенно нагими. Впрочем, возможно, Бэби Сагз была права, когда говаривала: «Мужчина — это всего лишь мужчина, и ничего больше». Они просят тебя передать им какую-то часть твоего бремени, но стоит тебе ощутить, как приятно и легко тебе стало, как они начинают всматриваться в твои шрамы и оценивать твои беды, а потом делают то, что этот вот уже сделал: выгнал ее детей из дому и разнес здесь все вдрызг.

Нет, просто необходимо встать и уйти отсюда, спуститься вниз и поскорее снова собрать все по кускам. Этот дом, сказал он, ей нужно сменить, словно дом — это какая-то мелочь, блузка или корзинка с нитками, словно от дома можно запросто отвернуться и уйти. И такое он посоветовал ей, у которой никогда не было своего дома — кроме вот этого; которая бросила свою хижину с земляным полом ради того, чтобы оказаться здесь; которая каждое утро непременно приносила с собой на кухню в доме мистера Гарнера букетик козлобородника — чтобы, работая там, хоть в какой-то степени чувствовать, что это место принадлежит и ей, потому что ей хотелось любить свою работу, хотелось чувствовать себя на кухне уютно, уверенно; и она срывала по дороге какой-нибудь хорошенький цветок и прихватывала с собой. В те дни, когда она забывала это сделать, масло у нее не желало сбиваться, рассол в бочке оказывался слишком крепким, и все руки покрывались волдырями.

По крайней мере, она тогда считала, что все дело в этом. Несколько желтых цветочков на столе, пучок миртовых веточек, торчащих из утюга, придвинутого к открытой двери, чтобы пропускать в дом свежий ветерок,— все это действовало на нее благотворно, и когда они с миссис Гарнер усаживались перебирать щетину или готовить чернила, она чувствовала себя прекрасно. Просто прекрасно. И совсем не боялась тех мужчин. Тех пятерых, что спали в лачугах неподалеку, но к ней никогда ночью не заходили. Только приподнимали свои обтрепанные шляпы, завидев ее, и не сводили с нее глаз. Когда она приносила им в поле еду, копченую грудинку

и хлеб в чистой тряпице, они никогда ничего не брали прямо у нее из рук. Отступали и ждали, пока она положит сверток на землю, у корней дерева, и уйдет. Они не только не желали брать еду у нее из рук, но и не позволяли ей смотреть, как они едят. Раза два-три она припозднилась. Спряталась за жимолостью и наблюдала за ними. Без нее они были совсем другими — смеялись, подшучивали друг над другом, пели, отходили в сторонку, чтобы помочиться. Посмеяться любили все, кроме Сиксо, который засмеялся только один раз в жизни — в самом ее конце. Лучшим из них, конечно же, был Халле. Восьмой, и последний ребенок Бэби Сагз, который брался за любую работу на соседних фермах, чтобы выкупить мать и отправить подальше от Милого Дома. Но и он тоже, как оказалось, был не более чем мужчиной.

— Мужчина — всего лишь мужчина,— говорила Бэби Сагз.— А вот сын — это уже и правда кое-что!

И справедливо это было по множеству причин: в течение всей своей жизни Бэби, как, впрочем, позже и Сэти, ощущала, что ею и другими мужчинами и женщинами манипулируют как при игре в шашки. Все, кого Бэби Сагз знала, не говоря уж о тех, кого она любила,— если им не удалось убежать или их не повесили — могли быть сданы внаем, отданы другому хозяину в уплату долга, проданы, выкуплены, выставлены на продажу, заложены, выиграны в карты, украдены или конфискованы. Именно поэтому у восьмерых детей Бэби было шестеро отцов. То, что она называла «паскудством жизни», стало для нее особенно отвратительным, когда она уяснила, что никто не намерен перестать передвигать «шашки» по доске из-за того, что в игру включены теперь и ее дети. Халле она сумела удержать при себе дольше всех остальных. Двадцать лет. Целую жизнь. Его отдали ей — явно в виде компенсации,— когда она узнала, что две ее девочки, у которых еще молочные зубки не выпали, проданы и уже увезены. Она даже не смогла помахать им рукой на прощанье. Когда-то, тоже в качестве компенсации, ее хозяин, жалкий тип, который целых четыре месяца развлекался с ней как хотел, позволил ей оставить при себе третьего сынишку — а потом, следующей весной, мальчика продали в уплату за пиломатериалы, а она оказалась беременной от этого негодяя, пообещавшего, что мальчика не продаст, и все-таки продавшего. Ребенка от этого человека она любить не могла, а остальных — не позволяла себе. «Господь сам возьмет то, что захочет»,— говорила она. И Он брал, Он брал, и брал, и брал, но потом все-таки дал ей Халле, который подарил ей свободу, тогда уже почти не имевшую для нее значения.

Сэти как раз на удивление повезло — она получила целых шесть лет замужней жизни с Халле, который действительно «был кое-чем» — он был сыном Бэби Сагз и отцом всех ее детей. Этой Божьей милости она безоговорочно и довольно беспечно поверила, приняв ее как должное; сочла Милый Дом своим убежищем, словно это действительно могло быть так. Словно пучок миртовых веточек, сунутых в утюг, подпирающий дверь на кухне господского дома, способен был превратить этот дом в ее собственный. Словно листочек мяты, взятый в рот, меняет все у тебя внутри, а не только придает аромат твоему дыханию. Да, большей дуры, чем она, на всем свете не сыскать!

Сэти хотела было перевернуться на живот, но передумала. Она опасалась вновь привлечь к себе внимание Поля Ди, так что удовлетворилась тем, что скрестила поудобнее ноги.

Однако Поль Ди заметил и это ее движение, и то, что она стала дышать иначе. Он чувствовал себя обязанным попробовать еще раз и действовать медленнее и спокойнее, но жгучее желание куда-то пропало. На самом деле было даже приятно не желать ее. Двадцать пять лет — и одно мимолетное мгновенье! Вот так же получилось тогда и у Сиксо, когда он все подготовил для свидания с Цатси, женщиной с тридцатой мили. Ему потребовалось три месяца и два похода — по тридцать четыре мили туда и тридцать четыре мили обратно,— чтобы исполнить задуманное. Чтобы убедить ее пройти ему навстречу всего одну треть этого

долгого пути до заброшенной каменной постройки, которую он отыскал. Когда-то давным-давно в ней жили краснокожие, тогда еще считавшие, что вся эта земля принадлежит им. Сиксо обнаружил заброшенное строение во время одной из своих ночных вылазок и вежливо попросил разрешения войти. Войдя внутрь, он почувствовал то, что и полагается чувствовать в таких случаях, и спросил у духов некогда обитавших здесь краснокожих, можно ли ему привести сюда свою женщину. Духи не возражали, так что Сиксо самым тщательным образом разъяснил своей подружке, как туда попасть, где свернуть и каким свистом он позовет ее, а каким предупредит об опасности. Поскольку ни он, ни она не могли отлучаться от своих ферм без разрешения и поскольку той женщине с тридцатой мили уже миновало четырнадцать и ее собрались отдать другому мужчине, опасность была и в самом деле велика. Когда Сиксо прибыл в условленное место, Патси там не оказалось. Он посвистел, но безрезультатно. Заглянув в заброшенный индейский дом, не обнаружил ее и там. Он снова вернулся туда, где они договорились встретиться. Никого. Он еще подождал. Она не появлялась. Он совсем перепугался и двинулся по дороге ей навстречу, прошел три или четыре мили и остановился. Идти дальше было совершенно бессмысленно. Он стоял на ветру и молил о помощи, вслушиваясь в каждый звук. И тут услышал слабое хныканье. Он свернул с дороги, немного прошел на этот плач, подождал и, снова услышав его, потерял всякую осторожность: он громко окликнул ее по имени. Она ответила, и голос ее прозвучал для него, как сама жизнь — не как смерть. «Не сходи с места! — крикнул он ей.— Не бойся. Сейчас я тебя отыщу». И отыскал. Она была уверена, что пришла туда, куда нужно, и плакала, считая, будто он не сдержал своего обещания. Однако теперь идти в индейское каменное жилище было уже слишком поздно, так что они занялись любовью прямо там, где стояли. Потом он до крови проколол ей кожу на лодыжке, как если бы ее укусила змея,— чтобы ей было что сказать по поводу своего опоздания на табачную плантацию, где она обирала с листьев гусениц. Он очень подробно рассказал ей, как можно срезать путь, если идти вдоль ручья, и немного проводил ее. Когда он выбрался на дорогу, было уже совсем светло, а он так и не успел одеться и нес свою одежду в руках. Вдруг из-за поворота прямо на него выкатилась повозка. Возница с расширившимися от изумления глазами замахнулся на него кнутом, а сидевшая рядом с ним женщина стыдливо прикрыла лицо. Но Сиксо нырнул в лес прежде, чем кнут успел полоснуть по его иссиня-черной голой заднице.

Он рассказывал об этом Полю Эф, Халле, Полю Эй и Полю Ди так забавно, что они буквально стонали от хохота. А еще Сиксо ходил по ночам в лесную чащу. Танцевать, говорил он, и тем самым поддерживать связь с предками. И всегда совершал это в полном одиночестве, тайком. Никто из них никогда не видел этих его танцев, но когда они представляли их себе, то всегда смеялись — при свете дня, разумеется, когда смеяться над такими вещами безопасно.

Но все это было еще до того, как Сиксо перестал говорить по-английски, потому что «не видел в этом смысла». Благодаря той женщине с тридцатой мили Сиксо был единственным среди них, кто не очумел от желания заполучить Сэти. Нет ничего лучше, чем заниматься с нею любовью, воображал себе Поль Ди и думал так целых двадцать пять лет. Он улыбнулся своей былой мальчишеской наивности и повернулся на бок, к ней лицом. Глаза Сэти были закрыты, волосы в страшнейшем беспорядке. Если смотреть на нее такую, да еще когда ее блестящие глаза закрыты, лицо ее вовсе не кажется таким уж привлекательным. Значит, именно ее глаза держали их обоих в напряжении и разжигали в нем страсть. Если бы не было этих глаз, он вполне справился бы с собой — лицо ее без них сразу становится довольно заурядным. Может быть, если она так и не откроет их... Но нет, оставался еще ее рот. Красивый. Прелестный. Халле никогда не понимал, какое сокровище ему досталось!

Даже с закрытыми глазами Сэти знала, что он смотрит на нее, и та

фотография в газете, по которой она поняла, как ужасно может порой выглядеть, вновь возникла у нее в памяти. Но он смотрел на нее вовсе не насмешливо. Нежно. Нежно и словно бы выжидающе. Он ее не судил — или, точнее, судил, но ни с кем не сравнивал. Никогда со времен их совместной жизни с Халле ни один мужчина не смотрел на нее так: не любовно, не страстно, а заинтересованно, словно рассматривая початок кукурузы с точки зрения его качества. Халле вел себя с ней скорее как брат, чем как муж. Он заботился о ней именно как о члене семьи, а вовсе не доказывал, что он — мужчина, а она — его собственность. В течение нескольких лет они только по воскресеньям видели друг друга при свете дня. Всю остальную неделю они встречались, разговаривали, ласкали друг друга и ели в темноте. В предрассветных сумерках или во тьме позднего вечера. Так что рассмотреть друг друга как следует, внимательно, с удовольствием позволяли себе только воскресным утром, и Халле изучал ее так, словно запасался тем, что видит при солнечном свете, на всю оставшуюся неделю. А времени на это у него было так мало! Вечерами, после целого дня работы на ферме Милый Дом, и еще по воскресеньям после обеда он отрабатывал свой долг за мать. Когда он попросил Сэти стать его женой, она с радостью согласилась, а потом задумалась о том, каким должен быть следующий шаг. Ведь должно же быть какое-то торжество, верно? Священник, танцы, угощение — что-нибудь такое. Из женщин на ферме были только она сама да миссис Гарнер, так что Сэти решилась спросить у своей хозяйки:

— Мы с Халле хотим пожениться, миссис Гарнер.

— Да, я слышала.— Она улыбнулась.— Он говорил мистеру Гарнеру. А что, ты уже ребенка ждешь?

— Нет, мэм.

— Ну что ж, это быстро делается. Ты ведь знаешь, о чем я, правда?

— Да, мэм.

— Халле — парень очень хороший, Сэти. Он будет добр к тебе.

— И все-таки, мэм, мы хотим пожениться!

— Да-да, ты ведь уже это сказала. И я ответила: хорошо.

— А свадьба будет?

Миссис Гарнер положила ложку. С улыбкой коснулась волос Сэти и сказала:

— Милая ты моя девочка.

И больше ни слова.

Сэти тайком сшила себе свадебный наряд, а Халле повесил свой аркан на гвоздь в ее каморке. И там, на тюфяке, что лежал прямо на земляном полу, они любили друг друга в третий раз; первые два были на кукурузном поле — это небольшое поле мистер Гарнер засеивал кукурузой, потому что ее ели не только животные, но и люди. И Халле, и Сэти были уверены, что там их никто не увидит. Нырнув в гущу кукурузных стеблей, сами они не видели ничего, только верхушки кукурузы, что раскачивались у них над головами... и это было видно каждому.

Сэти улыбнулась, вспомнив, какими они с Халле были тогда глупыми. Даже вороны сразу все поняли и явились посмотреть. Она снова вытянула ноги, постаралась не рассмеяться вслух.

Резкий переход от забав с телками к любви с настоящей девушкой, думал Поль Ди, оказался вовсе не таким уж впечатляющим. Во всяком случае, прыжка над пропастью для этого не потребовалось, как считал Халле. Но то, что Халле впервые взял Сэти в кукурузе, а не в хижине, находившейся буквально в двух шагах от хижин остальных негров, которые проиграли в этом соревновании, было проявлением его нежной заботы. Халле хотел, чтобы для Сэти это было таинством, а устроил, не ведая о том, публичное представление. Разве можно не заметить, как в безветренный безоблачный день качаются метелки на кукурузном поле? Поль Ди, Сиксо и два других Поля сидели под Братцем и поливали себе головы водой из кувшина, но и сквозь текущую по лицу холодную колодезную воду видели, как прямо перед ними качаются метелки кукурузы. Ох и тяжко же

это было, тяжко сидеть в невыносимом напряжении, сгорая от желания, и видеть, как под полуденным солнцем танцуют метелки на кукурузном поле. А вода, что охлаждала их головы и проясняла мысли, делала это зрелище еще нестерпимее.

Поль Ди вздохнул и перевернулся на другой бок. Сэти воспользовалась этим и тоже наконец пошевелилась. Глядя на спину Поля Ди, она вспомнила те кукурузные стебли, что сломались и согнулись над спиной Халле, и пальцы свои, которые цеплялись за все, что попадалось, и наконец вцепились в початки, обрывая листовую оболочку и шелковистые метелки.

Ах, как нежны были эти шелковистые метелки! Как сочны початки!

Ревнивое возбуждение видевших танцующие метелки мужчин потом еще возросло благодаря пиршеству, которое они устроили в ту ночь из молодых початков, сорванных с тех самых поломанных стеблей. Мистер Гарнер был уверен потом, что на поле побывали еноты. Поль Эф свои початки хотел поджарить; Поль Эй — сварить, и теперь Поль Ди уже не мог вспомнить, как же они все-таки приготовили эту кукурузу, которая еще и молочной-то зрелости не достигла. Но вот что он помнил отчетливо: как они осторожно очищали початки от шелковистых волосков, стараясь не повредить ногтями ни одного зернышка.

Срывание с початка его тугой листовой оболочки, сам этот звук всегда заставлял Сэти думать, что початку больно.

Но стоило содрать первый листок, как все остальные снимались легко, и обнаженные, беззащитные теперь зернышки представали перед глазами ряд за рядом. Ах, как нежны были эти шелковистые метелки! Как напоены соком заключенные в зеленую темницу зерна!

И неважно, что ты перепачкал весь рот и пальцы; разве можно принимать это в расчет, когда испытываешь столь простую и сильную радость.

Ах, как мягки, как нежны были эти шелковистые метелки! Такие пышные и свободные!

Все «секреты» у Денвер были душистые. Она всегда перекладывала свои драгоценности дикой вероникой, пока не открыла для себя такую замечательную вещь, как одеколон. Первый флакон ей подарили, второй она стащила у матери и спрятала в зарослях букса, а зимой одеколон замерз и флакон треснул. Это было в тот год, когда зима явилась второпях: как-то вечером, сразу после ужина заглянула к ним да и задержалась на целых восемь месяцев. Это были военные годы, и мисс Бодуин, та добрая белая женщина, принесла им подарки на Рождество — одеколон им с матерью, апельсины мальчикам, а Бэби Сагз — отличную шерстяную шаль. Говоря о Войне, где люди без конца умирают, она казалась удивительно счастливой — лицо ее пылало, и хотя голос у нее был низкий, почти мужской, она благоухала так, словно в комнате было полным-полно цветов,— восторг, связанный с этим ароматом, Денвер потом испытывала в полном одиночестве в зарослях букса. За домом номер 124 был небольшой лужок, за которым сразу начинался лес. В лесу протекал ручей, и на ближнем краю леса, между лугом и ручьем, среди огромных дубовых пней, росли пять буксовых кустов, образовавших пышную куртину; поднявшись над землей фута на четыре, кусты начали тянуться друг к другу, и в итоге получилось нечто вроде округлой беседки футов семи в высоту, с толстыми зелеными стенами из шепчущих что-то листьев.

Низко пригнувшись, Денвер ныряла в густую зелень, а внутри этой комнатки могла даже выпрямиться в полный рост, окруженная изумрудным светом.

Все это началось, еще когда она маленькой девочкой играла здесь в дочки-матери, но потом ее желания изменились, изменилась и сама игра. Здесь было тихо, никто сюда не заходил и никто не знал об этом месте, разве что кролики заглядывали, но сразу пугались отвратительного, с их точки зрения, запаха одеколона и убегали. Сперва Денвер просто играла

здесь (тишина в зеленой комнатке была какой-то удивительно спокойной), потом убегала сюда (от страха, владевшего ее братьями) и вскоре эта естественная беседка стала для нее самым любимым местом, где она спасалась от горестей горького мира и давала волю воображению, что было ей абсолютно необходимо, ибо беспросветное одиночество иссушало душу. Да, именно так: иссушало душу. Под защитой зеленых лиственных стен она чувствовала себя взрослой и умной, и спасение было совсем близко, стоило только пожелать.

Однажды она полуодетая сидела в своей лесной комнатке — это было в начале осени, задолго до того, как Поль Ди переехал к ним и стал жить с ее матерью,— и ей вдруг стало холодно: кожи ее коснулся какой-то странный ветер, пахнувший духами. Она быстро оделась, вылезла, пригнувшись, из своего зеленого убежища, выпрямилась, да так и застыла под падавшими с небес снежинками: этот мелкий колючий снежок словно пришел из воспоминаний матери о том, как она родила Денвер — в жалкой дырявой лодчонке с помощью белой девушки, в честь которой Денвер и получила свое имя.

Дрожа, Денвер подошла к дому, как всегда воспринимая его не как некое строение, а как живое существо. Существо, способное плакать, вздыхать, дрожать и страдать нервными припадками. Походка и взгляд Денвер были настороженными, точно у ребенка, что неуверенно подходит к не слишком обременённому заботами, однако очень нервному родственнику, зависимому, но гордому. Дом был закован в латы тьмы, приоткрыта была лишь одна нагрудная пластина — неярко светилось окно комнаты Бэби Сагз. Денвер заглянула туда и увидела, что мать молится, стоя на коленях, что было делом самым обычным. Необычным было другое (даже для девочки, что всю свою жизнь прожила в доме, где вовсю хозяйничают духи умерших): рядом с матерью и тоже как бы на коленях стояло белое платье, рукавом обнимая ее за талию. И то, как нежно платье обнимало ее своим рукавом, тут же заставило Денвер вспомнить обстоятельства ее появления на свет; а мелкие, колючие снежинки сыпались на нее с небес, словно лепестки цветов. Белое платье и мать казались двумя взрослыми женщинами-подругами — и одна из них (платье) поддерживала другую. А волшебство ее, Денвер, рождения — в общем-то, настоящее чудо,— как и ее собственное имя, словно подтверждало, что такая дружба возможна.

Она легко погрузилась в бесчисленное число раз рассказанную ей историю, и давно знакомые картины разворачивались перед нею, пока она брела по тропке от освещенного окна к двери. В доме была только одна дверь, и Денвер, чтобы добраться до нее, нужно было обойти весь дом кругом. и зайти с фасада, то есть пройти мимо теплой кладовки, мимо холодной, мимо уборной, мимо сарая — в общем, обойти весь двор и только потом подняться на крыльцо. А чтоб добраться до того места в знакомой истории, которое Денвер любила больше всего, ей пришлось начать вспоминать немного раньше: услышать птиц в густом лесу, шорох листьев под ногами, увидеть, как ее мать пробирается через пустынные, совершенно безлюдные холмы. Как она идет на своих истерзанных ногах, так что и ступить-то уже невозможно. Они настолько распухли, что Сэти не могла различить, где у нее свод стопы или щиколотка. Эти ноги или, точнее, бесформенные подпорки оканчивались толстыми, мясистыми лепешками, в которых чуть вырисовывались пять ногтей на пяти пальцах. Но она не могла, она ни за что не должна была останавливаться, потому что, если останавливалась, маленькая антилопа у нее внутри тут же начинала бодаться и уминать плоть ее чрева своими нетерпеливыми копытцами. Когда она шла, антилопа вроде бы успокаивалась и начинала мирно щипать траву — вот Сэти и не жалела своих несчастных ног, которым на шестом месяце беременности лучше было бы стоять спокойно. Возле закипающего на плите чайника; или у маслобойки; или у таза с бельем; или у гладильной доски. Молоко, липкое и прокисшее, пропитавшее платье у нее на груди, привлекало внимание всех летучих тварей от москитов до кузнечиков. К тому времени, как Сэти добралась до подножия этого холма, она

перестала даже отгонять их. Боль у нее в голове, сперва похожая на отдаленные удары колокола, к этому времени превратилась в сплошной гул, плотным шлемом охвативший голову и отдававшийся в ушах. Вдруг она споткнулась и куда-то провалилась. Все тело её, казалось, было мертво, кроме переполненных молоком грудей и маленькой антилопы внутри. Наконец она поняла, что все-таки упала и лежит на земле — острые стебельки дикого лука царапали ее висок и щеку. И, несмотря на то что она очень беспокоилась за свою жизнь, ибо от этой жизни зависела жизнь ее детей, она говорила Денвер, что подумала тогда: «Что ж, вот и хорошо, по крайней мере, не нужно больше делать ни шага». Эта мысль лишь мелькнула и тут же пропала, а может, и не возникала вовсе. Сэти ждала, когда маленькая антилопа у нее внутри снова начнет протестовать. Странно, и почему она все время представляла себе антилопу? Объяснить это было невозможно, потому что Сэти никогда ни одной антилопы не видела. Может, это воспоминание о той, давнишней ее жизни, что была до Милого Дома, о детстве, о тех местах, где она родилась (то ли в Каролине, то ли в Луизиане)? Хорошо она помнила только ту песню и танец. Даже собственную мать она помнила хуже. Мать показала ей старшая девочка, которой было уже восемь и она присматривала за младшими ребятишками: мать оказалась одной из множества женских спин, движущихся над залитым водой полем. Сэти терпеливо ждала, когда эта спина доберется до конца ряда и выпрямится. И увидела: на ее матери была фетровая шляпа, а у всех остальных соломенные — существенное отличие в этом мире тихо переговаривавшихся, вечно согнутых женщин, каждую из которых звали «Мам».

— Сэ-ти!

— Да, мам?

— Не оставляй ребенка одного.

— Хорошо, мам.

— Сэти!

— Что, мам?

— Принеси щепок для растопки.

— Хорошо, мам.

Ох! Но когда они пели... И, ох, когда они танцевали!.. А иногда они танцевали тот самый танец антилопы. Мужчины вместе с женщинами, одна из которых уж точно была ее «мам». Они меняли свое обличье и превращались в кого-то иного. В свободных, ничем не связанных диких животных, своевольных и своими копытцами чувствовавших ритм ее сердца лучше, чем она сама. Как и эта антилопа в ее животе.

«Наверное, матери этого ребенка так и суждено умереть в зарослях дикого лука на проклятом левом берегу Огайо». Вот что тогда было у нее на уме; она так и сказала Денвер. В точности так. И это вовсе ее почему-то не пугало, особенно если учесть, что тогда ей больше не нужно было бы делать ни шагу. Однако, представив себе, как она лежит здесь мертвая, а маленькая антилопа еще жива — сколько она проживет? час? день? сутки? — в ее безжизненном теле, она так ужаснулась, что громко застонала, и этот стон заставил человека, бредущего по тропе шагах в десяти от нее, остановиться и прислушаться. Сэти не слышала самих шагов, но вдруг почувствовала, что кто-то остановился неподалеку, а потом почувствовала запах волос. И услышала голос, который спрашивал: «Кто здесь»? Так. Все ясно. Ее обнаружил какой-то белый мальчишка. У него тоже, как и у тех, хищные зубы и мерзкие желания. Ясно также и то, что, даже достигнув предела измотанности, на самом берегу великой реки Огайо, всей душой стремясь к своим трем малышам, один из которых может умереть с голоду, не дождавшись молока, которое она несет, после того, как пропал ее муж, после того, как у нее украли молоко, а спину превратили в чудовищное месиво, после того, как осиротили ее детей,— даже после всего этого легкой смертью она не умрет. О нет!

Она рассказывала Денвер, что вдруг *нечто* вошло в нее прямо из земли — страшно холодное, но живое — и стало грызть ее своими челюстями изнутри. «Ледяными челюстями»,— говорила она. И вдруг ей захоте-

лось увидеть глаза того белого мальчишки, захотелось вырвать их зубами, прокусить ему щеку.

«Я вдруг почувствовала нестерпимый голод,— рассказывала она Денвер.— Ужасно! Мне ужасно хотелось увидеть его глаза. Ждать я не могла».

И она, приподнявшись на локте, немного проползла — подтягиваясь и раз, и другой, и третий, и четвертый — навстречу тому молодому голосу, который все спрашивал: «Эй, кто это там, а?»

«Подойди да посмотри,— думала Сэти.— И это будет последнее, что ты увидишь». Сперва появились чьи-то ноги, и она решила: что ж, видно, придется так выполнять волю Твою, Господи,— сейчас я эти ноги отгрызу. «Вот я сейчас смеюсь,— говорила Сэти дочери,— но я ведь действительно так думала. Я просто не успела. Но мне ужасно хотелось сделать это. Я была как змея. Ничего, кроме собственных челюстей и голода, не чувствовала».

Но это был вовсе не мальчишка. А белая девушка. Жуть какая оборванная, нечесаная — видно, из самых что ни на есть разбедняцких бедняков. И она сказала: «Ой, гляди-ка, негритянка! Вот это да! Прям невероятно!»

И дальше следовала та часть истории, которую Денвер любила больше всего.

Девушку звали Эми, и вот уж кому действительно нужны были крепкий бульон и побольше мяса. Руки у нее были узловатые и тонкие, как стебли сахарного тростника, а на голове — такая копна волос, что хватило бы на пятерых. Взгляд какой-то медлительный. Она вообще на все смотрела подолгу. Уставится — и смотрит. Зато говорила ужасно много и быстро, даже непонятно, как она успевала дышать. А ее похожие на стебли сахарного тростника руки оказались удивительно крепкими, прямо железными.

— Ну, знаешь, ни разу в жизни не видела более испуганного лица! Чего это ты? И что здесь, в темноте, делаешь?

Распластавшись на траве, как змея,— а ей все казалось, что она теперь стала змеей,— Сэти открыла было рот, готовясь ужалить, но оттуда вместо клыков и раздвоенного языка на свет явилась истина.

— Я убежала,— сказала вдруг Сэти. Это были первые слова, произнесенные ею за целый день, и она выговорила их с трудом, так сильно распух и болел язык.

— С такими ногами? Ах ты Господи! — Девушка присела на корточки и уставилась на распухшие ступни Сэти.— У тебя случайно ничего нету поесть, а?

— Нет.— Сэти заворочалась, пытаясь сесть, но не смогла.

— Умираю — как есть хочется.— Девчонка пошарила глазами вокруг, ища в траве что-нибудь съедобное.— Я думала, здесь черника растет. Похоже, что должна. Я только поэтому сюда и поднялась. И уж никак не думала, что какую-то негритянку здесь найду. А впрочем, если черника и была, так ее давно птицы склевали. А ты чернику любишь?

— Я беременна, мисс.

Эми посмотрела на нее.

— Так это тебе, наверно, потому есть и не хочется, да? Что ж, мне-то непременно нужно хоть что-нибудь проглотить.

Она пригладила свои немыслимые патлы руками и тщательно обследовала вокруг каждый кустик. Так и не обнаружив ничего съедобного, она решительно встала, явно намереваясь уйти. Сердце у Сэти так и подпрыгнуло при мысли, что она останется совсем одна, лежа на траве и без единого ядовитого зуба в пасти.

— Куда держите путь, мисс?

Девушка обернулась; глаза ее как-то по-новому блеснули.

— В Бостон. Бархату хочу купить. Там есть такой магазин, называется «Вильсон». Я видела картинки — у них самый красивый бархат продается. Никто не верит, что я бархат могу купить, а я его непременно куплю!

Сэти кивнула и приподнялась на локте.

— А ваша мама знает, что вы отправились искать этот бархат, мисс?

Девчонка тряхнула головой, отбрасывая волосы с лица.

— Моя мама работала на наших хозяев, чтоб свой проезд домой отработать. А тут я у нее родилась, и сама она почти сразу после этого умерла. Вот хозяева и заявили, что я должна отработать ее должок. Я и отработала. А теперь хочу купить себе бархат.

Они не смотрели друг на друга, по крайней мере, в глаза друг другу смотреть избегали. И тем не менее между ними тут же завязалась обычная, самая свойская беседа ни о чем — разве что одна из них лежала на земле.

— Бостон,— сказала Сэти.— А это далеко?

— Еще бы! Ужасно! Сто миль. А может, и больше.

— Небось бархат-то можно бы и поближе сыскать.

— Можно, да не такой, как в Бостоне. В Бостоне самый лучший. И мне так к лицу будет! Ты его хоть когда-нибудь трогала?

— Нет, мисс. Никогда я никакого бархата не трогала.— Сэти не понимала, в чем тут причина — то ли в голосе этой девчонки, то ли в Бостоне, то ли в бархате,— но когда эта белая девушка говорила, ребенок у нее в животе спал. Ни разу не толкнул и не пихнул ее изнутри, и она догадалась, что счастье, кажется, начало ей улыбаться.

— А ты хоть видела его? — спросила девушка.— Спорим, ты его даже не видела!

— Даже если и видела, все равно не знала, что это бархат. А на что он, бархат этот, похож?

Эми с недоверием перевела взгляд на Сэти, словно опасалась рассказывать о столь важных вещах какой-то незнакомой негритянке.

— Тебя как зовут-то? — спросила она.

И хотя Сэти находилась от Милого Дома достаточно далеко, не стоило все же называть свое настоящее имя первому встречному.

— Лу,— сказала Сэти.— Меня Лу зовут.

— Ну вот, Лу, значит, так: бархат похож на новорожденный мир. Чистый, нежный и очень мягкий. Тот бархат, что видела я, был коричневый, но у них в Бостоне есть любые цвета. Кармин, например. Это значит «красный», но когда говоришь о бархате, надо говорить «кармин».— Она уставилась в небеса, но потом, словно вдруг вспомнив, что и так уже слишком задержалась в пути, вскочила и заявила: — Мне пора идти.

Уже продираясь сквозь кусты, она крикнула Сэти:

— А ты-то что будешь делать? Так и будешь лежать, пока не разродишься?

— Я встать не могу,— сказала Сэти.

— Что? — Девушка остановилась и обернулась к ней, словно не расслышав.

— Я сказала, что не могу встать.

Эми рукой вытерла под носом и медленно вернулась к тому месту, где лежала Сэти.

— Вон там есть какой-то дом,— сказала она.

— Дом?

— Н-ну... я мимо проходила. Да нет, это ненастоящий дом, люди там не живут, конечно. Что-то вроде сарая или навеса.

— Далеко это?

— Ну, это как посмотреть. Но если ты останешься здесь на ночь, тебя змея укусить может.

— Что ж, пусть кусает. Я все равно не могу встать, не говоря уж о том, чтобы куда-то идти. Да, Господи, мисс, я и ползти-то не могу!

— Конечно же можешь, Лу! Давай, давай! — рассердилась Эми и, тряхнув копной волос, достаточной для пятерых, первой двинулась по тропе.

И Сэти поползла, а Эми шла рядом: когда Сэти нужно было передохнуть, Эми тоже останавливалась и понемножку рассказывала ей о Бостоне, о бархате и о разных вкусных вещах. Благодаря звуку ее непрерывно рассказывавшего что-то голоса, похожего на голос шестнадцатилетнего мальчишки, маленькая антилопа вела себя тихо,— видно, паслась на лужку. И пока она ползком преодолевала ужасный путь до сарая, ребенок совсем не брыкался.

Когда они наконец добрались до цели, одежда на Сэти вся превратилась в грязные лохмотья, за исключением повязки на голове. Ниже кровоточивших колен она вообще своих ног не чувствовала; переполненные груди кололо точно булавками. И лишь хрипловатый голос, что говорил о бархате, о Бостоне и всяких лакомствах, заставлял ее ползти дальше и думать, что, возможно, она все-таки ползет не к собственной могиле и это не последние часы в жизни ее не рожденного еще шестимесячного младенца.

В сарае было полно сухих листьев, которые Эми сгребла в кучу, чтобы Сэти могла лечь. Потом она притащила целую кучу камней, сверху тоже забросала их листьями и заставила Сэти положить ноги повыше, приговаривая:

— Знала я одну женщину, так ей, между прочим, ноги отрезали, когда они у нее так же вот распухли.— И она изобразила, как той женщине отпиливали ноги по колено.— Вжик пилой — и готово!.. Я вообще-то ничего была. Красивые руки и все прочее. Тебе небось это и в голову прийти не может, верно? Но это было до того, как они меня в подвале заперли. А знаешь, я как-то рыбу удила на Бивере. Знаешь, сомики там сладкие, как курятина. Ну так вот, удила я рыбу и подплывает ко мне утопший негр. Я страсть как утопленников не люблю, а ты? Между прочим, у тебя сейчас ноги совсем как у того негра. Такие же распухшие.

А потом она совершила чудо: подложила под ноги Сэти еще больше камней и стала растирать ей ступни и растирала до тех пор, пока Сэти от боли не заплакала горючими слезами.

— Да, конечно, теперь болеть-то будет,— сказала Эми.— Когда что-нибудь к жизни возвращается, всегда больно.

Истина на все времена, подумала Денвер. Может быть, то белое платье, обнимая своим рукавом талию ее матери, тоже страдало от боли? Если это так, значит, маленькое привидение что-то задумало. Входя в дом, она столкнулась с Сэти, выходившей из гостиной.

— Я видела, как тебя какое-то белое платье обнимало,— сказала Денвер.

— Белое? Может, это мое свадебное? А ну-ка, расскажи, как оно выглядело.

— С высоким воротом. На спине длинный ряд пуговок.

— Пуговки? Нет, не подходит. У меня отродясь ни одной пуговицы ни на чем не было.

— А у бабушки Бэби?

Сэти покачала головой.

— Она с ними управляться не умела. Даже с теми, что у нее на туфлях были. Ну а еще что?

— Сзади такие сборки. Там, на самом заду.

— Турнюр? Это было платье с турнюром?

— Я не знаю, как это называется.

— Ну, оно было так все присобрано? Сзади, ниже талии?

— Угу.

— Такие платья богатые дамы носят. Шелковое?

— Из хлопка, похоже.

— Из батиста, наверное. Из белого батиста. Ты сказала, что оно меня обнимало? Как?

— Оно было как ты. В точности как ты. И стояло на коленях подле тебя, когда ты молилась. И рукой обнимало тебя за талию.

— О Господи!

— О чем ты молилась, мама?

— Ни о чем таком. Я вообще больше ни о чем Господа не прошу. Я просто с ним разговариваю.

— И о чем ты с ним разговаривала?

— Ты не поймешь, детка.

— Нет, пойму.

— Я разговаривала с ним о времени. Мне так трудно поверить, что время действительно существует. Некоторые вещи уходят. Исчезают.

Проходят мимо. А некоторые остаются несмотря ни на что. Мне все казалось, это из-за моих вечных воспоминаний. Понимаешь? Некоторые вещи забываешь скоро. А некоторые — никогда. Оказалось — дело не в этом. Сами-то места, они всегда остаются там же, где и были. Если, к примеру, дом сгорит, его самого уже не будет, а место, где он стоял,— и воспоминания о том, где он стоял,— останется, и место это будет существовать не только в моей памяти, но и в жизни. А то, что я вспоминаю, это все берется оттуда, не у меня из головы; то есть я хочу сказать, что если даже я не буду ни о чем думать и даже если умру, то все, что я сделала, узнала или увидела, все равно там и останется. Именно там, где происходило.

— А другие люди могут это видеть? — спросила Денвер.

— О да! Да, да, да! Вот, например, идешь ты по дороге и вдруг ясно слышишь или видишь что-то прямо перед собой. Совершенно ясно. Ну и решишь, что просто подумала об этом. Что сама только что все это придумала. Ан нет. Это ты на чужие воспоминания налетела. То место, где я жила до этого дома номер сто двадцать четыре, на самом деле существует! И никогда никуда не денется. Даже если вся ферма целиком — каждое ее дерево, каждая травинка — исчезнет. Воспоминание о ней будет там; больше того, если ты туда отправишься — даже если никогда там не бывала — и постоишь на том месте, где эта ферма была, то все произойдет снова; все снова начнется — для тебя, будет поджидать тебя. Так что, Денвер, в Милом Доме тебе никогда нельзя появляться. Никогда. Потому что хоть все это и кончено давно — кончено раз и навсегда,— но те дни непременно будут ждать тебя там. Вот потому-то я и должна была навсегда увезти оттуда всех своих детей. Остальное значения не имело.

Денвер погрызла ногти.

— Если оно все еще там и ждет, то, значит, на свете ничто никогда не умирает?

Сэти посмотрела ей прямо в глаза.

— Ничто и никогда,— сказала она.

— Ты никогда толком не рассказывала мне о том, что там произошло. Я знаю только, что тебя выпороли плетью и ты сбежала. Беременная. Мной.

— А больше и рассказывать нечего, разве что о том учителе. Он был маленького роста. Коротышка. Всегда носил жесткий воротничок с галстуком, даже когда ездил в поле... Учит детей в школе, говорила она. Ей это было приятно. Приятно, что деверь у нее по-настоящему образованный, а согласился приехать и наладить дела на ферме после смерти мистера Гарнера. Наши-то вполне могли бы и сами с этим справиться, несмотря на то что Поля Эф уже продали. Но получилось в точности так, как говорил Халле. Она не захотела быть единственным белым человеком на ферме; да к тому же еще и единственной белой женщиной. И очень обрадовалась, когда этот школьный учитель согласился приехать. Он привез с собой двух парней. Сыновей или племянников. Не знаю. Они его звали Онка [1] и были очень хорошо воспитаны, и они, и он сам. Говорили негромко и сморкались в платочек. Ну очень воспитанные. Знаешь, из тех, кто даже с самим Иисусом Христом на короткой ноге и может запросто Его по имени звать, да только никогда этого не делает — из вежливости. Он очень хорошо в фермерских делах разбирался, так Халле говорил. Не был таким сильным, как мистер Гарнер, но зато весьма смекалистым. Ему очень нравились те чернила, что я делала. Рецепт-то был миссис Гарнер, но ему больше нравилось, когда их растирала и смешивала я, а хорошие чернила были для него очень важны, потому что по ночам он сидел и что-то писал в своей книге. Книга была про нас, но тогда мы еще этого не знали. Мы просто думали, что у него манера такая — всякие вопросы нам задавать. Он стал таскать с собой повсюду записную книжку и записывать все, что мы говорили. Я и сейчас думаю, что именно эти вопросы и доконали Сиксо. Совсем его доконали.

---

[1] Искаженное *англ.* uncle — «дядя». *(Здесь и далее — прим. перев.)*

Она умолкла.

Денвер понимала, что больше от матери ничего не добьешься — по крайней мере, сейчас. Один раз медленно поднялись и опустились веки; нижняя губа медленно поползла вверх и прижала верхнюю; ноздри раздулись, Сэти глубоко вздохнула, словно собиралась задуть свечу,— по этим признакам Денвер всегда сразу догадывалась, что больше мать рассказывать не будет.

— Знаешь, мне кажется, маленькое привидение что-то задумало,— сказала Денвер.

— Да? И что же?

— Не знаю, но то платье, которое тебя обнимало, что-то же, наверное, значит?

— Возможно,— сказала Сэти.— Может быть, оно что-нибудь и задумало.

Кто бы они ни были, кем бы они ни могли быть, Поль Ди прогнал их навсегда. Размахивая столом, громким своим мужским голосом крича, он избавил номер 124 от его дурной славы. Денвер давно уже приучила себя гордиться тем приговором, который вынесли им соседи-негры, считавшие, что привидение непременно злое и выискивает очередную жертву. Ведь никто из них никогда не испытывал тайного удовольствия от настоящих чар, от того, что ты не предполагаешь, а знаешь совершенно точно, что за миром окружающих тебя вещей есть еще один мир. Вот ее братья это понимали, но боялись; бабушка Бэби это знала, но печалилась. Никто не способен был по-настоящему оценить то, что находиться в компании маленького привидения совершенно безопасно. Даже Сэти его не любила. Она просто мирилась с его присутствием — как мирятся с неожиданной переменой погоды.

А теперь оно исчезло. Изгнано гневными воплями мужчины с ореховыми глазами, и мир Денвер сразу стал плоским, неинтересным, у нее осталась только ее изумрудная комнатка высотой в семь футов, в лесу, у ручья. У матери были свои секреты — то, о чем она ни за что не хотела говорить или рассказывала только наполовину. Что ж, и у Денвер тайны тоже есть. И все ее «секреты» всегда так хорошо пахнут — словно одеколон «Ландыш».

Сэти не слишком задумывалась о том белом платье, пока не пришел Поль Ди, и тогда она вспомнила слова Денвер: маленькое привидение что-то задумало. Наутро после первой ночи, проведенной с Полем Ди, Сэти улыбалась, стоило ей подумать о том, что может означать одно-единственное слово. Это была роскошь, которой она не испытывала целых восемнадцать лет. Это было впервые за долгое время. До этой ночи она старалась не то чтобы избежать боли, но побыстрее перетерпеть ее. Когда-то, единственный раз в жизни, она строила планы — когда решилась бежать из Милого Дома,— и все тогда пошло вкривь и вкось, и она больше никогда не осмеливалась перечить судьбе и что-то еще задумывать сама.

И все же в то утро, когда она проснулась рядом с Полем Ди, ей сразу вспомнилось то слово, которое ее дочка употребила несколько лет назад, и она подумала о том, кто это там в белом платье стоял на коленях с нею рядом, а еще — о том искушении, что охватило ее вчера у кухонной плиты, когда он обнял ее сзади,— о страстном желании поверить и запомнить. А может, так и нужно? А может, стоит все-таки жить дальше и что-то чувствовать? Жить дальше и на что-то рассчитывать?

Мысли у нее путались, пока она лежала с ним рядом и слушала его дыхание, а потому — потихоньку, очень осторожно — она выбралась из кровати.

Стоя на коленях в гостиной, куда обычно приходила поговорить с Богом и подумать, она вдруг отчетливо поняла, почему Бэби Сагз так тосковала по ярким краскам. В этой комнате не было ничего яркого, кроме

двух оранжевых квадратов на стеганом лоскутном одеяле, которые среди здешней мрачной обстановки выглядели поистине ослепительно. Стены комнаты были серые, пол — землисто-коричневый, деревянный туалетный столик — темно-бежевый, занавески — белые, а главный здесь предмет — стеганое лоскутное одеяло на железной кровати — являл собой полный набор темных и мрачных оттенков, который предполагал бережливость и скромность хозяйки: кусочки синей саржи, черной, коричневой и серой шерсти. И на этом фоне дико и неожиданно выглядели два оранжевых пятна — как жизнь в стране мертвых.

Сэти посмотрела на свои руки, торчавшие из рукавов платья бутылочно-зеленого цвета, и подумала, как все-таки мало в этом доме ярких красок и как странно, что до сих пор и она не затосковала по ним, как Бэби Сагз. Это неспроста, подумала она, определенно неспроста, потому что последняя яркая краска, которую она помнила, была розовой — розовый, покрытый блестками камень, который она положила на могилу своей малышки. После этого она стала различать цвета не лучше, чем наседка. Каждый день с раннего утра она трудилась над пирожками с фруктовой начинкой, над различными закусками из картофеля и прочих овощей, пока повар занимался супами, мясом и всем остальным. Но ей было совершенно безразлично, были ли в тот день яблоки зелеными, а кабачок желтым. Каждый день она видела утреннюю зарю и закат, но краски небес в этот час ее не трогали. Что-то тут было неладно. Как будто, увидев однажды красную кровь ребенка, а потом блестки на розовом надгробье, она совершенно перестала различать цвета.

Дом номер 124, может быть, именно потому был так полон всяких сложных чувств и переживаний, что сама Сэти теперь совершенно равнодушно относилась к любой утрате. Было время, когда она каждое утро и вечер пристально вглядывалась в поля, надеясь снова увидеть там своих мальчиков. Когда она стояла у открытого окна, не замечая мух, склонив голову к левому плечу, и все смотрела, смотрела — все высматривала их. Тень от облака на дороге, какая-нибудь старуха, коза, сорвавшаяся с привязи и изодранная колючками ежевики,— все сперва казалось ей Ховардом — нет, Баглером. Но понемногу она прекратила высматривать их в поле, и лица тринадцатилетних мальчишек совершенно растворились в ее памяти, превратившись в личики младенцев, да и то являвшихся ей только во сне. Когда же ее сны вылетали за пределы дома номер 124 и направлялись куда им захочется, она порой видела сыновей среди прекрасных деревьев Милого Дома, видела их крошечные ножонки, скрывавшиеся среди густой листвы. Иногда же мальчики бежали вдоль железной дороги и смеялись — чересчур громко, чтобы расслышать ее, ибо никогда не оборачивались на ее зов. А когда она просыпалась, дом снова обступал ее со всех сторон: вон дверь, а там выстроились в ряд противни с сухим печеньем; вон белые ступеньки лестницы, по которой так любила ползать ее малышка; вон уголок, где Бэби Сагз чинила обувь, груда которой до сих пор валяется в холодной кладовой; вон то самое место на плите, где Денвер обожгла пальцы. И конечно же, сразу ощущалось то проклятие, что опутывало весь дом, не оставляя места ни для чего другого. Пока не появился Поль Ди, не разломал здесь все, не расчистил место — для себя, не заставил то, что жило в доме, занимая его целиком, потесниться, не изгнал его совсем, а сам остался стоять посреди устроенного им побоища.

Так что на следующее утро после появления в их доме Поля Ди, стоя на коленях в гостиной, она вдруг совершенно отчетливо почувствовала, глядя на два оранжевых квадрата, подтверждавших это: дом номер 124 пуст.

И все из-за него. При нем все чувства как бы спешили подняться на поверхность. Вещи становились тем, чем и должны были быть: унылое однообразие и выглядело уныло; жар печи обжигал. Из окон неожиданно открылся вид. И представьте себе, Поль Ди, оказывается, еще и пел!

Немножко риса, чуть-чуть бобов.
А мяса нету; поел — и готов.

Ох, тяжела работа,
Когда все жрать охота!

Ну да, он уже встал и пел, приводя в порядок то, что вчера разнес вдребезги. Песенки были все какие-то незнакомые; наверное, он выучил их в той тюрьме-каменоломне, а может, на Войне. Ничего подобного они в Милом Доме не пели; там в их песнях каждое слово было пронизано тоской о любви.

А эти песни, привезенные им из Джорджии, были похожи на гвозди с плоскими головками, которые он вколачивал, вколачивал, вколачивал...

На рельсы свою голову положу,
Пусть поезд пройдет — ничего не скажу.
Ах, если б только я начальником стал,
Почем фунт лиха, белый босс бы узнал!

Пять центов получишь,
А счастья — ни на грош.
Кайлом все машешь —
Свою жизнь убьешь...

Как-то они не годились здесь, эти песни. Они были слишком громкими, слишком много в них было силы для тех мелких домашних дел, которыми он сейчас занимался: приделывал к столу отломанные ножки, вставлял стекла.

Но он не мог больше петь «Бурю над морем», которую они так часто пели под деревьями Милого Дома, так что предпочел мурлыкать без слов те песенки, что приходили ему в голову, и чаще всего «Босые ноги. Ромашки сок... Возьми мою шляпу, постелью помани...».

Ужасно ему хотелось изменить слова песенки и спеть сразу: «Отдай мою шляпу, ботинки отдай...», потому что он не верил, что сможет жить с женщиной — с любой — дольше чем месяца два-три. Примерно столько же времени он был способен оставаться на одном месте. Так стало после Делавэра и еще до этого проклятого Альфреда в штате Джорджия, где он спал в норе под землей и выползал на солнечный свет с единственной целью — долбить камень и где побег, когда он оказался к нему готов, был совершен с единственной целью — убедить себя, что он никогда больше не будет закованным в цепи ни спать, ни испражняться, ни есть, ни разбивать камни тяжелой кувалдой.

Но это была не обычная женщина в обычном доме. Стоило ему вступить в то пятно красного света, как он это понял, и в сравнении с домом номер 124 весь остальной мир казался ему теперь убогим, бесцветным. После Альфреда он заставил навсегда замолчать изрядную часть своей души и пользовался лишь той, что давала ему возможность ходить, есть, спать, петь. Если он сможет делать все это — да еще если подбросить для разнообразия какую-нибудь работу и немного секса,— то больше ему ничего и не нужно, потому что если ему захочется большего, то в памяти непременно всплывет лицо Халле и смех Сиксо, и придется с этим жить. И тогда он вспомнит, как его била дрожь в той земляной норе. И как он был даже по-своему благодарен за те дневные часы, в течение которых вкалывал, как мул, в каменоломне, потому что, держа в руках кувалду, он переставал дрожать. Та земляная нора сделала с ним то, чего не смог сделать Милый Дом, чего не сделала с ним ишачья работа и собачья жизнь: довела его до того, что лишь чудом он не лишился рассудка.

К тому времени как он добрался до штата Огайо, потом до города Цинциннати, потом до дома матери Халле Сагза, он считал, что уже все на свете видел и пережил. И сейчас, вставляя сломанную им же оконную раму, он удивлялся той радости, какую испытал, увидев жену Халле живой, когда она босиком, с непокрытой головой вышла из-за дома, неся в руках свои чулки и башмаки.

— Я подумал, не поискать ли мне где-нибудь здесь работу. Ты как считаешь?

— Выбор тут невелик. В основном на реке. И еще со свиньями — на бойне.

— Что ж, на реке я, правда, никогда не работал, но могу поднять любую тяжесть весом с меня. В том числе и свинью.

— Здесь белые, конечно, лучше, чем в Кентукки, но тебе, возможно, придется драться за место.

— Не важно, буду ли я драться за место: важно — где это место найти. Так ты считаешь, это нормально, если я попробую здесь остаться?

— Очень даже неплохо было бы.

— А твоя дочка? Денвер? Сдается мне, она по-другому думает.

— С чего это ты решил?

— Она будто ждет чего-то... словно что-то должно произойти. Но, уж конечно, не того, что я тут останусь.

— Не знаю, что ты имеешь в виду.

— Ладно, как бы то ни было, а она уверена: я здесь лишний.

— На этот счет можешь не беспокоиться. Она просто привыкла среди духов жить. С самого начала. И сама, наверно, уже чуточку заколдована.

— А это разве хорошо?

— Наверно. С ней-то ничего плохого случиться не может. Вот смотри. Все, кого я знала, либо умерли, либо пропали без следа. Но только не она. Не моя Денвер. Даже когда я носила ее, даже когда стало ясно, что я не смогу нормально разродиться — а значит, и сама она в живых не останется,— она притянула к себе из-за холма какую-то белую девушку. Уж такой-то помощи я ожидала меньше всего. А когда этот учитель нашел нас и они ворвались сюда, вооруженные законом и ружьями...

— Так он все-таки вас нашел?

— Не сразу, но нашел. Отыскал в конце концов.

— И не увез вас обратно?

— О нет! Я туда возвращаться была не намерена. И мне было все равно, кто там меня нашел. Куда угодно, только не туда! Вот я и отправилась в тюрьму. Денвер была грудная, так что и она отправилась в тюрьму со мной вместе. Крысы там жрали все, что попадется, но ее не тронули.

Поль Ди отвернулся. Ему хотелось узнать об этом побольше, однако упоминание о тюрьме вновь вернуло его в проклятый Альфред в штате Джорджия.

— Мне нужны гвозди. Здесь у кого-нибудь можно занять гвоздей, или мне обязательно в город идти?

— Да лучше в город. Тебе ведь все равно и еще кое-что нужно.

Всего одна ночь — и они уже разговаривали как муж и жена. Они словно перескочили через пылкую любовь и всякие обещания и перешли прямо к «это нормально, если я попробую остаться здесь?».

Для Сэти будущее зависело от того, сможет ли она не подпускать к себе прошлое. Она считала, что теперь они с Денвер живут «лучше, чем тогда», а на самом деле — просто иначе, чем тогда.

Однако то, что Поль Ди явился из тогдашней жизни и попал прямо в ее постель, тоже оказалось не так уж плохо; и мысли о будущем — с ним или без него — уже начинали тревожить ее. Что же касается Денвер, то здесь имели значение только те усилия, которые Сэти всегда прилагала и будет прилагать, охраняя дочь от прошлого, все еще поджидавшего ее. Только это и было важно.

Приятно озабоченная этими мыслями, Сэти избегала заходить в гостиную и старалась не замечать косых взглядов Денвер. Поскольку знала — такова уж жизнь, ничего хорошего не жди. Денвер постоянно во все вмешивалась и на третий день открыто спросила Поля Ди, долго ли он еще собирается здесь торчать.

Видно, эти слова сильно задели его: он даже чашку с кофе мимо стола поставил. Чашка упала на пол и покатилась по покосившимся половицам к входной двери.

— Торчать здесь? — Поль Ди даже не взглянул на разлитый кофе.

— Денвер! Да что с тобой такое? — Сэти посмотрела на дочь, чувствуя скорее растерянность, чем гнев.

Поль Ди поскреб заросший щетиной подбородок.

— Может, мне действительно пора сматываться отсюда?

— Нет! — Сэти даже удивилась, так громко она это выкрикнула.

— Он сам знает, что ему нужно,— заявила Денвер.

— Зато ты не знаешь,— ответила ей в тон Сэти.— Ты не знаешь даже, что и тебе самой-то нужно. И я больше не желаю слышать от тебя ни единого слова.

— Я просто спросила, не пора...

— Заткнись! Можешь сматываться отсюда сама. А пока пойди куда-нибудь и посиди молча.

Денвер взяла свою тарелку и вышла из-за стола, но успела добавить еще куриную спинку и несколько булочек к той куче еды, которую уносила с собой. Поль Ди наклонился, собираясь вытереть разлитый кофе своим синим носовым платком.

— Я сама вытру! — Сэти вскочила и бросилась к плите. За плитой висели разные тряпки и белье — все в разных стадиях высыхания. Сэти молча вытерла пол и подобрала откатившуюся к порогу чашку. Потом налила ему кофе в другую чашку и аккуратно поставила ее на стол перед ним. Поль Ди коснулся ее краешка, но ничего не сказал — словно даже простое «спасибо» выговорить ему было не под силу, а сам кофе представлялся таким великим даром, которого он не мог позволить себе принять.

Сэти снова придвинула свой стул к столу, и они продолжали сидеть молча. В конце концов она поняла, что если хочет, чтобы молчание было нарушено, то должна заговорить первой.

— Я ее этому не учила.

Поль Ди погладил краешек чашки и промолчал.

— И я настолько же поражена ее поведением, насколько ты — обижен!

Поль Ди посмотрел на Сэти.

— Она ведь неспроста этот вопрос задала, верно?

— Неспроста? Что ты хочешь этим сказать?

— Ну, ей, наверно, уже приходилось задавать этот вопрос или, может, хотелось его задать — о ком-то другом, до меня?

Сэти сжала руки в кулаки и подбоченилась.

— Ты, видно, и сам не лучше этой девчонки!

— Не сердись, Сэти.

— Нет, буду! Буду!

— Ты же понимаешь, что я имел в виду.

— Понимаю, и мне это не нравится.

— О Господи,— прошептал он.

— Кто? — Сэти уже опять кричала.

— Господи! Я сказал «о Господи»! Я всего лишь сел поужинать, а меня дважды вывозили мордой об стол. Один раз за то, что я вообще здесь сижу, а второй — за то, что я спросил, почему меня облаяли в первый раз!

— Она тебя не облаивала.

— Нет? А похоже на то.

— Послушай-ка. Я прошу у тебя прощения за нее. Я действительно...

— Ты этого сделать не можешь. Ни за кого ты просить прощения не можешь. Она сама должна это сделать.

— Ну тогда я позабочусь о том, чтобы она непременно это сделала.— Сэти вздохнула.

— Я вот что знать хочу: не тот ли она самый вопрос задала, что и у тебя на уме?

— Ох нет, нет, Поль Ди! Нет.

— Значит, у вас на этот счет разные мнения? То есть если она вообще со своим умишком способна мнение иметь.

— Извини, но я не желаю слышать про нее ничего дурного. Я сама ее накажу и отругаю. А ты оставь ее в покое.

Опасно, подумал Поль Ди, очень опасно. Для бывшей рабыни очень опасно любить кого-то так сильно, особенно собственных детей. Лучше всего, он это знал по опыту, любить чуть-чуть; совсем немножко, чтобы когда сломают твоей любви хребет или запихнут ее в саван, тогда, что ж, тогда у тебя все-таки останутся еще силы для другой любви.

— Почему? — спросил он ее.— Почему ты считаешь себя обязанной все время ее покрывать? Извиняться за нее? Она уже взрослая.

— Мне все равно, взрослая она или нет. Разве это имеет значение для матери? Ребенок есть ребенок. Ну да, они растут, становятся старше, но взрослыми?.. Как это — взрослыми? Для меня, например, это ничего ровным счетом не значит.

— Это значит, что если она что-то сделала, то должна и отвечать за свои поступки. Ты же не можешь все время защищать ее. А что будет, когда ты умрешь?

— Ничего! Я буду защищать ее, пока жива, и когда умру — тоже.

— Ах так? Ну хорошо, с меня хватит,— сказал он.— Я ухожу.

— Да так уж оно есть, Поль Ди. Не умею я объяснить лучше, да только так уж оно и есть. Если мне придется выбирать — что ж, выбирать-то, собственно, будет нечего.

— В этом-то все и дело. Именно в этом. Я не прошу тебя выбирать. И никто бы на моем месте не попросил. Я думал... ну, я думал, ты сможешь... думал, тут и для меня место найдется.

— Она спросила меня...

— Так нельзя. Надо ей все прямо сказать. Объяснить, что дело не в том, что кого-то ей предпочли,— просто нужно чуть потесниться, чтобы кому-то еще рядом с ней местечко нашлось. Ты должна ей это сказать. А если ты можешь это сказать и действительно так думаешь, тогда тебе должно быть ясно, что нельзя и мне рот затыкать. Я ведь никак не собирался ей вредить; и мне ее переживания небезразличны; и я, конечно, буду о ней заботиться, если смогу. Но я не могу позволить, чтобы мне затыкали рот, когда она отвратительно ведет себя. Если хочешь, чтобы я тут остался, так нечего затыкать мне рот.

— Может быть, стоит оставить все как есть? — задумчиво сказала она.

— А как есть?

— Мы вполне уживаемся.

— А как насчет того, что у каждого на душе?

— Это меня не касается.

— Сэти, если я останусь здесь, с тобой, с Денвер, ты сможешь ходить куда хочешь, говорить что хочешь. Можешь прыгнуть с любой высоты — я непременно тебя поймаю, детка. Поймаю прежде, чем ты упадешь. Можешь лезть мне в душу как хочешь глубоко — я тебя за ноги удержу. Чтобы ты уж точно смогла вернуться. Я это говорю вовсе не потому, что мне нужно где-то жить. Это-то мне нужно как раз меньше всего. Я же говорил тебе: я настоящий бродяга; но сюда я стремился целых семь лет. Прошел весь этот долгий путь пешком. К северным границам одного штата, к южным — другого, на восток, на запад... Я бывал в такой глуши, что у нее и названия-то нету, и нигде никогда не заживался подолгу. Но когда я добрался сюда и уселся на веранде, поджидая тебя, что ж, вот тогда я понял, что вовсе не в эти места так стремился; я стремился к тебе. Мы с тобой можем вместе прожить целую жизнь, милая. Целую жизнь!

— Не знаю я. Ох, не знаю!

— Предоставь это мне. Посмотрим, как оно пойдет. Никаких обещаний, если ты не хочешь. Просто посмотрим, как оно пойдет. Хорошо?

— Хорошо.

— Так ты готова предоставить все это мне?

— Ну... кое-что.

— Кое-что? — Он улыбнулся.— Ладно. Пусть будет кое-что. В городе идет карнавал. В четверг, завтра, праздник для цветных, и у меня есть два доллара. Мы с тобой и с Денвер отправимся туда и истратим их до последнего цента. Что скажешь?

— Нет! — вот что она сказала. По крайней мере, начала говорить (и вообще, что скажет ее хозяин, если она попросит выходной?), но, уже сказав «нет», она думала о том, как ей приятно видеть перед собой его лицо.

В четверг кузнечики орали вовсю, и небо в легких перистых облаках казалось белесым от жары уже в одиннадцать. Сэти для такой погоды оделась исключительно неудачно, но поскольку это был ее первый выход в свет за восемнадцать лет, она просто чувствовала себя обязанной надеть свое единственное парадное платье, слишком тяжелое и теплое, и шляпку. Шляпка, конечно же, была необходима. Ей не хотелось встретить по дороге Леди Джонс или Эллу и чтобы те подумали, что она идет на работу, раз голова у нее повязана платком. Это платье, немного, правда, поношенное, зато из хорошей шерсти, было рождественским подарком Бэби Сагз от мисс Бодуин, той белой женщины, которая очень Бэби любила. Денвер и Поль Ди оделись куда более подходящим для такой жары образом, потому что не чувствовали — ни тот, ни другая — ни обязанности, ни потребности одеваться как-то особенно торжественно. Денвер даже шляпку сняла, и та болталась где-то у нее за спиной. Поль Ди был в жилетке нараспашку, без пиджака, и даже рукава рубашки закатал выше локтей. Они шли не держась за руки, зато за руки держались их тени. Сэти глянула влево и увидела, как все три их тени скользят по пыльной обочине, держась за руки. Может быть, он все-таки прав? Прожить целую жизнь. Глядя на тени, державшиеся за руки, Сэти с изумлением подумала, что оделась так, словно идет в церковь. Те люди, что идут впереди и позади них, непременно решат, что она важничает, дает им понять, что она не такая, как они, потому что живет в двухэтажном доме; что она сильнее их, потому что смогла сделать и пережить такое, чего они-то уж точно не сделали бы и были уверены, что и она никогда не сделает и не переживет. Она была рада, что Денвер не согласилась с ее настойчивыми требованиями «одеться как следует» или по крайней мере переплести косы. Но Денвер и не пыталась сделать эту прогулку хоть сколько-нибудь приятной. Она и пойти-то согласилась надувшись, и на лице у нее прямо-таки было написано: «Ну-ну, давайте веселитесь! А ну-ка, попробуйте развеселите меня». Зато уж кто был действительно счастлив, так это Поль Ди. Он каждому встречному за версту кричал «Привет!», все время смеялся из-за того, какая ужасная сегодня жара, передразнивал орущих ворон и первым бросился нюхать уже отцветающие розы. Но все время, что бы они ни делали — смахивала ли Денвер пот со лба или останавливалась, чтобы завязать шнурок на ботинке; пинал ли Поль Ди ногой камешек на дороге или тянулся, чтобы погладить по щечке ребенка, уснувшего у матери на плече,— все время три тени, что следовали слева от них по обочине, держались за руки. Никто этого не замечал, кроме Сэти, и она вскоре тоже перестала смотреть туда, решив, что это добрый знак. Целая жизнь? Хм, возможно.

Вдоль изгороди лесного склада пышными кустами росли и отцветали розы. Тот пильщик, что посадил их двенадцать лет назад, придавая лесопилке более привлекательный вид — а может, отчасти, искупая грехи, ибо распиливал деревья, чтобы прокормиться,— был и сам поражен, как быстро они принялись и заполонили все вокруг, обвив сколоченную из толстых досок ограду, отделявшую склад от находящейся рядом площади, где спали бездомные, бегали дети и один раз в год устроители карнавала устанавливали свои пестрые шатры и палатки. Чем больше увядали розы, тем сильнее становился их аромат, и для каждого, кто приходил сюда в эти дни, карнавал всегда сочетался с запахом умирающих роз. От сладкого запаха кружилась голова и хотелось пить, но он ничуть не уменьшал желания цветных повеселиться, и толпы их тянулись по дороге к площади. Некоторые шли по заросшей травой обочине, другие тряслись в скрипучих повозках по самой пыли. Все, как и Поль Ди, пребывали

в приподнятом настроении, которое не мог испортить даже запах умирающих роз (Поль Ди призывал каждого полюбоваться ими). И когда цветные толпой подходили ко входу, перегороженному веревкой, то прямотаки светились, как зажженные лампы, прямо-таки задыхались от волнения, видя, как белые люди специально для них творят чудеса, изображают клоунов, без головы или с двумя головами сразу, в двадцать футов высотой или, наоборот, в два фута, людей-мастодонтов весом в целую тонну, людей, с ног до головы покрытых татуировкой, людей, глотающих стекло и огонь и извлекающих изо рта немыслимой длины ленты, людей, завязанных в узлы, делающих пирамиды из человеческих тел, играющих со змеями и борющихся друг с другом.

Все это было перечислено в афише, которую прочитали те, кто умел читать, и услышали те, кто читать не умел; и даже понимание того, что почти все это неправда, тоже нисколько не уменьшило их аппетита. Клоун у ворот громко обзывал их и их детей («Для щенков вход свободный!»), но из-за его перепачканной едой куртки и драных штанов ему прощали все. Да и то — невелика цена за такое удовольствие! Они такого, может, больше в жизни не увидят. Два цента и оскорбление, брошенное в лицо,— не слишком дорого, чтобы посмотреть спектакль, который устраивают белые, забавляясь — и забавляя негров. Так что, хотя само по себе веселье было куда ниже среднего (именно поэтому устроители карнавала и согласились выделить четверг для цветных), все равно четыре сотни чернокожих, что пришли повеселиться, получали массу удовольствий, одно за другим.

Леди-Весом-В-Тонну все плевала в их сторону, но из-за своей толщины доплюнуть не могла, и они здорово потешались, видя беспомощную злобу в ее заплывших жиром глазках. Танцовщица из «Тысячи и одной ночи» танцевала всего лишь три минуты вместо полагавшихся пятнадцати — но заслужила благодарность чернокожих детей, которым не терпелось поскорее увидеть Абу Заклинателя Змей.

Денвер заказала шандры, лакрицы, мятных леденцов и лимонад; все это им подали за столик, и обслуживала их маленькая белая девчушка в дамских туфлях на высоких каблуках. Утешив себя сладостями и видя людей, которые пришли сюда не смотреть на нее с любопытством, а веселиться, причем буквально каждую минуту кто-то говорил «привет, Денвер!», она была почти довольна и даже попробовала взглянуть на этого Поля Ди с другой точки зрения; возможно, он был не так уж и плох. И правда, что-то в нем было такое — когда они все втроем стояли и смотрели, как танцует лилипут, взгляды, бросаемые на Поля Ди другими неграми, почему-то мягчели, добрели, а от этого Денвер давно уже отвыкла. Некоторые даже кивали и улыбались ее матери, и явно никто не мог сопротивляться исходившему от Поля Ди веселью. Он восхищенно хлопал себя по колену, когда Великан танцевал с Лилипутом или когда Двухголовый человек разговаривал сам с собой. Он покупал все, о чем бы Денвер ни попросила, и многое, о чем она не просила вовсе. Он поддразнивал Сэти, уговаривая ее зайти в те балаганы, куда она зайти ни за что не соглашалась. Совал ей в рот кусочки лакомств, которые она есть отказывалась. Когда Настоящий Африканский Дикарь стал трясти свою клетку и страшно рычать на них, Поль Ди заявил при всех, что этого парня он знавал еще в Роэноке.

Поль Ди познакомился и кое с кем нужным; и даже договорился насчет подходящей работы. Сэти начала улыбаться в ответ на приветливые улыбки знакомых. У Денвер от радости кружилась голова. И на пути домой тени этих троих, теперь двигавшиеся впереди, по-прежнему держались за руки.

Полностью одетая женщина в нарядном платье вышла прямо из ручья. Едва выбравшись на сухой берег, она опустилась на землю и прислонилась к шелковице. Весь день и всю ночь просидела она там, опершись затылком о ствол дерева и поломав сзади поля соломенной шляпки. Она

чувствовала боль во всем теле, больше всего — в легких. Промокшая насквозь, хватая воздух открытым ртом, она все это время тщетно пыталась бороться со смыкавшимися тяжелыми веками. За день ветерок постепенно высушил ее платье; но влажный ночной ветер снова смял его. Никто не видел, как она оказалась на берегу. А если бы и видел, то вряд ли решился бы подойти. Не потому, что она была вся мокрая, или бредила наяву, или дышала с трудом, так, словно у нее астма, но потому, что, несмотря на все это, она улыбалась. Ей потребовалось целое утро, чтобы заставить себя подняться с земли, пройти через лес, мимо гигантских, похожих на замок, зарослей букса, миновать лужок и приблизиться к окрашенному серой краской дому номер 124. Совершенно выбившись из сил, она села в первом же приглянувшемся ей уголке — на пень возле лестницы, ведущей на веранду. К этому времени ей уже не так трудно было держать глаза открытыми. Она могла не смыкать веки минуты две, а может, и больше. Но тонкая шейка упорно клонилась вниз, и тогда подбородок касался дорогих кружев, которыми был отделан вырез ее платья.

Так порой выглядят женщины, которые пьют шампанское даже тогда, когда и праздновать-то вовсе нечего; и шляпки с поломанными полями частенько сидят на них криво; и они клюют носом в общественных местах; и шнурки у них на ботинках обычно развязаны. Но вот кожа у них никогда не бывает такой, как у той женщины, что сидела, тяжело дыша, на пне возле крыльца дома номер 124. Кожа у нее была как у младенца — гладкая, без единой морщинки, даже на суставах пальцев.

Ближе к вечеру, когда закончился карнавал и негры возвращались домой — подсаживаясь к кому-нибудь в повозку, если повезет, или пешком,— юная женщина снова уснула. Солнечные лучи били ей прямо в лицо, так что когда Сэти, Денвер и Поль Ди вышли из-за поворота дороги, то сперва увидели только какое-то черное платье, из-под которого торчат расшнурованные башмаки, а пса по кличке Мальчик и след простыл.

— Глядите-ка,— сказала Денвер,— что это?

И вдруг — Сэти и сама не поняла, что случилось,— стоило ей подойти поближе и вглядеться в лицо этой женщины, как она почувствовала, что мочевой пузырь у нее сейчас просто лопнет. Пробормотав: «Ой, извините», она бросилась за дом. Ни разу с тех пор, когда она была еще совсем маленькой и находилась под присмотром той восьмилетней девочки, которая показала ей мать, она не чувствовала, что может и не удержаться. Добежать до уборной она не успела и вынуждена была задрать юбку у самой ее двери. Из нее буквально хлынул поток воды. Как у лошади, подумала она. Вода все лилась и лилась, и ей показалось, что это похоже на родовые воды, которыми она чуть не затопила ту дырявую лодку, когда рожала Денвер. «Господи, сколько же из тебя воды выходит,— сказала тогда Эми,— ты бы придержала ее, Лу, а то совсем нас утопишь». Но удержать воды, исторгавшиеся из разверстого чрева, было тогда невозможно — как и теперь. Она надеялась только, что Поль Ди не станет беспокоиться и не пойдет за дом искать ее — ведь тогда он увидит, как она сидит на корточках перед дверью уборной и в пыли уже пробила такую воронку, что смотреть стыдно. И как раз когда она уже начала думать, не примут ли ее в качестве очередного уродца в свой балаган устроители карнавала, как все кончилось. Сэти оправила юбку и бросилась к крыльцу. Там никого не было. Все трое уже вошли в дом — Поль Ди стоял перед незнакомкой и смотрел, как она жадно пьет воду, одну кружку за другой.

— Она сказала, что очень хочет пить,— сказал Поль Ди. И снял шляпу.— Похоже, ее и впрямь ужасная жажда мучает.

Женщина залпом выпила протянутую ей полную жестяную кружку и попросила еще. Четыре раза Денвер подавала ей полную кружку, и все время женщина эта пила так, словно пересекла пустыню. Когда она наконец напилась, на подбородке у нее осталось несколько капель воды, но она не стала их вытирать. А каким-то сонным взглядом уставилась на Сэти. Голодная, подумала Сэти, и гораздо моложе, чем можно предположить по

ее одежде — дорогие кружева на платье и шляпка из тонкой соломки. Кожа у нее была безупречной, за исключением трех вертикальных шрамиков на лбу, таких тоненьких, что они больше похожи были на волоски — до того еще, как детские волосы становятся густыми и тяжелыми, как та масса черных кудрей, что скрывалась у нее под шляпкой.

— Ты здешняя? — спросила ее Сэти.

Девушка покачала головой и наклонилась, чтобы снять ботинки. Потом задрала платье выше колен и стащила с ног чулки. Когда она заталкивала чулки в башмаки, Сэти заметила, что ступни у нее, как и ладошки, нежные, словно у младенца. Ее, верно, кто-то подвез, подумала Сэти. Может, она из Западной Виргинии — многие девушки оттуда надеются подзаработать на уборке табака или сорго. Сэти наклонилась и подняла ее ботинки с пола.

— Как тебя кличут-то? — спросил Поль Ди.

— Возлюбленная,— ответила девушка, и голос у нее оказался таким тихим и хриплым, что все трое переглянулись. Сперва они обратили внимание на голос — только потом на это странное имя.

— Возлюбленная? Это у тебя прозвище такое? — спросил ее Поль Ди.

— Прозвище? — Она, казалось, была озадачена. Потом сказала: — Нет.— И повторила слово «возлюбленная» по буквам, медленно, словно буквы эти рождались прямо у нее на устах.

Сэти выронила башмаки, которые держала в руках; Денвер села, а Поль Ди улыбнулся. Он узнал эту осторожную манеру — так говорят те, кто, как и сам он, читать не умеет, но выучил те буквы, из которых состоит его имя. Он уже собрался было спросить, откуда она родом, но передумал. Раз молодая цветная женщина откуда-то убежала, так уж наверное не от хорошей жизни. Четыре года назад он как-то оказался в Рочестере и встретил там пятерых женщин с четырнадцатью девочками. Все мужчины в их семьях — братья, дядья, отцы, мужья, сыновья — один за другим были у них отняты. У них был с собой лишь клочок бумаги с адресом священника. К тому времени Война уже года четыре как закончилась, но, похоже, никто, ни белые, ни черные, об этом еще не догадывались. Множество негров группами и поодиночке слонялись по проселочным дорогам и пастушьим тропам от Шенектади до Джексона. Словно потеряв опору в жизни, они разыскивали друг друга, чтобы услышать хоть словечко о двоюродном брате, о тетке, о друге, который когда-то пригласил: «Ты ко мне непременно заезжай! В любое время. Как будешь поблизости от Чикаго, так и заезжай». Некоторые бежали от семьи, не способной их содержать, некоторые, напротив, стремились воссоединиться с семьей; другие покинули родные места из-за неурожая, из-за гибели всех родственников, из-за того, что их жизни что-то угрожало. Совсем маленькие мальчики, моложе Ховарда и Баглера, какими он их знал; разрозненные семьи, порой состоявшие из одних только женщин да детей всех оттенков кожи, или, наоборот, одинокие, загнанные и сами гнавшиеся за кем-то мужчины, мужчины, мужчины — все они перекати-полем носились по стране. Им было запрещено пользоваться общественным транспортом, за ними охотились кредиторы и репортеры грязных газетенок, вот они и пробирались проселочными дорогами, опасливо озираясь по сторонам и полностью полагаясь друг на друга. Молчаливые — они открывали рот только тогда, когда требовалось произнести самые обычные вежливые слова при встрече; они никогда не откровенничали, и не жаловались сами, и не спрашивали других о пережитых горестях и несчастьях, что гнали их с места на место. Белые терпеть не могли таких разговоров. Это все знали.

Так что Поль Ди не стал выяснять, откуда эта молодая особа в шляпке со сломанными полями родом и как сюда попала. Если захочет и у нее будут на это силы, так и сама им расскажет. Больше всего их сейчас интересовало, зачем она сюда пришла. Но у каждого под этим основным вопросом таился свой собственный: Поля Ди, например, удивляло то, что башмаки у нее совсем новые; Сэти была глубоко тронута ее прозвищем или именем: воспоминание о надписи на розовом в блестках камне на могиле

вызывало в ее душе особую теплоту по отношению к этой девушке. А Денвер пробирала дрожь. Она смотрела на эту спящую, вернее, сонную красавицу и не могла оторвать глаз.

Сэти повесила свою шляпку на крючок и легко обернулась к девушке.

— Какое у тебя милое имя! Возлюбленная, Бела́вид [1]. Я буду звать тебя Бел, хорошо? Снимай же шляпку и не стесняйся; сейчас я что-нибудь приготовлю перекусить. А мы на карнавале были — его тут на окраине Цинциннати устраивают. Там столько всякого — стоит посмотреть!

Сидя прямо, опершись на спинку стула, девушка так и уснула, слушая ласковые слова Сэти.

— Мисс! Эй, мисс! — Поль Ди тихонько потряс ее.— Может, ляжешь да поспишь немного, а?

Она чуть приоткрыла глаза-щелочки! — с трудом встала, и ее усталые, с младенчески нежной кожей ноги сами побрели в гостиную. Там она рухнула на кровать Бэби Сагз. Денвер сняла с нее шляпку, а на ноги ей набросила стеганое лоскутное одеяло с двумя оранжевыми квадратами. Девушка дышала как паровоз.

— Похоже, круп у нее,— сказал Поль Ди, прикрывая в гостиную дверь.

— А жара у нее нет? Денвер, ты ей лоб не щупала?

— Щупала. Холодный.

— Ну, значит, это лихорадка. Когда у человека лихорадка, ему всегда то жарко, то холодно.

— А может, это и холера,— сказал Поль Ди.

— Ты так думаешь?

— Воды уж больно много пьет. Верный знак.

— Бедняжка. И ничего у нас в доме нет от этой болезни. Придется ей самой выкарабкиваться. Вот уж отвратительная болезнь — хуже не придумаешь.

— Она́ вовсе не больна! — заявила вдруг Денвер так горячо, что они улыбнулись.

Четыре дня девушка спала: просыпалась только для того, чтобы напиться воды. Денвер самоотверженно ухаживала за ней, оберегала ее сон, прислушивалась к затрудненному дыханию и, из ревности и отчаянной любви, старательно скрывала, что у их гостьи недержание мочи. Она тайком стирала и выполаскивала простыни, когда Сэти уходила в свой ресторан, а Поль Ди отправлялся к причалам, чтобы подзаработать на разгрузке барж. Она готова была без конца кипятить и подсинивать белье, лишь бы эта лихорадка у Возлюбленной поскорее прошла без следа. И так она была поглощена всеми этими заботами, что порой забывала даже поесть и совсем не ходила в свою изумрудную комнатку.

— Бел? — звала шепотом Денвер.— Бел? Возлюбленная? — Но когда черные глаза чуточку приоткрывались, могла выговорить лишь: — Я здесь, я все время здесь, с тобой.

Порой, когда Возлюбленная слишком долго смотрела перед собой туманным взором и молчала, только облизывала губы и глубоко вздыхала, Денвер просто с ума сходила от страха.

— Да что же с тобой такое? — не выдерживала она.

— Тяжело,— шептала та.— Здесь очень тяжело.

— Может, сесть хочешь?

— Нет,— шелестел еле слышный голос.

Прошло еще три дня, прежде чем Возлюбленная заметила оранжевые квадраты на темном фоне лоскутного одеяла. Денвер была очень этим довольна — теперь больная бодрствовала куда дольше. Казалось, она была полностью поглощена созерцанием выцветших оранжевых лоскутов, даже попыталась приподняться на локте и погладить их. Попытка эта, впрочем, совершенно лишила ее сил, и Денвер перестелила одеяло так, чтобы самая веселая его часть была как раз на уровне глаз больной девушки.

Терпение, то, чего Денвер никогда не имела прежде, стало теперь

[1] Beloved *(англ.)* — возлюбленная.

основной ее чертой. Пока мать ни во что не вмешивалась, она была прямо-таки идеальной сиделкой, самим состраданием; но стоило Сэти попытаться помочь, как Денвер превращалась в мегеру.

— Она сегодня хоть ложку чего-нибудь съела? — строго спрашивала Сэти.

— Она и не должна ничего есть, раз у нее холера.

— А ты уверена, что это холера? Это ведь только Поль Ди так говорит.

— Ну не знаю, да только пока что она все равно есть ничего не станет!

— По-моему, у холерных больных рвота все время...

— Ну так тем более есть ей ни к чему, верно?

— Знаешь, от голоду-то ей ведь тоже умирать ни к чему, Денвер.

— Ох, мама, оставь нас в покое. Я о ней сама позабочусь.

— Она хоть говорила что-нибудь?

— Уж это-то я бы тебе сразу сказала.

Сэти посмотрела на дочь и подумала: да, ей здесь было очень одиноко. Очень.

— Интересно, куда это Мальчик подевался? — Сэти решила, что пора переменить тему.

— Он больше не вернется,— сказала Денвер.

— А ты откуда знаешь?

— Знаю, и все.— Денвер взяла с тарелки кусок сладкого пирога и снова пошла в гостиную.

Она уже хотела было сесть на привычное место, как вдруг глаза Возлюбленной широко распахнулись. Сердце у Денвер бешено забилось. Нет, она не впервые смотрела в это лицо и не впервые в этих больших черных глазах не было ни малейших признаков сонливости. И не впервые она видела яркие голубоватые белки. Дело в том, что эти огромные черные глаза вообще ничего не выражали.

— Ты чего-нибудь хочешь?

Возлюбленная посмотрела на кусок пирога у Денвер в руке, и Денвер протянула пирог ей. Больная улыбнулась, и сердце Денвер тут же перестало колотиться как бешеное, чувствуя долгожданное облегчение, точно путник, который наконец-то добрался до дому.

С этой минуты и во все последующие дни всегда можно было рассчитывать, что любая сладость доставит Возлюбленной удовольствие. Она словно и на свет-то родилась только для того, чтобы сладости есть. Годилось все — сотовый мед, посыпанный сахарным песком ломоть хлеба, старая черная патока, совершенно затвердевшая в банке, лимонад, самодельные конфеты из сахара и масла, и вообще все сладкое, что Сэти приносила домой из ресторана. Возлюбленная превращала стебель сахарного тростника в мочалку, однако продолжала держать его во рту, когда даже последняя сладкая капелька, казалось, была высосана. Денвер, глядя на это, смеялась, Сэти улыбалась, а Поль Ди говорил, что его от этого зрелища просто тошнит.

Сэти считала, что выздоравливающий после тяжелого недуга организм просто требует сладкого. Однако у их гостьи потребность эта нисколько не уменьшалась, а постоянно росла, и хотя она давно уже поправилась, но явно никуда уходить не собиралась. Похоже, ей просто некуда было идти. Во всяком случае, она ни о чем таком даже не упоминала, как, впрочем, не очень-то представляла себе и то, зачем оказалась в этих местах или там, откуда пришла сюда. Они решили, что все это — последствия лихорадки: и забывчивость, и чрезвычайная медлительность. Молодая женщина, лет девятнадцати-двадцати, стройная и тоненькая, она двигалась, как если бы была во много раз толще и старше — держась за мебель и подпирая голову ладошкой, словно шея ее не в состоянии была выдержать такую тяжесть.

— Ты что ж, так и собираешься вечно ее кормить? — спрашивал Сэти Поль Ди, сам удивленный собственной жадностью и тем раздражением, которое все это у него вызывало.

— Денвер любит ее. Да и мне особого беспокойства нет. Пусть ей

полегче станет. По-моему, у нее внутри еще не все в порядке — уж больно тяжело дышит.

— Странная она какая-то...— пробормотал Поль Ди, словно разговаривая с самим собой.

— Чем же странная?

— Ведет себя как больная, голос у нее тоже как у больной, а больной не выглядит. Кожа хорошая, чистая, глаза ясные, да и сама сильная как бык.

— Не такая уж она сильная! Еле ходит, все время за что-нибудь держится.

— Вот и я о том же. Ходить как следует не может, а качалку одной рукой поднимает — я сам видел.

— Неправда!

— Не спорь. Спроси лучше Денвер. Она там рядом была.

— Денвер! Поди-ка сюда на минутку.

Денвер, мывшая веранду, заглянула в окно.

— Поль Ди говорит, что вы с ним видели, как Бел одной рукой качалку подняла. Было такое?

Длинные тяжелые ресницы скрывали глаза Денвер; взгляд ее ускользал, даже когда она спокойно подняла глаза и посмотрела прямо на Поля Ди.

— Нет,— сказала она.— Я ничего такого не видела.

Поль Ди нахмурился, но промолчал. Если до сих пор дверь в стене между ними и была немножко приоткрыта, то теперь она захлопнулась навсегда.

Капли дождя льнули к длинным сосновым иглам, даря им жизнь, а Возлюбленная не могла отвести взор от Сэти. Шагнет ли та к раковине, чтобы отжать влажную губку, или начнет колоть щепу для растопки, все время глаза Возлюбленной гладили ее, ласкали, пробовали на вкус, буквально съесть были готовы. Как закадычная подружка, девушка постоянно вертелась возле Сэти, старалась никуда не выходить из комнаты, если Сэти была там,— разве что та сама попросит ее что-нибудь принести или сделать. Она вставала затемно и была уже наготове — ждала, когда Сэти спустится вниз, чтобы сготовить что-нибудь по-быстрому до ухода на работу. При свете лампы и горящих в плите дров две их тени сходились, сплетались на потолке, словно два черных меча. Бел торчала у окошка с двух часов дня, поджидая Сэти с работы, или сидела на веранде, потом — на нижней ступеньке крыльца, потом стала выходить на тропинку, ведущую к Блустоун-роуд, пока, наконец, не осмелела настолько, что стала уходить из дома все дальше и дальше, чтобы встретить Сэти на дороге и вместе с ней возвращаться домой. Она будто все время боялась, вернется ли к ней ее старшая подруга.

Сэти льстило это неприкрытое, тихое обожание. Подобная привязанность со стороны собственной дочери (если ее вообще можно было ожидать от Денвер) непременно вывела бы ее из себя и страшно огорчила, потому что это свидетельствовало бы о том, что она вырастила типичную маменькину дочку, которая без нее и шагу ступить не может. А обожание этой милой, хотя и очень странной гостьи было ей приятно — как приятно учителю поклонение фанатичного ученика и последователя.

Теперь приходилось все раньше и раньше зажигать в доме свет — дни становились совсем короткими. Сэти уходила на работу в темноте; Поль Ди в темноте возвращался домой с работы. В один из таких вечеров, мрачный и холодный, Сэти, разрезав брюкву на четыре части, поставила ее тушиться и отсыпала Денвер стакан гороха — перебрать и замочить на ночь. Потом уселась передохнуть. Согревшись у плиты, она задремала и вдруг почувствовала прикосновение Возлюбленной. Прикосновение совсем легкое, точно листок с дерева упал, однако полное какой-то тайной

страсти. Сэти вздрогнула и открыла глаза. Сперва она увидела у себя на плече нежную руку Бел, потом, прямо перед собой, ее глаза. И в них — поистине бездонную тоску. И какую-то с трудом сдерживаемую мольбу. Сэти погладила ее по руке и быстро взглянула на Денвер, но та на них не смотрела — была занята горохом.

— А где твои бриллианты? — Бел не сводила глаз с лица Сэти.

— Бриллианты? Скажи на милость! Да на что они мне, бриллианты эти?

— В ушах носить.

— Да, оно бы неплохо, конечно. Были и у меня когда-то хрустальные сережки. Подарок от моей прежней белой хозяйки.

— Расскажи! — потребовала Бел, так и просияв от счастья.— Расскажи мне о твоих бриллиантах.

Рассказы эти она готова была слушать без конца. Это было сродни ее любви к сладкому, обнаруженной Денвер,— они вызывали почти такой же восторг. И вот что было в этом для Сэти удивительно: у нее самой всякое воспоминание о прежней жизни вызывало боль; все это было утрачено навсегда. У них с Бэби Сагз существовал молчаливый уговор никогда не поднимать запретную тему прошлого; на расспросы Денвер Сэти отвечала или предельно коротко, или невнятными отговорками. Даже с Полем Ди, который и сам был из ее прошлого и с которым она, по крайней мере, могла говорить о событиях той жизни относительно спокойно, вспоминать прошлое всегда было мучительно — словно тревожить едва затянувшуюся ранку в уголке губ.

Но когда она начала рассказывать Бел о тех сережках, то вдруг поняла, что ей это даже приятно! Может быть, потому, что Бел не имела никакого отношения к тем временам и событиям, а может, потому, что она так горячо просила рассказать ей об этом,— так или иначе, удовольствие было совершенно неожиданное.

И вот, под постукивание перебираемых горошин и острый запах тушившейся брюквы, Сэти рассказывала о том, куда подевались те хрустальные сережки, что когда-то покачивались у нее в ушах.

— Когда я вышла замуж, их подарила мне моя хозяйка, там, в Кентукки. То есть это только так называлось — «выйти замуж». По-моему, она понимала, как у меня скверно на душе из-за того, что не будет ни свадьбы, ни священника. Ничего. Я раньше думала, что обязательно хоть что-то должно быть — чтобы можно было сказать, что свадьба была сыграна правильно и по-настоящему. Мне было мало, если бы он просто перенес в мою хижину свой тюфяк, набитый листом от кукурузных початков. Или я бы перенесла в его хижину свой ночной горшок. Я думала, что хоть какой-то праздник должен быть. Может, танцы. Турецкие гвоздики у меня в волосах.— Сэти улыбнулась.— Я никогда не видела ни одной настоящей свадьбы, но миссис Гарнер показывала мне снимок в газете, где она в подвенечном платье, и рассказывала о том, как все было устроено. Два фунта коринки ушло только в пирог, говорила она; и забили целых четыре овцы. Пир продолжался два дня подряд. Вот и мне хотелось чего-нибудь похожего. Может быть, устроить так, чтобы мы с Халле и все остальные люди из Милого Дома уселись за стол и съели что-нибудь эдакое. И еще мне хотелось пригласить гостей — цветных из Ковингтона или Хай-Триз. Там Сиксо частенько бывал, тайком конечно. Но все равно никакого праздника не получилось. Нам просто сказали: ладно, будьте мужем и женой, и все. И больше ничего.

Что ж, тогда я решила по крайней мере сшить себе свадебное платье, что-нибудь получше того тряпья, в котором вечно на кухне возилась. Я потихоньку припрятала разные куски материи и в конце концов состряпала себе нечто невероятное. Верх из двух наволочек, украденных из рабочей корзинки миссис Гарнер. Переднюю часть юбки я смастерила из нарядного шарфа хозяйки, на котором упавшая свеча прожгла дыру прямо посередине; этот шарф я пристроила к широкому кушаку, на котором мы обычно утюг пробовали. А вот из чего сделать заднюю часть юбки, долгое

время придумать не могла. Ничего такого не попадалось ненужного, чего сразу не хватились бы. Мне ведь потом все это еще надо было снова распороть и положить туда, откуда взяла. Халле терпеливо ждал, когда я это платье дошью. Он понимал, что без него для меня никакой свадьбы не будет. В конце концов взяла я противомоскитный полог, что в амбаре на гвозде висел — мы через него сок процеживали для желе,— замочила его как следует и выстирала, а потом собрала в сборки и приметала к кушаку и лифу сзади вместо задней половины юбки. Вот и все — хотя более нелепого платья и представить себе невозможно. Положение спасала только моя шерстяная шаль; в ней, по крайней мере, я не выглядела как самая распоследняя нищая уличная торговка. Мне ведь и было-то всего четырнадцать, наверное, поэтому своим нарядом я все-таки очень гордилась.

В общем, миссис Гарнер, должно быть, увидела меня в этом наряде. Я-то считала, что краду все очень ловко, а она, оказывается, знала о каждом моем шаге. Даже о нашем медовом месяце: мы тогда на кукурузное поле с Халле ходили. И в самый первый раз тоже пошли именно туда. Это было днем, в субботу. Он попросил разрешения не ходить на работу. Обычно-то он по субботам и по воскресеньям на стороне работал, чтобы выплатить долг за Бэби Сагз. Но в тот день он упросил хозяина, а я надела свое замечательное платье, и мы, держась за руки, отправились на кукурузное поле. Я до сих пор помню запах жарящихся кукурузных початков, доносившийся оттуда, где сидели все три Поля и Сиксо. На следующий день миссис Гарнер поманила меня пальцем и повела наверх, в свою спальню. Там она открыла деревянную шкатулку и достала оттуда пару хрустальных сережек. И сказала: «Вот, хочу тебе подарить, Сэти». Я говорю: «Да, мэм». «У тебя уши-то проколоты?» — спрашивает она. Я говорю: «Нет, мэм». «Что ж, проколи,— велела она,— и носи эти сережки — на счастье. Я хочу, чтобы ты носила их и чтобы вы с Халле были счастливы». Я поблагодарила ее, но так никогда их и не надевала, пока не убежала оттуда. На следующий день после моего появления в этом вот доме Бэби Сагз развязала узелок на моей нижней юбке и вынула оттуда хрустальные сережки. Я как раз сидела вот здесь, у плиты, и держала на руках Денвер, а Бэби проткнула мне в ушах дырочки, чтобы я могла вдеть туда серьги.

— Я никогда не видела, чтобы ты серьги носила,— сказала Денвер.— Где же они теперь?

— Нету,— сказала Сэти.— Давно уже.— И больше не прибавила к этой истории ни слова.

Еще кое-что они узнали об этом в следующий раз, когда все трое вбежали в дом, спасая от налетевшего с ветром дождя белье — простыни и нижние юбки. Задыхаясь и смеясь, Сэти и Денвер стали раскидывать белье на столе и на стульях. Возлюбленная без конца пила, черпая воду кружкой из ведра, и смотрела, как Сэти вытирает промокшие волосы Денвер полотенцем.

— Может, лучше косы-то расплести? — спросила Сэти.

— Да ладно. Завтра.— Денвер так и съежилась, только представив себе, как частый гребешок вонзится в ее густые вьющиеся волосы.

— Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня,— сказала Сэти.

— Так ведь больно! — возразила Денвер.

— Расчесывай волосы каждый день, вот и больно не будет.

— О Господи!

— А твоя женщина — она тебе никогда волосы не расчесывала? — спросила вдруг Бел.

Сэти и Денвер разом уставились на нее. Даже спустя четыре недели они никак не могли привыкнуть к звуку ее голоса, похожему на хруст гравия под ногами. И ритм ее речи был совсем иной, чем у них.

— А твоя женщина — она тебе никогда волосы не расчесывала? — этот вопрос безусловно был адресован Сэти, потому что Бел смотрела на нее.

— Моя женщина? Ты хочешь сказать, моя мать? Даже если и расчесывала, так я этого не помню. Я ее почти и не видела, разве что несколько раз

в поле и еще один раз, когда она готовила синюю краску индиго. Но утром, когда я проснулась, она уже снова была в поле. Если луна светила ярко, они работали при луне. А по воскресеньям она спала как бревно. Она, должно быть, всего недели две-три кормила меня грудью — так и все остальные женщины делали. А потом снова на рисовое поле вернулась, и я сосала грудь другой женщины, которая была обязана кормить всех чужих детей. Так что, наверно, мне нужно ответить «нет». Думаю, нет, она никогда меня не причесывала. Она даже по большей части и ночью-то спала где-то еще. И видимо, не в хижинах рабов, насколько я теперь могу догадаться. Но кое-что она для меня действительно сделала. Однажды она схватила меня и потащила куда-то за коптильню. Расстегнула свое платье спереди, приподняла одну грудь и показала мне местечко прямо под нею. Там у нее, на ребрах, был выжжен кружок и в нем крест. Прямо каленым железом на коже. Она сказала: «Вот смотри: это твоя мать.— И ткнула пальцем в кружок.— У меня одной такое клеймо осталось. Все остальные умерли. Если со мной что-нибудь случится и ты не сможешь узнать меня в лицо, то всегда отличишь по этому клейму». Ужасно она меня тогда напугала. И в голове у меня сидела только одна мысль: как это важно и как нужно мне тоже сказать ей что-нибудь такое же важное. Но, ничего так и не придумав, я сказала первое, что пришло в голову: «Да, мама. Но как же ты-то меня узнаешь? Как? И мне тоже такую метку нужно поставить. Ты мне тоже такую метку поставь».— Сэти засмеялась негромко.

— И что же она? — спросила Денвер.

— Она дала мне пощечину.

— За что?

— Тогда я этого не понимала. Не понимала до тех пор, пока не получила собственное клеймо.

— А с ней что случилось?

— Повесили. К тому времени как срезали веревку, никто уже не мог сказать, был ли у нее кружок с крестом или не было, и уж меньше всего я. А я посмотрела все-таки.— Сэти выбрала из гребня волосы и, обернувшись назад, бросила их в огонь. Они вспыхнули, словно звезды, и противно запахло паленым.— О Господи! — сказала Сэти и встала так резко, что гребешок, который она воткнула в волосы Денвер, упал на пол.

— Мам, что с тобой? Мам?

Сэти подошла к одному из стульев, сдернула с его спинки простыню и с треском ее раздернула. Потом свернула пополам, еще пополам — и еще, и еще раз. Потом взялась за следующую простыню. Простыни еще не досохли, но свертывать их было так приятно, что Сэти просто не могла остановиться. Ей необходимо было делать что-то руками, и немедленно, потому что она вдруг начала вспоминать нечто, как ей казалось, давно забытое. Нечто ужасно постыдное, очень личное, что просочилось в трещинку ее памяти сразу после упоминания о той пощечине и крестике в кружке.

— Почему они повесили твою маму? — спросила Денвер. Она впервые услышала что-то о матери Сэти. Бэби Сагз была единственной бабушкой, которую она знала.

— Я так никогда этого не узнала. Их там было так много,— сказала Сэти, но все яснее и яснее становилось воспоминание — пока она сворачивала, разворачивала и снова сворачивала простыни — о той женщине по имени Нан, которая схватила Сэти за руку и потащила подальше от толпы, прежде чем она успела разглядеть то клеймо. Нан Сэти знала лучше других женщин; Нан почти весь день была где-то поблизости, она кормила детей и присматривала за ними, готовила, а еще у нее была одна целая рука и только половинка второй. И еще Нан говорила разные слова. Слова эти Сэти тогда понимала, но теперь уже ни вспомнить, ни повторить не могла. Она считала, что именно поэтому так мало помнит из жизни, что предшествовала Милому Дому,— только песни, танцы и как много там было народу. То, что рассказывала Нан, Сэти давно позабыла вместе с тем языком, на котором она ей это рассказывала. На том же языке говорила

и ее мать, и язык этот она никогда уже вспомнить не сможет. Но самые главные слова — о, они-то всегда были при ней! Их она не могла бы забыть никогда. Прижимая к груди влажные белые простыни, она выуживала из памяти значение тех слов загадочного языка, которого больше не понимала. Ночь. Нан держит ее за руку своей здоровой рукой, а обрубком второй, жестикулируя, машет в воздухе. «Послушай, что я скажу тебе, маленькая Сэти»,— и она рассказывала, как мать Сэти и сама она, Нан, вместе плыли через море. Обеих много раз насиловали матросы — всей командой. Плыли они ужасно долго. «Она всех новорожденных выбросила, всех, кроме тебя. Одного, что родился после того, как ее насиловали всей командой, она оставила на острове. Других, тоже рожденных от белых, она выбрасывала за борт, даже не дав им имени. А тебе она дала имя того чернокожего мужчины. Которого обнимала. Других — не обнимала никогда. Никогда. Никогда. Слушай, это я точно говорю тебе, маленькая Сэти, слушай».

Но на маленькую Сэти это особого впечатления тогда не произвело. А став взрослой, она рассердилась, хотя и не понимала, на что именно. Сейчас же ей вдруг ужасно захотелось повидать Бэби Сагз; желание это обрушилось на нее как волна прибоя. И в тишине, наступившей после грохота этой волны, Сэти посмотрела на обеих девочек, сидевших у плиты: ее болезненную, скудоумную гостью и вечно раздраженную, одинокую родную ее дочь. Обе показались ей маленькими и очень далекими.

— С минуты на минуту Поль Ди придет...— проговорила она.

Денвер вздохнула с облегчением. Потому что, когда ее мать вдруг застыла, погруженная в свои мысли, машинально сворачивая простыни, Денвер, стиснув зубы, молила Бога, чтобы все это поскорее кончилось. Она терпеть не могла, когда мать рассказывает о чем-то, не связанном с ней, Денвер, или еще с Эми. Весь остальной мир казался ей тем более могущественным и прекрасным, что ей-то в нем места не было. И, не принадлежа ему, она его ненавидела и хотела, чтобы Возлюбленная тоже возненавидела его, хотя на это и не было ни малейшей надежды. Ее подруга, напротив, пользовалась любой возможностью, чтобы задать какой-нибудь забавный вопрос и заставить Сэти что-нибудь рассказывать. Денвер заметила, с какой жадностью она слушает эти рассказы. А теперь она заметила и еще кое-что — те вопросы, которые задавала Возлюбленная: «А где твои бриллианты?» или «А твоя женщина — она никогда тебе волосы не расчесывала?» — не были неприятны матери. Но самой удивительной была просьба: «Расскажи мне о твоих сережках».

Как она об этом узнала?

Возлюбленная сияла, и Полю Ди это очень не нравилось. Женщины, они ведь как клубничные кусты, когда собираются «усы» выпустить: сперва меняется цвет листьев; потом появляются тонкие усики, потом бутоны. К тому времени как опадают белоснежные лепестки и образуются бледно-зеленые ягоды, сами листья становятся блестящими, темными и плотными, словно покрытыми воском. Именно так и выглядела Возлюбленная — блестящей и сияющей. Поль Ди теперь занимался любовью с Сэти по утрам, едва проснувшись, чтобы позже, когда он спускался вниз по белой лесенке в кухню, где она стряпала под неусыпным наблюдением Бел, голова у него была уже ясной.

По вечерам, когда он возвращался домой и они все втроем собирались на кухне и накрывали на стол, ее сияние бывало столь очевидным, что он удивлялся, как это Денвер и Сэти ничего не замечают. А может, и они это видели. Женщины ведь, как, впрочем, и мужчины, всегда могут определить, когда какую-то одну из них охватывает любовная лихорадка. Поль Ди осторожно глянул на Бел, пытаясь понять, чувствует ли это она сама, но она не обращала на него ни малейшего внимания — зачастую даже не отвечала на прямо заданный ей вопрос. В таких случаях она обычно только смотрела на него, однако рта не открывала. Уже пять недель она прожила

с ними в одном доме, но они знали о ней не больше, чем в тот день, когда нашли ее дремлющей на пне.

Они сидели за столом, который Поль Ди сломал в тот день, когда впервые появился в доме номер 124. Ножки он ему потом приделал, и куда более крепкие, чем раньше. С капустой уже было почти покончено, а на тарелках у них возвышались горки обглоданных косточек от копченых свиных ножек. Сэти раскладывала хлебный пудинг, невнятно бормоча, что, дескать, надеется, что пудинг получился ничего, и заранее извиняясь, как это всегда делают искусные повара, опасаясь, что он все-таки не удался, и тут что-то в лице этой Возлюбленной, какая-то особая, собачья преданность в ее глазах, неотрывно смотревших на Сэти, вдруг заставила Поля Ди спросить:

— Неужели у тебя ни братьев, ни сестер нет?

Бел покачала ложкой, но на него не посмотрела.

— Никого у меня нет.

— Что же ты искала, когда пришла сюда? — снова спросил он.

— Это место. Я искала место, где могла бы жить.

— Тебе кто-нибудь рассказывал об этом доме?

— Она рассказывала. Когда я была на мосту, она сказала мне.

— Это, наверно, кто-то из старых знакомых,— догадалась Сэти. Из тех времен, когда дом номер 124 был пересадочной станцией, куда доставлялись различные послания, а потом и те, кто их отправил. Где обрывки сведений разбухали и полнились животворными соками, словно сушеные бобы в чистой воде, пока не становились вполне удобоваримыми.

— И все же как ты попала сюда? Кто тебя привел?

Теперь она смотрела на него твердым взглядом, но ничего не отвечала.

Он чувствовал, с каким трудом сдерживают себя Сэти и Денвер, как напряглись их мускулы, как, точно липкая паутина, ползет от них желание коснуться друг друга. Но он решил во что бы то ни стало заставить ее заговорить.

— Я спросил, кто тебя сюда привёл?

— Я пришла сюда пешком,— сказала она.— Шла долго-долго. Очень долго. И никто меня не привел. Никто мне не помог.

— У тебя же ботинки были ничуточки не изношенные! Если ты так долго шла пешком, что ж по твоим ботинкам-то этого не заметно?

— Поль Ди, перестань! Не дразни ее.

— Я хочу понять,— сказал он, точно указкой размахивая перед собой столовым ножом.

— Да сняла я эти ботинки! И платье сняла! Все равно на этих ботинках шнурки не завязывались! — Бел, выкрикнув это, так злобно на него посмотрела, что Денвер даже тронула ее за руку.

— Я научу тебя зашнуровывать ботинки,— сказала ей Денвер и тут же получила от Бел благодарную улыбку.

У Поля Ди было отчетливое ощущение того, что он уже схватил за хвост крупную серебристую рыбину, но в тот же миг она выскользнула у него из рук и исчезла, блеснув, в темной глубине. Но если ее сияние предназначено не для него, то для кого же? Он никогда не встречал женщины, которая вдруг начала бы вся светиться изнутри не ради определенного человека, а просто так, словно объявляя об охватившем ее желании. Опыт подсказывал ему, что подобное сияние возможно только в том случае, если ему есть на чем сфокусироваться. Как у той женщины с тридцатой мили, которой было ужасно скучно курить и ждать с ним вместе в канаве, пока не пришел Сиксо; и вот тут-то она и засияла как звездное небо. Нет, на сей счет он никогда не ошибался. Он сразу почувствовал это, стоило ему тогда взглянуть на мокрые босые ноги Сэти, иначе он никогда не осмелился бы в тот самый первый день обнять ее и шептать ей в спину всякие слова.

Но эта девица, эта Возлюбленная, бездомная и одинокая, вела себя просто невероятно, а почему, он не смог бы с точностью сказать, хотя за последние двадцать лет повидал немало разных цветных. Во время Войны, до и после нее он видел негров настолько потрясенных и растерянных,

настолько голодных и усталых, настолько обездоленных, что просто чудо, как это они вообще способны были что-то вспомнить или рассказать. Многие, как и он сам, прятались в пещерах и охотились на сов, которых ели; многие, как и он сам, крали пойло у свиней; многие, как и он сам, спали днем на деревьях, привязавшись к веткам, а шли только ночью; многие, как и он сам, зарывались в отбросы на помойках и прыгали в колодцы, только бы не попасться в облаву, только бы не заметил патруль и прочие бывалые люди — егеря, ополченцы, те, кого созывают шерифы для подавления беспорядков; только бы не обратили внимания просто любители позабавиться. Однажды он встретил чернокожего мальчишку лет четырнадцати, который жил в лесу совершенно один и утверждал, что не помнит, чтобы когда-либо жил в настоящем доме. А еще он видел, как схватили и повесили безумную негритянку — за кражу уток, которых она считала своими детьми.

Перебираться с места на место. Идти пешком. Бежать. Прятаться. Красть и снова перебираться с места на место. Лишь однажды ему удалось задержаться в одном городе — с одной женщиной, точнее, с одной семьей — более чем на несколько месяцев. Это было единственный раз — с той ткачихой в Делавэре, самом отвратительном месте для негров, с его точки зрения, помимо округа Пуласки в Кентукки и, конечно, того лагеря-тюрьмы в Джорджии.

Ото всех этих негров Возлюбленная очень отличалась. Ее сияние, ее неношеные башмаки... Все это тревожило Поля Ди. И может быть, больше всего тревожило его как раз то, что сама она не тревожилась нисколько и совершенно не обращала на него внимания. А может, и то, что она так удивительно точно подгадала: объявилась здесь в тот самый день, когда они с Сэти уладили все споры, вышли на люди и имели полное право как следует повеселиться — как настоящая семья. Даже с Денвер тогда что-то начало меняться к лучшему, пожалуй. Сэти смеялась; ему пообещали постоянную работу, дом номер 124 был очищен от духов. Жизнь начинала входить в нормальную колею. И на тебе! Какая-то водохлебка, а не женщина вдруг является, заболевает, остается в их доме, поправляется — и отсюда ни на шаг!

Ему очень хотелось, чтобы она ушла, но Сэти позволила ей остаться, и он не мог выгнать ее — ведь он в этом доме хозяином не был. Одно дело — прогнать привидение, и совсем другое — выбросить на улицу беспомощную цветную девчонку, да еще в таких местах, где хозяйничает ку-клукс-клан, как жаждущий крови чернокожих дракон, который жить не может без этой крови и переплывает Огайо когда ему вздумается.

Как всегда после ужина продолжая сидеть за столом и жевать прутик, Поль Ди решил, что надо как-то эту девицу пристроить. Посоветоваться с другими неграми и найти ей подходящее место в городе.

И стоило этой мысли прийти ему в голову, как Бел подавилась изюминой, которую долго выковыривала из хлебного пудинга. Она свалилась со стула, упала на спину и стала биться на полу, держась за горло. Сэти приподнимала ее, хлопала по спине, а Денвер все пыталась оторвать ее руки от горла. Наконец Бел, стоя на четвереньках, выблевала только что съеденный ужин и, задыхаясь, стала хватать ртом воздух.

Потом она успокоилась, и Денвер принялась убирать за ней.

— Пойду посплю,— сказала вдруг Бел.

— Пойдем ко мне в комнату,— предложила Денвер.— Я там за тобой смогу присмотреть.

Лучшего момента и выбрать было нельзя. Денвер прямо-таки извелась вся, придумывая, как бы залучить Бел к себе в комнату да там и оставить. Ей было невыносимо спать на втором этаже и не знать, как она там, внизу. Не заболела ли? А вдруг уснула и не проснулась? Или (о Господи, только не это!) вдруг встала среди ночи и побрела прочь со двора точно так же, как явилась сюда? А теперь им было бы проще и разговаривать друг с другом: по ночам, когда Сэти и Поль Ди уже заснут; или днем, пока они еще не вернулись с работы. Обычно это были приятные, хоть и немного безумные

беседы, полные недоговоренностей, странных мечтаний и снов наяву, что было куда увлекательнее полного взаимопонимания и ясности.

Когда девушки ушли, Сэти начала убирать со стола. Она составила грязные тарелки стопкой возле таза с водой и спросила:

— Чего это ты на нее так взъелся?

Поль Ди нахмурился, но ничего не ответил.

— Мы с тобой уже один раз здорово поцапались из-за Денвер. Неужели и из-за Бел тоже будем ссориться? — спросила она снова.

— Я просто никак не пойму, в чем тут дело. Ясно, почему она так цепляется за тебя, но я никак не могу уразуметь, чего ты-то так за нее цепляешься.

Сэти перестала мыть посуду и посмотрела на него.

— А тебе-то не все равно? Кормить ее мне не трудно. Чуть больше прихватываю с собой из ресторана — и все дела. И потом, они так хорошо подружились с Денвер! Ты это прекрасно знаешь, и я знаю, что ты это прекрасно знаешь, так что ж ты зубами-то скрежещешь?

— Сам не понимаю. Просто чувствую, что-то тут не то.

— Ну и чувствуй себе на здоровье. Чувствуй, каково это, иметь место для ночлега у тех, кто от тебя не требует каждый день заслужить его. Почувствуй, каково это. И если этого тебе мало, то попробуй представить себе, каково это — цветной женщине скитаться одной по дорогам, где любая тварь тебя оскорбить может. Попробуй — представь такое!

— Я-то все это куда как хорошо знаю, Сэти. Я ведь не вчера родился и в жизни ни с одной женщиной подлости себе не позволил.

— Ну, значит, ты один такой замечательный,— откликнулась Сэти.

— А не двое?

— Нет. Не двое.

— Разве Халле тебя когда обижал? Ведь он всегда на твоей стороне был. И никогда тебя в беде не бросал.

— Да? А кого же тогда он бросил, если не меня?

— Не знаю, да только тебя он не бросал. Это точно.

— Ну так он еще хуже поступил: бросил своих детей!

— Этого ты знать не можешь.

— Он же не пришел! Его же не было там, где мы условились!

— Он там был.

— Так отчего ж не показался? Почему я из-за него должна была впопыхах отправлять детей одних, а потом еще и его разыскивать?

— Он не мог с чердака слезть.

— С чердака? С какого чердака?

— У тебя над головой.

Медленно, медленно, используя каждую секунду отведенного ей времени, Сэти придвинулась к столу.

— Он все видел?

— Видел.

— Это он тебе рассказал?

— Это ты мне рассказала.

— Как это?

— В тот самый день, когда я объявился в вашем доме. Ты сказала, что они отняли у тебя молоко. А я-то никак не мог в толк взять, отчего он умом тронулся! Наверно, именно это его и доконало. Я знаю только, что он сломался. Совсем. Все эти годы, когда он и по субботам, и по воскресеньям работал, и по ночам порой тоже, ему нипочем были. А вот из-за того, что он тогда с чердака увидел — что бы это ни было,— сломался как хворостинка.

— Значит, он все видел? — Сэти крепко обхватила себя руками, вцепилась пальцами в локти, словно боялась, что улетит.

— Видел. Не мог не видеть.

— Он видел, как те парни делали со мной такое, и позволил им жить дальше? Он видел? Видел? Видел?

— Эй, эй! Послушай. Дай-ка я тебе кое-что расскажу. Человек, черт

побери, не топор безмозглый, которым только и делают, что целый день дрова рубят да щепу колют. То, что он увидел, его доконало. И отрубить он этого не мог, потому что оно у него внутри засело.

Сэти металась по комнате — взад-вперед, взад-вперед,— освещаемая светом лампы.

— Связной тогда сказал: к воскресенью. Они отняли у меня молоко, и он это видел и даже вниз не слез? Наступило воскресенье, но он не пришел! Наступил понедельник, а Халле нет как нет. Я думала сперва, он умер и потому не пришел; потом — что они поймали его и не выпускают. Потом — нет, он не умер, потому что, если б он умер, я бы об этом узнала. Ну а потом сюда через столько лет явился ты и тоже ничего не сказал мне, умер он или нет, потому что тоже ничего об этом не знал. И я подумала: что ж, наверно, он просто нашел себе что-нибудь другое, полегче, без нас. И потом, если б он оказался где-нибудь неподалеку, то непременно зашел бы хоть к Бэби Сагз, если уж не ко мне. Но я и предположить не могла, что он все видел.

— Разве теперь это имеет значение?

— Если он жив и видел это, он никогда больше не ступит на мой порог. Кто угодно, только не Халле.

— Это его доконало, Сэти.— Поль Ди поднял на нее глаза и вздохнул.— Пожалуйста, я скажу тебе все. В последний раз, когда я его видел, он сидел возле маслобойки. И размазывал по лицу масло.

Ничего не произошло, и она была благодарна за это. Обычно она могла тут же явственно представить себе все то, о чем слышала. Но представить то, о чем сказал Поль Ди, она не могла. Голова была пуста. Осторожно, очень осторожно она задала более понятный вопрос:

— И что он сказал?

— Ничего.

— Ни слова?

— Ни слова.

— А ты с ним заговаривал? Сказал ему что-нибудь? Хоть что-нибудь!

— Я не мог, Сэти. Я просто... не мог.

— Почему же!

— У меня во рту железный мундштук был.

Сэти вышла на веранду и присела на ступеньки крыльца. День сменился синими сумерками, солнце так и не выглянуло, но еще видны были силуэты деревьев на лугу перед домом. Сэти мотала головой из стороны в сторону, покоряясь своему непокорному разуму. Почему ее разум ничего не отвергает? Почему он поглощает все — нищету, сожаления, чужую подлость? Как прожорливый ребенок, он хватает и сует в рот все, что попадется. Ну хоть один-то разок может он сказать: нет, спасибо, больше не хочу? Я сыт и не могу проглотить ни кусочка? Я сыта, черт меня побери! Хватит с меня забот о двух мальчишках с хищными острыми зубами, о малышке, которая пока еще сосет мою грудь, и о второй в моем чреве, которая тянет меня к земле, мешает ходить! Хватит с меня. Хватит с меня этого больно грамотного учителя, который все следит за нами, все что-то записывает. Я всем этим сыта по горло, черт меня побери! И я не хочу возвращаться назад за добавкой. А тут еще выясняется, что муж мой спрятался на чердаке прямо над моей головой, там, где, как он думал, никто его искать не станет,— и видел оттуда все то, при воспоминании о чем даже мне самой хочется глаза закрыть. И не остановил их — смотрел и не взбунтовался. Но мой прожорливый ум говорит: ой, вот спасибо, я с удовольствием съем еще! Ну хорошо, раз так, вот тебе еще. И тут уж я не могла остановиться, и он получил моего мужа, который сидел на корточках у маслобойки и размазывал по лицу масло и сыворотку, потому что из головы у него не шло то молоко, которое они отняли у меня. Что же касается моего мужа, так можно сказать совершенно определенно: если уж он так сломался тогда, то теперь, конечно же, мертв. И раз Поль Ди видел его, но не мог ни спасти, ни утешить, потому что в рот ему вставили железный мундштук, то было и еще кое-что, о чем Поль Ди может рассказать мне, и мой ум, разумеется,

захочет это узнать и ни за что не скажет: нет, спасибо, больше мне не надо. А я не желаю об этом знать, и я не обязана это помнить! У меня есть другие заботы: нужно, например, позаботиться о завтрашнем дне, о Денвер, о Бел, о собственной старости и болезнях, не говоря уж о любви.

Но ее жадному уму на будущее было наплевать. Перегруженный прошлым и желающий получить побольше подробностей, он не оставлял ей возможности даже спланировать следующий день. В точности как тогда, в зарослях дикого лука, на берегу Огайо, в полдень: самое большее, что она тогда могла себе представить,— это еще один шаг. Другие же сходят с ума, а она что, особенная? У других же случается, что башка перестает работать, мозги свихиваются набекрень, и все вокруг им начинает казаться не таким, как есть,— это, наверно, и случилось с ее Халле. А может, оно и неплохо было бы: сидеть с ним рядом на корточках за молочным сараем, у маслобойки, и размазывать холодное комковатое масло по лицу, а на все остальное плевать. Чувствовать, как масло скользит, липнет к рукам, втирать его в волосы, продавливать сквозь пальцы... Ах, как просто было бы поставить точку именно там! Закрыть за собой дверь в этот мир. Захлопнуть ее. Давить пальцами масло. Но трое ее детей, укрытых одеялом, сосали тряпочки с сахарной водой на пути в Огайо, так что какие уж тут забавы с размазыванием масла — ничего уже изменить было нельзя.

Поль Ди, стоявший в дверном проеме, тоже вышел на веранду и тронул ее за плечо.

— Я не хотел рассказывать тебе об этом.

— А я не хотела про это знать.

— Я не могу взять свои слова обратно, но могу больше никогда к этому не возвращаться,— сказал Поль Ди.

Он очень хочет рассказать мне все, подумала она. Он хочет, чтобы я спросила, как ему самому тогда пришлось — как больно языку, прижатому железным мундштуком, когда желание сплюнуть так велико, что от этого люди плачут. Она знала о таком наказании и несколько раз видела его там, где жила до Милого Дома. Видела, как в железо заковывали мужчин, молодых парней, маленьких девочек, женщин. Видела то безумие, что появлялось у них в глазах, когда им в рот вставляли железные удила и дергали, выворачивая губы. После такого наказания разодранные губы и растрескавшиеся уголки рта еще как-то удавалось вылечить с помощью гусиного жира, но язык болел очень долго, и очень долго не исчезало из глаз то безумие, что там поселилось.

Сэти подняла голову и посмотрела Полю Ди прямо в глаза, пытаясь разглядеть там какой-нибудь след былого.

— В детстве я видела людей,— заговорила она,— которым в рот вставляли железные удила; они всегда потом выглядели какими-то дикими. Вряд ли такое наказание — за что бы их ни наказывали — приносило пользу: ведь после него в нормальных людях поселялось безумие. А у тебя в глазах я ничего такого не вижу. Глаза у тебя совсем нормальные, совсем.

— Знаешь, есть способ поселить во взгляде человека безумие, но есть и способ изгнать его оттуда. Я их оба знаю, но еще не решил, какой из них хуже.— Он сел рядом с ней на ступеньку. Сэти посмотрела на него. В гаснущем свете дня его лицо, темно-коричневое, осунувшееся, чем-то вдруг тронуло ее.

— Хочешь мне все рассказать? — спросила она.

— Не знаю. Я никогда об этом не рассказывал. Ни одной живой душе. Иногда пел, но никогда никому не рассказывал.

— Ну так давай расскажи. Я могу тебя выслушать.

— Возможно. Возможно, у тебя даже хватит сил. Вот только я не уверен, что сумею. Сказать обо всем так, как надо. Дело ведь было вовсе не в железном мундштуке — нет, не в нем.

— А в чем же? — спросила Сэти.

— В петухах,— сказал он.— В том, как они смотрели на меня, когда я шел мимо.

Сэти улыбнулась.

— Это под той сосной?

— Да.— Поль Ди тоже улыбнулся.— Их там, должно быть, штук пять было — на ветки взгромоздились — и еще, по крайней мере, штук пятьдесят несушек.

— Мистер тоже там был?

— Не совсем. Но я и двадцати шагов не прошел, как его увидел. Он слетел со своего наблюдательного поста на столбе и уселся на бочку с водой.

— Он очень любил сидеть на этой бочке,— сказала Сэти и подумала: нет, теперь уже не остановиться.

— Да? Ты тоже помнишь? Как на троне. А ведь это я помог ему вылупиться из яйца, знаешь ли. Он бы подох, если б не я. Мамаша его уже ушла и весь свой пищащий выводок за собой увела. Только это одно яйцо и осталось. Выглядело оно как болтун, но тут я заметил, что в нем вроде бы что-то шевелится; я тихонько скорлупу-то разбил, и оттуда вылез Мистер, на больных ножках и все такое. Я потом все смотрел, как этот сукин сын растет и никому во дворе спуску не дает.

— Да, он всегда был противный,— сказала Сэти.

— Это уж точно. Кровожадный какой-то. И вредный. А кривая нога у него совсем никудышная была. Зато гребень не меньше моей ладони и красный как кровь. И вот сидит он на этой бочке и на меня смотрит. И честное слово, улыбается! У меня из головы все Халле не выходил — такой, каким я его только что видел. Я даже о железе во рту позабыл. Мне все Халле виделся и то, что случилось чуть раньше с Сиксо... Но когда я увидел Мистера, то понял: все это случилось и со мной тоже. Не только с ними, но и со мной. Один спятил, одного продали, один пропал, одного сожгли, один я остался — с железом во рту и со связанными за спиной руками. Последний из мужчин Милого Дома.

Мистер, он всегда выглядел таким... свободным. Он был куда лучше меня. Сильнее, упорнее. Этот сукин сын не мог сам даже вылезти из яйца и все-таки стал королем, а я...— Поль Ди умолк и стиснул пальцы так, что они побелели, пока мир вокруг не успокоился и он не смог говорить дальше.

— Мистеру было позволено стать тем, кем он мог стать. А мне этого позволено не было. И даже если б я его поймал и зажарил, то все равно я жарил бы петуха по кличке Мистер и знал бы это. А у меня уже не осталось никакой возможности быть Полем Ди — умру я или выживу. Этот учитель все во мне переломал. И я стал совсем другим, слабее цыпленка и куда слабее того наглого петуха, что сидел на краю кадки с водой и грелся на солнышке.

Сэти погладила его по колену.

Поль Ди только еще начал рассказывать; это было еще только самое начало, но пальцы Сэти легли ему на колено, мягкие и ободряющие, и заставили его замолчать. Просто заставили, и все. Потому что если рассказывать дальше, то оба они могут оказаться на самом краю, упасть туда, откуда нет возврата. Хватит; остальное он оставит при себе; в той жестянке из-под табака, что хранит у себя в груди, там, где когда-то было его красное сердце. Крышка жестянки заржавела и не открывалась. И пусть. Он и не станет открывать ее, взламывать при этой милой храброй женщине, потому что если она почувствует хотя бы слабый запах того, что там хранится, ему будет очень стыдно. А ей будет очень больно, когда она поймет, что в груди его больше нет того красного сердца, красного, как гребень петуха Мистера, что когда-то там билось.

Сэти все гладила и гладила его по могучему, будто каменному колену, разглаживала штанину и надеялась, что ему от этого легче, как и ей самой. Она делала это методично, как порой месила тесто в тусклом свете ресторанной кухни. Еще до того, как на работу придет старший повар. Устраивалась в узком пространстве, слева от бидонов с молоком и спиной к кухонному столу. Месила тесто. Упорно, изо всех сил месила тесто. И с утра не было ничего лучше этого, чтобы прогнать воспоминания о прошлом и начать всякие серьезные дела.

Наверху Возлюбленная танцевала. Два крошечных шажка, еще два, еще шажок, поворот, поворот, проход с высоко поднятой головой, и все сначала.

Денвер сидела на кровати, улыбалась и «делала музыку».

Она никогда еще не видела Бел такой счастливой. Конечно, порой ее пухлый рот расплывался в довольной улыбке — когда получала что-нибудь сладкое или когда Денвер рассказывала ей что-нибудь интересное. И разумеется, она буквально лучилась восторгом, слушая истории Сэти о прежних днях. Но подобной игривости она никогда не проявляла. Каких-то десять минут назад она лежала на полу с выпученными глазами, задыхаясь и хватаясь за горло. А теперь, буквально несколько секунд отдохнув на постели Денвер, уже вскочила и танцевала!

— Где ты научилась танцевать? — спросила ее Денвер.

— Нигде. Вот смотри на меня и делай так же.— Она подбоченилась и принялась скакать босиком. Денвер рассмеялась.— Теперь ты. Ну же, давай,— сказала Бел.— Ну давай же, ты тоже можешь не хуже.— Ее черная юбка так и разлеталась.

Денвер, похолодев, встала с кровати, понимая, что в два раза ниже и толще Бел, но тоже поплыла с высоко поднятой головой, холодная и легкая, точно снежинка.

Бел взяла Денвер за руку, а другую свою руку положила ей на плечо. И они стали танцевать вместе. Кружили по крошечной комнатке, и может, оттого, что голова закружилась, а может, от этого ощущения холода и легкости Денвер смеялась как ненормальная. Заразительный ее смех подхватила и Бел. Обе, веселые как котята, долго кружились и раскачивались туда-сюда, туда-сюда, пока, совершенно измученные, не шлепнулись прямо на пол. Бел, переводя дыхание, откинулась назад и голову положила на кровать, и тут Денвер увидела краешек того, что всегда видела целиком, когда Бел раздевалась перед сном. Глядя прямо на это, она прошептала:

— Почему ты называешь себя Возлюбленной?

Бел закрыла глаза.

— Там, во тьме, мое имя — Возлюбленная.

Денвер подползла чуточку ближе.

— А как оно — там, где ты была прежде? Расскажи, а?

— Там темно,— проговорила Бел.— Я там — маленькая. А такая, как сейчас, я здесь.— Она подняла голову и легла на бок, свернувшись на полу клубком.

Денвер испуганно прижала пальцы к губам.

— Тебе там было холодно?

Бел устроилась поуютнее и помотала головой:

— Нет, жарко. Просто дышать нечем. И ужасно тесно.

— А ты там кого-нибудь еще видела?

— Многих. Там полно людей. Некоторые мертвые.

— А Иисуса Христа ты там не видела? А Бэби Сагз?

— Не знаю. Я не знаю имен.— Бел села.

— Расскажи, как ты попала сюда?

— Я ждала; потом оказалась на мосту. И ждала там в темноте; потом наступил день, потом снова ночь, потом снова день. Очень долго ждала.

— И ты все время была на каком-то мосту?

— Нет. Это уже потом. Когда я выбралась.

— Зачем ты вернулась?

Улыбка скользнула по лицу Бел.

— Чтобы увидеть ее лицо.

— Мамино? Сэти?

— Да, Сэти.

Денвер слегка задело то, что не она была главной причиной возвращения Возлюбленной.

— Ты разве не помнишь, как мы играли вместе у ручья?

— Я была на мосту,— сказала Возлюбленная.— Ты видела меня на мосту?

— Нет, у ручья. Там, в лесу, за домом.

— А, но я-то была в воде. И там видела ее бриллианты. Могла их даже потрогать.

— И что же тебе помешало?

— Она ушла и оставила меня. Одну,— сказала Возлюбленная. Она подняла глаза, встретилась взглядом с Денвер и нахмурилась. Впрочем, может, и не нахмурилась. Может, Денвер это только показалось из-за тоненьких шрамиков у нее на переносице.

Денвер заторопилась, глотая слова.

— Не сердись,— бормотала она,— не надо. Ты ведь от нас не уйдешь, а?

— Нет. Никогда. Здесь я существую.

Денвер, сидевшая по-турецки, вдруг резко наклонилась вперед и схватила Бел за запястье.

— Только не говори ей! Пусть мама не знает, кто ты. Пожалуйста! Ты меня слышишь?

— Нечего указывать мне, что я должна делать! Никогда не указывай мне.

— Но я ведь на твоей стороне, Возлюбленная.

— Она — единственная. Она — единственная, кто мне нужен. Ты можешь и уйти, если хочешь, но она — единственная, кто мне нужен все время.— Глаза у нее невероятно расширились, черные, как полуночное небо.

— Я тебе ничего такого не сделала. Я тебе никакого зла не причинила. Я никому зла не причиняю,— сказала Денвер.

— Я тоже. Я тоже.

— Что ты собираешься делать?

— Остаться здесь. Мое место — здесь.

— Мое тоже!

— Ну так оставайся, но никогда больше не указывай мне, что я должна делать. Никогда.

— Мы же танцевали. Всего лишь минуту назад мы с тобой так здорово танцевали! Давай еще?

— Я больше не хочу.— Бел встала и легла поверх постели. Обе затихли, и их молчание гулко отдавалось от стен, точно мечущиеся в панике птицы. Наконец дыхание Денвер стало спокойнее, угроза непереносимой утраты отступила.

— Расскажи мне,— попросила ее Возлюбленная.— Расскажи, как Сэти родила тебя в той лодке.

— Она никогда мне этого всего не рассказывала,— сказала Денвер.

— А ты расскажи!

Денвер уселась на кровать, скрестив руки под фартуком. Она ни разу не ходила в свою зеленую комнатку с тех пор, как в день карнавала они увидели Возлюбленную сидящей на пне возле крыльца. Она даже не вспоминала о своем тайнике — только сейчас, когда отчаяние охватило ее. Там, в зарослях букса, больше не было тайны; все это теперь в избытке могла ей дать новая то ли подруга, то ли сестра: бешено бьющееся сердце, мечты, задушевную беседу, опасность и красоту. Денвер несколько раз сглотнула, готовясь рассказывать — плести из тех отдельных нитей, которые ей удалось вытянуть у матери и бабки за всю свою жизнь, сеть, чтобы удержать Возлюбленную.

— Мама говорила, у той девушки руки были хорошие. У той белой. Очень худые, маленькие, но добрые. Мать сразу это поняла, она так и говорила: добрые, хорошие руки. И волос у этой девушки на голове было столько, что на пять голов бы, наверно, хватило. По-моему, она потому и решила, что все-таки справится: переберется со мной вместе на тот берег. Но бояться белой девушки перестала только потому, что у той рот просто не закрывался. Мама сама так сказала. Она сказала: с этими белыми никогда не знаешь как себя вести. Никогда не знаешь, с чего они, например, могут вдруг на тебя взъесться. Или скажут одно, а сделают другое. Но вот

по губам их иногда все-таки можно определить, злые они или нет. Мать говорила, что та девушка трещала как трещотка, но губы у нее определенно были добрые. И потом, она помогла маме добраться до сарая в лесу и растерла ей ноги — вот даже как. А еще — мать была уверена: эта девушка ее не выдаст. Можно ведь было неплохо заработать, если выдать беглого раба, и похоже, этой девушке, Эми, деньги-то были как раз нужны — она только и говорила, что мечтает купить себе бархат.

— Что такое бархат?

— Это такая ткань, плотная и мягкая.

— Рассказывай дальше.

— Ну, в общем, ноги она растерла маме так, что они ожили, и мама заплакала, так ей было больно. Зато, снова почувствовав свои ноги, она и стала думать, что теперь, наверно, сумеет все-таки перебраться на тот берег, где жила бабушка Бэби Сагз и...

— Кто это?

— Я же только что сказала. Моя бабушка.

— Это мать Сэти?

— Нет. Мать моего отца.

— Рассказывай дальше.

— И все остальные. Мои братья и... маленькая сестренка. Мать их туда заранее отослала, и они дожидались ее у бабушки Бэби. И ей, конечно, во что бы то ни стало нужно было попасть к ним. А эта девушка Эми ей помогла.

Денвер остановилась и вздохнула. Начиналась самая ее любимая часть истории. Самый лучший ее кусок, который весь был про нее. Впрочем, кусок этот был ей и немного неприятен: она всегда начинала думать, что где-то есть у нее, Денвер, неоплаченный счет и оплатить его непременно нужно. Но кому она должна платить по счету и что именно для этого должна сделать, оставалось неясно. И сейчас, глядя на оживленное и словно голодное лицо Возлюбленной, видя, как жадно та впитывает каждое ее слово, задает всякие вопросы о цвете и размере различных вещей, упорно желая все понять сама, Денвер вдруг начала видеть и чувствовать то, о чем говорила: вот девятнадцатилетняя рабыня — всего на год старше Денвер — бредет по темному лесу, стремясь к своим детям, которые так далеко сейчас от нее. Она страшно устала, она очень боится и, вполне возможно, заблудилась. Но самое главное — она одна-одинешенька, а внутри у нее еще один ребенок, о котором она тоже должна позаботиться. За ней, возможно, гонятся с собаками и с ружьями; и уж конечно, у ее преследователей огромные, хищные зубы. Ночью ей не так страшно — ведь ночь одного с нею цвета, но днем каждый звук кажется ей выстрелом или шагами охотников за рабами.

Денвер все это теперь видела и чувствовала сама — через Возлюбленную. Чувствовала все, что могла тогда чувствовать ее мать. Видела, как все это происходило. И чем больше деталей и мелочей она вспоминала и добавляла в свой рассказ, тем больше это нравилось Возлюбленной. Порой Денвер даже предупреждала ее вопросы, сама наполняя живой краской и живым биением сердца те жалкие обрывки сведений, которые когда-то получила от матери и бабушки. Ее соло, таким образом, вскоре превратилось в дуэт; они лежали рядышком на постели, и Денвер старалась удовлетворить жадное любопытство Бел подобно любовнику, который заботится единственно о том, чтобы доставить радость и наслаждение своей возлюбленной. Темное стеганое одеяло с двумя оранжевыми квадратами тоже, конечно, было тут — Бел без него заснуть не могла. Одеяло пахло травами, и прикосновение его напоминало руки — неугомонные руки вечно занятых работой женщин: сухие, теплые, чуть шершавые. Денвер рассказывала, Возлюбленная слушала, и обе изо всех сил старались воспроизвести в мыслях своих то, что произошло на самом деле, то, про что знала одна только Сэти, и только она одна могла все это запомнить и потом как-то рассказать другим. О том, какой у Эми был голос, и о ее горячем дыхании, похожем на жар костра. О том, как быстро менялась погода среди этих холмов — как

там было холодно ночью и жарко днем; о неожиданно наплывавших туманах. И о том, как беспечно она вела себя с этой белой девушкой — эта беспечность была порождена отчаянием и подкреплена мимолетными взглядами Эми и ее добрыми губами.

— Незачем вам бродить по этим холмам, мисс.

— Нет, вы только ее послушайте! Да у меня дел куда больше, чем у тебя! Они ведь, если тебя поймают, так голову враз отчикают. За мной-то никто не гонится, а вот за тобой точно гонятся.— Эми сильно нажала пальцами, массируя свод ее стопы.— Чей это ребенок?

Сэти не ответила.

— Ты даже и этого не знаешь? Боже мой! — Эми вздохнула и покачала головой.— Больно?

— Немного.

— Это хорошо. Чем больнее, тем лучше для тебя. Никогда нельзя выздороветь, чтоб не было больно, ты же знаешь. Ну чего ты все ерзаешь?

Сэти приподнялась на локтях. От долгого лежания на спине она чувствовала между лопатками жгучую боль. Огонь, что прежде жег ее ступни, теперь перекинулся еще и на спину: она вся взмокла, так это было ужасно.

— У меня спина очень болит,— сказала она.

— Спина? Господи, ну и досталось тебе, видно. Повернись-ка, дай я посмотрю.

С невероятным трудом, так что ее даже затошнило, Сэти перевернулась на правый бок. Эми расстегнула платье у нее на спине и, увидев то, что там было, воскликнула:

— Господи ты Боже мой! — И умолкла. Сэти догадывалась, что там, должно быть, что-то ужасное, потому что больше Эми не сказала ни слова, лишь пальцами легонько касалась ее спины, стараясь почти не дышать. Сэти не могла пошевелиться, не могла лежать ни на животе, ни на спине, а если ложилась на бок, ее истерзанные ноги соприкасались, и это вызывало нестерпимую боль. Наконец Эми заговорила — словно во сне:

— Это же дерево, Лу. Настоящее вишневое деревце. Смотри, вот ствол — с красной корой, сильно расщепленный — он полон соков; а вот здесь от него отходят ветки, много веток. А вот на них листики, во всяком случае, очень похоже. И черт меня побери, если это не цветы! Маленькие беленькие цветочки — как у вишни. Да, у тебя на спине целое вишневое дерево, Лу. В цвету. Интересно, что задумал Господь, дозволяя такое? Меня, конечно, тоже не раз били, но ничего подобного я не помню. У мистера Бадди рука была тяжелая, злая. Бил меня кнутом только за то, что я прямо ему в глаза посмотрела. Правда. Один раз я посмотрела ему прямо в глаза, и он так разъярился, что запустил в меня кочергой. Небось догадался, о чем я подумала.

Сэти застонала, и Эми тут же прекратила лирические воспоминания и быстренько переложила израненные ноги Сэти повыше, чтобы основная нагрузка приходилась на ляжки.

— Ну что, так лучше? Господи, разве можно так умирать! Ты ведь понимаешь, что умрешь здесь? И я понятия не имею, как тебе из этой истории выпутаться. Благодари еще Создателя, что я случайно на тебя набрела, не то пришлось бы тебе умирать прямо там, в траве. Ну а если б змея проползла, так она б тебя точно укусила. А медведь и вообще бы съел. Может, все-таки тебе стоило остаться там, откуда ты сбежала, а, Лу? Хотя по твоей спине можно догадаться,— ха-ха! — почему ты там не осталась. Кто бы тебе это дерево ни нарисовал — он на сто очков мистера Бадди переплюнет. Слава Богу, я на твоем месте не оказалась. Ну что ж, ничем, кроме паутины, я тебя полечить не смогу. Только ее тут маловато, пойду поищу в кустах. Можно, конечно, еще мох приложить, да только там иногда всякие жучки водятся. А может, попробуем вскрыть эти твои «цветочки»? Пусть-ка гной вытечет. Ну что ты молчишь? Ты-то сама что думаешь? А все ж интересно, что у Господа было на уме, когда он такое

позволил. Ты, конечно же, что-то натворила, да? Ну теперь-то хоть никуда не убегай.

Сэти слышала, как Эми что-то бормочет и напевает в зарослях, собирая паутину. На ее пении она и постаралась полностью сосредоточиться, потому что стоило Эми немного отойти, как ребенок в животе у Сэти снова принимался возиться. Хороший вопрос, думала Сэти. Что было на уме у Господа? Эми оставила платье у нее на спине незастегнутым, и теперь туда задувал ветерок, чуть смягчая, утоляя боль. Это была небольшая передышка, и она наконец успела почувствовать, как распух и растрескался от жажды ее язык. Эми вскоре вернулась с полными пригоршнями паутины, которой, тщательно очистив ее от высохших паучьих жертв, аккуратно облепила спину Сэти, приговаривая, что, дескать, примерно так украшают елку на Рождество.

— У нас там, где я жила, есть одна старая негритянка. Ну ничегошеньки не знает, совсем темная. А шьет здорово. Все для миссис Бадди шьет — и тонкое белье с кружевами, очень красивое, правда, но ведь и двух слов связать не умеет. И совсем непросвещенная, вроде как ты. Ты тоже ничегошеньки не знаешь. А ведь все равно умрешь, вот ведь дело-то в чем. А я нет! Я все равно доберусь до Бостона и куплю себе бархат! Карминный. Ты ведь даже о таком и не слыхала, верно? Ну а теперь и тем более не услышишь. Спорим, тебе не доводилось даже спать на солнышке? Я целых два раза так спала. Обычно-то я скотину кормлю еще до рассвета и спать не ложусь до поздней ночи. Но один раз я прикорнула днем за телегой, да так и заснула. Спать, когда тебе на лицо солнышко светит,— это, я тебе скажу, самая лучшая вещь на свете. Первый раз я так спала, когда была еще маленькая. И никто меня тогда будить не стал. Ну а тогда, когда я за телегой прикорнула, то все цыплята, черт бы их побрал, разбрелись, и мистер Бадди меня здорово выпорол. Кентукки — вообще гнусное местечко. Жить нужно только в Бостоне. Там и мать моя жила, пока не задолжала мистеру Бадди. Джо Натан говорит, что мистер Бадди — мой папаша, да только я этому не верю, а ты?

Сэти сказала, что тоже не верит.

— А ты знаешь, кто твой отец, а?

— Нет,— сказала Сэти.

— Ну и я не знаю. Знаю только, что это не мистер Бадди.— И Эми, покончив с лечением, встала и прислонилась к стене сарая. Ее медлительные глаза стали совсем неподвижными и какими-то блеклыми в солнечном свете, который пламенем горел в ее волосах. И вдруг она запела:

Вот, полный забот, закончился день,
И сумерек летних спускается тень.
Влетая в окно, ветерок ночной
Твой полог качает рядом со мной.
Малышка моя усталая спит.
И тихо кузнечиков песня звучит.
В лесу, на волшебной поляне своей,
Кружит хоровод легких эльфов и фей.
Тогда-то в наш милый и маленький дом
Приходит не фея, не эльф и не гном —
Сама Королева всех кукол на свете
С туманных небес опускается к детям.

Эми вдруг перестала раскачиваться, отстранилась от стены, села и скорчилась, обхватив костлявыми руками колени и прижав локти своими хорошими, добрыми ладошками. Потом медленно опустила глаза и стала высматривать что-то в грязи под ногами.

— Это песенка моей мамы. Это она меня научила.

С глазами из пуговиц, в платьице ярком
Спешит она к детям и дарит подарки:

Душистые простыни, милые сказки...
И сами собой закрываются глазки.
Качается тихо твоя колыбелька,
И куклы уснули на мягких постельках,
И мячик притих в уголке на полу,
И сонные прыгалки сникли в углу;
Часы монотонно на стенке стучат —
Их стрелки запутались в лунных лучах.

И вот Королева твоя, мой малыш,
Решает проверить, а крепко ль ты спишь?
Погладит тебя своей белой рукою,
Густыми своими кудрями укроет.

Закрылися милые карие глазки.
Теперь Королева воротится в сказку,
А завтра, неся им и мир, и покой,
Детей будет гладить волшебной рукой..
Вот так Королева всех кукол на свете
С туманных небес опускается к детям.

Закончив петь, Эми некоторое время сидела молча, потом повторила последние слова, встала, вышла из сарая и там остановилась в сторонке, прислонясь к молодой рябине. Когда она вернулась, солнце еще вовсю освещало раскинувшуюся внизу долину, а у них здесь, на стороне Кентукки, были почти сумерки.

— Ты еще не умерла, Лу? Эй, Лу?

— Еще нет.

— Давай поспорим. Если ты доживешь до утра, то и вообще останешься жива.— Эми поправила кучу листьев у Сэти под ногами, чтобы той было удобнее, и опустилась на колени, чтобы снова растереть ее опухшие стопы. Давай-ка еще разок, и как следует! — сказала она, и когда Сэти от боли зашипела, всасывая воздух сквозь стиснутые зубы, рявкнула: — Заткнись! Ты должна держать свой рот закрытым.

Стараясь не шевелить языком, Сэти что было сил закусила губу и позволила добрым рукам заняться своим делом. Эми напевала себе под нос: «И тихо кузнечиков песня звучит», потом, словно устав, отодвинулась к противоположной стене, уселась там и, опустив голову на плечо, заплела свои патлы, приговаривая:

— Не вздумай только умирать ночью, слышишь? И не вставай. Я не желаю видеть, как твое безобразное черное лицо качается тут надо мной. А если уж станешь помирать, так отползи куда-нибудь подальше, чтобы я тебя отсюда видеть не могла, слышишь?

— Слышу,— сказала Сэти.— Я сделаю все, что смогу, мисс.

Сэти, собственно, уже и не рассчитывала увидеть что-либо еще в своей жизни, так что, почувствовав, как чья-то нога осторожно коснулась ее бедра, сперва некоторое время приходила в себя после глубокого сна, который уже приняла за смерть. Она села, вся дрожа от напряжения, и Эми внимательно осмотрела ее вспухшую, кровоточащую спину.

— Выглядит жутко! — заявила она.— Но ты вроде бы выжила. Господи, помоги. Ты выжила, ты пережила самое страшное, Лу! И все благодаря мне. А правда, я хорошо умею лечить? Ты как, идти-то сможешь?

— Да нужно же мне встать, чтобы хоть помочиться.

— Ну давай посмотрим, что у тебя получится.

Удовольствие, конечно, было ниже среднего, но в общем терпеть можно, и Сэти, хромая, сделала несколько шагов — сперва ухватившись за Эми, потом за молодое деревце.

— Вот оно, моих рук дело! Я ведь правда хорошо лечу?

— Да,— проговорила Сэти,— очень хорошо.

— Надо нам с этого холма убираться, да поскорее. Давай-ка. Я тебя

провожу вниз, к реке. Тебе ведь туда надо? А сама я на большое шоссе пойду. Выведет точнехонько в Бостон. А в чем это у тебя все платье?

— В молоке.

— Господи, все у тебя не так, как у людей!

Сэти опустила глаза, посмотрела на свой живот и потрогала его. Ребенок, конечно, умер. Она-то ночью не умерла, зато умер ребенок. Ну, раз уж так оно получилось, то теперь ее ничто не остановит. Она доставит молоко своей малышке, даже если ей придется переправляться через эту реку вплавь.

— Ты разве есть не хочешь? — спросила ее Эми.

— Я ничего не хочу, лишь бы поскорее попасть куда надо, мисс.

— Ну-у. Ладно, не спеши. Тебе ведь, наверно, как-то обуться надо?

— А как?

— Сейчас я придумаю,— сказала Эми и действительно придумала. Оторвала два куска от шали Сэти, набила их листьями и привязала эти мешочки к ее ступням, неумолчно при этом болтая:

— А сколько тебе лет, Лу? У меня уже четыре года месячные, а никаких детей ни от кого нет. Нет у меня времени с каким-то там молоком возиться, потому что...

— Я знаю,— сказала Сэти.— Тебе нужно в Бостон.

К полудню они увидели ее; потом подошли достаточно близко, чтобы ее услышать. Часам к трем они уже могли бы из нее напиться, если б захотели. На небе появились уже четыре звезды, когда они обнаружили, что поблизости нет ни одной пустой лодки, которую Сэти могла бы взять без спросу, и ни одного перевозчика, который согласился бы переправить на тот берег беглянку. Впрочем, лодка нашлась. В ней было одно весло, множество дырок и два птичьих гнезда.

— Ну вот тебе и лодка, Лу. Господь с тобой.

Сэти видела перед собой целую милю темной воды, через которую предстояло плыть с одним веслом в утлой лодчонке да еще против течения, несущего воды Огайо в Миссисипи, что была в сотнях миль отсюда. Река вдруг показалась ей похожей на дом, на убежище, и ее ребенок (который все-таки оказался жив), видимо, тоже так считал. Во всяком случае, стоило Сэти подойти поближе к реке, ее собственные воды хлынули потоком, словно желая воссоединиться с водами Огайо. Сэти показалось, что она треснула изнутри; сильнейшая схватка заставила ее изогнуться дугой.

— Ты что это делаешь, а? — возмутилась Эми.— У тебя что, совсем мозгов нет? Сейчас же прекрати! Тебе говорю, прекрати это, Лу, тупица ты этакая! Тупее просто на свете не бывает. Эй, Лу! Лу!

Сэти больше не могла ни о чем думать, лишь бы куда-нибудь заползти. Она подождала, когда вслед за приступом чудовищной боли наступила благодатная передышка, и на коленях заползла в дырявую лодку. Лодка покачнулась под ее тяжестью, и она едва успела упереться обвязанными тряпками и листьями ногами в скамью, когда от очередной схватки у нее перехватило дыхание. Задыхаясь от боли и видя в небесах над собой четыре летние звезды, она вытянула ноги и раздвинула их, потому что уже начала появляться головка, как сообщила ей Эми, словно сама Сэти этого не понимала, словно та боль, что разрывала ее изнутри, была просто трещиной на стволе орешины или слезой, зигзагом скатившейся по нежной кожице небес после удара молнии.

Дальше дело не пошло. Головка ребенка вышла наполовину; кровь матери заливала крохотное личико. Эми перестала молить Бога о помощи и начала богохульствовать.

— Тужься! — кричала Эми.

— Тащи! — шептала Сэти.

И сильные добрые руки в четвертый раз принялись за работу, хотя и не сразу, потому что речная вода, просачивавшаяся сквозь бесчисленные дыры и щели, уже заливала бедра Сэти. Сэти потянулась назад и ухватилась за веревку, которой была привязана лодка, пока Эми что было сил тащила младенца за головку. И вдруг чья-то огромная ступня как бы поднялась со

дна реки и ударила в днище лодки и в спину Сэти; Сэти поняла: дело сделано, и позволила себе на минутку потерять сознание. Очнувшись, она не услышала детского плача — только ободряющее воркование Эми. Ребенок так долго не плакал, что они обе уже решили, что потеряли его. Сэти вдруг выгнулась дугой, и из нее буквально вылетел послед. И только тогда ребенок захныкал; Сэти посмотрела на него: двадцать дюймов пуповины свисали с его животика, и он весь дрожал в прохладном вечернем воздухе. Эми поспешно завернула младенца в свою юбку, а мокрая насквозь, скользкая от крови роженица выбралась на берег, чтобы посмотреть, что же все-таки было у Господа на уме.

Споры папоротника, растущего в низинах вдоль реки, стремились к воде серебристо-голубыми струями, которые не заметишь, пока не наклонишься над водой, или не подойдешь к ней совсем близко, или пока не ляжешь у самой кромки воды, когда низкие лучи солнца скользят по поверхности реки. Очень часто споры эти принимают за насекомых, но на самом деле это семена, в которых спит новое поколение папоротников, уверенное в своем будущем. И, глядя на них, на какой-то миг легко можно поверить, что у каждого из семян это будущее есть, что каждое семечко станет всем тем, что ему суждено: что оно проживет свою жизнь так, как задумано. Миг подобной уверенности длится недолго; но, может быть, дольше, чем жизнь самой споры.

На берегу реки в прохладе летнего вечера две женщины вместе сражались со смертью под дождем из серебристо-голубых спор. Они не надеялись когда-либо вновь встретиться в этом мире, и вряд ли что-то в данный момент заботило их меньше. Но там, на берегу реки, в преддверии летней ночи, окруженные цветущими папоротниками, они кое-что сделали вместе, и сделали хорошо, как надо. Патрульный, проплывая мимо, непременно захихикал бы, увидев двух изгоев, двух бесприютных бродяжек — чернокожую рабыню и босоногую белую девушку с растрепанными волосами, заворачивавших младенца десяти минут от роду в те обноски, что были на них самих. Но мимо не проплыл ни один патрульный, и не явился ни один священник. Вода, почмокивая, плескалась прямо у них под ногами. Ничто не могло помешать им выполнить свою работу. И они сделали ее как следует, сделали хорошо.

Наступили сумерки; Эми сказала, что должна идти, чтобы завтра не попасться среди бела дня в таких людных местах с какой-то беглой рабыней. Вымыв лицо и руки, она встала, посмотрела на ребеночка, которого перед тем запеленала и плотно привязала Сэти к груди.

— Она так никогда и не узнает, кто я такая. Ты ей расскажешь? Расскажешь, кто вытащил ее в этот мир? — Эми вздернула подбородок и посмотрела куда-то вдаль, туда, где только что было солнце.— Ты уж все-таки расскажи ей, ладно? Слышишь? Скажи: мисс Эми Денвер. Из Бостона.

Сэти чувствовала, как засыпает, погружается в сон, который, как она знала, будет очень глубоким. Уже почти соскользнув в сон, она успела подумать: «Какое хорошенькое имя. Денвер. Правда хорошенькое».

Пора было во всем этом разобраться. Пока Поль Ди не пришел и не уселся на ее крыльце, слова, что некогда прошептала ей Бэби Сагз, заставляли ее ходить, двигаться, помогали терпеть отвратительные выходки маленького привидения; благодаря этим словам она как бы обновила в своей памяти лица Ховарда и Баглера и могла уже порой вспоминать их целиком, потому что во сне видела их только частями, среди ветвей больших деревьев; а муж ее продолжал оставаться как бы в тени, но он безусловно существовал — правда, неведомо где. А теперь вымазанное маслом лицо Халле там, у маслобойки, распухало, разрасталось, заслоняло все у нее перед глазами, вызывая невыносимую боль в сердце. Ей ужасно хотелось, чтобы Бэби Сагз своими легкими пальцами растерла ей затылок

и шею и прошептала те слова: «Сложи свое оружие, Сэти. И меч, и щит. Положи их на землю. На землю. И меч, и щит — на землю. На берег реки. И меч, и щит. И позабудь о войне, не думай о ней. Пусть все это уйдет. Положи их на землю — меч и щит». И, ощущая легкий нажим пальцев Бэби, слушая ее тихие наставления, она действительно складывала оружие. Клала на землю тяжкие клинки, которыми отбивалась от нищеты, от сожалений, от злобы и от боли. Один за другим она клала их на берегу реки, над стремительным, чистым потоком.

Девять лет не ощущала она прикосновения пальцев Бэби Сагз, не слышала ее голоса — слишком долго. И те слова, нашептанные в гостиной, значили теперь слишком мало. Вымазанное маслом лицо Халле — Господь, дозволив такое, не сделал это лицо лучше — требовало от нее чего-то большего: построить памятник или сшить траурное платье. Или совершить какой-то обряд. Сэти решила сходить на ту Поляну, где давно уже не бывала и где когда-то в солнечном свете танцевала Бэби Сагз.

До того как дом номер 124 стал для окружающих как бы запретным, а его обитатели сами затворились в нем ото всех; до того как он стал игрушкой и обиталищем обиженных духов, дом номер 124 был очень веселым и шумным; здесь Бэби Сагз, святая, любившая людей, давала советы, кормила, ругала и утешала. Здесь на плите тихонько кипели два — всегда два, не один! — горшка; здесь лампа горела всю ночь. Незнакомые люди отдыхали здесь, а дети возились на полу, примеряя их башмаки. Здесь оставляли для передачи самые важные послания, ибо тот, кому они предназначались, всегда мог случайно заглянуть сюда не сегодня, так завтра. Беседа здесь всегда велась вполголоса и только по делу — Бэби Сагз, святая, не одобряла лишней болтовни. «Все зависит от того, сколько тебе положено знать,— говаривала она и прибавляла: — Господу известно, когда остановиться пора».

Таким был дом номер 124, когда Сэти с новорожденной Денвер, крепко прикрученной к ее груди, вылезла из тележки и сразу почувствовала широкие объятия своей свекрови, ее руки, которыми она могла, казалось, обнять весь Цинциннати. Бэби Сагз решила, что раз уж жизнь, проведенная в рабстве, «испоганила ее ноги, спину, голову, глаза, руки, почки, чрево и язык», то теперь у нее не осталось ничего, кроме ее большого сердца — которое она тут же и заставила трудиться. Она не позволяла называть себя ни проповедницей, ни как-либо еще, но разрешала прибавлять к своему имени всякие незначительные ласковые и уважительные прозвища; она стала вольной проповедницей, однако посещала настоящую церковь, слушая проповеди настоящего проповедника, а потом открывала свое огромное сердце для тех, кто испытывал в том потребность. Зимой и осенью она несла свое сердце в Африканскую методистскую церковь, к баптистам, папистам и санктифедам, в церковь Христа Спасителя, к иезуитам. Незваная, необлаченная, непомазанная, она позволяла своему великому сердцу громко биться в их присутствии. Потом наступала теплая пора, и тогда Бэби Сагз, святая, вела всех чернокожих, мужчин, женщин и детей, всех, кто был способен передвигаться, на Поляну и несла туда свое великое сердце. Поляной называлась широкая вырубка в лесной чаще, сделанная неизвестно для чего в конце длинной полузаросшей тропы, знакомой лишь оленям да тому, кто впервые вырубил здесь деревья. И весь жаркий субботний полдень она сидела на этой Поляне, а собравшиеся люди ждали в тени среди деревьев.

Устроившись на большом плоском камне, Бэби Сагз кланялась и молча молилась. Собравшиеся издали наблюдали за нею. Они понимали, что настал их черед, когда она клала свою палку. А потом кричала:

— Пусть подойдут дети! — И дети выбегали из-под деревьев и устремлялись прямо к ней.

— Пусть матери услышат ваш смех,— говорила она им, и лес начинал звенеть. Взрослые смотрели и не могли сдержать улыбок.

А потом она кричала:

— Пусть подойдут сюда взрослые мужчины! — И те выходили один за другим из тени деревьев, звеневших от смеха детей.

— Пусть ваши жены и дети увидят, как вы танцуете,— говорила она им, и земля содрогалась от топота крепких ног.

И наконец, она подзывала к себе женщин.

— Плачьте,— говорила она им.— О живых и о мертвых. Просто плачьте.— И, не прикрывая руками лиц, женщины давали волю слезам.

Так всегда начиналось: смеющиеся дети, танцующие мужчины, плачущие женщины, а потом все смешивалось. Женщины переставали плакать и начинали танцевать; мужчины садились и начинали плакать; дети танцевали, женщины смеялись, дети плакали — пока, измученные совершенно, задыхаясь, все они не падали на сырую землю Поляны. И в наступившей тишине Бэби Сагз, святая, приносила им в жертву свое великое необъятное сердце.

Она не говорила о том, что им необходимо очиститься от грехов и более в последующей жизни ни в коем случае не грешить. Не говорила и о том, что именно они — благословенные на земле, ее, земли, кротость, плодородие и чистоту унаследовавшие.

Она говорила им о том, что Благодать будет им доступна, если они способны вообразить ее себе. Но если они не могут ее себе представить, то она и не снизойдет на них никогда.

— Здесь,— говорила она,— на этой Поляне, мы — всего лишь плоть; плоть, которая плачет, смеется, танцует босиком на траве. Любите же свою плоть. Те, другие, вашу плоть не любят. Она им отвратительна. Они не любят ваши глаза; они бы скорее предпочли выколоть их. Не больше любят они и кожу на ваших спинах — они бы с радостью содрали ее. И — о, мой народ! — до чего же они не любят ваши руки! Те самые, трудом которых они пользуются, а потом связывают их, стягивают веревками, отрубают и всегда оставляют пустыми. Любите же ваши руки! Любите их. Поднимите их и поцелуйте. Коснитесь ими других людей, пожмите руки друг другу, погладьте ими себя по лицу, потому что те, другие, этого тоже очень не любят. Именно вы должны полюбить свои руки, именно вы! Ах нет, и рты ваши, ваши губы тоже им ненавистны, тем, другим. Им куда приятнее, когда они разбиты в кровь, когда снова и снова кровь заливает их. То, что вы говорите своими губами, им безразлично. Того, что выкрикиваете вы от боли, они не слышат. А то, что вы кладете в рот, дабы напитать тело свое, они у вас непременно отнимут и взамен дадут свиное пойло. Да, губы ваши и рты им тоже ненавистны. Именно вы должны полюбить их. Все то, о чем я говорю здесь,— это плоть ваша. Та самая плоть, что так нуждается в вашей любви. Ноги, которым нужно и отдохнуть, и потанцевать; спины, которым непременно нужна поддержка; плечи, которым очень нужны руки, сильные руки. И вот что я вам скажу: те, другие,— слышите ли вы меня, дети мои? — они очень не любят, когда на шее у вас не затянута петля, когда шея у вас свободна. Когда она прямая. Так что любите свою шею; коснитесь ее рукой, удивитесь ее красоте, погладьте ее и держите шею свою прямой, а голову — высоко поднятой. И все свои внутренности — те самые, которые они с превеликим удовольствием бросили бы свиньям,— вы тоже должны полюбить. Темную, черную вашу печень — любите ее, любите; и свое живое, бьющееся сердце — любите тоже! Больше даже, чем глаза или ноги свои. Больше даже, чем легкие, которые должны полниться вольным воздухом. Больше, чем животворное свое чрево и животворные свои чресла — слушайте меня, любите же свое сердце, дети мои. Ибо оно — самое ценное на свете.— И тут Бэби Сагз умолкала, вставая с камня, и, несмотря на свое искалеченное бедро, начинала танцевать, чтобы высказать то, что невозможно выразить словами, а остальные принимались петь, аккомпанируя ей. Отлично тянули долгие ноты, пока четырехголосная каденция не завершалась мощным аккордом любви к драгоценной плоти.

Сейчас Сэти очень захотелось там оказаться. Хотя бы послушать отзвуки некогда звучавшего там пения. А может, получить какой-то совет от своей покойной свекрови, как же ей теперь быть со своим щитом

и мечом. Господи ты Боже мой, уже девять лет прошло с тех пор, как Бэби Сагз, святая, объявила себя лгуньей, спрятала ото всех свое великое сердце и забилась в дом, улеглась на кровать, лишь изредка вставая в поисках ярких красок. Больше она ничего видеть не желала.

— Эти белые забрали все, что у меня когда-либо было, о чем я когда-либо мечтала,— говорила она.— И они порвали струны моего сердца. Нет большего несчастья в мире, чем белые люди.

И дом номер 124, закрывшись ото всех, примирился с тем злом, которое творил поселившийся в нем дух. Лампу уже не оставляли зажженной на всю ночь, и соседи больше не забегали как бы случайно. И после ужина никто не вел тихих разговоров вполголоса. И никто, сняв с усталых ног башмаки, не смотрел, как дети играют с ними на полу. Бэби Сагз, святая, думала, что солгала. И не было им суждено никакой благодати — ни вымышленной, ни реальной, и никакие танцы на залитой солнцем Поляне не могли этого изменить. Ее вера, ее любовь, ее воображение и ее великое старое сердце начали умирать через двадцать восемь дней после прибытия ее невестки.

И все-таки Сэти решила отправиться именно на Поляну — отдать дань Халле. Пока еще все зеленое, пока Поляна еще похожа на то священное место, каким была когда-то: влажная дымка над травой и запах обильного урожая гниющих ягод.

Она накинула шаль и велела Денвер и Бел сделать то же самое. Все вместе они вышли из дому поздним утром в воскресенье — впереди Сэти, за ней девушки, и ни души вокруг.

Когда они добрались до опушки леса, Сэти сразу отыскала ту тропу, потому что теперь на Поляне устраивались гулянья для горожан, устанавливались накрытые столы и всевозможные палатки, слышались звуки банджо и тому подобное. Старая тропа превратилась почти что в дорогу, но над ней по-прежнему склонялись густые ветви деревьев и падали на траву конские каштаны.

Ничего, кроме того, что она уже сделала, сделать тогда было невозможно и невозможно было как-либо это исправить, но Сэти винила себя за то, что Бэби Сагз этого не выдержала. И сколько бы раз в те дни Бэби ни пыталась это отрицать, Сэти знала, что горе пришло в дом номер 124 в тот миг, когда она выпрыгнула на землю из повозки с привязанной к груди новорожденной, завернутой в рубашку одной белой девушки, что так стремилась в Бостон.

Денвер и Бел спокойно шли за ней по светло-зеленому коридору из дубов и конских каштанов, когда Сэти вдруг почувствовала, что покрывается испариной,— в точности как тогда, когда очнулась, вся мокрая и грязная, на берегу реки Огайо.

Эми ушла. Сэти казалась себе ужасно одинокой и слабой, но она была жива, и ребенок тоже. Она сделала несколько шагов по берегу, постояла, глядя на сверкающую воду. Порой вдали мелькала плоскодонка, но ей было не разглядеть, кто там, в лодке: белые или негры. Она вся взмокла, начиналась лихорадка, за которую она благодарила Всевышнего: собственный жар поможет ей согреть ребенка. Когда плоскодонка совсем исчезла из виду, она двинулась дальше, споткнулась и чуть не налетела на троих негров — двух мальчиков и пожилого мужчину, занятых рыбной ловлей. Она остановилась и стала ждать, когда с ней заговорят. Один из мальчиков показал на нее, и мужчина, глянув через плечо, отвернулся. Словно один быстрый взгляд сказал ему о ней все, что было необходимо.

Некоторое время все молчали. Потом мужчина спросил:

— На тот берег нужно?

— Да, сэр,— сказала Сэти.

— Тебя там кто-нибудь ждет?

— Да, сэр.

Он снова быстро посмотрел на нее и мотнул головой в сторону большого камня, что выступал из земли с ним рядом, словно нижняя губа великана. Сэти подошла ближе и села. Камень был довольно горячим от

солнца, но все же не таким горячим, как сама Сэти. Она слишком устала, так что сидела совершенно неподвижно; от бьющего в глаза солнца кружилась голова. Пот лил с нее ручьями; ребенок у нее на руках совершенно промок. Она, должно быть, уснула сидя, потому что когда снова открыла глаза, тот мужчина стоял перед ней с дымящимся куском только что поджаренного угря в руках. Ей оказалось невыносимо трудно протянуть руку и взять еду, еще труднее — переносить ее запах, совсем невозможно — есть. Она попросила дать ей напиться, и он принес ей воды из реки Огайо в жестяной банке. Сэти выпила все до капли и попросила еще. В голове снова начался звон, но она и думать не желала о том, чтобы после всего этого пути и стольких мук взять да и умереть, так и не переплыв на тот берег реки.

Мужчина смотрел, как струйки пота стекают у нее по лицу. Потом окликнул одного из мальчишек.

— Сними-ка свою куртку,— велел он ему.

— Но, сэр?

— Ты меня слышал?

Мальчик начал стаскивать куртку, тихонько подвывая:

— Что ты собираешься делать? Что я буду носить?

Мужчина отвязал ребенка от груди Сэти, завернул его в куртку мальчика и связал рукава спереди узлом.

— А я что буду носить?

Мужчина вздохнул и, помолчав, сказал:

— Хочешь взять свою куртку назад? Ну давай, отбери ее у этого малыша, а самого ребеночка голым на траву положи. И надевай свою куртку. Если ты сможешь сделать такое, то уходи с глаз моих долой и обратно не возвращайся.

Мальчик потупился, отвернулся и отошел в сторону. Сэти дремала, держа в руке кусок жареного угря; ребенок лежал на земле у ее ног; во рту у нее совершенно пересохло; тело было покрыто испариной. Наступал вечер, и тут мужчина коснулся ее плеча.

Она совершенно не ожидала, что они проплывут вверх по реке так далеко от того места, где Эми тогда нашла полусгнившую лодку. Когда Сэти уже совсем решила, что старик везет ее назад в Кентукки, он резко повернул плоскодонку, и они мгновенно оказались на другом берегу. Там он помог ей взобраться по крутому склону, а тот мальчик, что снял свою куртку, нес новорожденную, в эту куртку завернутую. Мужчина подвел Сэти к неприметной, покрытой ветками хижине с земляным полом.

— Подожди здесь. Скоро за тобой придут. Только никуда не выходи. Иначе тебя сразу обнаружат.

— Спасибо вам,— сказала она.— Мне бы очень хотелось знать ваше имя, чтобы правильно вас запомнить.

— Имя-то? Имя-то мое Штамп. Знаешь такой штамп: «Оплачено»? — сказал он.— Ты за ребенком-то смотри как следует, чтоб не плакал, ясно?

— Ясно. Я буду смотреть,— сказала Сэти, да только обещания своего не сдержала. Когда через несколько часов прямо перед ней возникла какая-то женщина, она не успела услышать ни звука. Это была невысокая молодая женщина с мешком. Она приветливо поздоровалась с Сэти.

— Я знак-то давно заметила,— сказала она.— Да все у меня не получалось быстрее прийти.

— Какой знак? — спросила Сэти.

— Штамп старый свиной хлев открытым оставляет, если кто-то с той стороны перебрался. И белый лоскут привязывает, когда еще и ребенок есть.

Она опустилась на колени и вытащила из мешка шерстяное одеяло, кусок хлопчатобумажной ткани, две печеные сладкие картофелины и пару мужских ботинок.

— Меня зовут Элла,— сказала она.— Мужа-то моего, Джона, сейчас дома нет. А ты сама куда направляешься?

Сэти сказала, что к Бэби Сагз и что уже отправила к ней троих своих детей.

Элла туго перевязала пупок младенца полоской ткани, словно вслушиваясь в недосказанное — в незаданные вопросы, в промелькнувшие как бы между словами сведения о неназванных, неупомянутых людях, оставшихся на той стороне. Она вытряхнула камешки из мужских ботинок и попыталась втиснуть в них ноги Сэти. Ничего не получилось. Печально вздыхая, они распороли их сзади по шву — действительно, было очень жаль портить такую ценную вещь. Сэти надела куртку того мальчика, так и не осмелившись спросить, известно ли что-нибудь о ее детях.

— Они добрались,— сказала Элла.— Штамп многих из той партии перевозил. Всех их оставили на Блустоун-роуд. Это недалеко.

Сэти замерла от счастья; благодарность переполняла ее, и она, тихо празднуя радостную весть, очистила от шелухи картофелину, разломила ее и съела.

— То-то они тебе обрадуются! — сказала Элла.— А эта кроха когда родилась?

— Вчера,— сказала Сэти, утирая пот.— Надеюсь, она выживет.

Элла посмотрела на маленькое грязное личико, выглядывавшее из шерстяного одеяла, и покачала головой.

— Трудно сказать,— промолвила она.— Если бы кто-то вздумал спросить меня, я бы ответила: ничего и никого никогда не любите! — И тут же, словно желая смягчить резкость своего утверждения, улыбнулась Сэти.— Ты что ж, так сама и родила?

— Нет. Мне одна белая девушка помогла.

— Тогда нам лучше поспешить.

Бэби Сагз поцеловала ее в губы, но детей повидать сразу не позволила. Они спят, сказала она, а Сэти слишком грязная и страшная, чтобы будить их среди ночи. Бэби Сагз передала новорожденную какой-то молодой женщине в чепце, предупредив ее, чтоб не промывала девочке глазки, пока Бэби не принесет материнской мочи.

— Она уже плакала? — спросила Бэби.

— Немножко.

— Пора уж. Ну что ж, приведем в порядок ее мать.

Она повела Сэти в гостиную и при свете спиртовой лампы обмыла ее по частям, начав с лица. Затем, поджидая, пока согреется очередная порция воды, присела возле нее и принялась шить что-то из серенького ситца. Сэти задремала и проснулась, только когда Бэби начала обмывать ей руки и плечи, потом прикрыла ее стеганым одеялом и поставила в кухне на огонь еще один таз с водой. Она разрывала простыни на бинты, шила что-то из серенького ситца и приглядывала за женщиной в чепце, которая возилась с малышкой, то и дело роняя слезы в готовящуюся еду. Обмыв Сэти ноги, Бэби Сагз внимательно осмотрела каждую ее ступню и легонько промокнула тряпочкой. Потом как следует вымыла у Сэти между ногами и в низу живота, использовав для этого целых два таза теплой воды, и туго перевязала ей живот и промежность. Потом снова взялась за неузнаваемые ступни Сэти.

— Ты их чувствуешь?

— Чувствую — что? — спросила Сэти.

— Ничего. Поднимись-ка.— Она помогла Сэти встать и перебраться в кресло-качалку, а ноги ее опустила в ведро с соленой водой и можжевельником — отмокать до утра. Корку на ее сосках Бэби сперва смазала жиром, а когда она отмякла, смыла теплой водой. К рассвету по-прежнему молчавший ребенок проснулся и взял грудь.

— Благодари Господа, что все обошлось,— сказала Бэби.— Когда покормишь, позови меня.— Уже повернувшись, чтобы уйти, она вдруг заметила темное пятно на простыне. Нахмурилась и посмотрела на спину своей невестки, склонившейся к девочке. Кровяные розы цвели на одеяле, прикрывавшем плечи Сэти. Бэби Сагз зажала рот рукой, чтобы не вскрикнуть. Когда малышка наелась и уснула — глазенки ее были полуоткрыты, она сонно причмокивала язычком,— старая женщина молча обтерла чистой

тряпочкой цветущую алыми розами спину Сэти и подложила двойную прокладку под только что сшитое платье.

Сэти все время казалось, что это ей только снится. Но когда привели сонных детей, двух мальчиков и дочку,— Господи, неужели она уже ползала? — ей стало безразлично, сон это или явь. Сэти лежала в постели, и ее дети были с ней, ползали по ней, вокруг нее, заползали под нее, но главное — с ней рядом, все трое. Малышка пускала чистые детские слюнки ей в лицо, и Сэти так громко смеялась от радости, что девочка — неужели она уже ползала? — испуганно жмурилась. Баглер и Ховард принялись играть с ее обезображенными ногами, не сразу, правда, осмелившись их коснуться. Она все время их целовала. Она целовала их в спинки, в загривочки, в макушки, в ладошки, и мальчики первыми решили, что, пожалуй, довольно, когда она задрала им рубашонки и стала целовать их тугие круглые животишки. Она остановилась только тогда, когда они спросили:

— А папа придет?

Она не заплакала. Она сказала:

— Да, скоро,— и улыбнулась, чтобы они подумали, что глаза у нее блестят только от любви к ним. И тут вмешалась Бэби Сагз и сказала мальчишкам «кыш!» и помогла Сэти переодеться в ситцевое платье, которое начала шить той ночью, сидя возле нее. Потом Сэти снова легла, прижав к груди старшую дочку,— неужели она уже ползала? — Она вытащила левую грудь и двумя пальцами сунула сосок в открытый ротик девочки. Итак, путешествие с молоком было закончено для обеих. Обе получили свое.

Вошла Бэби Сагз и стала смеяться над ними, рассказывая Сэти, какая сильная эта малышка и какая она умная, уже хорошо ползает. Потом наклонилась и подобрала с полу грязное тряпье — бывшую одежду Сэти.

— Все это надо выбросить, ни на что не годится,— сказала она.

Сэти подняла глаза от ребенка.

— Погоди! — окликнула она Бэби.— Посмотри, нет ли там в подоле нижней юбки узелка.

Бэби Сагз пропустила ветхую ткань сквозь пальцы и действительно нащупала что-то твердое. Развязав узелок, она вытащила серьги и протянула их Сэти.

— Прощальный подарок?

— Свадебный.

— Хорошо, если б при серьгах еще и жених был.— Бэби смотрела на лежавшие на ладони камешки.— Ты как думаешь, что с ним случилось?

— Не знаю. Он не пришел, как мы договорились. А я непременно должна была выбраться оттуда. Непременно.— Сэти некоторое время не сводила глаз с сонного личика сосущей девочки, потом прямо посмотрела на Бэби Сагз.— У него получится. Если уж у меня получилось, то у Халле получится обязательно.

— Ну что ж, надевай сережки-то. Может, они ему путь облегчат.— Уверенная в том, что сын ее умер, Бэби Сагз сунула их Сэти в руки.

— Мне сперва нужно уши проткнуть.

— Я проткну,— сказала Бэби Сагз.— Вот немного придешь в себя, и проткну.

Сэти позвенела сережками, доставив несказанное удовольствие дочке,— Господи, неужели она уже ползала? — все тянувшейся к блестящим камешкам.

На Поляне Сэти отыскала тот старый большой камень, на котором молилась Бэби, тут же припомнив запах нагретой солнцем листвы, топот танцующих ног и веселые крики, от которых срывались на землю конские каштаны. Великое сердце Бэби Сагз принимало всю ответственность на себя, и люди чувствовали себя совершенно свободными.

Тогда Сэти прожила уже двадцать восемь дней своей свободной жизни — целый лунный месяц. С той минуты, когда ее дорогая малышка, улыбаясь, пустила свои чистые детские слюнки прямо ей в лицо, до ее

первых месячных прошло ровно двадцать восемь дней. То были дни выздоровления, физического и душевного, и по-настоящему откровенных разговоров. То были дни знакомств: она узнала имена сорока или пятидесяти соседей и кое-что об их мнениях и привычках; узнала, какова была их прошлая жизнь и как они попали сюда; и теперь Сэти чувствовала, что все эти люди смеются и печалятся как бы с нею вместе, отчего и радость, и горе переносить гораздо легче. Один научил ее читать; другая — шить. И все понемногу учили ее тому, как это хорошо — просыпаться на заре и *самой решать,* как лучше провести свой собственный день. Только это и помогло ей пережить ожидание Халле. Понемножку и в доме номер 124, и на Поляне, окруженная другими людьми, Сэти начинала осознавать себя. Освободиться, убежав от хозяев,— это одно, а понять, что ты можешь собой распоряжаться,— совсем другое.

И вот она сидела на камне Бэби Сагз, а Денвер и Бел смотрели на нее из-за деревьев. Никогда не придет тот день, думала она, когда Халле постучится в мою дверь. Не знать этого было тяжело; знать — еще тяжелее.

Только коснись меня, думала она. Только дай мне снова почувствовать твои пальцы там, на шее, сзади, и я постараюсь справиться даже с этим, выберусь и из этого тупика. Сэти опустила голову — и точно, вот и они, легкие, точно перышко птички. Но знакомые, ласковые пальцы Бэби Сагз. Сэти постаралась еще расслабиться, чтобы им легче было делать свое дело — они казались такими слабыми, как у ребенка, и прикосновение их больше походило на поцелуй. Но и за это Сэти была благодарна Бэби Сагз, чья далекая любовь ничуть не уступала телесной близости, которую Сэти знала. Уже одного только желания Бэби помочь невестке в трудный час, не говоря о попытке облегчить ее боль, было довольно, чтобы настроение у Сэти исправилось, и она решилась на следующий шаг: попросила о знаке, о совете — как ей справиться с жадностью собственного разума, желавшего знать непереносимое, с чем дальше жить будет невозможно.

Она понимала, Поль Ди привнес в ее жизнь нечто такое, на что ей очень хотелось рассчитывать, но рассчитывать на это она боялась. Он уже успел рассказать ей кое-что новое о прошлом и оживить старые воспоминания, разрывавшие сердце. Пустое пространство в ее душе — там, где хранилось неведение о судьбе Халле, порой напоминавшее о себе обидой на то, что могло оказаться то ли его трусостью, то ли глупостью, то ли чудовищным невезением,— теперь заполнилось огромным горем; и кто знает, что еще ожидает ее впереди. В прошлом, когда дом номер 124 был жив, она могла разделить горе с друзьями, женщинами и мужчинами из соседних домов. Потом, очень долго, никто из друзей у нее не бывал — все они отказывались заходить в дом, где поселилось маленькое привидение, и она отвечала на это вызывающей гордостью человека, с которым поступают несправедливо. Но теперь у нее был кто-то, с кем можно разделить любое горе; и этот человек прогнал привидение сразу, как только вошел в дом, и с тех пор оно, слава Богу, больше не давало о себе знать. Но вместо старой боли он принес еще и новую, куда страшнее: лицо Халле, вымазанное маслом; железные удила у человека во рту и Бог его знает что еще, о чем он мог бы рассказать ей, если захочет.

Теперь невидимые пальцы куда смелее поглаживали ее шею, словно Бэби Сагз наконец собралась с силами. Она как будто уперлась большими пальцами Сэти в затылок, остальными массируя ей шею сзади и с боков все сильнее и сильнее; потом пальцы медленно стали продвигаться все ближе к ее горлу, совершая легкие круговые движения. Сэти, пожалуй, скорее удивилась, чем испугалась, когда обнаружила, что пальцы ее душат. По крайней мере, было очень похоже. Наконец, пальцы Бэби Сагз так сжали ей горло, что стало невозможно дышать. Качнувшись вперед, она вцепилась в невидимые пальцы, пытаясь оторвать их от горла. Она уже била ногами по земле, когда к ней подбежала Денвер, а за ней Бел.

— Мам! Что с тобой, мам? — кричала Денвер.— Мамочка! — И она перевернула мать на спину.

Пальцы тут же оставили Сэти в покое, и ей пришлось несколько раз

с трудом вдохнуть воздух, прежде чем она сумела различить склонившееся над ней лицо дочери, а за ней — темную фигуру Бел.

— Господи, что это с тобой было?

— Кто-то меня душил,— еле выговорила Сэти.

— Кто?

Сэти потерла шею и, кряхтя, села.

— Наверное, Бэби. Я попросила ее только шею мне растереть, как прежде — она отлично это делала,— и все было хорошо, но потом ей, видно, надоело со мной возиться.

— Она никогда бы с тобой так не поступила, мам! Бабушка Бэби? Нет уж.

— Помоги-ка мне встать, и пойдем отсюда.

— Смотрите,— Бел показала на шею Сэти.

— Что? Что ты там видишь такое? — удивилась та.

— Синяки какие-то,— ответила Денвер.

— У меня на шее?

— Вот,— подтвердила Бел.— Вот и вот.— Она коснулась грязноватого на вид пятна у Сэти на горле, более темного, чем кожа. Пальцы у нее были очень холодными.

— Это же не поможет...— начала было Денвер, но Бел уже наклонилась и обеими руками стала разглаживать мягкую, как замша, и матово блестевшую, словно тафта, кожу Сэти.

Сэти застонала. Пальцы девушки были такими прохладными и умелыми. Стянутая в тугой клубок, потайная, несчастная жизнь Сэти словно чуточку подалась, смягчилась, и ей показалось, что лучик счастья, промелькнувший тогда в сцепленных руках теней на обочине дороги, когда они возвращались с карнавала, вспыхнул снова и не погаснет — если только ей удастся справиться с тем, что она узнала от Поля Ди, и тем, что он еще хранил при себе. Просто справиться. Не сломаться. Не падать и не рыдать всякий раз, как ненавистная картина возникнет, выплывет из небытия и предстанет перед нею в мельчайших подробностях. Нельзя позволить этому превратиться в безумие, как у приятельницы Бэби Сагз — той молодой женщины в чепчике, что все солила еду слезами. Или как у тетушки Филлис, которая даже спала с открытыми глазами. Или как у Джексон Тилл, которая спала вообще под кроватью. Сэти хотела одного: продолжать жить. Как до сих пор. Когда они с дочерью одни жили в доме, где бесчинствовал дух умершего ребенка и где ей, черт побери, все удавалось. Так почему же теперь, когда в доме вместо привидения живет Поль Ди, она чувствует, что вот-вот сломается? Чего она боится? Почему ей понадобилась Бэби? Самое плохое ведь уже позади, верно? Пока в доме жил дух ее мертвой дочери, она все могла вынести, могла сделать все что угодно, принять любое решение. А теперь один лишь намек на то, что случилось с Халле, и она совсем растерялась, точно отставший от матери крольчонок.

Пальцы Возлюбленной приносили райское наслаждение. Чувствуя их на шее и на затылке и вновь обретая способность ровно дышать, Сэти ощущала физически, как уходит страх, как в душу проникает тот покой, в поисках которого она и явилась сюда.

Надо найти какой-нибудь знак, подумала она и закрыла глаза, пытаясь представить их троих посреди Поляны, у того самого камня, который так любила Бэби Сагз, святая: одна из них сидит, запрокинув голову и подставив горло добрым рукам второй, что стоит возле нее на коленях и массирует ей шею; третья наблюдает за ними.

Денвер следила за лицами матери и Бел. Бел не видела ничего, кроме собственных пальцев, круговыми движениями растиравших шею Сэти. Потом вдруг она наклонилась и с нежностью поцеловала Сэти куда-то под подбородок.

В этой позе обе застыли на некоторое время, не зная, как это прекратить; не зная, что делать с этой неожиданной вспышкой любви и нежности. Потом Сэти, словно очнувшись, захлопала глазами, схватила Бел за волосы и высвободилась. Позже она убедила себя, что дурман нашел на нее

потому, что дыхание девушки пахло грудным молоком, как у ребенка; а Бел она сказала сурово и хмуро:

— Ты уже слишком взрослая, чтобы так вести себя.

Потом взглянула на Денвер и, заметив у нее в глазах полнейшую растерянность, сменившуюся чем-то более угрожающим, быстро встала, разрушив все чары.

— Ну, хватит! Пошли домой! — Она махнула девушкам рукой, призывая их подняться. Покидали Поляну они точно в том же порядке, как и пришли: Сэти впереди, девушки, чуть отставая, позади. Как и тогда, все трое молчали, но молчание это было иным. Сэти была встревожена, но не из-за поцелуя Возлюбленной, а потому, что как раз перед этим поцелуем она чувствовала себя удивительно легко, успокоенная ее ласковыми пальцами. Она думала и о тех ласковых пальцах, что так часто помогали ей, а потом вдруг начали душить, и что-то такое промелькнуло, ускользая, в ее памяти... Однако единственное, в чем она была теперь уверена, это то, что Бэби Сагз вовсе не душила ее, как ей сперва показалось. Денвер была права, и, шагая в пятнистой тени деревьев с прояснившейся головой, вдали от чар Поляны, Сэти припомнила прикосновения тех старых пальцев, которые знала лучше, чем свои собственные. Это они тогда обмыли ее по частям, перевязали ей живот, расчесали волосы и смазали маслом заскорузлые, растрескавшиеся соски; это они шили ей одежду, мыли больные, израненные ноги, смазывали лечебным снадобьем спину и тут же бросали любую работу, чтобы помассировать Сэти затылок,— особенно в первые дни, когда она никак не могла выкарабкаться из-под бремени воспоминаний и того, о чем она и вспоминать не хотела: учитель, пишущий что-то в своей книжке сделанными ею чернилами, пока его племянники забавляются с нею; лицо той женщины в поле, ее матери в фетровой шляпе в тот миг, когда она разогнулась и потянулась... Даже лежа с закрытыми глазами, она бы все равно изо всех рук на свете, что коснулись бы ее, тут же отличила руки Бэби Сагз и добрые руки той белой девушки, что мечтала купить себе бархат. И все-таки целых восемнадцать лет она прожила в доме, где ее постоянно касался кто-то из другого мира. Так вот, те пальцы, что так сильно сжали ей шею, принадлежали этому существу. Может быть, оно теперь живет на Поляне? После того как Поль Ди выгнал его из дома номер 124, может быть, оно поселилось здесь? Похоже, что так и есть, подумала Сэти.

Теперь ее больше не удивляло то, зачем она взяла с собой Денвер и Бел,— сперва это казалось ей просто прихотью, неясным желанием иметь хоть какую-то защиту. И девочки действительно спасли ее! Бел и до сих пор была так возбуждена, что вела себя точно двухлетняя.

Потихоньку, подобно слабому запаху дыма, когда огонь уже потушен и окно распахнуто настежь, развеивалось подозрение, что прикосновение пальцев Возлюбленной точно такое же, как и у маленького привидения. Сейчас осталось лишь что-то вроде легкого беспокойства — и эта тревога была недостаточно сильной, чтобы Сэти перестала думать о главном, о том, что заполонило сейчас все ее мысли: она хотела, чтобы Поль Ди оказался рядом. И неважно, что он там ей сказал и что еще знает,— она хотела, чтобы он присутствовал в ее жизни. И на Поляну она пришла, не только чтобы почтить память Халле,— она пришла сюда, чтобы окончательно выяснить свое отношение к Полю Ди, и это теперь стало ей совершенно ясно. Доверие и общая память, да, именно так она себе это и представляла, когда он баюкал ее возле кухонной плиты. Тяжесть его крепкого тела и умелые руки, обнимавшие ее; живой и колючий волосок из его бороды; склонившееся над ней лицо. Его полные ожидания глаза и душа, что знает ее душу. Прошлое стало для нее словно легче, потому что это было и его прошлое тоже — можно было рассказывать без конца, что-то выясняя и уточняя. Ну а то, что им было друг о друге неизвестно, то, что никогда еще не рассказывалось прежде и не имело даже словесной оболочки,— что ж, со временем они скажут друг другу и об этом; о том, куда

отправили Поля Ди с железом во рту; и о чистой смерти ее — Господи, неужели она уже ползала? — малышки...

Сэти захотелось поскорее вернуться домой и дать этим ленивым девчонкам какую-нибудь работу — пусть займут свои любопытные бездумные головы. Она почти бежала по зеленому коридору; теперь здесь стало прохладнее — солнце клонилось к западу. Когда Сэти оглянулась, ей вдруг показалось, что две девушки позади нее похожи, как сестры. Обе одинаково послушные, доверчивые... Сэти прекрасно понимала Денвер. Долгое одиночество сделало ее скрытной — самодостаточной. Страх притупил в ней определенные чувства, зато другие, напротив, обострил до крайности. Девочка выросла застенчивая, но очень практичная и трезвомыслящая. Ради своей дочери Сэти жизни бы не пожалела. Другую же, Возлюбленную, она знала хуже, почти совсем не знала, ничего не знала о ее прошлом — знала только, что ради нее, Сэти, она все на свете сделает и что они с Денвер очень близки. Теперь, думала она, понятно почему. Свои чувства они обе выражали так, словно дополняли друг друга. То, что могла дать одна, другая всегда рада была принять. Тогда они прятались среди деревьев, окружавших Поляну, но потом, когда Сэти стала задыхаться, обе сразу бросились к ней — а все потому, что чувствовали похоже, так она объясняла это себе, потому что не замечала меж ними ни соперничества, ни желания главенствовать. Сейчас Сэти обдумывала тот ужин, который хотела специально приготовить для Поля Ди,— что-нибудь, с чем стоит повозиться, что-нибудь особенное, чтобы отметить начало своей новой жизни с этим нежным и добрым человеком. Ладно, обжарим в масле целиком некрупные картофелины, подрумянив их со всех сторон и густо поперчив; потом приготовим зеленую фасоль в стручках; и желтый кабачок сбрызнем уксусом и подсахаренной водой... Может, еще подойдет молодая кукуруза, поджаренная с зеленым луком и маслом. И может быть, даже дрожжевой хлеб.

Она уже мысленно обшаривала кухню, готовя эти яства, и была так увлечена, что не сразу разглядела под белой лестницей деревянную лохань с водой, а в ней Поля Ди. Она улыбнулась ему, и он улыбнулся в ответ.

— Лето, должно быть, кончилось,— сказала она.

— Залезай сюда тоже.

— Ну да, как же! Девчонки-то по пятам идут.

— Никого пока не слышно.

— Мне готовить нужно, Поль Ди.

— Я тебе помогу.— Он встал, и она не отстранилась, когда он обнял ее. Все платье тут же промокло насквозь. Подбородком она касалась его плеча.

— А что ты будешь готовить?

— Думала, зеленую фасоль в стручках.

— Красота!

— Поджарить немножко кукурузы?

— Еще бы!

Она была уверена: все у нее найдется и будет приготовлено отлично. В точности как в тот день, когда она прибыла в дом номер 124 — и твердо знала, что молока у нее хватит на всех ее детей.

В дверях вдруг возникла Возлюбленная. Им, конечно, следовало бы услышать ее шаги, но они не услышали.

Пыхтели, шептались — Возлюбленная сразу поняла, что они там, как только дверь с грохотом захлопнулась за нею. Она попала в лужу мыльной воды и повернула голову в ту сторону, откуда, из-под белой лестницы, доносились шорохи и шепот. Она сделала еще шаг и чуть не расплакалась. Она была так близко! Но это все-таки было лучше, чем гнев, который поднимался в ее душе, когда Сэти делала или думала о чем-то, не имевшем к ней отношения. Возлюбленная могла терпеть часами — девять, десять часов каждый день — все что угодно, только не отсутствие Сэти. Она могла терпеть даже эти ночи, когда Сэти лежала с ним рядом. А теперь — и

дневное время, на которое Возлюбленная всегда рассчитывала и которым приучила себя удовлетворяться, было для нее сокращено, ибо Сэти пожелала вдруг обратить свое внимание и на другие вещи. В основном на него, конечно. На него, который сказал ей что-то такое, из-за чего она убежала в лес и разговаривала сама с собой на большом камне. На него, который прятал ее по ночам за стенами и дверями. На него, который сейчас там, под лестницей, держал ее в объятиях и что-то шептал ей,— а ведь Возлюбленная только что спасла ей жизнь и была готова отдать ей всю себя целиком.

Она круто повернулась и вышла. Денвер видно не было. Может, она ждет ее где-нибудь неподалеку? И Возлюбленная отправилась ее искать, помедлив минутку, чтобы полюбоваться кардиналом, перелетевшим с ветки на ветку. Она следила за красным как кровь пятнышком, мелькавшим среди листвы, пока не потеряла птицу из виду, и, уже вновь тронувшись с места, все еще оглядывалась, надеялась увидеть ее еще раз.

В конце концов она свернула с тропинки и пробежала через лесок к ручью. Стоя у самой воды, она смотрела на собственное отражение. Потом рядом с ним появилось лицо Денвер; отражения смотрели друг на друга.

— Это ты сделала, я видела! — сказала Денвер.

— Что?

— Я видела, какое у тебя было лицо. Это ты сделала так, что она начала задыхаться!

— Я этого не делала!

— Ты говорила мне, что любишь ее.

— Я ведь все исправила, разве не так? Разве не я освободила ей шею?

— Это потом. А сперва ты стала ее душить.

— Я поцеловала ее в шею. Я ее не душила. Ее душил железный ошейник.

— А я видела тебя! — Денвер схватила Бел за руку.

— Осторожней, девушка,— проговорила вдруг Возлюбленная и, вырвав руку, бросилась бежать куда-то вдоль поющего свою песенку ручья.

Оставшись одна, Денвер задумалась. А что, если она ошиблась? Они с Бел стояли среди деревьев и шептались, пока Сэти сидела на камне. Денвер знала, что именно здесь, на Поляне, раньше священнодействовала Бэби Сагз, только сама она тогда была еще совсем маленькой, никогда на Поляне не бывала и помнить ничего не могла. Дом номер 124 и поле за ним — вот и весь мир, который она хорошо знала и в котором нуждалась.

Но когда-то давно она захотела знать больше и начала действовать. Одна ходила по тропе, что вела к другому дому. Стояла под окном и слушала. Четыре раза она проделывала это совершенно незаметно — после обеда, когда мать и бабушка ослабляли свое внимание, когда вся домашняя работа уже бывала переделана и наступала пора спокойных вечерних занятий, Денвер потихоньку отползала от дома номер 124 и уходила на поиски того дома, который посещали многие другие дети, но не она. Наконец она нашла его, но слишком стеснялась, чтобы постучаться, и прокралась к окну. Леди Джонс сидела на стуле с очень высокой спинкой, а перед ней на полу устроились, скрестив ноги, соседские дети — несколько человек. У Леди Джонс в руках была книга. У детей на коленях — грифельные доски. Леди Джонс что-то говорила, но слишком тихо, чтобы Денвер могла расслышать, а дети повторяли за ней. Четыре раза Денвер ходила туда и подсматривала. На пятый раз Леди Джонс застукала ее и сказала: «Пришла, так заходи в дверь, мисс Денвер. Это тебе не цирк».

И вот почти целый год она провела в компании своих сверстников; вместе с ними училась читать, писать и считать. Ей было тогда семь, и эти два часа днем были для нее поистине драгоценными. Особенно она гордилась тем, что все сделала сама, и ей было приятно то радостное удивление, с которым ее поступок восприняли мать и братья. За пять центов в месяц Леди Джонс делала то, что белые считали необязательным, а может, и вообще незаконным: битком набивала свой домик чернокожими ребятишками, у которых было время и желание учиться. Ах, какое восхище-

ние вызывала у Денвер монетка, завязанная в уголок носового платка и привязанная затем к ее поясу! Она всегда сама относила ее Леди Джонс. И как приятно было правильно научиться держать мел, чтобы не скрипел, когда пишешь; и как замечательно выглядела заглавная буква «В» и маленькая буква «и»; и как хороши были те буквы, что составляли ее имя; и как красиво звучали те печальные фразы из Библии, которой Леди Джонс пользовалась в качестве основного учебника. Денвер упражнялась дома каждое утро; блистала в классе каждый полдень. Она была так счастлива, что даже не понимала, что соученики ее избегают — что они под самыми разнообразными предлогами, то замедляя, то убыстряя шаг, всегда стараются не идти с нею рядом. Конец ее заблуждениям положил Нельсон Лорд — мальчишка, такой же способный, как и Денвер. Он задал ей тот вопрос о ее матери и навсегда положил конец скрипучему мелу в руке, маленькой букве «и» и всему остальному, что было сущностью этих драгоценных полуденных часов,— все это теперь стало для нее недосягаемым. Ей бы следовало посмеяться, когда он спросил это, или так толкнуть его, чтобы он шлепнулся на землю; но ни в лице его, ни в голосе никакой вредности не было. Только любопытство. Но то, что всколыхнулось в ее душе, когда он об этом спросил, осталось там навсегда.

В школу она больше не вернулась. Когда она и на второй день не пошла туда, Сэти спросила ее, в чем дело. Денвер не ответила. Она слишком боялась задать братьям или кому-то еще тот вопрос Нельсона Лорда, потому что какие-то странные и ужасные ощущения и воспоминания, касавшиеся ее матери, уже начали собираться в ее душе из-за того, что тогда всколыхнулось там. Позже, когда умерла Бэби Сагз, она не удивилась, что Хорвард и Баглер убежали. Она не разделяла мнения Сэти, что убежали они из-за привидения. Если бы так, то чего же они так долго терпели-то? Они прожили вместе с этим духом столько же, сколько и Денвер. Но если Нельсон Лорд сказал правду, так ничего удивительного, что братья ее всегда были такие мрачные и вечно старались как можно меньше бывать дома.

Между тем мучившие ее чудовищные и непонятные мысли о матери нашли выход: Денвер сосредоточила все свое внимание на духе мертвой сестренки. До Нельсона Лорда она мало реагировала на выходки привидения. Терпение, которое проявили мать и бабушка, стало свойственно и ей и сделало ее почти равнодушной. Но потом маленькое привидение стало ее раздражать и даже выводить из себя своими злобными проделками — особенно в те часы, когда она уходила в школу Леди Джонс. Оно стало выражать свои чувства к Денвер так бурно, что девочка просто не знала, что делать с этими вспышками гнева, любви и ненависти и как вести себя. Когда-то она набралась мужества и все-таки задала тот вопрос Нельсона Лорда, то не смогла услышать ни ответа Сэти, ни слов Бэби Сагз, да и вообще больше ничего с тех пор не слышала. В течение двух лет она была окружена оболочкой тишины, слишком плотной, чтобы ее можно было прорвать. Вынужденное молчание, однако, придало ее зрению такую остроту, что ей и самой порой не верилось, как это она может, например, видеть черные ноздри воробья, сидевшего в шестидесяти футах у нее над головой. В течение двух лет она совершенно ничего не слышала, а потом вдруг весь дом сотрясли громовые раскаты — кто-то полз вверх по лестнице. Бэби Сагз решила, что это пес Мальчик решил пробраться в запретные для него места. Сэти же подумала, что это скорее тяжелый резиновый мяч, которым играли братья, скатился по ступенькам.

— Неужели этот чертов пес совсем спятил? — воскликнула Бэби Сагз.

— Да он на крыльце,— сказала Сэти.— Сама посмотри.

— Но тогда что же это за грохот?

Сэти сердито захлопнула дверцу духовки.

— Баглер! Баглер! Я сколько раз вам говорила, чтоб не смели играть здесь в мяч? — Она глянула в сторону белой лестницы и увидела наверху Денвер.

— Это она пробовала наверх подняться,— пояснила Денвер.

— Что? — Сэти нервно скомкала в руках тряпку, которой бралась за дверцу духовки.

— Это малышка,— сказала Денвер.— Разве ты не слышала, как она по ступенькам ползет?

Непонятно, что больше сбило Сэти с толку: то ли, что к Денвер вдруг снова вернулся слух, то ли, что ее малышка — Господи, неужели она уже ползала? — теперь уже не только ползает, но и делает дальнейшие успехи в исследовании дома.

Возвращение к Денвер слуха, утраченного из-за того ответа, который она не в силах была услышать, и вновь обретенного благодаря звуку шажков ее мертвой сестренки, которая неудачно попыталась вскарабкаться по лестнице, обозначило очередной поворот в судьбах обитателей дома номер 124. И с этих пор присутствие духа было исполнено откровенной недоброжелательности. Вместо прежних вздохов и мелких пакостей теперь это была самая настоящая злонамеренность. Баглер и Ховард прямо-таки бесились, видя полную беспомощность матери и бабушки, и с мрачным упреком на лицах надолго исчезали из дому, стараясь как можно больше времени проводить в городе, на конюшне, где подносили в стойла воду и корм. В конце концов зловредный дух стал изобретать для каждого свою пакость. Бэби Сагз устала, легла в постель и больше не вставала, пока ее большое старое сердце не перестало биться. Если не считать редких просьб принести ей что-нибудь яркое, она почти ничего не говорила — до того полуденного часа в последний день ее жизни, когда она самостоятельно выбралась из постели, медленно подошла к двери в гостиную и провозгласила — для Сэти и Денвер — тот вывод, который извлекла из шестидесяти лет жизни в рабстве и десяти лет свободы. «Они просто не знают, когда нужно остановиться»,— сказала она и снова легла в постель, укрылась с головой стеганым одеялом и предоставила им возможность сколько угодно обдумывать сказанное ею.

Вскоре после того как Бэби Сагз умерла, Сэти и Денвер попытались призвать маленькое привидение и как-то с ним договориться, но ничего не добились. Понадобился мужчина, Поль Ди, который сумел не только выгнать привидение из дома, но и сам занял его место. И был тот замечательный карнавал или нет, но Денвер и теперь по-прежнему предпочитала Полю Ди вредное маленькое привидение. В первые дни, когда Поль Ди еще только переехал к ним, Денвер целыми днями просиживала в своей изумрудной комнатке, чувствуя себя одинокой, как гора, и почти такой же большой и думая, что у всех, кроме нее, кто-то есть, а теперь вот даже привидение от нее отказалось. Так что, увидев то черное платье и под ним два незашнурованных башмака, она вся затрепетала от тайной благодарности. Какова бы ни была ее сила и как бы она этой силой ни пользовалась, Возлюбленная принадлежала только ей, ей одной, и Денвер, конечно, встревожилась, когда, как она думала, Возлюбленная пыталась причинить зло Сэти. Она, однако, почувствовала, что не в силах помешать ей — столь неудержима была ее потребность любить. То, свидетельницей чего она стала на Поляне, вызвало у нее в душе стыд, потому что выбор между Сэти и Возлюбленной был сделан без всякой внутренней борьбы.

Бредя к берегу ручья, протекавшего за стенами ее зеленого убежища, она думала: а что, если бы Возлюбленной действительно пришло в голову удушить Сэти? Неужели она, Денвер, позволила бы ей? Убить? Нельсон Лорд тогда сказал: «А разве твоя мать была арестована не за убийство? И разве ты не была в тюрьме с нею вместе?»

Из-за этого второго вопроса она так долго и не могла задать Сэти первый. Ведь именно это и всколыхнулось в ее душе, а потом клубком свернулось в темноте, похожее на те каменные стены и что-то еще неведомое, что двигалось там само по себе. Да, ей лучше было оглохнуть, чем услышать ответ, и с тех пор, подобно тем цветам, что жадно впитывают солнечный свет, но сразу же плотно смыкают лепестки, стоит солнцу скрыться, Денвер следила за маленьким привидением и оставалась безучастной ко всему остальному. Пока не явился Поль Ди. Но урон, который

он нанес, оказался не столь уж страшным благодаря чудесному воскрешению Возлюбленной.

Впереди, у берега ручья виднелся ее силуэт; она стояла босиком в воде, подняв юбки выше колен, прекрасная голова опущена в сосредоточенном внимании.

Смаргивая слезы, Денвер подошла к ней поближе — мечтая услышать хоть слово, получить хоть какой-нибудь знак, означавший прощение.

Она тоже сняла башмаки и ступила в воду рядом с Возлюбленной. Она с трудом заставила себя отвести наконец взгляд от ее прекрасной головки, посмотреть на воду и понять, что это она там высматривает.

Вдоль берега пробиралась черепашка; потом повернула и стала взбираться на сушу. За ней следовала вторая черепашка, свернувшая туда же. Словно четыре тарелки, поставленные попарно одна на другую возле огромного горшка. Оказавшись на траве, вторая черепашка поспешила к первой и взобралась на нее. Непреодолимая сила самца, упершегося ногами в плечи самки. Обнимающие друг друга шеи — она вытянула свою вперед и вверх, к нему, а он изо всех сил тянулся к ней сверху. Шлеп, шлеп, шлеп — их головы ласкали друг друга. Что могло быть трогательнее этой вытянутой, словно палец, шеи с риском переломать себе все, что вне панциря, лишь бы коснуться его мордочки? Грубость их постукивающих лат, словно в насмешку несочетающихся с плавно текущими друг другу навстречу шеями, с этой нежностью...

Возлюбленная давно позабыла про юбку, и подол, оплетая ей ноги, намок от воды и потемнел.

Едва оказавшись вне пределов видимости Мистера,— подальше, подальше от него, о, благословенно имя Твое, Господи, подальше от этого улыбающегося царя всех петухов! — Поль Ди сразу почувствовал дрожь. Необычную дрожь. Когда он обернулся, надеясь в последний раз увидеть Братца, вывернув шею настолько, насколько позволяла веревка, которой он был привязан к дышлу, дрожи еще совсем заметно не было; а потом, когда они уже заковали в железо его лодыжки и запястья, он тоже держался хорошо, хотя внутри у него все тряслось. И так — целых восемнадцать суток, пока не увидел эти норы; площадку в тысячу квадратных футов и ямы — пять футов в глубину, пять в ширину, со вкопанными в них деревянными коробками. Передняя стенка из стальных прутьев поднималась на петлях, как дверь клетки, а за ней — пространство между тремя стенами и кровлей из горбыля, обмазанного красной глиной. Высота — два фута; а перед входом — в три фута глубиной канава, в которой буквально кишели шустрые земляные и водяные твари, точно приглашая посетить эту могилу, называвшуюся жилищем. Кроме Поля Ди, там было еще сорок пять таких же несчастных. Его сослали туда после попытки убить Брэндивайна, которому учитель продал его. Брэндивайн и вел его в связке с десятью остальными через Кентукки и Виргинию. Поль Ди даже не знал точно, что подвигнуло его на эту попытку — нечто иное, чем вымазанное маслом лицо Халле, последний смех Сиксо, исчезновение Поля Эй и Поля Эф и улыбка Мистера. Но та внутренняя дрожь, это он знал точно, началась именно тогда.

И тем не менее никто о ней не подозревал, потому что снаружи она была незаметна. Это было что-то вроде вибрации в груди, потом в лопатках. Точно журчание ручейка — сперва очень тихое, а потом словно с цепи сорвавшееся. Словно чем дальше на юг его вели, тем быстрее таяла его кровь, застывшая целых двадцать лет назад, как промерзший насквозь пруд, и этот лед вдруг начал таять, ломаться на куски, словно желал теперь кружиться в водовороте, испуская клубы пара. Иногда он чувствовал это таяние где-то в ноге. Потом — у основания позвоночника. Когда они наконец отвязали его, он не смог увидеть перед собой ничего, кроме собак и двух хижин да жгучей травы, но взбаламученная кровь уже сотрясала его

с головы до ног. Однако по-прежнему никто ничего не замечал. Кисти его рук, когда ему застегивали наручники, не дрожали, как и ноги, когда ему к кандалам приковывали цепь. Но когда его загнали в эту нору и опустили дверь клетки из стальных прутьев, руки перестали слушаться его совершенно. Они вели себя так, как им заблагорассудится. Ничто не могло остановить их или отвлечь. Они не желали помочь ему оправиться и расстегнуть штаны и отказывались взять ложку, когда он пытался съесть немного вареных плоских бобов. Чудо их повиновения пришло вместе с кувалдой на рассвете.

Все сорок шесть человек просыпались, разбуженные выстрелом из винтовки. Все сорок шесть. Трое белых шли вдоль канавы, одну за другой отпирая двери. Ни один внутрь не заходил. Когда последний замок был отперт, они шли в обратном направлении и поднимали решетки, одну за другой. И один за другим появлялись черные — быстро и не получая удара прикладом, если они уже пробыли здесь больше одного дня; быстро, однако, отмеченные этим ударом, если, подобно Полю Ди, были новичками. Когда все сорок шесть стояли в ряд на краю канавы, второй выстрел служил сигналом подниматься наверх, на земляную площадку, расположенную выше уровня их жилищ. Там на земле была разложена самая крепкая в Джорджии цепь, специально выкованная вручную. Каждый из сорока шести наклонялся и ждал своей очереди. Первый подбирал с земли конец цепи и продевал в ушко на своих ножных кандалах. Потом распрямлялся и, слегка волоча ноги, передавал конец цепи следующему узнику, который проделывал то же самое. По мере того как цепь продвигалась все дальше и дальше и каждый из чернокожих по очереди занимал место того, первого, цепочка людей постепенно разворачивалась лицом к тем норам, из которых они только что выползли. Никто друг с другом не разговаривал. По крайней мере, с помощью слов. Все, что нужно, можно было прочесть по глазам: «Помоги мне сегодня с утра; нехорошо мне что-то»; «Я справлюсь»; «Смотри, новенький»; «Тише, тише, не спеши!».

Когда последний узник оказывался прикованным к цепи, все они опускались на колени. Роса к этому времени чаще всего уже превращалась в густой туман. Иногда очень густой; и если собаки молчали и только сопели, то можно было услышать воркование горлинок. Стоя на коленях в тумане, они ждали, какая блажь теперь придет в голову охраннику, а может, двоим или даже троим. А может, всем сразу. Захотят, чтобы кто-то из узников исполнил какую-нибудь их прихоть, а может, вообще ничего не пожелают.

— Завтрак прикажете? Хочешь позавтракать, ниггер?

— Да, сэр.

— Ты голоден, ниггер?

— Да, сэр.

— Ну так получи.

Иногда стоящий на коленях человек получал за это выстрел в голову. Поль Ди все это видел впервые. Он смотрел на свои беспомощные руки, чуял запах охранника, слушал его тихое ворчание, так похожее на воркование голубей в тумане, и стоял на коленях рядом с тем, чуть правее, ткнувшимся в грязь лицом. Он был уверен, что теперь его очередь. Рвотный позыв заставил его скорчиться, но вырвало его одной слюной. Охранник тут же огрел его по плечу прикладом, а другой поскорее отпрыгнул от новичка, чтобы блевотина какого-то негра не испачкала его штаны и башмаки.

— Хай-й-й-й!

Это было второе, после «Да, сэр», выражение, которое негру разрешалось произносить каждое утро, и свинцовая цепь придавала этим словам особый вес. Поль Ди так и не определил до конца, как тому негру удавалось подавать этот сигнал вовремя. Этого человека прозвали Хай-Мэн, и Поль Ди сперва считал, что это охранники дают ему знать, когда нужно крикнуть, чтобы заключенные встали с колен и начали танцевать свой «тустеп» под перезвон тяжелых, ручной работы кандалов. Позже он догадался, что

это не так. А в тот, самый первый, день он решил, что «Хай!» на заре и «Хо!» с наступлением вечера — это прямая обязанность Хай-Мэна, потому что только он один знает, когда пора — когда работа вся выполнена, а сил уже не осталось.

Волоча за собой цепь и как бы пританцовывая, они брели вокруг поля через лес до тропы, ведущей прямо к поразительной красоты горе полевого шпата. Когда Поль Ди впервые увидел эту гору, безумный поток, что кипел у него в крови, стал понемногу стихать, как стала стихать и та внутренняя дрожь. Зажав в руках кувалду, под предводительством Хай-Мэна, люди врубались в камень. Под непрерывное пение они выпевали его, выбивали из скалы, подтасовывая и перестраивая слова своих песен так, чтобы никто больше понять их не мог. Они так уродовали эти слова, что даже отдельные их слоги, казалось, имели свое собственное значение. Они пели о женщинах, которых когда-то знали; о детях, которыми сами были когда-то; о своих любимцах животных, которых когда-то приручили; о хозяевах, об их детях и женах; о мулах и собаках и о бесстыдстве жизни. С любовью пели они о кладбищах и могилах и о сестрах своих, давно уже ушедших в мир иной. И еще они пели о жаренной на лесной лужайке свинине; о домашней еде, подогретой на сковородке; о рыбе, бьющейся на леске; о соке сахарного тростника, о дождях и о качалках на верандах домов.

И они больно били словами своих песен. Тех женщин — за то, что знали их когда-то, но больше никогда их знать не будут; и детей, которыми были когда-то, но никогда уж не вернутся в свое детство. Они так часто и так жестоко убивали в своих песнях белого босса, что приходилось снова возвращать его к жизни, чтобы потом еще разок поизмываться над ним всласть. Запомнив когда-то вкус горячего пирога, съеденного в сосновом лесу, они старались убить даже эту память о пироге. А уж когда пели любовные песни самому мистеру Смерти, то непременно разбивали ему голову. Но чаще других они убивали ту ненавистную кокетку, которая зовется Жизнью, ибо она упрямо вела их дальше и дальше; заставляла их думать, что каждый следующий восход солнца стоит того, чтобы на него посмотреть; а каждый следующий удар маятника может стать наконец последним. Лишь убив эту проклятую кокетку, они смогут почувствовать себя в безопасности. Наиболее удачливые — те, кто успел пробыть здесь достаточно много лет и за это время мысленно изуродовал, искалечил, а, может, даже похоронил свою жизнь,— присматривали за остальными, которые все еще верили порой ее дразнящим задорным взглядам и объятиям, ее нежным призывам, заставляющим смотреть вперед, вспоминать и оглядываться назад. Это были те, чьи усталые глаза говорили: «Пособи, плохо мне что-то» или «Внимание!», и это значило, что, возможно, наступил тот самый день, когда человек загнан окончательно, когда он сломался настолько, что готов есть собственное дерьмо или убежать, а именно в такой момент и надо было быть начеку, потому что если бы один решился на побег — все остальные сорок шесть потянулись бы за ним, связанные цепью, и невозможно было бы сказать, кто именно был первый и сколько человек будут теперь убиты. Один человек еще мог рискнуть собственной жизнью, но не жизнью своего брата. Так говорили те усталые глаза. «Тише, тише, успокойся,— говорили они.— Держись за меня».

Восемьдесят шесть дней — и жизнь наконец умерла. Поль Ди бил ее головой о камни изо дня в день, так что она уже и пикнуть не смела. Восемьдесят шесть дней, и его руки были теперь спокойны, спокойно ждали всю ночь, полную возни крыс, этого «Хай-й-й-й!» на рассвете и жадно льнущей к руке тяжелой кувалды. Жизнь катилась дальше — по мертвецам. Или это только ему так казалось.

Шли дожди.

Змеи спускались с ветвей короткохвойных сосен и тсуг.

Шли дожди.

Через пять дней кипарисы, тополя и карликовые пальмы поникли под тяжестью вод, лившихся с небес в полном безветрии. На восьмой день исчезли голуби, на девятый ушли даже саламандры. Псы опустили уши

и понурили головы. Люди не могли работать. Приковывание к общей цепи происходило ужасно медленно, даже завтрак оставался не съеден, танец тустеп превратился в тяжкое волочение ног по раскисшей траве и жидкой грязи.

Было решено запереть всех по отдельности до тех пор, пока не прекратится дождь и белые не смогут нормально ходить по земле, черт бы ее побрал, а ружья перестанет заливать и собаки поднимут наконец головы. Итак, общая цепь была теперь продета через сорок шесть дужек в наручниках, тоже сделанных вручную лучшими мастерами Джорджии.

Дождь все шел.

В своих норах люди слышали плеск поднимающейся воды и выглядывали наружу, опасаясь щитомордников. Земляной пол в их жилищах превратился в жидкую грязь; они сидели в этой грязи, спали в ней, мочились в нее. Полю Ди порой казалось, что рот у него постоянно открыт и оттуда доносится разрывающий горло крик — а может, кричал кто-то другой? Потом ему вдруг показалось, что он плачет. Какие-то струйки бежали у него по щекам. Он поднял руки, чтобы вытереть слезы, и увидел на них темно-коричневую жижу: размокшая глина просачивалась сквозь дощатую крышу. Скоро доски не выдержат, подумал он, и меня раздавит здесь, как клеща. А потом все произошло так быстро, что он и задуматься не успел. Кто-то резко дернул цепь — один раз, но достаточно резко, чтобы Поль Ди споткнулся и шлепнулся прямо в грязь. Он так никогда и не понял, как догадался — и как догадались все остальные,— что нужно схватить обеими руками цепь слева от себя и что было силы дернуть, чтобы и следующий тоже непременно узнал о поданном сигнале. Вода уже была по щиколотку, она сплошным потоком текла через дощатый настил, на котором он спал. А потом — уже не вода: канава переполнилась, и жидкая грязь теперь просачивалась отовсюду.

Они ждали — все и каждый из сорока шести. Не кричали, хотя кое-кому, должно быть, стоило черт знает каких усилий не закричать. Жидкая грязь доходила Полю Ди уже до бедер, и он крепко держался за прутья решетки. Потом снова дернули за цепь — на этот раз слева и не так сильно, как в первый раз, потому что теперь цепь тонула в грязи.

Все начиналось точно так же, как когда они, стоя в ряд, приковывали себя к общей цепи. Один за другим, начиная с Хай-Мэна, находившегося на самом конце цепи, они ныряли — туда, в жидкую грязь, под решетку, ослепшие, ощупью пробираясь вперед. У некоторых хватило сообразительности обмотать голову рубахой, прикрыть лицо какими-то лоскутами; некоторые даже надели ботинки. Остальные просто погружались, просто проваливались в жижу и слепо проталкивались вперед, вверх, надеясь глотнуть воздуха. Некоторые потеряли направление, и соседи, чувствуя по беспорядочным рывкам цепи что-то неладное, пытались, дергая за цепь, вернуть их в прежнее положение. Потому что, если бы погиб один, погибли бы и все остальные. Та цепь, что связывала их, теперь должна была либо спасти их всех вместе, либо всех вместе утопить, и Хай-Мэн был как бы залогом их освобождения. Благодаря этой цепи они переговаривались, как Сэм Морзе, и, слава Тебе, Господи, все вышли на свет божий. Точно покойники, сбежавшие из чистилища, точно разгулявшиеся зомби, с оковами на руках, они доверились дождю и темноте, да, но сильнее всего они доверяли сейчас Хай-Мэну и друг другу.

Как привидения брели они мимо навесов, под которыми лежали совсем приунывшие сторожевые псы; мимо двух хижин, где прятались от дождя охранники, мимо конюшен со спящими лошадьми, мимо клеток с курами, прятавшими голову под крыло... Луна помочь не могла — ее просто не было. Поле превратилось в болото, тропа — в заполненную грязью канаву. Вся Джорджия, казалось, расплывается, тает в воде. Мох падал с ветвей огромных старых дубов и облеплял им лица, мешая пройти. Штат Джорджия тогда включал и территорию всей Алабамы и Миссисипи, так что необходимости пересекать какую бы то ни было границу не было. Если бы они об этом знали, то непременно обошли бы стороной не только Альфред

и дивной красоты скалы полевого шпата, но и Саванну и спустились бы прямо к Морским островам по реке, что текла с гор Блу-Ридж. Но они этого не знали.

Рассвело, и они сгрудились в рощице из редких деревьев с красными цветами. С наступлением ночи они выползли на небольшой холм, моля, чтобы дождь не прекращался, щитом прикрывая их и заставляя людей сидеть по домам. Они мечтали о какой-нибудь уединенной хижине подальше от господских усадеб, где кто-нибудь из рабов, возможно, будет плести веревку или печь картошку на каминной решетке. Но нашли только лагерь с больными индейцами чероки, по названию племени которых и названа белая роза с гладким стеблем, символ штата Джорджия.

Из индейцев чероки был уничтожен каждый десятый, но они были упорны и явно предпочитали свою неспокойную жизнь гонимых судьбе тех, кто оказался в Оклахоме. Болезнь, что косила их теперь, была похожа на ту, что погубила половину племени два столетия назад. Между этими двумя бедствиями они успели посетить Георга III в Лондоне, начали выпускать собственную газету, научились плести корзины на продажу, провели генерала Оглторпа [1] через леса по непроходимым тропам, помогали Эндрю Джексону [2] победить криков [3], выращивали маис, создали собственную конституцию, подали петицию королю Испании, пережили и поставленный над ними эксперимент Дартмута, и устройство сумасшедших домов, создали собственную письменность, успешно сопротивлялись поселенцам, охотились на медведей и расшифровывали старинную индейскую письменность. Все это принесло весьма мало пользы. Их вынудил переселиться к реке Арканзас тот самый президент, на стороне которого они сражались с криками, и это переселение уничтожило еще четверть их и без того значительно уменьшившегося числа.

В этом-то переселении все и дело, поняли они и, отделившись от тех чероки, которые подписали договор, ушли далеко в леса и стали ждать конца света. Болезнь, от которой они умирали сейчас, была, считай, простым неудобством по сравнению с прежними бедами, случавшимися в последнее время. И все же они старались по возможности оберегать друг друга от заражения. Здоровые переселились в другой лагерь, на расстоянии нескольких миль; больные же остались рядом с могилами умерших — чтобы либо выжить, либо присоединиться к мертвым.

Узники, бежавшие из Альфреда в штате Джорджия, сели полукругом поблизости от стоянки индейцев. Никто к ним не подошел, но они продолжали сидеть. Проходили часы, дождь начал стихать. Наконец какая-то женщина высунула голову из своего дома и тут же скрылась. Наступила ночь; ничего по-прежнему не происходило. Но на рассвете двое индейцев, гладкая кожа которых была покрыта язвами, точно раковинами морской уточки, подошли к ним поближе. Никто не сказал ни слова: Хай-Мэн только поднял руку, закованную в кандалы. Чероки увидели цепи и ушли. Потом вернулись, неся небольшие топорики. За взрослыми следовали двое детей с большим горшком каши, которая, остывая под дождем, испускала парок.

Называя их «буффало-мен», из-за круглых курчавых голов, индейцы неторопливо переговаривались с заключенными, кормили их и сбивали с них кандалы. Никто из прежних узников Альфреда нисколько не испугался той болезни, о которой их заботливо предупредили чероки, так что остались все, не ушел никто; они отдыхали и строили планы. Поль Ди понятия не имел, что ему теперь делать, и, похоже, вообще знал куда меньше остальных. Он слушал, как бывшие узники со знанием дела говорили

[1] Эдвард Оглторп Джеймс (1696—1785) — британский генерал, основатель колонии Джорджия.

[2] Эндрю Джексон, «Олд Хикори» (1767—1845) — генерал США, 7-й президент США (1829—1837); 8 января — День Джексона в честь победы при Новом Орлеане в 1815 г., официальный праздник в Луизиане.

[3] Крики (собирательное) — члены могущественной конфедерации индейцев мускоги, прежде занимавшей территорию теперешней Алабамы и Джорджии: крики, семинолы, апалачи и др.

о каких-то реках и штатах, городах и странах. Слушал истории индейцев чероки о начале и конце мира. Слушал рассказы других «буффало-мен» — трое из них приходили из лагеря здоровых индейцев. Хай-Мэн собирался присоединиться к ним; и еще некоторые — тоже. Некоторые хотели непременно уйти из этих мест; некоторые намеревались здесь остаться. Через несколько недель Поль Ди оказался единственным, кто совершенно не представлял своего будущего. Он опасался только, что по их следу могли пустить собак, хотя Хай-Мэн давно разъяснил, что при таком дожде собакам нипочем их не выследить. Наконец он остался один — курчавый «буффало-мэн» среди больных чероки; и тогда, встряхнувшись наконец и признавая собственное невежество, спросил индейцев, как ему попасть на Север. На свободный Север. На волшебный Север. На благодатный, счастливый Север. Чероки улыбались и переглядывались. Ливневые дожди за этот месяц все вокруг превратили в сплошные болота, над которыми висели испарения и ветви цветущих растений.

— Ступай вон туда,— сказал, показывая рукой, один из индейцев.— Вслед за цветущими деревьями.— И пояснил: — Следи за цветением деревьев и поспевай за ним. И придешь туда, куда тебе надо, когда все деревья отцветут.

И Поль Ди пустился вслед за цветущим кизилом и персиками. Когда персиковые деревья отцвели, он устремился к цветущей вишне, потом — к магнолии, потом его поманила своим цветом айва, пекановые деревья, грецкие орехи и опунции [1]. Наконец он попал в огромный яблоневый сад, где цветы только-только опали и на ветках виднелись крошечные зеленые завязи. Весна лениво двигалась дальше на север, но ему-то приходилось спешить черт знает как, чтобы за нею успеть. С февраля по июль он только и делал, что выискивал вдали цветущие деревья. Когда они вдруг все пропали из виду и не осталось даже лепестка, чтобы указать ему дальнейший путь, Поль Ди замедлил свой бег, взобрался на дерево, росшее на холме, и принялся внимательно изучать окрестности, надеясь хотя бы на горизонте заметить проблеск розового или белого среди густой зеленой листвы, стеной окружавшей его. Он не касался цветов и даже не останавливался, чтобы вдохнуть их аромат. Он просто следовал за ними по мере их пробуждения — чернокожий человек в лохмотьях, устремившийся теперь вослед зацветшим сливам.

Тот яблоневый сад, как оказалось, находился в Делавэре, штат Огайо. Там жила та ткачиха. Она поймала его как раз вовремя — он только успел покончить с колбасой, которой она накормила его,— и он, плача, забрался к ней в постель. Она выдала его за своего племянника из Сиракьюс: для этого потребовалось всего лишь называть его именем этого племянника. Но через восемнадцать месяцев он уже снова вглядывался в даль — искал цветущие деревья, только на этот раз он ехал в повозке.

А через некоторое время ему удалось наконец запихнуть все: Альфред в штате Джорджия, смеющегося Сиксо, проклятого учителя, Халле, всех своих братьев, Сэти, петуха Мистера, вкус железного мундштука, вид размазанного по лицу масла, запах горящего можжевельника, листки из учительской записной книжки — в жестянку из-под табака и спрятать ее в своей груди. И когда он добрался до дома номер 124, ничто на свете не могло бы заставить его открыть эту жестянку.

Она его выгнала.

Совсем не так, как он выгонял тогда маленькое привидение — с шумом и грохотом, с разбитыми окнами и перевернутыми банками с вареньем. Но она его тем не менее выгоняла, и Поль Ди не знал, как это остановить: выглядело это так, словно он уходил сам. Незаметно, постепенно уходил все дальше от дома номер 124.

[1] Опунции — род кактуса.

А началось все очень просто. Однажды после ужина он сидел в кресле-качалке у плиты: от усталости ломило все кости: он был исхлестан рекой — и задремал. А проснулся от шагов Сэти, спускавшейся по белой лестнице, чтобы приготовить завтрак.

— Я думала, ты ушел вчера куда-нибудь,— сказала она.

Поль Ди застонал и с изумлением обнаружил себя в том же кресле, где задремал вчера вечером.

— Господи, неужели я всю ночь проспал в этом кресле?

Сэти рассмеялась:

— Да уж врать не буду: проспал.

— Почему же ты меня не разбудила?

— Я будила. Раза два или три. А после полуночи сдалась; к тому же мне показалось, что ты куда-то ушел.

Он встал: вопреки всем ожиданиям спина ничуть не болела. Даже нигде не хрустнула. Ноги и руки тоже были в полном порядке. И он чувствовал себя выспавшимся и прекрасно отдохнувшим. Бывает, решил он, попадаются же такие благословенные места, где всегда отлично спится. Иногда у корней какого-нибудь дерева; иногда прямо на пристани; иногда на голой скамье, а один раз он отлично выспался, скорчившись на дне лодки. Чаще всего такое бывает в стоге сена — так что не всегда лучше всего спится на кровати. А здесь вот таким местом оказалось кресло-качалка; странно: он по опыту знал, что мебель-то как раз самое плохое место для сна.

На следующий день он снова заснул в кресле; потом снова. Он привык заниматься с Сэти любовью почти каждый день и, чтобы не смущаться под взглядом сияющей Бел, по-прежнему непременно поднимался в спальню по утрам или сразу после ужина. Но отчего-то спать ему лучше и удобнее всего оказалось именно в кресле-качалке. Он решил, что это, должно быть, его спина виновата — опора ей нужна после тех ночей в сырой норе в Джорджии.

Так оно и продолжалось, и, возможно, он бы даже привык, но однажды — уже после ужина, после посещения Сэти — он спустился вниз, сел в кресло-качалку и понял, что ему это неприятно. И наверх ему тоже подниматься не хотелось. Раздраженный, мечтая об отдыхе, он открыл дверь в комнату Бэби Сагз и рухнул на постель, где умерла старая негритянка. Там он и уснул. Пока что вопрос был решен — по крайней мере, так ему казалось. Он перебрался туда, и Сэти не возражала: за восемнадцать лет она уже привыкла спать одна на двуспальной кровати, пока не заявился Поль Ди. Неплохо и с той точки зрения, что в доме были молодые девушки, а Поль Ди настоящим мужем Сэти все-таки не был. А поскольку он с прежней охотой поднимался к ней до завтрака или после ужина, жалоб от Сэти не поступало.

Так оно и продолжалось, и, возможно, он бы привык и к этому, да только однажды вечером — уже после ужина, после посещения Сэти — он спустился вниз, лег на кровать Бэби Сагз и почувствовал, что ему на ней очень неуютно.

Он решил, что привыкает к дому, а это часто влечет за собой приступы глухого протеста, которые бывают у мужчин, когда женщина и ее дом начинают привязывать его к себе; тогда мужчине хочется заорать во весь голос, или что-нибудь сломать, или сбежать оттуда подальше. Ему такое состояние было хорошо знакомо — он много раз испытывал его, в доме той ткачихи в Делавэре, например. Но он всегда связывал это явление с той женщиной, что жила в надоевшем доме. Теперешнее же свое состояние он никак не мог связать с Сэти, женщиной, которую он с каждым днем все больше и больше любил: любил ее руки, когда она мыла или перебирала овощи; любил ее губы, когда она облизывала кончик нитки, вдевая ее в иглу, или перекусывала ее, окончив шов; любил бешенство в ее глазах, когда она защищала своих девочек (эта Возлюбленная тоже теперь была ее девочкой) или любую чернокожую женщину от несправедливой хулы. Кроме того, на сей раз привычка к дому не вызывала у него глухого протеста, он здесь не задыхался, и ему вовсе не хотелось отсюда сбежать. Просто

теперь он не мог, не в состоянии был спать ни в спальне наверху, ни в кресле-качалке, ни теперь вот еще — в кровати Бэби Сагз. Так что он перебрался в кладовую.

Так оно и продолжалось, и, возможно, он бы привык и к этому, да только однажды вечером — уже после ужина, после посещения Сэти — он лег на свой тюфячок в кладовке и понял, что ему и тут не место. Все повторилось снова, и теперь он переместился в холодную кладовую, вернее, сарай, стоявший в отдалении от дома номер 124; там он улегся, свернувшись, на двух мешках со сладким картофелем и стал смотреть на большую жестянку с жиром, вдруг догадавшись, что все эти переселения происходят не просто так. И нервы его здесь ни при чем: его предупреждают.

И ждал продолжения. Приходил к Сэти по утрам; а ночью спал в холодной кладовой и ждал.

Когда пришла Возлюбленная, ему захотелось так ударить ее, чтобы сбить с ног.

В Огайо лето начинается как спектакль. Оно появляется на сцене, точно примадонна, убежденная в том, что только ради того, чтобы ее увидеть, люди и живут на свете. Когда Поль Ди был вынужден перебраться из дома номер 124 в сарай на задворках, лето уже сгоняли со сцены яростным улюлюканьем, и всеобщее внимание было приковано к осени, принесшей бутыли, полные золотистого и кроваво-красного вина.. Даже по ночам, когда, казалось, должен был наступить перерыв для всеобщего отдыха, перерыва не получалось, потому что голос сходящего со сцены лета был по-прежнему настойчив и громок. Поль Ди подкладывал под себя старые газеты и наваливал их сверху, чтобы не было так холодно под тонким одеялом. Но мешали ему не только по-осеннему холодные ночи. Когда он впервые услыхал, как у него за спиной отворилась дверь, ему даже не хотелось поворачиваться и смотреть, кто это.

— Что тебе здесь нужно? А? — Он прекрасно слышал, как она дышит в тишине.

— Я хочу, чтобы ты потрогал меня там, внутри, и погладил, и назвал меня по имени.

Поль Ди давно не испытывал волнения по поводу той маленькой жестянки из-под табака. Она оставалась по-прежнему закрытой, даже заржавела. Так что, когда Бел задрала свои юбки и повернулась к нему, вытянув шею, как черепаха, он просто отвернулся и стал смотреть на банку с топленым жиром, казавшуюся в лунном свете серебряной. Потом тихо проговорил:

— Когда добрые люди берут тебя в дом и обращаются с тобой хорошо, по-доброму, следует отвечать им тем же. Ты не должна... Сэти ведь любит тебя! Как родную дочь. И ты это прекрасно знаешь.

Бел уронила юбки, слушая его, но глаза ее оставались пустыми. Потом неслышно сделала еще шаг и оказалась совсем близко.

— Она любит меня не так, как ее люблю я! Я никого не люблю, кроме нее.

— Тогда зачем же ты сюда явилась?

— Я хочу, чтобы ты потрогал меня там, внутри.

— Иди-ка ты обратно в дом и ложись спать.

— Ты должен меня потрогать. Погладить — там, внутри. И ты должен назвать меня по имени.

Пока ему удавалось не сводить глаз с серебристого бока банки с жиром, он чувствовал себя в относительной безопасности. Если бы он дрогнул, как жена Лота, и, поддавшись некоей женской слабости, решил посмотреть, что за грех сотворил он и что там позади — то есть почувствовал бы что-то вроде сочувствия к этой проклятой девице или заключил бы ее в объятия просто из уважения к той, что связывала их обоих,— то непременно пропал бы.

— Назови меня по имени.

— Нет.

— Пожалуйста, назови! Я уйду, если ты назовешь меня по имени.

— Возлюбленная.

Он сказал это слово, но она не ушла. Она незаметно придвинулась ближе, и он не услышал, как шелестели хлопья ржавчины, отлетавшие от той жестянки из-под табака. И не почувствовал, когда крышка открылась; он заметил это только, когда коснулся того, что было внутри, и сказал: «Красное сердце, ах, красное сердце!» И повторял это снова и снова. Тихо, а потом так громко, что разбудил Денвер. И даже самого себя, Поля Ди, разбудил окончательно. «Красное сердце! Красное сердце! Красное сердце!»

Вернуться к исходной жажде общения было невозможно. К счастью для Денвер, теперь ей было достаточно просто видеть ее. Однако не хотелось, чтобы и Возлюбленная смотрела на нее так же; ее взгляд проникал куда-то внутрь, под кожу, туда, где уже не было прежней жажды общения. Это случалось не слишком часто, да и Возлюбленная редко теперь на нее смотрела; когда же все-таки смотрела, то Денвер казалось, что глаза Возлюбленной только скользят по ее лицу, а думать она продолжает совсем о другом. Но иногда — когда Денвер меньше всего этого ждала — Возлюбленная подпирала кулаком щеку и внимательно глядела на Денвер.

И это было прекрасно. Она не просто уставлялась на нее невидящим взглядом, но притягивала к себе, смотрела заинтересованно, доброжелательно. Она рассматривала волосы Денвер как часть ее существа, не обращая внимания на их состояние или прическу. Она ласкала взглядом ее губы, нос, подбородок, как восхищенный садовник любуется мускусной розой, возле которой случайно остановился. Кожа Денвер словно растворялась под этим взглядом, становилась нежной и прозрачной, точно батистовое платье, которое тогда обнимало своим рукавом талию ее матери. Она плыла где-то вне собственного тела, чувствуя одновременно свободу и притяжение. Ничего не желая. Являясь только тем, что она есть.

В такие мгновения ей чудилось, что Возлюбленная о чем-то ее просит. В самой глубине этих огромных черных глаз, за стеной равнодушия видела Денвер протянутую в мольбе о грошике детскую ладошку, и Денвер с радостью дала бы ей тот грошик, если б знала, как это сделать, если б знала ее лучше, чем давали возможность узнать ее ответы на вопросы Сэти:

— Ты так ничего и не вспомнила? Я, правда, тоже свою мать толком не знала, но пару раз я ее все-таки видела. А ты, значит, свою — никогда? Ну а какие там были белые? Неужели ты ни одного не помнишь?

Возлюбленная, нервно потирая тыльную сторону ладони, обычно говорила в таких случаях, что помнит какую-то женщину, которая была ее матерью, и помнит, как ее у этой женщины отняли, вырвали из рук. Затем — это она помнила лучше всего и часто говорила об этом — она помнила тот загадочный мост: как она стояла на мосту и смотрела вниз. И еще она знала одного белого мужчину.

Сэти находила все это удивительным, однако подтверждавшим ее собственные выводы, которые она излагала потом Денвер.

— А где ж ты раздобыла такое платье и башмачки?

Возлюбленная говорила, что просто взяла их.

— У кого же?

Возлюбленная умолкала и еще яростнее начинала скрести руку. Она не знала где; просто увидела и взяла.

— Ладно,— вздыхала Сэти, а потом говорила Денвер, что Бел, наверное, держал для своих забав какой-нибудь белый мужчина, никогда не позволяя ей выходить из дому. А потом она, должно быть, каким-то образом убежала и добралась до этого запомнившегося ей моста или чего-то в этом роде, а все остальное болезнь из ее памяти вымыла. Нечто подобное случилось с Эллой, только ее взаперти держали двое мужчин — отец и сын,— и Элла помнила абсолютно все. Больше года они забавлялись с ней в запертой комнате.

— Ты даже представить себе не можешь,— говорила Элла,— что эти двое со мной вытворяли.

Сэти считала, что это, возможно, объясняет неприязнь Бел к Полю Ди, которую она проявляла совершенно открыто.

Денвер не верила ее доводам, но никак их не опровергала. Она только опускала глаза, ни разу и словом не обмолвившись о холодной кладовой. Она была теперь уверена, что Возлюбленная и была тем белым платьем, что стояло на коленях в гостиной рядом с ее матерью — воплощение того ребенка, что не разлучался с ней большую часть ее жизни. И когда Возлюбленная смотрела на нее, какими бы краткими ни были эти мгновения, Денвер все же была благодарна судьбе за то, что все остальное время могла смотреть на Возлюбленную сама. Кроме того, у нее теперь накопились свои вопросы, которые, впрочем, не имели ничего общего с прошлым. Денвер интересовало исключительно настоящее, однако она была очень осторожна и прикидывалась нелюбопытной, хотя о некоторых вещах ей до смерти хотелось спросить у Возлюбленной; но если бы она стала допытываться слишком настойчиво, то потеряла бы тот «грошик», который могла положить в протянутую руку Возлюбленной, а значит, стать ей совершенно ненужной. Известно, что от добра добра не ищут, так что лучше было оставаться хотя бы наблюдателем, смотреть на Возлюбленную самой, потому что та старая жажда общения — что мучила ее еще до появления Возлюбленной, та, что привела ее в итоге в зеленую комнатку в зарослях букса и заставила нюхать одеколон, чтобы почувствовать аромат настоящей жизни, догадываться, что жизненная дорога вся в ухабах, а не гладкая как стол — никуда не исчезала. Просто когда Денвер смотрела на Возлюбленную, жажда эта немного утихала.

Так что Денвер не спрашивала Бел ни о том, откуда она узнала о серьгах Сэти, ни о ее ночных визитах в холодную кладовую, ни о той страшной штуке, краешек которой она видела, когда Бел ложилась на подушку или раскрывалась во сне. Взгляд, которым Возлюбленная одаривала ее, случался только тогда, когда Денвер бывала осторожна, объясняла ей что-то или как-то развлекала, или рассказывала ей всякие истории, пока Сэти не возвращалась из ресторана. Никакой домашней работой было не погасить тот огонь, что, казалось, вечно пожирал ее изнутри. Ни когда они с Бел так крепко выкручивали простыни, что руки у них до локтей были мокрыми. Ни когда они расчищали засыпанную снегом дорожку к крыльцу. Ни когда разбивали трехдюймовый лед в бочке для дождевой воды; ни когда отчищали и кипятили стеклянные банки из-под прошлогоднего варенья или замазывали глиной трещины в курятнике, отогревая цыплят у себя под юбками. Все это время Денвер была вынуждена говорить только о том, что они в данный момент делали — что, как и зачем. Или о тех людях, которых Денвер когда-то знала или видела; при этом она старалась изображать их куда более интересными, чем на самом деле. Она рассказывала Бел о замечательно пахнувшей белой женщине, которая дарила ей апельсины, одеколон и хорошие шерстяные юбки; о Леди Джонс, которая с помощью песенок учила детей читать, писать и считать; об одном красивом мальчике с большим родимым пятном на щеке, который был таким же быстрым и сообразительным, как и она сама. О белом священнике, который молился за спасение их душ, пока Сэти чистила у плиты картошку, а бабушка Бэби в гостиной, задыхаясь, хватала ртом воздух. И она рассказала ей о Ховарде и Баглере: о тех частях их общей большой кровати, которые принадлежали каждому (но изголовье всегда было ее); и о том, что, пока она не перебралась в комнату Бэби Сагз, она ни разу не видела, чтобы ее братья уснули, не держась за руки. Она описывала их неторопливо, подробно, рассказывая об их привычках, о тех играх, в которые они научили ее играть,— но не о том страхе, что постепенно проникал в них и наконец изгнал из дома насовсем.

Сегодня они на улице. Холодно, и снег плотный, как земляной пол в хижине. Денвер только что допела песенку-считалочку, которой научила ее Леди Джонс. Бел держит руки наготове, а Денвер снимает с веревки

замерзшее белье и складывает его на руки Бел, пока стопка топорщащегося чистого белья не достигает ее подбородка. Оставшиеся мелочи — всякие там фартуки и чулки — Денвер собирает и несет сама. Головы у девушек кружатся от мороза, когда они возвращаются в тепло дома. Когда белье немного оттает, его так хорошо гладить — в доме тогда пахнет теплым летним дождем. Танцуя по комнате с фартуком Сэти, Возлюбленная желает знать, растут ли ночью цветы. Денвер подбрасывает в плиту дров и уверяет, что растут. Бел кружится, выглядывая из верхней прорези на фартуке и вся завернувшись в него; потом говорит, что страшно хочет пить.

Денвер предлагает подогреть немного сидра, а сама думает, чем ей дальше развлекать Возлюбленную. Теперь Денвер стала настоящим стратегом по этой части — ведь она вынуждена удерживать Бел при себе с той минуты, как Сэти уходит на работу, и пока она не вернется; а Бел сперва начинает все более беспокойно вертеться у окна, потом постепенно подбирается к двери, спускается с крыльца и все ближе подходит к дороге. Бесконечное обдумывание того, как бы ей развлечь Возлюбленную, удивительным образом изменило Денвер. Если прежде она была ленивой и непокорной, то теперь она на удивление сметлива, исполнительна и делает даже больше того, что им велит перед уходом Сэти. Хотя бы ради того, чтобы иметь возможность твердо сказать: «Мы должны...» или «Мама сказала, чтобы мы...» Иначе Возлюбленная становится замкнутой и сонной или же тихой и мрачной, и тогда вряд ли можно дождаться, чтобы она посмотрела на Денвер так, как надо. По вечерам Денвер над ней не властна совершенно. Если Сэти где-нибудь поблизости, Возлюбленная смотрит только на нее. А ночью, когда все ложатся спать, может случиться все что угодно. То Возлюбленной вдруг захочется послушать очередную историю — но в темноте, когда Денвер не может ее видеть. То она возьмет да и отправится в холодную кладовую, где спит Поль Ди. То вдруг расплачется потихоньку. Но может и спать крепким сном, и тогда дыхание ее становится сладким и пахнет старой патокой или печеньем. Денвер поворачивается к ней и, если Возлюбленная лежит к ней лицом, глубоко вдыхает это сладкое дыхание. Иначе же приходится приподниматься и наклоняться над ней, чтобы хоть немножко почувствовать исходящий от нее сладостный аромат. Потому что Денвер готова терпеть все что угодно, только не жажду общения, так мучившую ее, когда после замечательной маленькой буквы «и» и разных предложений, выраставших из слов и поднимавшихся подобно опаре для пирога, и после шумного общества других детей наступила тишина, сквозь которую не мог пробиться ни один звук снаружи. Лучше все что угодно, чем та тишина, когда она реагировала только на жесты и была совершенно равнодушна к движению губ. Когда зрение у нее болезненно обострилось, а краски и цвета вспыхивали у нее перед глазами пожаром. Но она готова отказаться от самых ярких и прекрасных закатов на свете, от сияющих звезд величиной с обеденную тарелку, от пиршества осенних кроваво-красных и бледно-желтых осенних красок, если так захочет ее Возлюбленная.

Кувшин с сидром довольно тяжелый, но он всегда тяжелый, даже когда пуст. Денвер легко может донести его и сама, но все-таки просит Бел помочь ей. Кувшин стоит в холодной кладовой возле банки с патокой и шестифунтовым круглым сыром, твердым как камень. Тюфяк Поля Ди лежит посреди сарая, прикрытый газетами; в ногах — сложенное одеяло. Здесь Поль Ди спит уже по крайней мере месяц, хотя кругом лежит снег и пришла настоящая зима.

Сейчас полдень; на улице вполне светло, а в доме темновато. Лучи солнца пробиваются сквозь щели в крыше и стенах старой кладовки, но они кажутся чересчур слабыми, чтобы убежать от тьмы. Тьма гораздо быстрее и сильнее их; она заглатывает солнечные лучи, точно рыбью мелочь.

Дверь вдруг с грохотом захлопывается. Денвер не может даже понять, где сейчас Возлюбленная.

— Эй, ты где? — шепчет она как бы со смехом.

— Здесь,— отвечает та.

— Где?

— А ты найди меня,— говорит Возлюбленная.

Денвер, вытянув перед собой правую руку, осторожно делает шаг или два, спотыкается и падает на тюфяк. Под ней шуршат газеты. Она снова нервно смеется.

— Ох, прекрати это, Бел! Бел, ты где?

Никто ей не отвечает. Денвер протирает глаза и щурится, пытаясь во тьме различить очертания мешков с картошкой, жестянку с жиром и бок копченой свиной ноги, среди которых могла спрятаться Возлюбленная.

— Ну хватит дурачиться! — говорит она и смотрит вверх, на тонкие лучики света, чтобы лишний раз убедиться, что находится именно в холодной кладовой, что все это ей не снится. Крошечные солнечные рыбки все еще плавают там, над темной глубиной, но не могут спуститься вниз, к ней.

— Кажется, это ты захотела пить? Ты хотела сидра или нет? — В голосе Денвер звучит слабый упрек. Еле заметный. Она не хочет обидеть Возлюбленную и не хочет, чтобы та заметила, как ужас окутывает ее сейчас всю, точно густая паутина. Возлюбленной не слышно и не видно нигде. Денвер с трудом встает на ноги среди шуршащих газет. Вытянув перед собой руку с растопыренными пальцами, она медленно продвигается к двери. Там нет ни щеколды, ни замка — только кусочек проволоки в виде крючка, который накидывают на гвоздь. Денвер рывком отворяет дверь. Холодный солнечный свет мгновенно прогоняет тьму. Сарай выглядит в точности так, как и когда они туда вошли, только вот Возлюбленной там больше нет. Не имеет смысла искать ее — в холодной кладовой все видно с первого взгляда,— но Денвер все-таки ищет. Утрата поистине оглушительная. Она снова заходит в кладовую, позволяя двери быстро захлопнуться у нее за спиной, и в темноте быстро обходит помещение, касаясь каждого предмета, путаясь в паутине, нащупывая окаменевший сыр, скользкие полки, спотыкаясь о тюфяк, все время попадающийся под ноги. Но она как бы ничего этого не замечает, потому что не чувствует собственного тела. Она кажется себе комком льда, вырванным из толстого ледяного пласта, сковавшего ручей, и теперь она плывет в темноте, в плотной ледяной воде, ударяясь об острые края невидимых предметов, окружающих ее. Хрупкий, легко тающий ледяной комочек.

Трудно дышать, и, даже если бы было светло, Денвер все равно ничего не увидела бы, потому что она плачет. Все случилось в точности так, как она и представляла себе. Просто. Вошла и вышла. Чудесное появление на пне; лицо, невидимое в тени и как бы стертое солнечным светом; и потом — чудесное исчезновение в темном сарае, словно ее заживо поглотила тьма.

— Не надо,— говорит она сдавленным от рыданий голосом,— не надо! Не уходи!

Это оказалось гораздо хуже, чем появление в доме Поля Ди, когда она беспомощно роняла слезы на кухонную плиту. Это гораздо хуже. Тогда она плакала из-за себя. А теперь — потому что утратила собственное «я». Лучше уж умереть. Денвер чувствует, как тает ее плоть, растворяется во тьме, превращается в ничто. Она хватает себя за волосы на висках, стараясь захватить побольше и выдрать их с корнем, чтобы болью хоть немного приостановить таяние своей плоти. Стиснув зубы, она сдерживает рыдания и застывает. Она даже не пытается открыть дверь — ведь там, за дверью, больше ничего нет. Она решает остаться в холодной кладовой, и пусть тьма поглотит ее, как поглощает тех солнечных рыбок — лучики солнца под крышей. Ей не перенести еще одного расставания; и подобные шутки ей больше не под силу. Вот так проснешься утром и не найдешь сперва одного брата, а потом и другого на привычном месте в кровати, где его нога упирается тебе в спину. Или сидишь себе за столом, ешь тушеную репу, приберегая подливку для бабушки, и вдруг в дверях гостиной появляется мать, опирается о косяк и говорит: «Бэби Сагз умерла, Денвер». И только добравшись до тревожной мысли о том, каково ей будет, если Сэти умрет или уедет куда-нибудь с Полем Ди, мечты ее прерываются, и она снова оказывается в темноте на куче старых газет.

Шагов Возлюбленной она не слышит, тем не менее та здесь; стоит там, где только что не было никого. И улыбается.

Денвер хватает ее за подол.

— Я думала, ты меня бросила! Я думала, ты вернулась назад!

Возлюбленная улыбается:

— Мне там не нравится. А здесь — я существую.— Она садится на тюфяк, потом со смехом опрокидывается на спину, глядя на лучики света под крышей.

Денвер тайком сжимает краешек ее юбки — старается удержать. И правильно делает, потому что Бел вдруг резко садится.

— В чем дело? — спрашивает Денвер.

— Посмотри,— Возлюбленная показывает на солнечные лучи наверху.

— Ну и что? Я ничего особенного не вижу,— Денвер следит за ее указующим пальцем.

Возлюбленная бессильно роняет руку.

— Я тоже такая.

Денвер с ужасом видит, что она вдруг как-то уменьшается, сворачивается клубком и начинает качаться из стороны в сторону. Глаза ее совершенно пусты, а стоны так тихи и слабы, что Денвер с трудом их слышит.

— Что с тобой, Бел?

Бессмысленный взгляд постепенно сосредоточивается.

— Вон там: ее лицо.

Денвер смотрит туда, но там ничего — только тьма.

— Чье лицо? Кто это?

— Я. Это я — там.

Она уже снова улыбается.

Последний из мужчин Милого Дома, названный так тем, кто это понимал и сам когда-то верил в это. Остальные четверо тоже верили когда-то, но их уже давно нет на свете. Тот, кого продали, так никогда и не объявился больше; убежавшего так и не нашли. Один, это он знал точно, умер; и еще один тоже — во всяком случае, Поль Ди надеялся, что это так, потому что жить с вымазанным маслом лицом невозможно. Становясь взрослым, он считал, что из всех чернокожих в Кентукки только они пятеро — настоящие мужчины. Им было позволено — это даже поощрялось — поправлять Гарнера, возражать ему, проявлять в работе всяческую выдумку; самостоятельно следить за хозяйством и исправлять неполадки, не испрашивая разрешения хозяев. Можно было также выкупить мать, выбрать себе лошадь или жену; разрешалось пользоваться ружьями; можно было даже научиться читать, было б желание, но такого желания у них не возникало, поскольку они не верили тому, что пишут в газетах.

Неужели в этом-то и было все дело? Неужели в этом проявлялись настоящие мужские качества? В том, что их назвал мужчинами белый, который, как считалось, знал в этом толк? Вряд ли. В их отношениях с Гарнером действительно была прочная основа: им верили, им доверяли, но самое главное — к ним прислушивались.

Гарнер считал, что их мнение тоже заслуживает внимания, а чувства их тоже вполне серьезны. И то, что он, белый, прислушивался к мнению своих рабов, нисколько не умаляло ни его авторитета, ни его власти. А вот учитель этот учил их как раз обратному. И его истина высилась над ними и махала уродливыми руками, точно пугало во ржи: они считались мужчинами только на территории Милого Дома. Один шаг в сторону, и они тут же превращались в правонарушителей. В преступников. В сторожевых псов с вырванными клыками; в кастрированных бычков, да еще и безрогих; в жалких рабочих коняг, чье радостное или сердитое ржание нельзя было перевести на язык нормальных людей. Сила Поля Ди тогда покоилась на понимании того, что учитель не прав. Теперь же он стал в этом сомневаться: ведь был Альфред в штате Джорджия, был Делавэр, и Сиксо тоже был

в его жизни, но он все еще сомневался. Если учитель прав, тогда понятно, почему он, Поль Ди, превратился в жалкую тряпичную куклу, которую то подбирала, то снова бросала где угодно и когда угодно девушка, которая по возрасту годилась ему в дочери. И он совокуплялся с ней, хотя твердо знал, что этого не хочет. Стоило ей повернуться к нему спиной и задрать свои юбки, как воспоминания о телках, забавах его юности (неужели в этом все дело?), повергали его решимость в прах. Но не только любовные утехи с ней унижали его и заставляли думать, что тот учитель, возможно, был прав. Больше всего его унижало то, что она швыряла его, как куклу, делала с ним, что хочет, и он ничем не мог ей препятствовать. На всю жизнь он теперь был лишен возможности бродить под мерцающими белыми звездами по вечерам; на всю жизнь лишен возможности спокойно посидеть у плиты на кухне, или отдохнуть в гостиной, или хотя бы переночевать в теплой кладовой. Он, конечно, пробовал. Задерживая дыхание, как тогда, когда тонул в жидкой грязи. Усмиряя свое сердце, как тогда, когда его била та немыслимая дрожь. Но сейчас было куда хуже, чем тогда. Это определенно было хуже тех водоворотов в крови, которые он успокаивал с помощью тяжелой кувалды. Здесь, в доме номер 124, когда после ужина он вставал из-за стола и поворачивался к лестнице, сперва возникала тошнота, потом непереносимое отвращение. Это у него-то! У него, который спокойно ел еще теплое сырое мясо; который под сливовыми деревьями, исходившими бешеным цветом, вгрызался в грудь голубя, хотя сердце птички еще билось! Потому что он был мужчиной, а мужчина может все, если захочет: может затаиться на шесть часов в сухом колодце до наступления темноты; может драться голыми руками с енотом и победить; может смотреть, как другого мужчину, которого он любил больше собственных братьев, поджаривают на медленном огне, и при этом не проронить ни единой слезинки, чтобы мучители поняли наконец, что такое настоящий мужчина. Да, это был он, настоящий мужчина, пешком преодолевший расстояние из Альфреда в штате Джорджия до Делавэра, но теперь не способный ни уйти, ни остаться там, где ему хотелось,— в доме номер 124. Стыд!

Итак, Поль Ди оказался не властен над собственным передвижением в пространстве, но надеялся, что говорить еще может, и решил попробовать прорваться этим путем. Он непременно должен был рассказать Сэти о событиях трех последних недель — подкараулить ее, когда она будет возвращаться с работы из той пивной, которую гордо величает рестораном, и все ей рассказать.

Зимний полдень был больше похож на вечерние сумерки, когда Поль Ди ждал Сэти на аллейке за рестораном Сойера. Готовясь к рассказу и представляя себе ее лицо, он позволял словам пока собираться в голове произвольными группками, и они резвились там, точно дети, прежде чем им велят построиться и поведут дальше.

— Ну, понимаешь ли, это невозможно... человек не может... Дело в том... нет, ты послушай, дело в том, что старый Гарнер действительно... я ведь что хочу сказать... это не какая-то там слабость, с которой мне не справиться... нет, что-то со мной такое происходит... эта девчонка такое со мной делает... я понимаю: ты считаешь, что я всегда ее ненавидел... но ведь она такое со мной делает... Она мной управляет, Сэти! Она меня по рукам и ногам связала, и я не могу вырваться...

Как это взрослого мужчину девчонка связала по рукам и ногам? А что, если это вовсе и не девчонка, а кто-то неведомый, только обличье у него такое? Кто-то низкий, бесчестный, а выглядит как милая молодая девушка, и не в том дело, что он с нею спит; дело в том, что он не может ни остаться в доме номер 124, ни уйти оттуда, куда хочет; а самое главное — то, что он теряет Сэти. Видимо, он недостаточно сильный мужчина, чтобы вырваться, и ему необходима ее, Сэти, помощь; она должна помочь ему, должна узнать обо всем. Ему было бесконечно стыдно просить о помощи ту женщину, которую он так хотел уберечь от горя, защитить. Господи! Черт бы все это побрал совсем!

Поль Ди подышал в собранные чашечкой замерзшие ладони. Ветер дул

вдоль аллейки с такой силой, что шерсть на четырех дворовых собаках, ожидавших объедков у дверей кухни, встала дыбом. Поль Ди посмотрел на собак. Собаки посмотрели на него.

Наконец дверь кухни открылась, и оттуда вышла Сэти, неся на сгибе руки огромную сковороду с объедками. Увидев Поля Ди, она удивленно и радостно воскликнула и улыбнулась.

Он улыбнулся ей в ответ, но не был уверен, что улыбка у него получилась,— лицо у него так замерзло, что он его совершенно не чувствовал.

— Ну, парень, ты даешь! Да я себя просто девчонкой чувствую, которую ты после работы подцепить зашел. Так за мной еще никто не ухаживал. Ты смотри, осторожней, не то я еще привыкну да избалуюсь.— Сэти быстро разбросала самые большие кости в разные стороны, чтобы собаки поняли, что еды достаточно на всех, и не дрались. Потом разбросала требуху, головы и прочие отходы — то, что не могли использовать в ресторане, а сама она просто не хотела брать с собой. Остальное сложила дымящейся кучкой на землю.

— Сейчас, только сковороду сполосну,— сказала Сэти,— и все, сразу приду.

Он кивнул, и она вернулась на кухню.

Собаки молча ели, и Поль Ди подумал, что они-то по крайней мере получили то, за чем пришли, и если уж у нее для них доброты хватает...

Сэти повязала голову коричневым шерстяным платком и низко надвинула его на лоб из-за пронзительного холодного ветра.

— Ты что, работу так рано кончил или случилось что?

— Ушел пораньше. Обдумать кое-что надо.

— Что-нибудь важное?

— Да вроде бы,— сказал он и облизнул губы.

— Надеюсь увольнений у вас не будет?

— Нет, что ты. Работы у них полно. Я просто...

— Да?

— Сэти, тебе, наверно, не понравится то, что я сейчас скажу.

Она остановилась и повернулась к нему — и этому проклятому ветру — лицом. Другая женщина по крайней мере прищурилась бы, зажмурилась, стала вытирать слезы, выступившие на глазах, стоя лицом к такому ветру. Но не Сэти. Другая женщина, возможно, посмотрела бы на него с сочувствием, с мольбой, с гневом наконец, потому что его слова прозвучали как «Прощай, я ухожу».

Но Сэти смотрела на него совершенно спокойно и молчала, уже готовая понять и простить — простить любого человека, раз он попал в беду или в нужду. Уже соглашаясь и словно говоря: да ладно, все в порядке — заранее, потому что она никому из них не верила после стольких лет. Не верила, но понять умом могла все. Они не виноваты. Никто ни в чем не виноват.

Он догадывался, о чем она думает, и хотя она явно была не права,— он вовсе не собирался оставлять ее, ни за что на свете! — все равно то, что он собирался сказать ей, могло для нее стать куда хуже любых прощальных слов. И увидев, как гаснет ожидание в ее глазах, увидев это печально-меланхоличное, но не обвиняющее лицо, он не смог выговорить то, что собирался. Не смог прямо заявить женщине, которая не щурится даже на таком сильном ветру: «Я не мужчина».

— Что ж ты молчишь, Поль Ди? Говори, понравится мне это или нет.

Поскольку он не мог сказать то, что хотел, то вдруг выпалил то, о чем вроде бы и не думал:

— Я хочу, чтоб у нас с тобой был ребенок, Сэти. Пошла бы ты на такое ради меня?

Она рассмеялась, и он — вслед за нею.

— И ты специально пришел сюда, чтобы попросить меня об этом? Ну и псих же ты, Поль Ди! Ты прав; мне это совсем не нравится. Ты вообще-то как, подумал, что я уже не так молода, чтобы все начинать сначала? — Она

сунула свои пальцы ему в ладонь — в точности как те тени, что держались за руки на обочине дороги в день карнавала.

— Ты все-таки подумай,— сказал он. И вдруг понял, что это и есть решение, что так он сможет удержаться за нее, доказать, что он настоящий мужчина и способен сам разрушить чары этой девчонки — добиться всего сразу. Он нежно прижал ее пальцы к своей щеке. Она, смеясь, отдернула руку, чтобы кто-нибудь из прохожих не обратил внимания, как неприлично они ведут себя — на людях, среди бела дня да еще на таком ветру.

И все-таки удалось отсрочить последний шаг, купить себе еще немного времени, и он надеялся, что цена не окажется для него непосильной. Как если заплатить за наступление еще одного дня монетой стоимостью в жизнь.

Они пошли домой смеясь, размахивая руками, сгибаясь под порывами ветра. Когда они вышли из аллейки и оказались на большой улице, там было чуть потише, однако ветер успел принести с собой мороз, иссушающий душу холод, и прохожие спешили мимо, сунув нос в воротник пальто. Никто не стоял без дела у дверей магазинов или витрин. Колеса повозок, груженных продуктами или топливом, скрипели так, словно им было больно. Лошади, привязанные у входов в пивные, дрожали и жмурились от холода. Две пары белых женщин, громко стучавших башмаками по деревянному тротуару, попались им навстречу, и Поль Ди поддержал Сэти под локоть, помогая ей сойти с тротуара в грязь и пропустить этих женщин.

Через полчаса, оказавшись совсем на окраине, Сэти и Поль Ди снова принялись хватать друг друга за руки и шалить, украдкой шлепая один другого по заду и радостно удивляясь и смущаясь от того, что они, оказывается, еще вовсе не такие старые.

Решено, подумал он. Это как раз то, что нужно, и никакая приблудная девица тут ничего не сможет поделать. И больше эта ленивая сучка не заставит его плясать под свою дудку, не заставит терзаться сомнениями, жаловаться на жизнь или признаваться в грехах. Убежденный в том, что сможет все изменить, он обнял Сэти за плечи и крепко прижал к себе. Она откинулась головой ему на грудь, и, поскольку этот миг показался им обоим очень важным, они замерли, стараясь продлить его, не дыша и даже не думая, что их может увидеть какой-нибудь прохожий. Зимний гаснущий день был неярок. Сэти закрыла глаза, а Поль Ди смотрел на черные деревья вдоль дороги, поднявшие голые ветви, как руки в попытке защититься. Неожиданно, тихонько подкравшись, пошел снег — подарок, явившийся с небес. Сэти открыла глаза навстречу снегу и сказала:

— О Господи, вот счастье-то!

И Полю Ди показалось, что это действительно счастье, нечто, преподнесенное им специально, чтобы отметить этот миг, чтобы потом они могли вспоминать, что чувствовали под падавшими сверху крупными хлопьями снега, легкими монетками поблескивавшими на камнях мостовой. Поля Ди всегда удивляло — как тихо они падают. Не как дождь, а так, будто совершается таинство.

— Бежим! — предложил он.

— Сам беги,— заявила Сэти.— Я целый день на ногах.

— А я-то? Посиживал да полеживал, что ли? — И он решительно потащил ее за собой.

— Стой! Погоди! — кричала она.— У меня ноги совсем не идут.

— Тогда давай их сюда,— сказал он, и прежде чем она успела что-то возразить, уже посадил ее к себе на закорки и побежал по дороге мимо пустых бурых полей, быстро становившихся белыми.

Наконец он задохнулся, остановился, и она поспешно соскользнула с его спины, еле держась на ногах от смеха.

— Тебе и впрямь детишки нужны — ты с ними в снежки играть будешь, возиться.— Сэти поправила свой платок.

Поль Ди улыбнулся и подышал на руки, чтобы согреть их.

— Да, хотелось бы. Правда, тут нам без взаимного желания никак не обойтись.

— Еще бы! — откликнулась она.— И еще какого взаимного.

Было около четырех часов дня; дом номер 124 виднелся сквозь снег уже где-то в полумиле от них. И тут из этой белой пелены выплыла едва различимая, вся занесенная снегом фигура. И хотя Бел все эти четыре месяца выходила навстречу Сэти, оба они вздрогнули — настолько были поглощены друг другом и не ожидали увидеть ее так близко.

На Поля Ди она и не посмотрела; все ее внимание было поглощено Сэти. Она была без пальто, простоволосая, зато в руках несла большую шаль, в которую и попыталась закутать Сэти.

— Сумасшедшая девочка! — мягко побранила ее Сэти.— Разве можно — совсем неодетая, в такой снег! — И она шагнула в сторону от Поля Ди, взяла у Бел шаль и постаралась как можно лучше укутать ей голову и плечи, приговаривая: — Нужно же все-таки соображать! Холодно ведь,— и чуточку приобняла девушку левой рукой. Снег стал мокрым. Поль Ди ощущал ледянящий холод там, где к нему только что прижималась Сэти. Он тащился за ними в двух шагах и тщетно старался подавить закипавший гнев. Увидев в освещенном окне силуэт Денвер, он не мог удержаться и спросил себя: «Ну а ты-то на чьей стороне?»

Сэти все решила сама. Ни о чем не подозревая, она разрубила этот узел одним ударом.

— Ну, теперь-то уж ты перестанешь спать в сарае, верно, Поль Ди? — Сэти улыбнулась ему, и, словно поперхнувшись холодным ветром, попавшим в трубу, камин дружески кашлянул в ответ на ее слова. Оконные рамы содрогнулись под порывом зимнего ветра.

Поль Ди поднял глаза над тарелкой с мясным рагу.

— Будешь спать наверху. Где полагается,— продолжала Сэти.— И никуда больше не уходи, слышишь?

Паутина злобы, потянувшаяся было к нему с той стороны стола, где сидела Бел, словно растаяла в тепле улыбки Сэти.

Лишь однажды прежде Поль Ди был так благодарен женщине. Когда выполз из лесу с мутными от голода и одиночества глазами и постучался в первый же дом в цветном квартале Уилмингтона. Той женщине, что ему открыла, он сказал, что будет очень ей благодарен и может, например, нарубить сколько угодно дров, если она даст ему поесть. Она неторопливо оглядела его с головы до ног.

— Нарубишь чуть позже,— сказала она, распахнула дверь и впустила его. Она накормила его свиной колбасой — хуже для изголодавшегося человека и придумать нельзя,— но ни он, ни его брюхо нисколько не возражали. А потом он увидел в спальне светлые ситцевые простыни и две подушки, и ему пришлось торопливо вытереть набежавшие на глаза слезы, чтобы она не заметила, как мужчина впервые в своей жизни плачет благодарными слезами. На чем только он ни спал — на земле, на траве, в жидкой глине, в мусорной куче, на листьях, на сене, на усыпанном пустыми ракушками морском берегу... Но светлые ситцевые простыни ему даже в голову никогда не приходили. Он упал на них со стоном, и та женщина помогала ему притворяться, что он занимается любовью с ней, а вовсе не с ее постельным бельем. Он поклялся в ту ночь, набив брюхо свининой и утонув в роскошной постели, что никогда ее не оставит, что ей придется сперва убить его, если она вдруг захочет выгнать его из своей постели. И через восемнадцать месяцев, когда его купили банк Норт-Пойнта и Железнодорожная компания, он все-таки по-прежнему был благодарен ей за знакомство с настоящими чистыми простынями.

Сейчас он во второй раз испытал подобную благодарность. Он чувствовал себя так, словно его за руку увели от самого края пропасти на твердую землю. В постели Сэти — он это знал твердо — он способен был смириться с двумя сумасшедшими девицами, раз этого хочется самой Сэти. С наслаждением вытянувшись во весь рост, он смотрел на падающие за окном в потолке снежные хлопья, и ему было легко прогнать те сомнения, что охватили его в аллее за рестораном: да, он слишком многого от себя

хотел. То, что он считал трусостью, другие, возможно, назвали бы здравым смыслом.

Прижавшись к нему всем телом и лежа у него на плече, Сэти вспоминала его лицо — там, на улице, когда он попросил ее родить ему ребенка. И хотя она тогда засмеялась и шутливо схватила его за руку, эта просьба ее испугала. Она быстро переключилась на мысль о том, как славно было бы заниматься с ним только любовью, если бы он хотел именно этого; однако ей страшно было даже подумать о том, чтобы снова родить. Нужно было снова заставлять себя быть доброй, ласковой и проворной; нужны были немалые силы, чтобы снова все перенести. И непременно нужно было оставаться живой. О Господи, думала она, избавь меня от этого. Если только материнская любовь, возникнув в ней, не станет ее же убийцей. Для чего ему ребенок от нее? Чтобы прочнее привязать ее к себе? Чтобы оставить мету: когда-то он побывал и в этих местах? У него, верно, по всему свету дети раскиданы. Восемнадцать лет бродяжничал — уж нескольких-то точно после себя оставил. Нет. Дело не в этом. Просто ее собственные дети ему чужие. Ее ребенок, поправила она себя. Ее дочь Денвер. И еще Бел, которую она тоже считает родной дочерью. Ему неприятно делить ее с девочками. Слушать их веселый смех — над чем-то, ему недоступным. И их женского языка он тоже никогда понять не мог. Может быть, его обижает даже то, что они не все свое время тратят на него? И вообще — они какая-никакая, а семья, но глава этой семьи не он.

Можешь зашить мне рубашку, детка?

Угу. Вот только блузку доделаю. У Бел только и есть что то платье, в котором она пришла сюда, а ведь каждой девушке хочется что-то новенькое.

Там пирожка случайно не осталось?

По-моему, Денвер уже утащила последний кусок.

И ведь не жаловался, даже не сказал ни разу, что спит где придется, теперь вот даже и не дома, в сарае, почти на улице, с чем она, заботясь о нем, сегодня наконец покончила...

Сэти вздохнула и положила руку Полю Ди на грудь. Она понимала, что пытается лишь защититься от него, точнее, от нежелательной беременности, и ей даже стало немножко стыдно. Но ведь она и так родила четверых. Если ее мальчики когда-нибудь все-таки вернутся, а Денвер и Бел останутся с ней — что ж, тогда почти вся ее семья будет в сборе, верно? И она сразу же вспомнила тени, что держались за руки на обочине дороги. Неужели картина эта совсем не изменилась? А когда она увидела темный силуэт — в том платье и в тех башмаках — на пне перед домом, из нее хлынули воды... Ей даже не нужно было видеть лицо Возлюбленной, горевшее от солнца. Она столько лет представляла его себе, мечтала о нем.

Грудь Поля Ди мерно поднималась и опускалась, поднималась и опускалась под ее ладонью.

Денвер закончила мыть тарелки и присела за стол. Бел, с тех пор как Сэти и Поль Ди вышли из комнаты, сидела неподвижно и сосала указательный палец. Денвер некоторое время смотрела на нее, потом сказала:

— Она хочет, чтобы он оставался в доме.

Бел сунула палец еще глубже в рот.

— Пусть он уходит! — сказала она.

— Но Сэти ведь возненавидит тебя, если он все-таки уйдет.

Бел сунула в рот второй палец и вытащила коренной зуб. Крови видно не было, но Денвер сказала испуганно:

— Ой, ну неужели тебе не больно?

Возлюбленная смотрела на зуб и думала: ну вот, начинается. Еще рука отвалится или пальцы на руках и на ногах... Так она и будет разваливаться

по кускам, а может, и сразу вся развалится. Или как-нибудь утром, до того как Денвер проснется, а Сэти уже уйдет на работу, возьмет и взорвется, разлетится на куски. Самой ох как трудно удерживать голову на шее, а ноги в бедренных суставах. Одной ей с этим не справиться. Среди того, что она помнить не хотела, было и понимание, что в любой день она может перестать существовать. У нее на этот счет было два сна: в одном она взрывалась, а в другом ее кто-то заглатывал. Когда у нее выпал зуб — странный такой кусочек кости, последний в ряду,— она подумала: уже начинается.

— Похоже, это зуб мудрости,— сказала Денвер.— Неужели тебе не больно?

— Больно.

— Так чего ж ты не плачешь?

— Что?

— Если тебе больно, то почему ты не плачешь?

И Бел заплакала. Сидела за столом, держала маленький белый зуб на своей гладкой-прегладкой ладошке и плакала так горько, как ей хотелось заплакать, когда те черепашки одна за другой вылезли из воды; когда та ярко-красная птичка исчезла среди густой листвы; когда Сэти пошла к нему, а он стоял голый в лохани под лестницей. Кончиком языка она слизнула соленую влагу, стекавшую по щекам и подбородку, надеясь только, что рука Денвер, обнимавшая ее за плечи, не даст ей рассыпаться.

А та пара наверху, наконец слившись воедино, не слышала ничего, а вокруг, снаружи, за стенами дома номер 124 шел и шел снег. Ложился плотным слоем, скрывая все под собой. Все выше становились сугробы. Все глубже.

Возможно, где-то в глубине души Бэби Сагз считала, что если Халле побег удастся — все ведь во власти Господней,— тогда непременно нужно будет устроить праздник. Если только ее младшему сыну удастся сделать и для себя то, что он сделал для нее и для своих детей, которых Джон и Элла принесли к дверям ее дома как-то летней ночью. Дети прибыли одни, Сэти с ними не оказалось, и Бэби встревожилась, но все-таки была благодарна, что хоть какая-то часть семьи, ее родные внуки остались в живых. Это были первые и единственные внуки, которых ей суждено было узнать: двое мальчиков и маленькая девочка, которая уже ползала. Но Бэби постаралась унять свое беспокойное сердце и остереглась спрашивать, есть ли вести о Сэти и Халле, почему они задерживаются и почему Сэти не приехала вместе с детьми. Такой побег в одиночку совершить невозможно. Не только потому, что охотники на рабов высматривают беглецов, как хищные канюки, и ставят на них ловушки, словно на кроликов; но еще и потому, что если не знаешь пути и некому показать тебе дорогу, то заблудиться и пропасть ничего не стоит.

Поэтому, когда появилась Сэти — вся истерзанная, израненная, да еще и с новорожденной внучкой на руках,— Бэби с трудом сдержала возглас изумления. Но поскольку от Халле по-прежнему вестей не было, да и сама Сэти о нем ничего не знала, она снова заставила свое сердце молчать, чтобы не сглазить, чтобы не начать благодарить Господа слишком рано.

А начал все старый Штамп. Недели через три после того, как Сэти прибыла в дом номер 124, он заглянул к ним, проходя мимо, посмотрел на малышку, которую когда-то завернул в куртку своего племянника, посмотрел на Сэти, которую когда-то пытался накормить жареным угрем, и вдруг, Бог его знает почему, взял два ведра и отправился в лес на дальнем конце реки; это место знал он один; там росла черная смородина, такая замечательно душистая и крупная, что съешь одну ягодку — и будто в церкви причастишься. Он шесть миль прошагал по берегу реки; потом сквозь непролазную чащу спустился в лощину, где росла эта смородина. Сплошная стена кустарника, сквозь которую он пробивался, встретила

его острыми шипами, толстыми и длинными, как ножи; шипы насквозь пропарывали его одежду и впивались в тело. К тому же он ужасно страдал от укусов москитов, пчел, шершней, ос и самых ядовитых во всем штате паучих. Весь изодранный и искусанный, он все-таки достиг своей цели и собрал заветную смородину, причем каждую ягодку брал очень осторожно, кончиками пальцев, и ни одной не раздавил. Уже вечерело, когда он вернулся и поставил на крыльцо дома номер 124 два полных ведра. Бэби Сагз, увидав его изорванные в клочья рубашку и штаны, окровавленные руки, распухшее лицо и шею, так и села. И громко рассмеялась.

Баглер, Ховард, женщина в чепце, приятельница Бэби, и Сэти подошли поближе — посмотреть, что случилось, и тоже принялись смеяться: этот добрый и суровый старый негр, тайный агент, рыбак, проводник и перевозчик беглых, спаситель и шпион, был наконец средь бела дня нещадно выдран, причем по собственному желанию — из-за двух ведер черной смородины. Не обращая никакого внимания на смеющихся, Штамп взял одну ягодку и положил ее в ротик трехнедельной Денвер. Женщины всполошились.

— Да ты что, она слишком мала для этого!

— У нее понос будет!

— Животик заболит!

Но у девочки только глазки загорелись, и она так зачмокала губами, что и все тут же невольно зачмокали за нею следом, по очереди пробуя ягоды, обладавшие поистине божественным вкусом. В конце концов Бэби Сагз отшлепала мальчишек по рукам, чтобы отогнать их от ведра, а Штампа отправила к колодцу, чтобы обмылся как следует. И в тот вечер она решила сделать из этих ягод что-нибудь достойное великого труда и любви старого негра. Вот с этого все и началось.

Она поставила опару для теста и подумала, что хорошо бы пригласить еще Джона и Эллу, потому что трех, а может, и четырех пирогов для одной семьи многовато. Сэти решила, что неплохо добавить еще и парочку цыплят. А Штамп заявил, что окуней и сомиков в реке столько, что сами в лодку запрыгивают — не надо и леску забрасывать.

Итак, своими загоревшимися глазками маленькая Денвер разожгла настоящий пир для девяноста человек. Их громкие голоса в доме номер 124 не стихали до поздней ночи. Гости ели с таким отменным аппетитом и так много смеялись, что в итоге даже рассердились. На следующее утро, проснувшись, они припомнили вкус копченых окуней, которых Штамп приготовил на можжевеловых палочках; он каждую рыбину коптил над костром отдельно, прикрывая левой рукой, чтобы не плевалась во все стороны жиром; припомнили замечательный кукурузный пудинг со сливками; припомнили своих усталых объевшихся детей, что уснули прямо на траве, зажав в руках обглоданные косточки жареного кролика,— припомнили все это, и их обуял гнев.

Три или четыре пирога, испеченных Бэби Сагз, превратились в десять, а то и двенадцать. Две курицы, зажаренные Сэти, представлялись пятью индюшками. Один-единственный куб льда, привезенный из Цинциннати — который вместе с арбузным соком, сахаром и мятой был использован для приготовления прохладительного напитка,— превратился в целый вагон мороженого и корыто клубники. И то, что дом номер 124 всю ночь сотрясался от смеха и веселья на славу угостившихся девяноста человек, разозлило их еще больше. Слишком у них всего много, думали они. Где она все это берет, наша Бэби Сагз, святая? Да и кто она такая, в конце концов? И почему она сама и ее семейство вечно в центре внимания? Откуда она так хорошо знает, что, как и когда нужно делать? Зачем всем дает советы, передает послания, лечит больных, прячет беглых, зачем вообще любит людей, готовит для них еду, молится за них да еще поет для них и танцует — словно в этой любви ко всем людям и заключается ее работа? Словно это дозволено только ей одной?

А тут — целых два ведра смородины, из которых она напекла не то десять, не то двенадцать пирогов; да индюшатины чуть не на целый город

нажарила, а к ней свежий зеленый горошек,— это в сентябре-то! — и сливки у нее свежайшие, хотя своей коровы нет и в помине, да еще лед и сахар, сливочное масло и хлебный пудинг, дрожжевой хлеб, лепешки — такое изобилие сводило их с ума. То, что Он несколькими хлебами и рыбинами накормил людей досыта, к делу отношения не имело: ведь Господь — не какая-то там бывшая рабыня, которой, может, никогда и не приходилось тяжко трудиться и таскать стофунтовые мешки к весам или весь день собирать стручки окры с ребенком, привязанным за спиной. Ее небось никогда не бил кнутом десятилетний белый мальчишка! А им-то — Господь один ведает, как им досталось. И ведь ей даже бежать не пришлось — ее, видите ли, *выкупил* любящий сынок и *довез* до берега Огайо в повозке; и документы об освобождении у нее имелись (она их между грудями засунула), а привез ее сюда тот белый, что раньше был ее хозяином; он же и заплатил за нее налог — Гарнер была его фамилия. А потом она сняла дом в целых два этажа, да еще с колодцем, у Бодуинов — у этих белых брата и сестры, которые всегда давали Штампу, Элле и Джону одежду, продукты и деньги для беглых негров, потому что ненавидели рабство куда сильнее, чем чернокожих рабов.

Вспомнив все это, они прямо-таки взбесились. Глотали питьевую соду наутро после пира, чтобы успокоить бунтующие после щедрого угощения желудки, и злились на ту беспечную щедрость, что словно была выставлена напоказ в доме номер 124. И шептались друг с другом по дворам о жирных крысах-богатеях, о Страшном суде и неуемной гордыне.

Тяжелый запах людского неодобрения повис в воздухе. Бэби Сагз проснулась от этого запаха и все думала, с чего бы это, пока варила мамалыгу для своих внучат. Позже, стоя в огороде и рыхля землю на грядке с перцем, она снова явственно почуяла этот запах, подняла голову и огляделась. У нее за спиной, чуть левее, сидела на корточках Сэти, трудившаяся над бобами. Плечи ее под платьем были прикрыты смазанной жиром фланелевой тряпкой, чтобы скорее подживала спина. Рядом с ней в большой корзине лежала трехнедельная малышка. Бэби Сагз, святая, посмотрела вверх. Небо было синим, чистым. Даже дыхания смерти не чувствовалось вокруг, ни одного желтого листочка не было еще в полетнему яркой зелени деревьев. Она слышала щебет птиц и слабое журчание ручья на дальнем конце луга. Их щенок, Мальчик, закапывал последние косточки, которые не доел после вчерашней пирушки. Откуда-то из-за дома доносились голоса Баглера, Ховарда и ее старшей внучки, которая уже ползала. Все вроде бы на своих местах — и все-таки запах неодобрения бил в нос. Дальше, за огородными грядками, ближе к ручью, на самом солнцепеке, она посадила кукурузу. И хотя большую часть початков они уже обломали для вчерашней пирушки, кое-что там еще осталось; зреющие початки были видны ей даже с того места, где она стояла. Бэби Сагз снова согнулась с мотыгой над грядками со сладким перцем и кабачками. Осторожно, неторопливо, держа лезвие точнехонько под нужным углом, она старалась извлечь с корнями цветущую упрямую руту. Цветы ее она совала в трещину на своей старой соломенной шляпе; стебли и корни отбрасывала прочь. Тихий стук по дереву донесся до нее и напомнил, что Штамп делает ту посудину, которую вчера обещал ей. Она вздохнула, продолжая работу, но мгновение спустя снова выпрямилась, ощутив острый запах неодобрения. Опершись на ручку мотыги, Бэби Сагз сосредоточилась. Она уже привыкла к мысли о том, что молиться за нее никто не станет, однако буквально разливавшаяся вокруг ненависть — это было что-то новое. Причем ненависть, исходившая не от белых — это-то она определить могла,— а наверняка от черных! И тут она наконец поняла: ее друзья и соседи сердились на нее за то, что она преступила черту — дала слишком много, обидев их своей избыточной щедростью.

Бэби закрыла глаза. Возможно, они были правы. И вдруг откуда-то издалека, из-за этой волны неодобрения до нее долетел совсем другой запах. Запах темной, опасной, движущейся сюда силы. Но что это такое, она определить не могла: ей мешал запах соседской злобы.

Она изо всех сил зажмурилась, пытаясь понять, что же это такое, но единственное, что ей пришло в голову,— это высокие сапоги с ушками, которые она терпеть не могла.

Встревоженная, она снова взялась за мотыгу. Что же это за темная сила движется сюда? Разве в мире осталось хоть что-то, способное причинить ей боль? Может быть, это весть о смерти Халле? Нет. К ней она была готова куда лучше, чем к известию о том, что он каким-то чудом остался жив. Ее последыш, на которого она едва взглянула, когда он родился: к чему пытаться запомнить младенческие черты, если все равно никогда не увидишь, как взрослеет твой сын? Семь раз она это пробовала: брала в руки крошечную ножку; обследовала крошечные толстенькие пальчики на руках — и никогда не видела, как эти пальчики превращаются в пальцы взрослого мужчины или женщины, которые любая мать отличит всегда. Она до сих пор не знала, сменились ли у них зубы на постоянные; перестала ли Патти шепелявить; какого цвета в конце концов стала кожа у Феймаса; осталась ли у Джонни волчья пасть или то был просто небольшой изъян, который сам собой исчезает, когда у ребенка окрепнет челюсть. Четырех девочек родила она и всех в последний раз видела тогда, когда ни у одной еще и волосики под мышками не начали пробиваться. Неужели Арделия до сих пор любит подгорелые хлебные корки? Все семеро ее детей просто исчезли из ее жизни. Может, умерли. Так имело ли смысл внимательно рассматривать этого последыша? Но ей почему-то даже дали его подержать на руках, а потом — и оставить при себе. И с тех пор он был с нею повсюду.

Когда в Каролине она повредила себе бедро, то стоила меньше Халле (ему тогда было десять) — выгодная покупка для мистера Гарнера, отвезшего их обоих в Кентукки к себе на ферму, которую называл Милый Дом. Из-за больного бедра она подпрыгивала при ходьбе, точно собака на трех лапах. Но в Милом Доме не было ни рисового поля, ни табачных плантаций. И никто, ни один человек там ни разу не сбил ее с ног! Ни разу. Лилиан Гарнер почему-то называла ее Дженни, но никогда не толкала, не била ее и не обзывала грязными словами. Даже когда Бэби поскользнулась на коровьей лепешке и разбила все яйца, которые несла в фартуке, никто не рявкнул на нее: Ну-ты-черная-сука-что-с-тобой-такое-черт-тебя-побери! И никто не ударил ее, не сбил ее с ног.

Милый Дом был совсем крошечной фермой по сравнению с теми усадьбами, где она работала прежде. Мистер Гарнер, миссис Гарнер, она сама, Халле и четверо парней, трое из которых носили имя Поль,— вот почти и все обитатели Милого Дома. Миссис Гарнер вечно за работой напевала себе под нос; мистер Гарнер вел себя так, словно весь мир был для него игрушкой, которой ему необходимо всласть наиграться. Никто не требовал, чтобы она работала в поле — у мистера Гарнера со всеми полевыми работами справлялись пятеро парней (и ее Халле в их числе),— что она воспринимала как милость Божью, потому что все равно не выдержала бы этого. Она занималась только домашней работой: стоя рядом с вечно напевающей себе под нос Лилиан Гарнер, готовила еду, консервировала овощи, стирала, гладила, делала свечи, шила одежду, варила мыло и сидр, кормила цыплят, свиней, собак и гусей, доила коров, сбивала масло, топила сало, растапливала плиту... В общем, ничего особенного. И никто ни разу ее не ударил, не сбил с ног.

Бедро у нее болело постоянно — но она никогда никому не жаловалась. Только Халле, который всегда был рядом, знал, с каким трудом она ходит; знал, что в последние четыре года для того, чтобы лечь в постель или встать с нее, она должна сперва поднять больную ногу обеими руками. Именно поэтому он и затеял разговор с мистером Гарнером, чтобы как-то выкупить ее на свободу, чтобы она для разнообразия смогла посидеть и немного отдохнуть. Милый мальчик. Единственный человек на свете, который сделал для нее что-то действительно стоящее: заплатил за нее своей работой, своей жизнью, а теперь вот и своих детей ей отдал, чьи голоса доносились до нее, пока она стояла среди грядок и раздумывала, что же это за темная сила движется сюда, скрытая запахом всеобщего неодобрения. Нет, Милый

Дом был, конечно, значительно лучше всех прочих мест. Нет вопроса. Но это было не так уж важно, потому что тоска жила у нее в сердце, в ее опустошенном сердце, которого она и не ощущала вовсе. Тоска грызла ее, потому что она не знала, где похоронены ее дети и, если они живы, какими они стали, однако она все равно знала о них больше, чем о себе самой, хоть и не было такой карты, которая могла бы ей помочь, рассказать, где они и что с ними.

Приятный ли был у нее в юности голосок? Была ли она хорошенькой? Была ли кому-нибудь доброй подругой? Могла ли стать любящей матерью? Верной женой? Она часто думала: была ли у меня сестра, любила ли она меня? Интересно, если бы мать увидела меня взрослой, понравилась бы я ей?

В доме Лилиан Гарнер, избавленная от работы в поле, на которой она когда-то повредила себе бедро, от той бесконечной усталости, что выхолащивала мозги, от постоянной угрозы рукоприкладства она прислушивалась к тихому пению белой женщины, работавшей с ней рядом, видела, как светлеет лицо ее хозяйки, когда входит мистер Гарнер, и думала: здесь, конечно, лучше, чем прежде, но это не для меня. У Гарнеров, похоже, была какая-то своя, особая система отношений с рабами, к которым здесь относились как к наемным работникам — прислушивались к их советам и сами обучали их тому, что они желали знать. И еще мистер Гарнер не заставлял своих парней спариваться с женщинами. Никогда никого не приводил к ее хижине и не приказывал: «А ну-ка ложись с ней!», как это сплошь и рядом делали в Каролине. И он никогда не одалживал своих негров для подобных целей на другие фермы. Это удивляло ее и радовало, но почему-то и беспокоило. Как будет дальше: выберет ли он для них подходящих женщин сам? Ведь Бог знает, что может произойти, когда парнишки войдут в возраст. Ох, опасное дело затеял мистер Гарнер! Неужто ж он не знает, как это опасно? Конечно, знает, и его приказ не покидать без него пределы фермы связан не столько с соблюдением закона, сколько с пониманием того, что могут натворить, вырвавшись на волю, парни, выросшие в обществе одних только мужчин.

Бэби Сагз говорила лишь по необходимости — что она там такого особенного могла сказать, она и слов-то таких не знала,— так что миссис Гарнер оставалось напевать себе под нос, находя новую рабыню отличной, хотя и чересчур молчаливой помощницей.

Когда мистер Гарнер и Халле обо всем договорились и Халле так сиял, словно для него не было ничего важнее на свете, чем ее свобода, она позволила перевезти себя на тот берег. Из двух равно тяжелых для нее вещей — стоять на ногах, пока не упадет, или оставить своего последнего и, возможно, единственного теперь сына — она выбрала ту, решение которой делало его счастливым, и никогда не задавала ему того вопроса, который часто задавала себе сама: зачем? Зачем ей, шестидесятилетней рабыне, которая едва ковыляет, точно собака с подбитой лапой, нужна свобода? Но когда она ступила на свободную землю, то все никак не могла поверить, что Халле знал то, чего не понимала она; что Халле, ни разу в жизни не глотнувший свободы, знал, что лучше этого нет ничего в мире. Это даже испугало ее.

Что-то тут было такое... Но что? Что? — спрашивала она себя. Она никогда не знала, какова она собой, да это ее и не интересовало. Но тут вдруг она как бы впервые увидела собственные руки и подумала с ошеломляющей ясностью: «Эти руки принадлежат мне. Это *мои* руки». Потом будто кто-то постучался у нее в груди, и она открыла для себя еще нечто новое: биение собственного сердца. Неужели все это время оно там было? Гулко стучало у нее в груди? И тогда она, чувствуя себя полной дурой, громко рассмеялась. Мистер Гарнер обернулся, изумленно посмотрел на нее своими большими карими глазами и сам улыбнулся:

— Ты чего это смеешься, Дженни?

Она все смеялась и не могла остановиться.

— У меня сердце бьется,— сказала она.

И это была сущая правда.

Мистер Гарнер тоже засмеялся:

— Это не страшно, Дженни. Ничего, привыкнешь, и все будет в порядке.

Она прикрыла рот ладошкой, чтоб не смеяться так громко.

— Те люди, к которым мы с тобой едем, во всем тебе помогут. Их фамилия Бодуин. Они брат и сестра. Шотландцы. Я их уже лет двадцать знаю, а может, и больше.

И тут Бэби Сагз решила, что сейчас самое время спросить у него то, что ей давно хотелось узнать.

— Мистер Гарнер,— сказала она,— а почему все вы называете меня Дженни?

— Потому что так было написано в твоей купчей. А разве тебя зовут иначе? Ты-то сама как себя называешь?

— Никак,— ответила она.— Сама я себя никак не называю.

Мистер Гарнер побагровел от смеха.

— Когда я привез тебя из Каролины, Уитлоу назвали тебя Дженни, и в купчей тоже так было написано: Дженни Уитлоу. Разве твой хозяин тебя называл не Дженни?

— Нет, сэр. Если как и называл, так я того не слышала.

— На какое же имя ты откликалась?

— На любое, но Сагз — это фамилия моего мужа.

— Так ты была замужем, Дженни? Я этого не знал.

— Вроде бы.

— А ты знаешь, где он, твой муж, сейчас?

— Нет, сэр.

— Это отец Халле?

— Нет, сэр.

— Тогда почему же ты Халле дала фамилию Сагз? На его купчей тоже написано: Уитлоу, как и на твоей.

— Сагз — это моя фамилия, сэр. От моего мужа мне досталась. И он меня Дженни не называл.

— Как же он называл тебя?

— Бэби.

— Ну что ж,— сказал мистер Гарнер, снова начиная багроветь.— Но знаешь, на твоем месте я бы предпочел Дженни Уитлоу. Миссис Бэби Сагз — какое-то неподходящее имя для свободной негритянки.

Может, оно и так, подумала она тогда, но Бэби Сагз — это все, что у нее осталось от того «мужа», о котором она только что говорила. Это был серьезный, печальный человек, который научил ее шить башмаки. Они с ним договорились: если у одного из них появится возможность бежать, он этой возможностью воспользуется; смогут — убегут вместе, не смогут — кто-то один; и тот, кому убежать удастся, назад оглядываться не станет. Удача выпала ему, и с тех пор она о нем не слышала и считала, что побег ему удался. Так что если бы теперь он попробовал как-то ее отыскать, то ей ни в коем случае нельзя было называть себя другим именем, даже если оно записано в ее купчей.

Город ей не понравился. Здесь было слишком много людей, больше, чем во всей Каролине, и столько белых, что перехватывало дыхание. Повсюду двухэтажные дома и тротуары из отлично выструганных досок. И улицы шириной с весь дом Гарнеров.

— Это город на воде,— сказал мистер Гарнер.— Здесь и передвигаются, и все перевозят в основном по воде; если нельзя по реке, так используют каналы. Это прекрасный город, Дженни, король городов... Здесь есть все, о чем только можно мечтать, и все это делается прямо здесь. Железные плиты для кухни, пуговицы, различные суда, рубашки, расчески, краски, паровые двигатели, книги... А канализационная система здесь такая, что тебе и не снилось. О да, это действительно настоящий город! И если хочешь жить в городе — так только в таком!

Бодуины жили в центре, на тенистой улице, сплошь застроенной до-

мами. Мистер Гарнер соскочил на землю и привязал лошадь к толстенному железному столбу.

— Ну вот и приехали.

Бэби взяла свой узелок и с огромным трудом, хромая от боли после долгого пути, выползла из повозки. Мистер Гарнер уже прошел по дорожке к дому, когда она наконец очутилась на твердой земле и тут же успела заметить лицо молоденькой негритянки, открывшей мистеру Гарнеру дверь. Потом она двинулась вокруг дома к черному ходу и стала там ждать. Ожидание показалось ей удивительно долгим, но потом та же девчушка распахнула перед ней дверь, провела на кухню и предложила присесть у окна.

— Может, хотите чего-нибудь покушать, мэм? — спросила девушка.

— Нет, милая. Хотя водицы испить я бы не отказалась.— Девушка открыла кран над раковиной и налила полную кружку воды, которую подала Бэби.

— Меня зовут Джани, мэм.

Бэби, восхищенно рассматривая кран, выпила все до последней капли, хотя вода пахла вроде как лекарство.

— Сагз,— представилась она, вытирая губы тыльной стороной ладони.— Бэби Сагз.

— Очень приятно познакомиться, миссис Сагз. Вы что же, тут останетесь?

— Не знаю еще. Мистер Гарнер — это он меня сюда привез — говорит, что непременно что-нибудь для меня устроит.— И прибавила: — Я ведь свободная, знаешь ли.

Джани улыбнулась:

— Да, мэм.

— А семья твоя тоже здесь проживает?

— Да, мэм. Мы все в Блустоуне живем.

— А нас всех по белу свету раскидало,— сказала Бэби Сагз,— но может, еще и не навсегда, а?

Великий Боже, подумала она, с чего же мне начать? Надо сперва попросить кого-нибудь написать старому Уитлоу — может, ответит, кто купил Патти и Розу Ли. По слухам, Арделия досталась человеку по фамилии Данн, откуда-то с Запада. Тайри или Джона даже и пытаться искать не стоит. Этот ломоть отрезан тридцать лет назад, и если она будет искать слишком упорно, а они убежали и скрываются, то ее поиски могут принести им куда больше вреда, чем пользы. Нэнси и Феймас умерли на судне, отправлявшемся от берегов Виргинии в Саванну. Это-то уж она, по крайней мере, знала точно. Надсмотрщик в усадьбе Уитлоу принес ей эту весть — скорее из желания подобраться к ней, чем из добросердечия. Капитан того судна три недели простоял в порту, пока загружали трюмы. Среди тех рабов, кто этого не выдержал, сказал ей надсмотрщик, были двое детей из усадьбы Уитлоу, их звали...

Но она и так знала их имена. Она знала и закрыла уши руками, чтобы не слышать, как этот человек их произносит.

Джани согрела молока, налила его в чашку и поставила на стол, а рядом — тарелку с кукурузным хлебом. После некоторых уговоров Бэби Сагз подошла к столу, села и начала есть, макая хлеб в горячее молоко: оказалось, что она очень голодна, сильнее, чем когда-либо в жизни, а уж это что-нибудь да значило.

— А хозяева молока не хватятся?

— Нет,— успокоила ее Джани.— Ешьте на здоровье; это все наше.

— Здесь еще кто-нибудь из прислуги живет?

— Только я. Есть еще мистер Вудраф, он всю работу на дворе делает. Но он только раза два-три в неделю приходит.

— Значит, вас только двое?

— Да, мэм. Я и готовлю, и стираю.

— Может, кто из твоих знакомых знает, где по хозяйству помощь требуется?

— Я, конечно, спрошу, но я точно знаю, что на бойне женщины всегда нужны.

— А что там делать нужно?

— Не знаю.

— Да небось уж что-нибудь такое, что мужчинам не по вкусу.

— Моя двоюродная сестра говорит, что с собой можно прихватить сколько угодно мяса, да еще платят двадцать пять центов в час. Она там копченую колбасу делает.

Бэби Сагз шлепнула себя по макушке. Деньги! Неужели деньги? Неужели ей каждый день будут платить настоящие деньги? Настоящие деньги?

— Где ж эта бойня находится? — спросила она.

Но Джани ответить не успела: в кухню вошли Бодуины и за ними сияющий мистер Гарнер. Сразу было ясно, что это брат и сестра; оба в сером, у обоих молодые лица, хотя волосы совершенно седые.

— Ты покормила ее, Джани? — спросил мистер Бодуин.

— Да, сэр.

— Сиди, сиди, Дженни,— сказала его сестра, и Бэби сразу почувствовала облегчение.

Когда они спросили, что она умеет делать, то вместо того, чтобы перечислить добрую сотню разных своих умений, она почему-то задала вопрос о работе на бойне. Нет, для этого она слишком стара, сказали они.

— Да она отличный сапожник, лучше не сыскать! — сообщил мистер Гарнер.

— Сапожник? — Мисс Бодуин изумленно подняла густые темные брови.— Кто же тебя такому ремеслу научил?

— Да так, один раб,— сказала Бэби Сагз.

— Ты и новые башмаки шьешь или только старые чинишь?

— Новые, старые — что угодно.

— Отлично,— сказал мистер Бодуин,— это уже неплохо. Но тебе, пожалуй, денег побольше понадобится.

— А в стирку ты брать не хочешь? — спросила мисс Бодуин.

— Хочу, мэм.

— Два цента за фунт.

— Хорошо, мэм. А где брать-то?

— Что?

— Вы сказали «брать в стирку». Так где, где брать-то? И где стирать?

— О Господи, Дженни! Послушай-ка внимательно,— сказал мистер Гарнер.— Эти два ангела отдают тебе целый дом. Их собственный, недалеко отсюда.

Дом принадлежал еще их деду с бабкой, а потом все семейство переехало в город. Недавно Бодуины сдавали его в аренду целой ораве негров, которые сейчас из штата Огайо уехали. Для одной Дженни это, конечно, слишком большой дом, сказали брат и сестра (две комнаты наверху, две внизу), но это самое лучшее да, пожалуй, и единственное, что они могут для нее сделать. За это она будет немного стирать для них и гладить, а также содержать дом в порядке и следить за ним — убирать и тому подобное (ах да, еще и обувь им чинить иногда). Но, разумеется, она должна будет соблюдать чистоту. Та последняя семья негров, что жила там, чистоплотностью, прямо сказать, не отличалась. Бэби Сагз согласилась со всеми этими условиями, чуточку жалея лишь о том, что упускает денежки, которые могла бы заработать на бойне, но заранее в восторге от того, что будет жить в доме с двумя этажами — пусть она и забраться-то по лестнице не сможет. Мистер Гарнер еще сообщил Бодуинам, что Бэби отлично готовит, не хуже, чем обувь шьет, и в доказательство продемонстрировал свой животик и те башмаки, что были на нем. Все рассмеялись.

— Если тебе что-нибудь понадобится, дай нам знать,— сказала мисс Бодуин.— Мы не сторонники рабства, даже такого, как у Гарнера.

— Нет, ты скажи им, Дженни! Ты где-нибудь жила лучше, чем у меня?

— Нет, сэр,— сказала она.— Лучше — нигде.

— И сколько ты прожила в Милом Доме?

— Лет десять, должно.
— А что, голодом я тебя морил?
— Нет, сэр.
— А холодом?
— Нет, сэр.
— Кто-нибудь хоть раз руку на тебя поднял?
— Нет, сэр.
— И ведь я позволил Халле выкупить тебя? Да или нет?
— Да, сэр, конечно,— сказала она и подумала: но ты получил взамен жизнь моего мальчика, а я всего лишь старая развалина. И ты будешь продолжать сдавать его внаем, чтобы он выплачивал тебе свой долг, даже когда я сама к праотцам отправлюсь.

Ну хорошо, сказали они, Вудраф непременно отвезет ее куда нужно, и все трое исчезли за кухонной дверью.

— Мне теперь ужин пора готовить,— сказала Джани.
— Я помогу,— сказала Бэби Сагз.— Ты еще слишком мала, чтобы до плиты дотянуться.

Было уже темно, когда Вудраф щелкнул кнутом, трогая лошадь. Он был молодой еще человек с густой бородой и шрамом от ожога на подбородке, который не могла скрыть даже борода.

— Ты здесь родился? — спросила его Бэби Сагз.
— Нет, мэм. В Виргинии. Здесь я всего года два.
— Понятно.
— Ты в очень хорошем доме жить будешь. Большом. Там когда-то наш священник с семьей жил. Восемнадцать детей.
— Господи помилуй! И куда же они уехали?
— Переехали в Иллинойс. Епископ Аллен дал ему приход. Большой.
— А здесь какие церкви есть? Я за десять лет ни в одной не была.
— Это как же получилось?
— Да просто ни одной рядом не было. Там-то, где я жила до того, было хуже не придумаешь, зато я каждое воскресенье в церковь выбиралась. Господь, верно, уж и думать обо мне забыл.
— А вы сходите к преподобному отцу Пайку, мэм. Он вас и прихожанам представит.
— Ну, для такого дела он мне не нужен. Я с людьми и сама познакомиться могу. А вот детям моим представить меня как раз преподобный отец и должен. Он ведь небось читать да писать умеет?
— Конечно.
— Это хорошо. Мне придется немало поработать с его помощью.— Однако то, что они впоследствии узнали благодаря этим розыскам, оказалось столь печально, что Бэби сама отказалась от своей затеи. Целых два года священник слал написанные им письма по указанным ею адресам; целых два года она стирала, шила, делала заготовки на зиму, сапожничала, возилась в огороде и сидела на службах в церкви, однако ей удалось узнать лишь, что усадьбу Уитлоу продал, а писать человеку по фамилии Данн не имеет смысла, если тебе известно только то, что он уехал «куда-то на Запад». Впрочем, были и хорошие новости: Халле женился и готовился стать отцом. Она сосредоточилась на этих вестях, на своих молитвах и собственных проповедях на Поляне, решив раз и навсегда, как ей следует поступить со своим сердцем, биение которого она вдруг ощутила, оказавшись на другом берегу реки Огайо. И задуманное она воплотила на редкость удачно, и все шло хорошо, пока она не возгордилась и не позволила себе потерять рассудок при виде своей невестки и детишек Халле — один из которых родился в дороге — и не устроила это пиршество с пирогами с черной смородиной, перед которым поблекли даже рождественские праздники. И вот теперь она стояла в огороде над грядкой, ощущая запах всеобщего неодобрения и чувствуя, как издали наползает что-то темное и страшное, уже словно видя перед собой те высокие сапоги с ушками, которые она терпеть не могла. Ненавидела!

Когда четверо всадников — учитель, один из его племянников, охотник за беглыми рабами и шериф — подъехали к дому на Блустоун-роуд, там было так тихо, что им показалось, они опоздали. Трое из них спешились, один остался в седле, держа ружье наготове и поглядывая по сторонам на случай, если беглянка решится вдруг перебежать двор. Впрочем, никогда нельзя было сказать заранее, как беглые себя поведут; иногда их находили где-нибудь в подполе или в курятнике, а один даже свернулся клубком в камине. Но все равно требовалась осторожность, потому что самые тихие, то есть те, кого вытаскивали из пресса для яблок, из стога сена или, как в тот раз, из камина, вели себя смирно только в первые две-три секунды. Пойманные, так сказать, с поличным, они словно вдруг осознавали тщетность попыток перехитрить белого человека и убежать от его пуль. Даже улыбались, как дети, которых застали за кражей варенья; но вот стоило потянуться за веревкой, чтобы связать их, тут-то и начиналась всякая ерунда. Тот же самый ниггер, который только что стоял повесив голову, с виноватой улыбкой застигнутого врасплох воришки варенья, мог ни с того ни с сего взреветь как бык и начать вытворять нечто невероятное. Например, сунуть дуло винтовки себе в рот или попытаться отнять ружье — да все что угодно. Так что если ты вооружен, то лучше держаться от них подальше. Иначе кончится тем, что нечаянно застрелишь добычу, за которую тебе заплатили, чтоб доставил ее живьем. Это ведь не змея и не медведь — с мертвого ниггера даже шкуру не сдерешь на продажу, так что мертвый он и гроша ломаного не стоит.

Шесть или семь негров уже подходили к дому: двоих мальчиков охотник заметил слева от себя и нескольких женщин справа. Он велел им остановиться, вскинув ружье, и они застыли на месте. Племянник учителя, осмотрев дом, вернулся, и, приложив палец к губам и призывая хранить молчание, большим пальцем указал охотнику куда-то за дом; видно, та, которую они искали, находилась именно там. Охотник тоже спешился и пошел вместе с остальными. Учитель с племянником обогнули дом с левой стороны, а он и шериф — с правой. У дровяного сарая с топором в руках стоял какой-то сумасшедший чернокожий старик. Сразу видно, что спятил: все время ворчал и подвывал низким воем, как кот. Шагах в пятнадцати от этого старика торчала старуха в соломенной шляпе, украшенной цветочками. Наверное, тоже сумасшедшая — стояла как вкопанная, но руками все по лицу шарила, точно паутину с него обирала. Оба ниггера, однако, смотрели в одном направлении — в сторону сарая. Племянник учителя подошел к старому негру и взял у него из рук топор. И все они четверо тоже подошли поближе к дверям сарая и уставились внутрь.

Там, на грязных опилках, лежали два окровавленных мальчика, валялись у ног негритянки, которая одной мокрой от крови рукой прижимала к груди мертвого ребенка, а другой держала за ноги грудного младенца, явно намереваясь ударить его головой о стену сарая. Она на них не смотрела; просто размахнулась и попробовала ударить ребенка головой о дощатую стену, но промахнулась. Когда она стала замахиваться во второй раз — было слышно, как в тишине часы отсчитывали секунды, и мужчины, застыв, смотрели на страшную, небывалую картину,— старый негр, по-прежнему мяуча и подвывая, прямо у них перед носом ворвался в сарай и перехватил младенца посреди замаха, который уже успела сделать его мать.

Сразу стало ясно, и самому учителю прежде всего, что предъявлять права здесь не на что. Трое (теперь уже четверо — ибо их мать была на сносях, когда убежала) ребятишек, которых он надеялся найти живыми и здоровыми, отвезти назад в Кентукки, на ферму и воспитать правильно, как достойных рабов Милого Дома, страдавшего от нехватки рабочих рук, оказались мертвы. Двое мальчиков лежали с открытыми глазами, навзничь, все в крови, на грязных опилках; а девочка пятнала кровью платье главной беглянки — той самой женщины, которой этот учитель так хвастался; которая, по его словам, умела отлично готовить чернила, варить замечательные супы и отглаживать воротнички на его сорочках именно так, как

нравилось ему; а кроме всего прочего, она могла еще по крайней мере лет десять рожать и рожать. Но, видно, она совсем спятила из-за того, что этот дурак, его племянник, чересчур сильно избил ее и заставил все бросить и убежать. Учитель тогда здорово отругал мальчишку; интересно, сказал он ему, а что сделала бы лошадь, если бы он сверх меры избил ее, желая всего лишь немного ее проучить? Или собаки — Чиппер и Самсон? Предположим, сказал он, изобьешь ты своих охотничьих собак до крови. Ну и все; больше никогда не сможешь доверять им ни в лесу, ни где бы то ни было. Сколько хочешь можешь к ним подлизываться и кормить их, протянешь, к примеру, такому псу кусок кролика, а он извернется да и отхватит тебе руку напрочь. В общем, учитель здорово наказал тогда своего племянника, не позволив ему участвовать в охоте на беглецов. Велел остаться дома, пасти стадо, самому себе готовить, кормить Лилиан и присматривать за хозяйством. Посмотрим, как ему это понравится; пусть знает, что нельзя так избивать тех тварей, за которых отвечаешь перед Господом, даже если они провинились,— это оборачивается только неприятностями, а то и убытком. Теперь вот вся семейка рабов пропала. Целых пять штук. Учитель мог, конечно, стребовать того младенца, что бился на руках у мяукающего старого негра, но кто станет возиться с грудным? А мамаша его явно спятила. Уставилась прямо на него, и, если бы тот его племянник мог видеть этот взгляд, такого урока ему бы никогда не забыть, это точно. Нет, все-таки нельзя так обращаться со вверенными тебе живыми тварями и надеяться, что подобное наказание даст благодатные плоды.

Тот племянник, что когда-то забавлялся с ней, пока его братец держал ее лицом вниз, не сразу понял, что его бьет дрожь, хотя дядя и предупреждал его, что такое возможно. Но он ему не поверил тогда. И все-таки зачем ей было бежать да еще такое со своими детьми делать? Подумаешь, избили ее. Черт побери, да его мильон раз били, а ведь он белый! Один раз ему было так больно, что он прямо-таки взбесился и расплющил колодезное ведро. В другой раз выместил зло на Самсоне — швырнул в него несколько раз камнем, вот и все. Но сколько бы его ни били... то есть он никогда не мог бы... Нет, зачем же она сбежала и потом еще сделала это? Вот что он спросил у шерифа, который стоял рядом, потрясенный не меньше остальных, но не дрожал. Он только как-то с трудом глотал, снова и снова пытаясь проглотить что-то, застрявшее в горле.

— Для чего же она тогда убежала и зачем теперь сделала это?

И тут шериф обернулся и сказал им троим:

— Уезжайте-ка вы отсюда, а? Похоже, здесь вам больше делать нечего. Теперь моя очередь настала.

Учитель яростно хлестнул себя шляпой по ляжке, сплюнул и пошел прочь от дровяного сарая. Его племянник и охотник за рабами двинулись следом. Они не смотрели на старую женщину, что стояла среди грядок с перцем в дурацкой шляпе с цветочками. И не смотрели на тех семерых или больше негров, которые все-таки подошли поближе, несмотря на угрозы охотника с ружьем. Довольно с них негритянских глаз. Остановившихся открытых глаз тех чернокожих мальчишек, что лежали на грязных опилках; мертвых глаз той крошки, видневшихся сквозь мокрые от крови пальцы ее матери, придерживавшей девочке голову, чтобы не отвалилась; глазенок того грудного негритенка, который, весь наморщившись, ревел на руках старого безумного негра, у которого глаза были похожи на деревянные пуговицы, и смотрел он только себе под ноги. Но хуже всего были глаза той молодой негритянки: у нее, казалось, вовсе не было глаз. Потому что белки в них исчезли совсем, так расширились зрачки, а радужки были черными, как и ее кожа; и от этого она выглядела безглазой.

Они привязали к ограде взятого взаймы мула, который должен был отвезти беглянку назад, в Милый Дом. Солнце было точно в зените, когда они двинулись прочь, оставив шерифа разбираться с разворошенным гнездом этих отвратительных енотов. Вот они, свидетельства того, какие результаты дает глоток так называемой свободы, когда его получают те, кто не способен обходиться без посторонней заботы и наставлений, предохраняющих этих людей от дикости.

Шерифу тоже хотелось поскорее уехать. Хотелось постоять на ярком солнце, а не в темном сарае, предназначенном для хранения дров, угля, керосина — столь необходимых холодными зимами в Огайо, которые сейчас не выходили у него из головы,— и он с трудом сопротивлялся желанию выбежать отсюда на жаркое августовское солнце. Не потому, что ему было страшно. Вовсе нет. Ему было просто холодно. И ни до чего здесь не хотелось дотрагиваться. Младенец на руках у старика все еще плакал, и глаза той женщины, лишенные белков, по-прежнему смотрели прямо перед собой. Все здесь, казалось, окаменели и останутся такими до конца света. И вдруг один из мальчиков на полу глубоко вздохнул. Вздохнул так, словно проснулся после глубокого сладкого сна. И шериф тоже сразу очнулся и начал действовать.

— Я должен тебя арестовать. И давай без фокусов. Ты и так натворила предостаточно. А теперь пошли.

Она не пошевелилась.

— Пошли — и тихо мне, слышишь? Не то придется тебя связать.

Она продолжала стоять неподвижно, и шериф решил подойти к ней поближе и все-таки связать как-нибудь ее мокрые от крови руки, и тут чья-то тень на пороге заставила его обернуться. Это была та старая негритянка с цветочками на шляпе.

Бэби Сагз сразу поняла, кто еще жив, а кто нет, и направилась прямо к мальчикам, валявшимся на грязном полу. Старик придвинулся к неподвижно застывшей женщине с невидящими глазами и сказал:

— Сэти, возьми мою ношу и дай мне твою.

Она медленно обернулась к нему и, глянув на младенца, которого он прижимал к груди, издала какой-то низкий горловой возглас; какой-то удивленный, словно совершила небольшую ошибку — тесто забыла посолить или что-нибудь в этом роде.

— Я пойду за повозкой,— сказал шериф и наконец вышел из сарая на солнце.

Но ни Штамп, ни Бэби Сагз не могли заставить Сэти отдать малышку — Господи, неужели она уже ползала? Сэти вышла из сарая и двинулась к дому, упорно прижимая девочку к себе. Бэби Сагз уже перенесла мальчиков в дом и обмывала им головы, оттирала кровь с ручонок, приподнимала им веки, все время нашептывая: «Прости меня, Господи, прости меня!» Она перевязала им раны и заставила подышать камфарным маслом; только тогда она обратила наконец внимание на свою невестку. Взяла плачущую малышку у Штампа из рук, поносила ее на плече минутки две и остановилась перед Сэти.

— Пора кормить твою младшенькую,— сказала она как ни в чем не бывало.

Сэти потянулась к Денвер, так и не выпуская из рук ту, мертвую.

Бэби Сагз покачала головой.

— Каждую по очереди,— сказала она и быстро подменила мертвую живой. Мертвую она вынесла в гостиную. Вернувшись, она увидела, что Сэти собирается сунуть окровавленный сосок в ротик младшенькой. Бэби Сагз стукнула кулаком по столу и заорала: — А ну вымойся! Вымойся сперва!

И тут они схватились не на шутку. Словно соперницы в борьбе за сердце возлюбленного, схватились они из-за грудного младенца. Бэби Сагз схватку проиграла. Она поскользнулась в луже крови и упала. Так что Денвер пила материнское молоко, смешанное с кровью сестренки. Такую картину и застал вернувшийся с соседской повозкой шериф. Он велел Сэти сесть в повозку, а Штампа посадил на козлы.

За окнами толпилась уже целая толпа негров; люди встревоженно перешептывались. Неся на руках ребенка, Сэти молча прошла мимо них — и они тоже умолкли. Она забралась в повозку; профиль ее был чист и точно ножом вырезан на фоне ярко-голубого неба. Именно эта чистота ее профиля больше всего и поразила людей. Может быть, конечно, голова Сэти

была вздернута слишком высоко и гордо? Может быть. Иначе это пение без слов началось бы сразу, едва она появилась в дверном проеме. Монотонная мелодия, точно плащ, окутала бы ее и поддержала, словно руки друга перед долгой дорогой. Однако люди ждали, пока повозка не скрылась за поворотом, удаляясь на запад, в город. И потом не слышно было ни единого слова. Только это монотонное пение. Но ни одного, ни единого слова.

Бэби Сагз хотела бежать, готова была скатиться по ступенькам крыльца вслед за повозкой, кричать, плакать. Нет, нет! Не позволяйте ей забирать и эту последнюю тоже! Ведь Сэти хотела это сделать и с нею. Уже почти сделала. Однако когда Бэби поднялась с пола и выбралась на двор, повозка уже была далеко. Зато к дому подъехала другая повозка. Оттуда выпрыгнули рыжеволосый мальчик и девочка с соломенными волосами и бросились к Бэби Сагз, проталкиваясь сквозь толпу. У мальчика в одной руке был наполовину обкусанный стручок сладкого перца, а в другой — пара сапог.

— Мама сказала, чтоб к среде.— Он держал сапоги за ушки.— Слышишь? Мама велела, чтоб ты их к среде починила.

Бэби Сагз посмотрела на него, потом взглянула на женщину, что придерживала кусавшую удила лошадь.

— К среде, слышишь? Эй, Бэби Сагз? Ты слышишь?

Она взяла у мальчика сапоги — высокие, с ушками и отворотами, даже не очищенные от грязи — и сказала:

— Прости меня, Господи, прости меня! Да, конечно, я сделаю к среде.

Уже скрылась из виду скрипучая повозка, только что проехавшая по Блустоун-роуд. Никто в ней не сказал ни слова. Повозка покачивалась, и младенец уснул. На жарком солнце платье Сэти высохло и затвердело, покрывшись коркой; и сама она была — точно окоченелый труп.

Это же не ее рот.

Кто-нибудь, кто, может, не знал ее раньше или мельком видел в ресторане через приоткрытую дверь, мог бы еще подумать, что лица у этих женщин похожи, но только не Поль Ди. Он знал лучше. О, конечно, кое-что знакомое — высокий лоб, спокойствие — у этой женщины на фотографии было. Но вот уж рот точно был не ее, так он и сказал Штампу, который пристально смотрел на него.

— Да нет, знаешь, старик, что-то уж больно непохоже. Я Сэти хорошо знаю, не ее это рот.— Он разгладил газетную вырезку и разглядывал фотографию, явно ничуть не волнуясь. По тому, как торжественно Штамп разворачивал газету, по той нежности, что таилась в пальцах старика, когда он разглаживал листок на сгибах, распрямлял его — сперва на коленях, а потом на досках, сложенных штабелем, Поль Ди догадался, что его слова сбивают Штампа с толку; и что написанное в газете должно потрясать до глубины души.

Свиньи визжали за оградой. Весь день Поль Ди, Штамп и еще человек двадцать загоняли их наверх, на бойню. Несмотря на то, что фермеры-хлебопашцы теперь двинулись дальше на Запад, а Сент-Луис и Чикаго поглощали невероятное количество рабочей силы, Цинциннати по-прежнему считался среди жителей Огайо самым крупным портом для выгрузки и забоя свиней. Главной заботой здесь было получить живой груз, забить свиней и отправить туши вверх по реке, потому что северяне свинину обожают, просто жить без нее не могут. Зимой, в течение месяца или около того, любой бродяга мог получить на бойне работу, если способен был дышать невыносимой вонью и держаться на ногах по двенадцать часов подряд — то, чему Поль Ди был отлично обучен. Ну а сил ему пока было не занимать.

Жидкий свиной навоз стекал отовсюду, все, чего бы Поль Ди ни коснулся, было перемазано, особенно обувь, и Поль Ди, прекрасно зная это, работал с презрительной усмешкой на губах. Обычно, прежде чем идти

домой, он оставлял свои башмаки и рабочую одежду в уголке, в сарае, а сам переобувался и переодевался в чистое. А потом шлепал по дороге, идущей посреди кладбища, старого, как небеса, и полного негодования мертвых жителей Майами, не имеющих покоя под той землей, которой их когда-то укрыли. Теперь над их головами бродили странные люди; прямо по их земляным одеялам прокладывались дороги, строились колодцы и дома, мешавшие им спать вечным сном. Разгневанные больше тем, что верили в святость места их успокоения, а не тем, что так бесцеремонно потревожили их покой, они ворчали на берегах реки Ликинг, вздыхали в деревьях на Кэтрин-стрит и со стонами носились в воздухе над смердящими загонами для свиней. Поль Ди слышал их, но своей работы не бросал — что ни говори, а это была неплохая работа, особенно зимой, когда Цинциннати восстанавливал славу и статус столицы припортовых боен. Любовь к свинине превратилась в манию чуть ли не во всех крупных городах страны. Фермеры-свиноводы тратили немалые суммы, закупая лучший корм, дающий им возможность вырастить как можно больше хрюшек и продать их как можно дальше; и хрюшки уплывали все дальше и дальше от этих мест. Немцы, которых в южном Огайо было полно, привезли с собой и привили в этих местах отличнейшие способы обработки свинины. Груженные свиными тушами суда кишели в водах реки Огайо, а их капитаны отчаянно орали друг на друга, перекрывая визг множества живых свиней. То была самая обычная картина и самые обычные звуки на этой реке — такие же, как крики летящих над головами людей уток. Овец, коров и птицу тоже возили вверх и вниз по реке, и негру только стоило показаться, как для него тут же находилась работа: резать, забивать, рубить на куски, обдирать шкуру, паковать ящики и приберегать для себя потроха.

В ста метрах от вопящих свиней, за загоном, расположенным в Западной Гавани, стояли двое мужчин. Полю Ди было теперь ясно, почему Штамп всю последнюю неделю не спускает с него глаз; почему медлит, когда наступает вечерняя разгрузка; почему поджидает его на каждом углу. Видимо, он давно уже решил показать ему этот клочок бумаги — газетную вырезку с фотографией женщины, действительно похожей на Сэти, но с совершенно другим ртом. Нет, рот у этой женщины был совсем другой — ничего общего.

Поль Ди вытащил вырезку из-под ладони Штампа и поднес к глазам. Печатные буквы не говорили ему ровным счетом ничего, так что на текст он даже не смотрел. Он смотрел только на лицо, недоуменно качая головой. Нет. Все дело в этих губах. Нет — что бы там ни говорили эти черные черточки и точки; нет — что бы там ни хотел ему рассказать старый Штамп. Потому что с какой это стати, черт побери, помещать в газете физиономию какой-то негритянки, если сама история не связана со всем известной знаменитостью? Поль Ди всегда чувствовал в сердце страх, стоило ему увидеть в газете лицо негра, ведь фотографии негров печатали там не потому, что у кого-то из них, например, родился крупный и здоровый ребенок или человек выиграл состязания в беге. Фотография негра также вряд ли появилась бы там, если бы этого человека убили, искалечили, сожгли, посадили в тюрьму, забили кнутом, засудили и сделали изгоем, изнасиловали или просто подвергли издевательствам,— такие газетные новости никому интересны не были. Должно было случиться нечто из ряда вон выходящее — что-нибудь такое, что привлечет внимание белых, покажется им заслуживающим того, чтобы удивленно поцокать языком или даже пару раз вздохнуть. И уж конечно, трудно было бы отыскать о неграх такие новости, от которых у жителей Цинциннати перехватывало бы дыхание.

Так кто же была та женщина, чей рот явно не принадлежал Сэти, но глаза были почти такие же спокойные? И чья голова была так похоже повернута на горделивой шее — он безумно, до слез любил, когда она так поворачивала голову.

И он заявил Штампу:

— Это не ее рот. Я-то ее рот хорошо знаю, и этот — точно не ее.

Штамп и слова сказать не успел, а Поль Ди уже все отрицал, и даже когда Штампу удалось-таки вставить словечко, он только повторял это снова и снова. Нет, он прекрасно слышал старика, но чем больше тот рассказывал, тем более чужими казались ему губы на фотографии в газете.

Штамп начал свой рассказ с того праздника, который устроила Бэби Сагз, но потом прервал сам себя, вернувшись немного назад, чтобы поведать Полю Ди еще о ягодах — где они росли и что, черт побери, заставило их расти в таком ужасном месте.

— Они, видишь ли, желают, чтобы солнце их достать могло, а птицы — нет; там под кустами змей полно, и птицы об этом знают; вот смородина и зреет себе спокойно — крупная и сладкая, и никто ее не тревожит, кроме меня, потому что в такие болота вряд ли кто еще сунется — кому охота в грязи барахтаться. Я, по правде сказать, тоже особого желания не испытывал. Да только на меня в тот день что-то нашло, и я решил непременно этой смородины набрать. Ох и наказала же она меня, скажу я тебе! Пока я сквозь чащу продирался, на мне прямо-таки живого места не осталось. И все-таки два ведра я набрать умудрился. И принес их прямехонько Бэби Сагз, в дом номер сто двадцать четыре. Вот с этих ягод-то все и началось. Такой отменной жратвы ты небось ни разу в жизни не пробовал! Мы напекли, нажарили и натушили всего, что только Богу было угодно послать на нашу землю. Все приглашенные пришли. Все наелись до отвала. Наготовили столько, что на следующий день даже щепки на растопку не нашлось. Ну я и вызвался дров наколоть. Так что утром зашел к ним, как и обещал.

— Но это же не ее рот,— сказал Поль Ди.— Это же совсем не ее губы!

Штамп внимательно посмотрел на него. Он уже собирался рассказать, какой беспокойной была Бэби Сагз в то утро, как ей все что-то чудилось, как она все к чему-то прислушивалась, как все что-то высматривала за кукурузной делянкой у ручья, так что и сам он в конце концов тоже стал смотреть в ту сторону. И потом, рубя дрова, все время поглядывал туда, куда смотрела Бэби Сагз. Именно поэтому они оба и пропустили их: они-то смотрели в сторону ручья — а эти подъехали со стороны дороги. Четверо их было. Ехали рядышком, словно привязанные друг к другу, и прямо-таки горели праведным гневом. Штамп хотел непременно рассказать об этом: он считал особенно важным то, почему они с Бэби Сагз прозевали тех всадников. И о празднике он тоже рассказать хотел, потому что именно из-за него никто не прибежал сам и не послал своего быстроногого сынишку прямиком через поле, когда люди заметили четырех лошадей, пивших воду у колодца, и всадников, которые задавали разные вопросы. Ни Элла, ни Джон и никто другой не прибежали к соседям на Блустоун-роуд и не предупредили их, что какие-то белые явились в город и кого-то ищут. И что белые горят праведным гневом. Умение отличать этот взгляд белых каждый негр впитывал с молоком матери. Они все равно что свой флаг вывешивали, так что известия о том, что белые горят праведным гневом, разносились мгновенно, ибо это грозило костром, кнутом, кулаками и заведомой ложью еще до того, как случившееся становилось достоянием общественности. Никто не предупредил их, и Штамп всегда считал, что это произошло не из-за того, что они все так обожрались накануне и отупели; нет, причина была совсем другая — зловредность, зависть, наверно; вот они и решили отступить в сторонку, как бы не обратить внимания, уверяя себя, что кто-то другой, наверно, уже сообщил обо всем обитателям дома на Блустоун-роуд, где вот уже почти целый месяц жила одна хорошенькая женщина. Молодая и ловкая, с четырьмя детьми, одного из которых родила в пути за день до того, как добралась сюда. И теперь эта женщина пользовалась любовью и щедростью Бэби Сагз, захватив ее большое старое сердце целиком. А может, они просто хотели проверить, действительно ли Бэби Сагз такая особенная, святая, благословенная — в чем Господь им самим отказал. Штамп собирался сказать все это, но Поль Ди только смеялся и говорил: «Нет уж! Не то. Может, немного вот тут, лоб и похож на Сэти, да только рот-то совсем другой».

Так что Штампу не удалось рассказать ему, как Сэти налетела и схватила своих детишек, точно ястреб на ветру; как лицо ее вдруг хищно заострилось, а руки стали похожи на когти; как она схватила детей в охапку и прижала к себе, а потом — одного на плечо, другого под мышку, третьего погоняя криками перед собой — бросилась в дровяной сарай; там было пусто, только солнечные лучи в воздухе играли да стружки валялись, а дров там не было, потому что на тот пир весь запас дров израсходовали, именно поэтому он дрова и рубил. Ничего там не было, в этом сарае, это он знал прекрасно — с утра пораньше сам туда заходил. Ничего — кроме солнечных лучей, стружек и лемеха. Да еще тот топор, который он взял, чтоб дрова рубить. И больше ничего. Нет, конечно, еще там ручная пила висела.

— Ты и забыл, небось, что я-то ее давно знаю,— твердил между тем Поль Ди.— Еще с Кентукки. Еще с тех пор, как она девушкой была. Я ведь с ней не два-три месяца знаком. Я ее давным-давно знаю. И точно могу тебе сказать; это не ее рот. Может, и похож, да только не ее.

Так что Штамп ничего ему не рассказал. А только вздохнул, склонился поближе к тому рту, что был не ее, и медленно прочитал вслух те слова, которые не мог прочесть сам Поль Ди. Но когда он кончил читать, Поль Ди сказал еще горячее, чем прежде:

— Извини, Штамп, но это какая-то ошибка! Рот-то совсем не ее!

Штамп посмотрел Полю Ди прямо в глаза и увидел там такую убежденность и нежность, что и сам почти засомневался в том, что все это случилось в действительности восемнадцать лет назад, когда он и Бэби Сагз упорно смотрели не туда, куда нужно, а хорошенькая молодая рабыня успела узнать чью-то шляпу, бросилась в дровяной сарай и попыталась убить всех своих детей.

— Она уже ползала, когда я добралась сюда. И недели не прошло, а ребенок, который только начал сам садиться и переворачиваться, уже вовсю ползал! Ужасно трудно было держать ее подальше от лестницы. Теперь-то малыши очень рано встают на ножки да ходить начинают, но двадцать лет назад, когда я сама молодой была, дети дольше оставались детьми. Ховард у меня до девяти месяцев головку не держал. Бэби Сагз говорила, что это из-за питания. Знаешь, когда нечего дать ребенку, кроме собственного молока, они не так быстро развиваются. А я только молоком и кормила. Я считала, что зубки у них прорезываются потому, что им твердое жевать пора. И спросить-то ведь не у кого было. Миссис Гарнер бездетная, а других женщин на ферме не было.

Она все кружила и кружила по комнате. Мимо буфета, мимо окна, мимо входной двери, мимо второго окна, мимо обеденного стола, мимо двери в гостиную, мимо пустой раковины для мытья посуды, мимо плиты — и снова мимо буфета. Поль Ди сидел за столом и смотрел, как она то появляется в его поле зрения, то исчезает у него за спиной, совершая круги, как медленно вращающееся, но не останавливающееся ни на миг колесо. Порой она складывала руки за спиной, или зажимала ими уши, или прикрывала ладонью рот, или скрещивала руки на груди, или обнимала себя за плечи. Иногда, оборачиваясь к нему, она даже подбоченивалась, но движения по кругу не прекращала.

— Помнишь тетушку Филлис? Из Минноувилля? Мистер Гарнер еще вас по очереди посылал за ней, чтоб приняла очередного моего ребенка. Я ее только в эти дни и видела. Много раз мне хотелось сходить к ней. Просто поговорить. Я все собиралась попросить миссис Гарнер отпустить меня в Минноувилль, когда она сама поедет туда на воскресную службу, захватить меня на обратном пути. Я думаю, она бы разрешила мне. Но я так никогда ее об этом и не попросила, потому что воскресенье было единственным днем, когда мы могли быть вместе и видеть друг друга при солнечном свете. Так что мне там не с кем было поговорить насчет детей — понимаешь, насчет того, когда ребенку пора давать что-нибудь погрызть.

Может, именно тогда и зубки начинают прорезываться? Или стоит подождать, пока они вылезут, а уж потом давать ему твердую пищу? Ну что ж, теперь я это знаю, потому что Бэби Сагз кормила девочку правильно, и меньше чем через неделю, когда я добралась туда, малышка уже ползала. И ничто не могло ее остановить. Она так любила эту лестницу, что мы ее покрасили белой краской, чтоб ей было видно, где самая верхняя ступенька.

И Сэти улыбнулась, вспомнив об этом, но сразу же лицо ее исказилось, улыбка превратилась то ли в рыдание, то ли в стон, но она даже не вздрогнула и глаз не закрыла, а продолжала кружить по комнате.

— Жаль, что я тогда многого не знала, но я ведь уже сказала, мне просто не с кем было посоветоваться. Ни одной матери рядом не было. Приходилось припоминать то, что я видела когда-то, до Милого Дома. Как там женщины своих детей нянчили. О, они-то об этом все на свете знали! Как, например, сделать ту корзинку, в которой можно подвесить ребенка под деревом — и видно хорошо, когда в поле работаешь, и безопасно. И еще — какие листья нужно давать жевать детям. Вроде бы мяту или лавровый лист? А может, оконник? Я так и не научилась у них плести эти корзинки, мне-то они все равно не нужны были, потому что работала я только в амбаре и в доме; но я забыла, из чего они их делали и какие листочки детям давали. Я бы все это тоже могла использовать. Баглера, например, я привязывала, когда мы забитых свиней коптили. Всюду огонь горел, а мальчонка был шустрый, столько раз чуть не погиб, ужас. Один раз взял да и взобрался прямо на край колодца. Я птицей полетела — подхватила его как раз вовремя. Так что когда мы собирались свинину коптить и я знала, что не смогу за ним присмотреть, мне приходилось привязывать его веревкой за щиколотку. Чтобы он мог играть поблизости, но не подобрался к колодцу или к огню. Конечно, смотреть на привязанного ребенка радости мало, но я просто не представляла, что еще можно сделать. Трудно, понимаешь? Трудно все время быть одной, когда нет рядом женщины, не с кем посоветоваться. Халле был очень хороший, но он ведь где только мог свой долг отрабатывал. А когда ему удавалось лишнюю минутку поспать, мне не хотелось своими вопросами его беспокоить. Больше всех мне помогал Сиксо. Не думаю, что ты это помнишь. Ховард как-то раз забрался в хлев, и корова, по-моему это была Рыжая Кора, зажевала ему руку. Палец у него совсем вывернут был. Когда я его оттуда вытащила, она ему уже чуть напрочь палец не откусила. И до сих пор понять не могу, как мне удалось его отнять? А Сиксо услышал, как мальчик кричит, и бегом примчался. Знаешь, что он сделал? Вправил ему большой палец и привязал его через ладошку к мизинцу. Мне бы самой это никогда в голову не пришло. Он меня многому научил, наш Сиксо.

От ее слов у него закружилась голова. Сперва он подумал, что это потому, что она все время ходит кругами. Ходит и ходит вокруг него кругами, словно вокруг того, о чем поговорить хочет. Кругами, кругами, все в одном и том же направлении, если б она хоть направление сменила, может, у него голова бы и не закружилась. Но потом он решил: нет, виноват ее голос; слишком близко от него звучит. Она совершала круги ярдах в трех от того места, где он сидел, но ему казалось, что она, как ребенок, шепчет ему в самое ухо и сидит так близко, что почти чувствуешь, как шевелятся ее губы, выговаривая слова, но сами слова расслышать трудно, потому что губы слишком близко от уха. Он воспринимал только отдельные куски того, что она говорила, и это было даже хорошо, потому что она так и не добралась до главного: до ответа на вопрос, который он так прямо не задал, но который явствовал из той газетной вырезки, которую он ей показал. И еще — из его улыбки. Ведь он так улыбнулся, протягивая ей газетную вырезку, что она вдруг рассмеялась, словно шутке, и лицо ее стало растерянным, похожим на лица других негритянок. Что ж, и он был бы рад посмеяться с нею вместе.

— Ты представляешь? — говорил он ей.— Нет, старый Штамп просто спятил! — И она хихикала в ответ.— Совсем спятил.

Но его улыбка так и застыла, будто повисла в воздухе, неуверенная и одинокая, пока Сэти изучала газетную вырезку, а потом отдала ее ему обратно.

Может, это из-за его улыбки, а может, из-за той готовности любить, которую она видела в его глазах,— с такой доверчивой и открытой любовью смотрят на тебя жеребята, евангелисты и дети; такую любовь нет необходимости заслуживать — она дается даром; и вот из-за этой любви Сэти все-таки сделала первый шаг и рассказала ему про то, о чем не говорила даже Бэби Сагз, единственному человеку, которому доверяла бесконечно. Иначе она просто повторила бы то, что написано в газете, и больше не прибавила бы ни слова. Сэти умела прочесть только семьдесят пять печатных слов (половину из тех, что были в той газетной вырезке), но знала, что те печатные слова, которых она не понимала, вряд ли имели такую же силу, как ее собственные. Дело было в его улыбке, в его любви; только это и заставило ее попытаться объяснить что-то.

— Мне не нужно рассказывать тебе о Милом Доме и о том, как там все было; но может быть, ты не знаешь, что значило для меня убежать оттуда.

Прикрыв нижнюю половину лица ладонями, она помолчала, пытаясь снова ощутить чудо своего освобождения, его вкус.

— Я это сделала! Я всю семью свою вытащила оттуда. И даже без помощи Халле. Это было первое настоящее дело, которое я сделала сама. Я решилась. И все вышло точно так, как и было задумано. Мы все оказались на другом берегу. Все мои дети и я. Я их родила, я их перетащила на другой берег. Я сама. Мне, конечно, помогали, многие помогали, но все-таки сделала это я; это я командовала себе: давай, пора. Это я была осторожной и пользовалась собственными мозгами, что было очень приятно. Но еще приятнее оказалось то, что называют себялюбием,— я об этом раньше и не подозревала. Да, это оказалось приятно и правильно. Я была такой большой, Поль Ди, и глубокой, и широкой, и когда я раскидывала руки, все мои дети могли там укрыться. Вот какой я была огромной. Похоже, я полюбила своих детей куда сильнее, когда добралась сюда. А может, там, в Кентукки, я просто не могла любить их так, как надо, потому что они были как бы не совсем мои. Но когда я добралась сюда, когда выпрыгнула на землю из той повозки — не было в мире человека, которого я не смогла бы полюбить, если захочу. Понимаешь, о чем я?

Поль Ди не ответил, да она и не ожидала, даже не хотела, чтобы он ответил, но он прекрасно понимал ее. Когда он слушал голубей в Альфреде, штат Джорджия, и не имел ни права, ни дозволения радоваться их воркованию, потому что там все — туман, голуби, солнечный свет, жидкая красная глина, луна — принадлежало тем людям, у которых были ружья. Кое-кто из них был маленького роста, другие высокие, но любого он, Поль Ди, мог бы сломать, как хворостинку, если б захотел. Те мужчины, считавшие, что мужественность их заключается в оружии, отлично понимали, что без их ружей любая лиса в кустах только посмеется над ними. И эти, с позволения сказать «мужчины», над которыми даже лисы и старухи смеялись, могли при желании запретить тебе слушать голубей или наслаждаться лунным светом. Так что приходилось как-то защищаться, любить тайком и что-нибудь самое маленькое. Выбирать самые крошечные звезды на небе и считать, что они твои; лежать на боку, вытянув шею, чтобы перед сном за краем канавы увидеть ту звездочку, которую ты любишь. Украдкой поглядывать на нее, мерцающую между деревьями, когда тебя приковывают к общей цепи. Оставались еще стебли травы, саламандры, пауки, дятлы, жуки, муравьиное царство. Что-либо бóльших размеров не годилось. Женщина, ребенок, брат — от такой большой любви ты вполне мог расколоться надвое там, в Альфреде, штат Джорджия. Он прекрасно понимал, что Сэти имела в виду: замечательно попасть в такое место, где можно любить все, что пожелаешь, и не просить у кого-то разрешения на эту любовь. Что ж, может быть, именно это и называется свободой?

Кругами, кругами, теперь она кругами ходила вокруг совсем другой темы, но не той, самой главной.

— Был у меня кусок хорошей ткани, который мне миссис Гарнер дала.

Ситец. Полосатый такой, а между полосками — маленькие цветочки. Что-нибудь около ярда — мне разве что на головной платок хватило бы. Но я ужасно хотела сшить из него своей девочке нарядное платьице. Расцветка у него была уж больно веселая. Я даже не знаю, как этот цвет называется: такой розовый, но вроде в него еще и желтого чуточку добавлено. Я давно уже мечтала что-нибудь ей сшить из этого ситца и, представляешь, как последняя дура забыла его там! Господи, кусочек-то всего около ярда, а я все откладывала — то уставала очень, то у меня времени не было. Так что когда я добралась сюда, то первым делом, даже еще до того, как мне позволили с постели встать, я сшила малышке платьице из той материи, что у Бэби Сагз нашлась. Знаешь, все, что я сейчас говорю,— это о том, какая я тогда была эгоистка и какая счастливая. Я такого счастья никогда прежде не испытывала. И я не могла допустить, чтобы все это у меня отняли, чтобы моя малышка или кто-то из моих детей жил под властью того учителя. Нет, ни за что! Это было уже невозможно.

Сэти понимала, что тот круг, по которому она все ходила — мимо Поля Ди, мимо самого главного его вопроса,— все равно останется кругом. Что она все равно придет в ту же точку. И если люди не смогли понять ее поступок сразу — то она никогда уже не сможет объяснить его как следует. Потому что правда была предельно проста; это вовсе не было цепью сложных уловок, ловушек, проявлений ее эгоизма и тому подобного. Нет, все было просто: она сидела на корточках среди грядок и, увидев, что они идут, и узнав шляпу этого учителя, сразу услышала шум крыльев. Это маленькие колибри воткнули свои клювы-иголочки ей в голову — сквозь платок, сквозь волосы — и разом захлопали крыльями. И если у нее в голове и возникла какая-то определенная мысль, то это было: Нет! Нет. Нетнет. Нетнетнет. Да, все очень просто. Она просто побежала. Просто собрала все живое, что сама произвела на свет, самые драгоценные части ее собственного существа, подхватила все это и понесла, поволокла сквозь какую-то дымку прочь, подальше, туда, где никто не сможет причинить им вреда, сделать им больно. Далеко, туда, где они будут в безопасности. А колибри все продолжали биться у нее над головой... Сэти на мгновение приостановила свое круговое движение и выглянула в окно. Она помнила те времена, когда этот двор был обнесен изгородью с калиткой, которую вечно кто-то запирал и отпирал, когда дом номер 124 был полон суеты, словно пересадочная станция. Она не видела тех белых мальчишек, что повалили изгородь, поломали столбы и калитку, оставив дом номер 124 разоренным и открытым всем и каждому; именно тогда все перестали останавливаться возле него и заходить «на минутку». Огромные сорняки заполонили двор, явившись с обочин Блустоун-роуд, и окружали теперь их дом.

Когда она вернулась из тюрьмы, то была рада, что ограды больше нет. То есть нет того, к чему они тогда привязывали своих лошадей, когда она, сидя в огороде на корточках, увидела проплывшую над верхней планкой забора шляпу учителя. А потом, когда она наконец повернулась к нему лицом и посмотрела ему прямо в глаза, она уже что-то держала в руках, и это что-то остановило его; он даже отшатнулся. И все отступал и отступал назад каждый раз, как вздрагивало сердце ее девочки, пока совсем не перестало биться.

— Я остановила его,— сказала она, глядя туда, где раньше была изгородь.— Я взяла своих детей и отправила их туда, где они были бы в полной безопасности.

Рев, поднявшийся в голове у Поля Ди, не помешал ему расслышать то удовлетворение, что прозвучало в голосе Сэти при этих словах, но ему показалось, что то, чего она так хотела для своих детей, как раз и отсутствует в доме номер 124: хоть какая-то безопасность. Это было самое первое, что он понял, когда переступил порог ее дома. Он считал, что сделал его безопасным, избавил от грозившего ему злого духа, выгнал оттуда эту дрянь и доказал всем, кто здесь настоящий хозяин. И раз уж Сэти сама не сделала этого раньше, он постарался сделать так, чтобы в доме поселилась ее собственная душа; он считал, что сама она почему-то не может этого

сделать. Что она всегда жила в этом доме с какой-то беспомощной, извиняющейся покорностью; ведь выбора у нее не было: без мужа, без сыновей, без свекрови, с одной лишь туповатой дочерью, она просто вынуждена была как-то приспособиться, чтобы там выжить. Колючая, вредноглазая девчонка из Милого Дома, которую он знал как девушку и жену Халле, была такой же послушной, как Халле, такой же застенчивой и такой же самоотверженной в работе. Он ошибался. Эта, теперешняя Сэти стала иной. И привидение в доме совсем ей не мешало; по той же причине некоторые люди приветствуют появление в своих домах домовых, выставляя им новые башмаки. Эта, теперешняя Сэти говорила о любви теми же словами, что и любая другая женщина, но то, *что* она говорила, могло человеку всю душу перекорежить. Эта, теперешняя Сэти говорила о безопасности для своих детей, держа в руках пилу. Эта, теперешняя Сэти не знала, где конец мира, и сама начала все сначала. И он вдруг увидел то, что так хотел показать ему Штамп: нечто более важное, чем сам поступок Сэти,— цель, которой она добивалась. И его это испугало.

— Любовь твоя слишком уж тяжела,— сказал он и подумал: а ведь эта ведьма сейчас смотрит на меня; сидит прямо надо мной на втором этаже и смотрит на меня сквозь пол.

— Слишком тяжела? — переспросила Сэти, думая о Поляне, где воззвания Бэби Сагз заставляли конские каштаны падать с деревьев.— Любовь или есть, или ее нет. Легкая любовь — это вообще не любовь.

— Да. Но ведь это тебе не помогло, верно? Разве я не прав? — спросил он.

— Помогло,— сказала она.

— Как? Твои сыновья ушли из дома, и ты не знаешь, где они. Одна твоя дочь мертва, другая со двора выйти боится. Как же тебе это помогло?

— Они не вернулись в Милый Дом. Этот учитель до них не добрался.

— Ну знаешь, бывает и похуже, чем в Милом Доме.

— Это не мое дело — знать, что хуже. Мое дело — знать, что плохо, и держать своих детей подальше от этого. Я спасла их от ужасной судьбы. Я поступила правильно.

— Нет, то, что ты сделала, было неправильно, Сэти.

— Значит, мне надо было снова вернуться туда? И снова отвезти туда своих детей?

— Был же, наверно, какой-нибудь другой выход. Не такой.

— А какой?

— У тебя же две ноги, Сэти, не четыре! — воскликнул Поль Ди, и в тот же миг между ними выросла темная лесная чаща — ни следов, ни единого звука.

Позже он удивлялся, как это он сказал такое. Может, из-за телок, с которыми он забавлялся в юности? Или из уверенности, что та ведьма смотрит на него сквозь пол? Как быстро он перестал стыдиться собственных поступков и начал испытывать стыд за нее, за Сэти. Как бы перепрыгнул через свою постыдную тайну, связанную с холодной кладовой, и возмутился ее слишком большой и тяжелой любовью.

А меж тем непроходимая чаща, разделявшая их, становилась все гуще.

Он не сразу надел свою шляпу. Сперва он покрутил ее в руках, решая, как бы получше это сделать, как просто уйти из этого дома, а не сбежать. И еще было очень важно уйти не оглядываясь. Он встал, повернулся и посмотрел в сторону белой лестницы. Она, конечно же, была там. Стояла прямая как штырь, повернувшись к нему спиной. Он не бросился к двери. Он пошел медленно и отворил дверь раньше, чем попросил Сэти оставить ему что-нибудь на ужин: он, возможно, несколько припоздниться. И только тогда надел свою шляпу.

Очень мило, подумала она. Он, должно быть, считает, что мне не вынести, если он скажет правду вслух. Что после моего рассказа и после того, как он сосчитал, сколько у меня ног, слово «прощай» заставит меня сломаться. Ну разве это не мило с его стороны?

— Пока,— прошептала она ему с другого конца выросшей между ними непроходимой лесной чащи.

Часть вторая

В доме номер 124 было шумно. Это Штамп мог услышать даже с дороги. Он шел к крыльцу, как можно выше подняв голову, чтобы никто, увидевший его, не мог сказать, что он ведет себя как трус или ябедник, хотя сам он в душе чувствовал себя именно трусом и ябедником. С тех пор как Штамп показал Полю Ди вырезку из газеты и узнал, что он в тот же день исчез из дома номер 124, ему было очень и очень не по себе. Выдержав долгий спор с самим собой, стоит ли говорить мужчине о том, что некогда натворила женщина, которую тот любит, и в конце концов убедив себя, что должен это сделать, Штамп начал тревожиться о Сэти. Неужели он помешал ей в кои-то веки испытать счастье с действительно хорошим человеком? А что, если эта потеря разбила ей жизнь? Что, если он, тот самый человек, который когда-то помог ей перебраться на другой берег Огайо и который был ей таким же близким другом, как Бэби Сагз, по собственной воле, сдуру оживил старые сплетни?

«Я слишком стар,— думал он,— и голова у меня варит уже плоховато. Я слишком стар и слишком много видел». На дворе бойни он улучил момент и поговорил с ним наедине; теперь ему было даже неясно, кого он хотел спасти, ведь Поль Ди был единственным человеком в городе, который ничего не знал. Но почему то, что было написано в газете, стало такой тайной, что о ней можно было только шептаться с Полем Ди на дворе бойни? Тайной от кого? От Сэти, вот от кого! Он, Штамп, сделал это у нее за спиной, как подлый трус. Но ведь выяснять и выведывать было его, можно сказать, специальностью, его жизнью; хотя он занимался этим всегда ради ясной и святой цели. До Войны он только и делал, что выяснял и вынюхивал; прятал беглых негров в тайниках, поставлял всякие секретные сведения обществам по борьбе с рабством. Под его вполне законно выращенными овощами в телеге прятались чернокожие беглецы, которых он перевозил через реку. У него даже свиньи на бойне служили благородным целям. Целые семьи жили за счет тех костей и требухи, которыми он их снабжал. Он писал за беглых негров письма и читал им те послания, которые они получали. Он знал, у кого из них водянка и кому нужны дрова для печи; у кого дети умные и способные, а чьих детей надо бы малость подправить. Он знал все тайны реки Огайо и ее берегов; знал, где есть пустые дома и где дома набиты битком; знал, кто лучше всех танцует и кто хуже всех говорит; знал тех, кто удивительно хорошо поет, и тех, кто не может ни одной ноты взять правильно. Успехами в любовных делах он уже похвалиться не мог, но помнил те времена, когда мужской силы ему вполне хватало, когда порой мог потерять от любви рассудок, а потому долго и мучительно думал, прежде чем открыть свою деревянную шкатулку и достать оттуда старую, восемнадцатилетней давности, газетную вырезку и показать ее Полю Ди.

И только потом он вдруг задумался о чувствах Сэти. И именно то, что задумался он об этом слишком поздно, мучило его сейчас и заставляло ощущать себя трусом и предателем. Может, надо было ему оставить все как есть? Может, Сэти бы как-нибудь самой удалось все это рассказать Полю Ди? Может, и сам он, Штамп, вовсе не такой уж благородный? Тоже мне воин Христов нашелся! Так гордился собой, а оказалось, что он всего лишь обычный старый проныра, сующий нос куда не следует. И вот пожалуйста: помешал только еще складывавшимся прекрасным отношениям двух людей, считая, что поступает безусловно правильно, желая предостеречь, да только лучше б он в это не совался. Теперь дом номер 124 снова стал таким, каким был до того, как Поль Ди появился в городе: там жили вечно чем-то встревоженные Сэти и Денвер и кто-то еще, и все голоса обитателей этого дома можно было услышать еще с дороги. Даже если Сэти и способна была примириться с возвращением духа, то Штампу не верилось, что Денвер это по силам. Денвер необходим был хоть один нормальный человек в доме. К счастью, Штамп был с нею рядом почти с самого ее рождения — еще до

того, как она начала что-то понимать,— и никак не мог оставаться равнодушным к ее судьбе. Все помнили, как он — от радости, что видит ее такой хорошенькой и здоровой через четыре недели после прибытия в дом Бэби,— собрал в здешних местах чуть ли не всю черную смородину и первым делом сунул ягоду прямо девочке в ротик, а потом уже передал плоды своих тяжких трудов ее бабке. До сегодняшнего дня он верил, что эти ягоды (из-за которых и решили тогда устроить пир, а потом ему пришлось колоть дрова в сарае Бэби Сагз) спасли Денвер от смерти. Ведь если бы он не рубил у них во дворе дрова для плиты, Сэти непременно успела бы разбить девочке голову о стену сарая. Может, ему вообще стоило думать прежде всего о Денвер, а не о Сэти, когда он решил дать Полю Ди эту газетную вырезку, из-за которой тот и сбежал потом из дому? Ведь Поль Ди был единственным нормальным человеком в жизни этой девочки с тех пор, как умерла Бэби Сагз. Вот что больше всего мучило Штампа в последние дни.

Но еще глубже и болезненней, чем запоздалое раскаяние и сочувствие, душу ему жгла, точно серебряный доллар в кармане дурака, память о Бэби Сагз — самой яркой звезде на его небосклоне. Именно память о ней и то справедливое и глубокое уважение, которое он к ней испытывал, заставляли его идти с высоко поднятой головой по двору дома номер 124, хотя он еще с дороги слышал доносившиеся оттуда голоса.

Он лишь раз однажды заходил в тот дом после случившегося Несчастья (так он называл яростный ответ Сэти на применение закона о беглых неграх) и то только для того, чтобы вынести оттуда тело Бэби Сагз, святой. Когда он поднял ее на руки, она показалась ему похожей на молоденькую девушку, и ему стало радостно за нее — приятно, что теперь ей уже не нужно больше утруждать свою больную ногу, что наконец кто-то несет ее на руках. Если б она подождала еще немножко, то непременно и конец Войны увидела бы, ее краткие, вспышкой молнии сверкнувшие победы. Они могли бы отпраздновать их вместе; могли бы пойти и послушать торжественные проповеди, что читались по этому поводу. А так Штамп ходил один из дома в дом, где праздновали окончание Войны, и пил то, что ему подносили. Но она так и не дождалась, и он отправился хоронить ее, чувствуя, будто и его хоронят с нею вместе, а не она первой покинула этот мир. Глаза Сэти и ее дочери в тот день были сухи. Сэти только попросила: «Отнесите ее на Поляну», и Штамп попытался это сделать, но ему не дали — из-за каких-то правил, изобретенных белыми насчет того, где должны покоиться мертвые. И Бэби Сагз легла в землю рядом с той малышкой, которой перерезали горло,— Штамп был не слишком уверен, что Бэби Сагз одобрила бы подобное соседство.

Поминки устроили во дворе — никто, кроме него, не пожелал даже войти в дом номер 124. Это было оскорбление, на которое Сэти тоже ответила оскорблением: отказалась присутствовать на службе, которую устроил преподобный отец Пайк, а сразу отправилась на кладбище, где царившая тишина словно соперничала с ее собственной молчаливостью и замкнутостью, даже когда она потом стояла в стороне от других, от всей души певших псалмы. Это оскорбительное поведение тоже имело свои последствия: оплакивавшие Бэби Сагз люди, вернувшись после похорон во двор дома номер 124, ели только то, что принесли сами, и не притронулись к угощению, приготовленному Сэти, а она, в свою очередь, не тронула их еду и запретила это Денвер. Так что Бэби Сагз, святая, посвятившая свою свободную жизнь восстановлению мира и гармонии, ушла в мир иной под ужимки и кривлянье гордыни, страха, обид и злобы. Почти все соседи прямо-таки мечтали, чтобы «этой Сэти теперь хорошенько досталось». Ее возмутительное высокомерие, ее гордость и самоуверенность, ее независимость разжигали всеобщее негодование, и Штамп, который всегда отличался удивительной незлобивостью, подумывал даже, что, верно, и на него как-то подействовали злобные ожидания соседей, связанные с тем, что гордыня непременно ведет к падению. Скорее всего, именно поэтому он и не посчитался с чувствами Сэти или с потребностями Денвер, когда решил показать Полю Ди ту газетную вырезку.

Он не имел ни малейшего представления, что сделает или скажет, если Сэти сама откроет дверь и посмотрит ему в глаза. Ему очень хотелось предложить ей свою помощь — если ей нужна хоть какая-нибудь помощь — или покорно принять ее гнев, если она таит в душе гнев на него. Кроме того, он чувствовал, что виноват, и надеялся как-то исправить тот ущерб, который невольно нанес семье Бэби Сагз; например, постараться по мере сил изгнать тех духов, что вновь поселились в доме номер 124, как это было ясно по доносившемуся оттуда шуму. И конечно же, во всем он непременно будет полагаться на Иисуса Христа — особенно в борьбе с силами, которые хоть и древнее, но не сильнее Его.

Слов, доносившихся из дома номер 124, он разобрать не мог. Ему казалось, что он слышит какофонию каких-то резких звуков — какие-то люди, словно на пожаре, говорили громко, настойчиво и все разом, так что понять, о чем они говорят, было совершенно невозможно. Нельзя сказать, чтобы речь их или интонации были совсем лишены смысла, но, видимо, они как-то не в том порядке произносили слова, так что Штамп даже под страхом смертной казни не смог бы ни описать, ни расшифровать эти речи. Единственное, что он сумел разобрать, это слово «моя». Остальное по-прежнему было ему недоступно. И все-таки он пошел дальше. Когда он поднялся на крыльцо, голоса вдруг стихли, превратившись почти в шепот. Он даже помедлил у двери. Теперь он слышал негромкое прерывистое бормотание — вроде тех невнятных возгласов, что свойственны женщинам, когда они уверены, что совершенно одни, и поглощены своей работой: недовольное цоканье языком, когда не удается вдеть нитку в иголку; тихий стон, когда на любимой разделочной доске появляется трещина; дружелюбная беседа с курами на дворе. Ничего ошеломляющего или злобного. Самые обычные интимные словечки, определяющие отношения между женщинами и их повседневными заботами.

Штамп уже поднял было руку, чтобы постучать в дверь (в которую никогда прежде не стучал; она всегда была открыта — уж во всяком случае, для него), и не смог этого сделать. Возможность никогда не стучаться ни в одну дверь — только это он принимал в качестве платы за помощь от спасенных им беглых негров, и он на эту плату рассчитывал. Если Штамп принес тебе теплое пальто, долгожданное письмо, спас тебе жизнь или починил бочку для воды — то он мог беспрепятственно входить к тебе в дом, словно в свой собственный. Поскольку посещения Штампа всегда несли добро, его шаги или приветственный оклик за дверью всегда встречались радушно. И он предпочел не отказываться от этой единственной своей привилегии, которой очень дорожил: он опустил руку, сошел с крыльца и пошел прочь от дома номер 124.

Он пробовал навестить Сэти и еще несколько раз; бродил по двору, где слышались то громкие возбужденные голоса, то невнятное бормотание, и останавливался у двери, пытаясь уяснить, как же ему все-таки вести себя. Шесть раз за шесть последующих дней он специально приходил сюда и пытался постучаться в дверь дома номер 124. Но холодность самого этого жеста, ощущение того, что у этих дверей он действительно чужой, подавляли его решительность. И он вновь и вновь возвращался назад по собственным следам, оставшимся в снегу, и вздыхал. Увы, дух бодр, но плоть слаба.

Пока Штамп решался зайти в дом номер 124,— исключительно в память о Бэби Сагз! — Сэти пыталась последовать совету своей свекрови: положить на землю и щит, и меч. Не просто принять ее совет к сведению, но действительно ему последовать.

Прошло четыре дня с тех пор, как Поль Ди сосчитал, сколько у нее ног. Сэти рылась в куче старых башмаков, разыскивая коньки, которые, как она была уверена, должны были там быть, и ругала себя за глупую доверчивость. Как легко она сдалась тогда там, у кухонной плиты, когда Поль Ди поцеловал ее искалеченную спину! Неужели трудно было догадаться, что и он, конечно же, поведет себя в точности как и все остальные в городе,

стоит ему узнать о ее поступке. Двадцать восемь дней у нее были настоящие подруги, у нее была настоящая свекровь, и все ее дети были при ней; двадцать восемь дней она занимала вполне достойное место среди соседей. Да, и настоящие соседи у нее тоже были! Но все это давно ушло и никогда не вернется. Никогда больше не будет танцев на Поляне и счастливых пирушек. И горячих споров вокруг этого закона о поимке беглых рабов [1], о налоге на землю при поселении [2], о путях Господних, которые неисповедимы, и о скамьях для чернокожих в церкви; об аболиционистах и о борьбе с рабством, о жульническом голосовании [3], о республиканцах, о Дреде Скотте [4], о праве на образование, о повозках с высокими колесами, где жили временные поселенцы, об организации «Цветные женщины Делавэра» в штате Огайо и о других важных вещах, обсуждая которые они часами просиживали у них в доме, топая ногами от возбуждения. И больше не будет радостного ожидания очередного номера «Норт стар» или новостей о поражении. Больше никто не вздохнет из-за очередного предательства и не станет бить в ладоши из-за любой незначительной победы.

Эти двадцать восемь счастливых дней сменились восемнадцатью годами всеобщего осуждения и одиночества. Потом несколько месяцев в ее дом вновь стало заглядывать солнышко, как то обещали взявшиеся за руки тени на дороге; порой слышались даже приветствия со стороны других цветных, особенно когда она была вместе с Полем Ди; она наконец получила возможность по-человечески заниматься любовью с мужчиной. И вот больше этого нет. Осталась только она, подружка Денвер. Неужели мне так суждено, с горечью думала Сэти, неужели краткие счастливые перерывы в этой непереносимой жизни будут случаться лишь каждые восемнадцать — двадцать лет?

Что ж, раз суждено — значит, так тому и быть.

Она на коленях скребла пол щеткой, а Денвер ползла за ней следом, тряпкой убирая грязную воду, когда появилась Бел и спросила: «А это зачем?» Сэти, по-прежнему стоя на коленях и не выпуская из рук щетки, подняла голову и увидела в руках у Бел коньки. Сама она кататься на коньках совсем не умела, но именно в это мгновение окончательно решила последовать совету Бэби Сагз: сложить оружие. Она бросила щетку, оставила ведро с грязной водой посреди комнаты, велела Денвер притащить шали и принялась судорожно искать вторую пару коньков — она была уверена, что, конечно, отыщет их там. Если бы кто-нибудь, включая Поля Ди, из жалости или из любопытства заглянул бы в окно и увидел, что она делает, то непременно решил бы, что эта женщина в третий раз сошла с ума, потому что слишком любит своих детей: она явно была счастлива и собиралась кататься на коньках по льду замерзшего ручья.

Поспешно, небрежно она расшвыривала башмаки. Наконец выудила из кучи один конек — мужской.

— Что ж,— сказала она.— Будем кататься по очереди. Одна на двух коньках; вторая — на одном; а третья — на собственных подошвах.

Никто не видел, как они падали.

Держась за руки, обнимая друг друга, они кружились по льду замерзшего ручья. На Бел были два одинаковых конька; на Денвер — один, мужской, и она, отталкиваясь одной ногой, неуверенно скользила на нем по неровному льду. Сэти решила, что башмаки надежнее; в крайнем случае, послужат чем-то вроде якоря, но здорово ошиблась. Только ступив на лед, она тут же потеряла равновесие и шлепнулась на задницу. Девушки, визжа

---

[1] В 1850 г. был принят закон, обязывавший власти северных штатов задерживать беглых рабов и возвращать их хозяевам.

[2] Негры были освобождены без земли и были вынуждены арендовать землю у бывших рабовладельцев.

[3] Имеется в виду избрание в 1856 г. на пост президента южанина Джеймса Бьюкенена.

[4] В 1857 г. Верховный суд вынес решение по делу негра Дреда Скотта (1795—1858), который, переселившись со своим хозяином на Север, то есть в пределы штатов, где рабство было запрещено, на этом основании требовал своего освобождения; Верховный суд в угоду рабовладельцам постановил, что переселение раба в свободный штат не влечет за собой его освобождения.

от смеха, бросились к ней на помощь и тут же шлепнулись сами. Сэти с трудом встала, понимая, что на льду не только кости переломать можно, но и что падать вообще очень больно. А падала она в самых неожиданных местах, и так же неожиданно звучал ее смех. То кружком, то цугом, они, цепляясь друг за друга, и минуты не могли на ногах удержаться, но никто не видел, как они падали.

Казалось, каждая пытается помочь другой, и странно, что третья все-таки падала, когда две стояли более или менее устойчиво. Но каждое очередное падение только усиливало их восторг. Могучий дуб и шелестящая зелеными ветвями сосна на берегу скрывали их от посторонних глаз и заглушали их смех, когда они тщетно пытались преодолеть земное притяжение, помогая друг другу. Юбки их развевались, как крылья, руки и носы посинели от холода. Близился вечер.

Но никто не видел, как они падали.

Вымотавшись вконец, они легли на спину, чтобы отдышаться. Небо над ними было точно иная страна. Ранние зимние звезды, которые стали видны еще до захода солнца, висели так низко, что их, казалось, можно было лизнуть языком. На какое-то мгновение, глядя в небо, Сэти вдруг ощутила в душе абсолютный покой — покой обещали эти звезды. Первой встала Денвер. Она попыталась как следует разбежаться и прокатиться в одиночку. Однако ее единственный конек тут же налетел на ледяную колдобину, и она упала, беспомощно и нелепо хлопая руками, и все трое — Сэти, Бел и сама Денвер — смеялись так, что в итоге закашлялись. Сэти встала на четвереньки, все еще содрогаясь от смеха; из глаз у нее текли слезы. Некоторое время она еще постояла так — на четырех ногах. Потом ее смех стих, однако слезы продолжали катиться по щекам. Бел и Денвер не сразу и догадались, что здесь что-то не то. Однако, догадавшись, тут же прижались к ней.

Возвращаясь назад через лес, Сэти обнимала обеих девушек за плечи. Они же обе обнимали ее за талию. Крепко обнявшись, держась друг за друга, они брели без дороги прямо по плотному снегу, но никто не видел, как они падали.

Только придя домой, они поняли, как сильно замерзли. Они сняли башмаки и мокрые чулки; натянули сухие, теплые, шерстяные. Денвер подбросила дров в печь. Сэти поставила на плиту кастрюльку молока и добавила в него сока сахарного тростника и ванили. Завернувшись в стеганые и шерстяные одеяла, усевшись прямо перед плитой на пол, они прихлебывали горячее молоко и вытирали оттаявшие носы.

— Можно было бы картошки поджарить...— мечтательно сказала Денвер.

— Завтра,— сказала Сэти.— А сейчас спать пора.

Она налила девочкам еще горячего сладкого молока. Огонь в печи ревел.

— У тебя из глаз уже больше ничего не течет? — наивно спросила Бел.

Сэти улыбнулась.

— Нет, уже ничего. Пей-ка да спать ложись.

Но никому не хотелось вылезать из-под теплых одеял, расставаться с жарким огнем и горячим молоком, отправляться наверх; в ледяную, непрогретую постель. И они продолжали сидеть на полу у печи, прихлебывая маленькими глотками молоко и глядя в огонь.

Когда что-то щелкнуло, Сэти не сразу поняла, в чем дело. Потом ей стало ясно: кто-то щелкал пальцами, отбивая такт; стало ясно еще до того, как она успела различить первые три ноты знакомой мелодии. Чуть наклонившись вперед, Бел что-то тихонько напевала.

И только когда она умолкла, Сэти вспомнила, что этот щелчок пальцами был ею самой задуман специально и как бы заполнял паузы в определенных местах песенки, которую она, Сэти, сочинила сама когда-то давно. Молоко она не разлила, ибо рука ее не дрожала. Она просто повернула голову и внимательно посмотрела на профиль Возлюбленной, изучая ее подбородок, рот, нос, лоб, повторенные на стене в виде огромной тени,

отбрасываемой пламенем очага. Волосы Бел, заплетенные Денвер то ли в двадцать, то ли в тридцать косичек, спускались ей на плечи, как пальцы рук. Со своего места Сэти, правда, не могла как следует рассмотреть ни ее бровей, ни губ, ни...

«Все, что я помню,— говорила когда-то Бэби Сагз о своей дочке,— это как она любила подгорелую хлебную корку. А ее маленьких ручек я уж не смогу узнать, даже если она даст мне пощечину».

...родинки на лице, ни какого цвета ее десны; под волосами не видна была форма ее ушей, а также...

«Вот. Смотри сюда. Это твоя мать. Если не сможешь когда-нибудь узнать меня в лицо, то обязательно посмотри сюда».

...не видно было и пальцев, ни ногтей на пальцах, ни даже...

Но миг, когда она сможет все это разглядеть, непременно наступит. Щелчок уже прозвучал; все встало на свои места, точнее — повисло в воздухе, готовое скользнуть в родное гнездо.

— Эту песню придумала я,— сказала Сэти.— Я сама! И пела ее своим детям. Никто больше этой песни не знает — кроме меня и моих детей.

Возлюбленная повернулась и посмотрела на Сэти.

— Я ее знаю,— сказала она.

Прочно заколоченный большими гвоздями бочонок, в котором покоится драгоценный клад, сперва следует хорошенько рассмотреть, когда обнаружишь его случайно в дупле старого дерева, налюбоваться им, а уж потом открывать. Может, у него и замок-то давно сгнил и отвалился, так что открыть ничего не стоит, и все-таки следует скользнуть пальцем по шляпкам гвоздей, попытаться определить вес бочонка. И ни в коем случае не орудовать топором, когда аккуратно извлечешь его из того тайника, в который он был запрятан давным-давно. И не нужно восторженно вскрикивать и затаивать дыхание, когда тебе откроется это чудо, потому что самое чудесное во всем этом — то, что ты всегда знал: все это время клад лежал там и ждал тебя.

Сэти протерла чистой тряпкой сковороду, поставила ее на место, принесла из гостиной подушки и дала их девушкам. Голос у нее не дрожал, когда она объясняла им, что ночью нужно постоянно подбрасывать в плиту дрова, а если этого делать не захочется, то лучше подняться и лечь в постель.

Потом, накинув на плечи одеяло, она, точно невеста в фате, стала подниматься по снежно-белым ступеням лестницы. Снаружи снег, падая густой пеленой, превратил деревья и кусты в причудливой формы сугробы. Покой зимних звезд казался вечным.

Нащупывая в кармане ленточку и чувствуя запах девичьей кожи, Штамп снова подходил к дому номер 124.

«Устал я до мозга костей. Говорят, продрог до мозга костей, а я вот — устал. Всю жизнь у меня от усталости кости ломило, а теперь она забралась внутрь. Вот я до мозга костей и устал. Должно быть, так чувствовала себя Бэби Сагз,— думал Штамп,— когда легла и все оставшиеся ей дни мечтала только о ярких красках». Когда Бэби сказала ему, чего хочет больше всего, он решил: ей просто стыдно, но еще стыдней — признаться в том, что ей стыдно. Ее авторитет среди прихожан, ее «танцы» на Поляне, ее страстные призывы (нет, это были не проповеди, как в настоящей церкви,— она всегда считала, что слишком невежественна для настоящих проповедей, она просто призывала людей к чему-то, и люди это слышали и слушались ее) — все это было осмеяно и отвергнуто из-за той крови, что пролилась у нее в доме. Господь задал ей неразрешимую задачу, и ей было слишком стыдно за Него. Потому-то она и сказала Штампу, что легла в постель, чтобы думать о цветах радуги. Он пытался отговорить ее. Сэти в это время находилась в тюрьме с грудным младенцем — тем, которого Штампу удалось тогда спасти. Сыновья Сэти крепко держались за руки во дворе и ни за что не желали разлучаться. Знакомые и незнакомые люди заходили ненадолго, чтобы лишний разок послушать, как оно было, и вдруг Бэби об"явила:

хватит. Просто встала и ушла. Когда Сэти освободили из тюрьмы, Бэби Сагз уже довела себя до полного изнеможения: ее черная кожа начала отливать синевой, а потом — и желтизной.

Сперва Штамп время от времени видел ее — то во дворе, то на дороге, когда она несла передачу в тюрьму или башмаки в город. Потом все реже и реже. Он считал, что в постель ее заставил лечь стыд. Теперь же, через восемь лет после похорон Бэби, послуживших причиной ссоры, и через восемнадцать лет после того Несчастья, он свое мнение переменил. Просто Бэби тоже устала до мозга костей, и спасибо еще ее сердцу, которое так хорошо поддерживало в ней жизнь, что она продержалась еще целых восемь лет, чтобы наконец встретиться с тем цветом, который так страстно желала увидеть. Усталость атаковала Бэби Сагз так же бешено и внезапно, как и Штампа, однако у нее война с усталостью длилась долгие годы. Прожить шестьдесят лет, потерять всех своих детей, жизни которых, как и ее собственную жизнь, те люди сжевали и выплюнули, словно обглоданную рыбью кость; получить пять лет свободы — подарок ее последнего сына, выкупившего ее будущее за счет своего собственного, обменявшего, если можно так выразиться, ее годы жизни в рабстве на свои, чтобы хоть у нее-то будущее было, независимо от того, будет ли оно у него самого,— и потерять этого сына; обрести дочь и внучат — и увидеть, как дочь убивает своих детей (или пытается это сделать); быть принятой в общину свободных негров, любить их и быть ими любимой, давать и принимать советы, спорить и самой быть оспоренной, кормить и принимать угощение других — и потом стать отверженной в этой общине, стать изгоем — что ж, такое могло доконать кого угодно, даже Бэби Сагз, святую.

— Слушай-ка, девушка,— говорил он ей,— как же ты могла забыть о Слове Божьем? Оно дано тебе, и ты должна нести его людям, что бы там с тобой ни случилось!

Они стояли на Ричмонд-стрит, по щиколотку утопая в опавших листьях. В нижних этажах просторных домов горели лампы, и из-за этого ранний вечер казался темнее, чем на самом деле. Замечательно пахло горящей листвой — всюду жгли костры. Совершенно случайно, точно так же, как только что заработал монетку на чай за передачу посылки, Штамп глянул через улицу и узнал в женщине с подпрыгивающей походкой своего дорогого старого друга. Он уже много недель не видел Бэби Сагз и бросился к ней, шаркая ногами по красным опавшим листьям. Услышав приветствие Штампа, она остановилась и ответила ему, однако лицо ее осталось равнодушным. Ничего оно не выражало — точно пустая тарелка. Держа в руке ковровый саквояж, полный обуви, она ждала, чтобы он начал беседу первым. Если бы в ее глазах таилась печаль, это ему, конечно же, было бы понятно; однако вместо печали там прочно поселилось равнодушие.

— Ты уже три субботы подряд на Поляну не приходишь,— сказал он.

Она молча отвернулась, с преувеличенным вниманием рассматривая дома на улице.

— Люди приходили! — сказал он.

— Что ж, люди приходят и уходят,— откликнулась она.

— Давай-ка я тебе сумку поднесу.— Он попытался взять у нее саквояж с обувью, но она не отдавала.

— Мне на этой улице заказ отдать нужно. Давно пора было,— сказала она.— Фамилия их Такер.

— Это вон там,— сказал он.— Где каштаны-близнецы во дворе растут. Старые уже, с дуплами.

Они немного прошли рядом. Чтобы идти с ней в ногу, он нарочно замедлял шаг.

— Ну так что?

— Что — что?

— Суббота скоро. Ты народ созывать собираешься или нет?

— Ну, созову я их, придут они, и что же я им скажу, Господи ты Боже мой?

— Скажи им Слово Божье! — Он слишком поздно заметил, что уже кричит. Двое белых мужчин, сжигавших листья, разом повернули головы в их сторону. Наклонившись, он прошептал ей в самое ухо: — Слово Божье, Бэби. Скажи им Слово Божье.

— И это тоже у меня отнято,— сказала она, и он тут же принялся ее убеждать, умолял не бросать людей, не прекращать своих проповедей — ну, не проповедей, так не важно чего, но нести людям Слово Божье, ибо Оно дано ей и служить людям она обязана. Обязана!

Они дошли до каштанов-двойняшек и того белого дома, что прятался за ними.

— Ты понимаешь, что я хочу сказать? — продолжал он.— Большим, старым деревьям вроде этих даже и вместе никогда не зазеленеть так, как молодая березка.

— Я отлично все понимаю,— сказала она и двинулась к белому дому.

— Ты должна это сделать,— сказал он, догоняя ее.— Должна! Никто, кроме тебя, не может созвать людей на молитву. Ты должна прийти на Поляну.

— Я должна сделать только одно: добраться до постели и лечь. А потом я хочу думать о чем-нибудь совершенно безвредном. Безобидном.

— О чем ты говоришь? В этом мире ничего безвредного и безобидного нет.

— Есть. Голубой цвет. Он совершенно безобиден и никому не причиняет вреда. Желтый тоже.

— И ты хочешь лечь и думать только о желтом цвете?

— Мне нравится желтый.

— А дальше-то что? Ну, надоест тебе думать о голубом и желтом, тогда что?

— Пока не знаю. Чего заранее гадать.

— Ты винишь Господа! — сказал он.— Вот что ты делаешь.

— Нет, Штамп, не виню.

— Так ты говоришь, белые победили? Значит, ты так считаешь?

— Я говорю, что они явились в мой дом.

— И ты считаешь, что теперь все не имеет смысла?

— Я говорю только, что они явились в мой дом.

— Это ведь Сэти сотворила такое.

— А если бы она ничего такого не сотворила?

— Ты считаешь, что Господь побежден? И нам ничего не остается, кроме как зря проливать собственную кровь?

— Я говорю только, что они явились в мой дом.

— Ты готова наказать Его, верно?

— Не так, как Он наказывает меня.

— Ты не можешь так поступать, Бэби! Это неправильно.

— Было такое время, когда я понимала, что это значит.

— Ты и сейчас понимаешь.

— Я понимаю только то, что вижу сама: старая негритянка разносит обувь белым заказчикам.

— Ох, Бэби! — Он облизнул губы в поисках слов, которые способны были бы заставить ее думать иначе, могли бы как-то облегчить ее бремя.— Надо выдержать и надо терпеть. «Все проходит». Чего ты ждешь, чего ищешь? Чуда?

— Нет,— сказала она.— Я ищу то, за чем притащилась сюда: заработок, который мне выдадут с черного хода,— и она направилась к дому. В дом ее, естественно, не пустили. Взяли у нее обувь, а она стояла на крыльце, опершись больным бедром о перила и давая ему отдых, и ждала, пока белая женщина принесет ей полагающиеся десять центов.

Штамп решил идти домой другой дорогой. Он был слишком рассержен, чтобы возвращаться с ней вместе и слушать подобные ответы. Какое-то время он еще понаблюдал за Бэби, потом резко повернулся и ушел, пока встревоженный его присутствием во дворе белый сосед не сделал какого-нибудь неутешительного вывода на сей счет.

Теперь, уже в который раз пытаясь попасть в дом номер 124, Штамп сожалел о том разговоре с Бэби: слишком он был резок; не пожелал заметить ту глубинную, до мозга костей, усталость, которая сломала эту несгибаемую женщину. Сейчас — увы, слишком поздно! — он ее наконец понял. Ее великое сердце, источавшее любовь к людям, ее уста, несшие Слово Божье,— все это значения не имело. Они все-таки явились к ней в дом, и теперь она не могла ни одобрить, ни осудить страшного выбора Сэти. Он или Сэти могли бы спасти ее, однако лишь мучили своими требованиями, и она просто легла в постель и отказалась жить дальше. Белые, явившись в ее дом, отняли у нее последние силы.

А он что может сказать? 1874 год на дворе, а белые по-прежнему не знают удержу. Целые города силой очищены от негров; только в Кентукки за один год было восемьдесят семь случаев линчевания; четыре школы для цветных сожжены дотла; взрослых людей секут кнутом, точно малых детей, а малых детей — как взрослых; чернокожих женщин насилуют возбужденные толпы; у негров отнимают нажитое; неграм ломают шеи... Он чувствовал запах девичьей кожи, кожи и горячей крови. Еще страшнее — кровь, запекшаяся на костре Линча. Жуткий запах. И вообще — кругом воняло чудовищно. Смердело. Вонь исходила от страниц газеты «Норт стар», из уст свидетелей, от писем доносчиков, от множества документов и петиций, полных всяких «принимая во внимание» и «поскольку», посылаемых любому представителю законной власти, лишь бы тот согласился их прочесть. Но отнюдь не это так утомило его — утомило до мозга костей. Нет. Последней соломинкой оказалась та ленточка. Привязывая как-то свою плоскодонку на берегу реки Ликинг и стараясь получше спрятать ее в кустах, он вдруг заметил на дне лодки что-то красное и решил: должно быть, перышко птицы-кардинала к доскам прилипло. Протянул руку, и в ней оказалась красная ленточка, которой была перевязана прядь мокрых вьющихся волос, выдранная прямо с кусочком скальпа. Он отвязал ленточку, сунул ее в карман и уронил волосы в траву. По дороге домой он часто останавливался — нечем было дышать, голова кружилась. Он выжидал, чтобы немного рассеялся тот кошмар, и снова пускался в путь. Но уже через мгновение ему снова не хватало воздуха. Один раз он даже присел у чьей-то изгороди. Отдохнув, поднялся, но не успел сделать и шага, как обернулся назад и сказал замерзшим комкам глины на дороге и реке, блестевшей вдали: «Господи, что же это за люди такие? Скажи мне, Господи, кто они?»

Когда он добрался до дому, то почувствовал такую усталость, что не мог даже съесть ужин, приготовленный сестрой и племянниками. Уселся на крыльце и просидел там до наступления темноты и еще очень долго после этого и лег в постель только потому, что в голосе сестры, не раз окликавшей его, звучало беспокойство. Он хранил ту ленточку; запах девичьей кожи преследовал его; изнемогая от тяжких мыслей, он сосредоточился на словах Бэби Сагз, на ее желании отыскать в этом мире хоть что-нибудь безобидное и безвредное. Он надеялся, что она все-таки нашла успокоение — в голубом, в желтом, возможно, в зеленом цвете; только не в красном.

Совершив ошибку, когда пробовал бранить ее и уговаривать, он теперь испытывал потребность как-нибудь дать ей знать, что и он тоже все понял, попытаться восстановить отношения с ней и ее семейством. И он, невзирая на усталость до мозга костей и доносящиеся из дома номер 124 голоса, все-таки снова постучался туда. На сей раз, хотя он и разобрал-то не больше одного-единственного слова, ему показалось, что он понял, кто это слово выкрикивает. Так кричали люди со сломанными шеями и те, чья кровь запеклась на кострах, и те чернокожие девушки, что теряли свои ленты вместе с выдранными прядями волос.

Господи, ну и рев!

Сэти пошла спать, улыбаясь и желая поскорее закрыть глаза, а потом мысленно распутать те доказательства, которые собирала уже давно, без конца с нежностью вспоминая день и обстоятельства появления в их доме

Возлюбленной и тот ее поцелуй на Поляне. Однако она сразу уснула и проснулась, по-прежнему улыбаясь, навстречу светлому от выпавшего снега утру. В комнате было так холодно, что изо рта валил пар. Сэти минутку помедлила, набираясь мужества, потом отбросила одеяло и соскочила на ледяной пол. Впервые в жизни она явно опаздывала на работу.

Внизу девушки спали там же, где она оставила их вчера, только теперь они лежали спина к спине, каждая плотно завернувшись в одеяла и уткнувшись носом в подушку. Полторы пары коньков валялись у порога, недосохшие чулки висели на гвозде за плитой.

Сэти заглянула Возлюбленной в лицо и улыбнулась.

Тихо, осторожно она обошла своих девочек, чтобы разжечь огонь в плите. Сперва растопку — бумагу, немного щепок, а уж когда разгорится, можно подбросить и дров. Она осторожно кормила огонь, пока он не набрался сил и не заплясал, точно дикий и могучий зверь. Когда она вышла на улицу, чтобы принести еще дров, то не заметила у крыльца уже полузанесенных снегом мужских следов. Поленницу за домом замело довольно сильно. Сэти расчистила ее сверху и набрала полную охапку дров — столько, сколько могла унести. Она даже смело заглянула в пустой сарай и снова улыбнулась — тому, что теперь ей уже не нужно будет *помнить*,— и подумала: «Она ведь даже не сердится на меня. Ничуточки не сердится».

Теперь ей стало ясно, что тени, державшиеся тогда за руки на дороге, были вовсе не Поль Ди, Денвер и она, Сэти. Это были они трое. Они трое, что вчера вечером держались друг за друга, катаясь на коньках; они трое, что потом прихлебывали из кружек горячее молоко с ванилью. И раз уж случилось так, что ее дочь смогла вернуться домой оттуда, где времени не существует, то, конечно же, и сыновья ее смогут к ней вернуться, и они непременно вернутся, куда бы ни ушли.

Было так холодно, что Сэти даже погрела языком передние зубы. Сгибаясь до земли под тяжестью дров, она снова обошла дом кругом и поднялась на крыльцо — так и не заметив полузасыпанных снегом следов мужчины на той же тропинке, по которой шла сама.

Девушки все еще спали, хотя позы снова переменили: обе теперь придвинулись ближе к огню. Грохот ссыпавшихся в ящик дров не разбудил их; они лишь слегка пошевелились во сне. Сэти тихонько подбросила в плиту дров, не желая будить сестер, счастливая оттого, что они тут, при ней, спят у ее ног, пока она готовит им завтрак. Очень плохо, конечно, что она опоздает на работу, очень, очень плохо! Но — впервые за шестнадцать лет? И все равно очень плохо.

Она разбила два яйца во вчерашнюю мамалыгу, сделала густое тесто и испекла лепешки, к которым поджарила остатки ветчины; все было готово еще до того, как Денвер, первой, окончательно проснулась и застонала.

— Что, спина болит?

— Еще как! Ох!

— Ничего, спать на полу, когда спина болит, очень полезно.

— Черт, как больно! — пробормотала Денвер.

— Может, ты вчера так сильно шлепнулась?

Денвер улыбнулась.

— А здорово было! — Она повернулась к Бел, слегка похрапывавшей во сне.— Может, мне ее разбудить?

— Нет, пусть отдыхает.

— Она любит провожать тебя по утрам.

— Я знаю, что любит,— откликнулась Сэти.— Ну и успеет еще, проводит.— И подумала: пожалуйста, сперва как следует подумай, прежде чем говорить с ней, прежде чем дать ей понять, что тебе все известно. Подумай о том, чего теперь уже больше не должна будешь помнить. И сделай так, как советовала Бэби: сперва как следует подумай, а потом сложи свое оружие — навсегда. Поль Ди уверял меня, что мир широк и в нем найдется место, где и я смогу жить счастливо. Он плохо понимал меня. Зато сама я понимала все это хорошо. Все, что происходит за дверями моего дома, не имеет ко мне ни малейшего отношения. Весь мой мир —

здесь, в этом доме. Здесь есть все, что для меня ценно в жизни и что мне в ней необходимо.

Они ели, как мужчины,— жадно и сосредоточенно. Говорили мало; им вполне хватало того, что все они вместе, что сидят рядом и можно посмотреть друг другу в глаза.

Когда Сэти повязала голову платком, взяла свой узелок и направилась наконец в город, уже близился полдень. Однако, выйдя из дому, она по-прежнему не только не заметила тех следов на снегу, но и не услышала голосов, что звучали вокруг дома номер 124.

Тащась по колее, оставленной в снегу чьей-то повозкой, Сэти с волнением думала о том, что больше не должна *вспоминать,* и голова у нее кружилась от этого.

Я больше ничего не должна *помнить!* Я даже ей ничего не должна объяснять. Она же все понимает. И теперь я могу забыть, как не выдержало того горя и остановилось сердце Бэби Сагз; как мы все решили, что это чахотка, хотя никакой чахотки не было и в помине. И ее глаза — когда она приносила мне передачи в тюрьму — я тоже теперь могу забыть; и то, как она рассказывала мне, что Ховард и Баглер поправились, только друг друга ни на шаг не отпускают и все время держатся за руки, даже когда играют, но особенно — когда спят. Она приносила мне еду в корзине; сверточки были такие маленькие — чтобы можно было просунуть их сквозь прутья решетки; и потом шептала всякие новости: мистер Бодуин намерен посетить судью — пойти прямо в суд, она все время это повторяла: прямо в суд, словно она или я знали, как это делается. Цветные женщины Делавэра подали петицию, требуя для меня помилования и отмены казни через повешение. Что двое белых священников приходили к нам домой, хотели со мной поговорить и за меня помолиться. Что приходил еще какой-то газетчик... Она пересказывала мне новости, и я все объясняла ей, как мне необходимо какое-нибудь средство от крыс. Она хотела, чтобы я отдала ей Денвер, и даже руками всплеснула, когда я наотрез отказалась сделать это. «А где ж твои сережки? — спросила она.— Я их для тебя сберегу». И я сказала, что их отобрал тюремщик, чтобы, как он говорил, защитить меня от меня самой. Он, видите ли, считал, что я что-нибудь могу над собой сделать с помощью крючков от сережек. Бэби Сагз только удивленно прикрыла рот ладошкой. «А тот учитель из города уехал,— сообщила она.— Заполнил требование вернуть ему беглых рабов и уехал. Тебя обещали отпустить — на похороны. На службу-то в церковь не разрешили, а на кладбище отпустят». И меня действительно отпустили. Шериф отвез меня на кладбище и по дороге, стесняясь, отворачивался, когда я кормила Денвер. Ни Ховард, ни Баглер меня к себе и близко не подпустили, не дали даже по голове их погладить. По-моему, на кладбище было полно людей, но я видела только сам гробик. Преподобный отец Пайк говорил очень громко, но я не расслышала ни слова — лишь первые три; а через несколько месяцев, когда Денвер уже можно было кормить не одним молоком, меня выпустили насовсем. Я сразу пошла и заказала для тебя надгробие, но у меня не хватило денег, чтобы сделать надпись, так что я совершила, можно сказать, обмен — расплатилась тем, чем смогла, и до сих пор жалею, что не попросила резчика написать на камне все три слова, которые тогда расслышала в речи преподобного отца Пайка: возлюбленной дочери моей, а ведь ты и есть возлюбленная дочь моя, и, наверно, не стоит так уж сожалеть, что тогда удалось вырезать только одно слово, и не стоит все время думать о тех девушках, которые «работают» по субботам на бойне... Теперь я могу забыть, что мой поступок сломал жизнь Бэби Сагз. У нее больше не было ее Поляны и ее друзей. Ей осталась стирка чужого белья и починка чужой обуви. Теперь я могу все это забыть, ибо стоило мне возложить камень на твою могилку, как ты заявила о своем присутствии в нашем доме и уж старалась, чтобы никто об этом не забывал, всем покоя не давала. Я тогда, правда, этого не понимала. Думала, ты на меня злишься. А теперь знаю: если ты и сердилась тогда, то теперь уж точно не

сердишься — ведь ты сама вернулась ко мне, в этот дом, значит, я все-таки оказалась права: нет для нас другого мира вне стен нашего дома. Мне только одно еще нужно знать: насколько страшен тот шрам?

Пока Сэти шла на работу, впервые за шестнадцать лет опаздывая, поглощенная настоящим мгновением, вобравшим в себя всю жизнь, Штамп боролся с усталостью и пересматривал на протяжении всей жизни сложившиеся представления. Бэби Сагз отказывалась ходить на Поляну, потому что считала, что победили *они;* он же отказывался признавать *их* победу. В доме Бэби черного хода не было, так что он храбро преодолел холод на улице и коридор из бормочущих голосов во дворе и, поднявшись на крыльцо, постучался. Чтобы набраться мужества, он покрепче сжал в кармане красную ленточку. Сперва он стучал тихонько, потом сильнее. В конце концов он забарабанил в дверь как сумасшедший — не веря, как это может быть, как это дверь дома, где живут цветные, не распахивается мгновенно ему навстречу. Но дверь не открывалась. Штамп подошел к окну, ему хотелось плакать. Ну да, они были там, дома, но ни одна к двери не бросилась. Терзая в кармане красную ленточку и чуть не порвав ее, старик повернулся и стал спускаться с крыльца. Теперь к чувству стыда и долга примешивалось любопытство. Когда он заглянул в окошко, то увидел двух девушек, сидевших спиной к нему. Голова одной была явно ему знакома, а вот другая... Эту другую голову он узнать не мог и понятия не имел, кому она могла принадлежать. Но ведь никто, никто и никогда в тот дом не заходил?

С мрачным видом позавтракав, Штамп отправился навестить Эллу и Джона: вдруг они что-нибудь знают. А что, если выяснится, что когда-то давно, после стольких лет уверенности в себе, он все-таки неправильно назвал себя и штамп «Оплачено» ставить было рано, ибо за ним остался еще один должок? Получив при рождении имя Джошуа, он позже назвал себя иначе — после того как сам отдал жену хозяйскому сыну. Отдал по собственной воле — в том смысле, что никого не убил, ну разве что себя, потому что жена его потребовала, чтобы он продолжал по-прежнему жить. А иначе, рассуждала она, куда и к кому сможет она вернуться, когда мальчишка наестся до отвала? Совершив этот «дар», он решил, что больше никому ничего не должен. Каковы бы ни были его обязательства перед людьми, этим он расплатился со всеми разом. Он думал, что станет непокорным, злым, может, даже запьет именно из-за отсутствия долга перед кем бы то ни было, и отчасти так и случилось. Но не в связи с его поступком. Хочешь, работай хорошо; а хочешь — плохо; или мало; или не работай совсем. Хочешь, веди себя разумно или, наоборот, глупо. Хочешь, спи, а хочешь, вставай. Можешь любить кого-то одного, но не любить других. Не очень-то интересная жизнь, и удовлетворения ему это приносило мало. Так что он распространил свою свободу от всяческих долгов на других, помогая им выплатить то, что они в своем горе и несчастье некогда задолжали. Он перевозил измученных беглецов на ту сторону и возвращал им плату за это; если можно так сказать, возвращал им их собственную купчую, как бы говоря: «Ты заплатил достаточно, теперь жизнь перед тобой в долгу». И за это получал свою «плату» — радостные приветствия при встрече и отсутствие необходимости стучать в чью-либо дверь. Вот и сейчас он стоял перед дверью Джона и Эллы и спрашивал:

— Эй, есть кто-нибудь дома? — И Элла почти сразу откинула крюк на двери.

— Господи, где ж это ты прятался? А я-то Джону говорю: должно, слишком холодно, раз Штамп все дома сидит.

— Нет, я был не дома.— Он снял шапку и потер голову.

— Где же это? Уж точно не здесь.— Элла повесила две пары белья на веревку у плиты.

— Я утром к дому Бэби Сагз ходил.

— А что тебе там понадобилось? — спросила Элла.— Тебя что, приглашали?

— Это семья Бэби. И никаких приглашений мне не требуется, чтобы за ее семейством приглядеть.

Элла только языком поцокала. Этими доводами ее было не прошибить. Она сама была другом и Бэби Сагз, и Сэти, пока не случилось то Несчастье. С тех пор она один лишь раз поздоровалась с Сэти — кивнула ей тогда на карнавале,— а обычно ее просто не замечала.

— Там у них какая-то новая женщина живет. Я думал, может, ты знаешь, кто это?

— Да неужто б я не знала, если б в городе у нас кто-то новый объявился? — возмутилась Элла.— Какая она с виду-то, женщина эта? Ты уверен, что это не Денвер?

— Денвер я хорошо знаю. Эта похудее будет.

— Может, показалось?

— Я же своими глазами видел!

— Да в этом доме все что угодно увидеть можно.

— Оно так, конечно.

— Ты лучше Поля Ди спроси,— посоветовала Элла.

— Что-то я его никак найти не могу.— И это было действительно так, хотя нельзя сказать, чтобы он искал Поля Ди уж очень старательно. Не готов он был посмотреть в глаза человеку, чью жизнь сломал, когда явился к нему со своими мрачными рассказами.

— Он в церкви ночует,— сообщила Элла.

— В церкви? — Штамп был потрясен и страшно огорчен.

— Ну да. Попросил преподобного отца Пайка, и тот разрешил ему ночевать в подвале.

— Так там же холод собачий!

— Ну уж небось это он и сам знает.

— Зачем он это сделал?

— Похоже, чересчур гордый.

— Господи, зачем же в погребе-то! Любой из наших его бы к себе пустил.

Элла повернулась и посмотрела Штампу прямо в глаза.

— А что, у нас тут кто-нибудь мысли на расстоянии читать умеет? Ему всего и нужно-то было — попросить.

— С какой стати? Почему он должен кого-то просить? А самим предложить что, трудно было? Что же это делается, Господи? С каких это пор чернокожий, приехав в наш город, спит в подвале, как собака?

— Не заводись, Штамп.

— Ну уж нет! Не будет мне покоя, пока у кого-нибудь из вас совесть не проснется и вы не станете вести себя как христианам положено.

— Да он там всего-то несколько дней.

— Ни одного дня он там не должен был быть! Ты все прекрасно понимаешь, Элла, но даже и пальцем не пошевелила, чтобы ему помочь! Не похоже на тебя. Мы ведь с тобой больше двадцати лет цветных из воды вытаскивали. А теперь ты мне мозги пудришь, тебе, дескать, трудно человеку переночевать предложить. Рабочему человеку! Который уж как-нибудь сумел бы с тобой и расплатиться.

— Если б он попросил, я бы ему что угодно дала.

— С чего это вдруг стало так необходимо, чтобы тебя просили?

— Я его слишком мало знаю.

— Ты знаешь, что он цветной!

— Ох, Штамп, да не терзай ты меня с утра пораньше! У меня и так настроения нет.

— Это из-за нее, верно?

— Из-за кого?

— Из-за Сэти. Он с ней сошелся и жил там, а ты не хотела, чтобы...

— Ну-ну, продолжай. Только лучше тебе в воду не прыгать, коли глубины не знаешь.

— Ты это прекрати, девушка! Мы с тобой слишком давно дружим, чтоб ты мне тут представление устраивала.

— Ну послушай, кто знает, что там на самом деле происходило? Я и сама теперь не знаю, кто такая Сэти и откуда она родом.

— Что-что?

— Да, Штамп, я знаю только, что она вроде бы была невесткой Бэби Сагз, но теперь я и в этом не уверена. Где же он сам-то, а? И Бэби ни разу эту свою невестку в глаза не видела, пока Джон не притащил ее сюда да еще с новорожденной, которую я сама ей к груди привязала.

— Это я привязал девочку ей к груди! А к тому поезду с беглыми ты и вовсе отношения не имела! Дети-то небось ее сразу признали, даже если ты сама этого и не сделала.

— Ну и что? Я ж не говорю, что она их матерью не была, но кто может подтвердить, что они действительно внуки Бэби Сагз? И вообще — как это ей бежать удалось, а ее мужу нет? И еще, скажи-ка мне, как это она умудрилась одна в лесу ребенка родить? Говорила, какая-то белая женщина вышла из лесу и помогла ей. Вранье! Неужели ты этому веришь? Белая? Ладно, не надо. Знаю я, что это была за белая [1].

— О Господи, Элла, что ты несешь!

— Ежели оно белое да еще по лесу вокруг людей шляется — так это либо призрак, либо что-нибудь в этом роде, и я ни с чем подобным дела иметь не желаю!

— Вы ведь подругами были.

— Да. Пока она свое нутро не показала.

— Элла!

— Не может у меня быть таких подруг, которые собственных детей ручной пилой кромсают.

— Ох и на опасном ты пути, девушка!

— Угу. Зато я на твердой земле стою, где и намерена оставаться. А вот ты уже по уши утоп и дна под собой не чуешь.

— Ну ладно, хватит. Все это к Полю Ди никакого отношения не имеет.

— А как ты думаешь, почему он из дому-то сбежал? Ну-ка скажи?

— Из-за меня.

— Из-за тебя?

— Я ему рассказал... показал ту газету... насчет того, что Сэти сделала. И прочитал ему. Он в тот же день и ушел.

— Ты мне этого не говорил. Я думала, он знает.

— Ничего он не знал! Он и ее-то знал только по тем временам, когда они все вместе жили на ферме, откуда и сама Бэби Сагз сюда приехала.

— Он знал Бэби Сагз?

— Конечно, он ее знал! И ее сына Халле тоже.

— Значит, он ушел, когда выяснил, что Сэти тогда натворила?

— Похоже, с ней он мог бы наконец семью создать и жить вместе.

— Ты мне прямо глаза открыл. Я-то совсем по-другому думала...

Но Штамп и так прекрасно знал, что она думала.

— Да что ж, ты ведь сюда пришел не о Поле Ди говорить,— спохватилась вдруг Элла.— Ты вроде насчет какой-то новой девушки спрашивал.

— Да, верно.

— Ну так вот: Поль Ди непременно должен знать, кто она такая. Или что оно такое.

— У тебя все духи да привидения на уме. Везде они тебе мерещатся.

— Господи, ты ведь не хуже меня знаешь: люди, что дурную смерть приняли, в земле остаться не могут.

Этого отрицать было нельзя. Даже Иисус Христос и то в земле не остался. Штамп съел кусок приготовленного Эллой домашнего сыра — исключительно из дружеских чувств — и отправился искать Поля Ди. Он нашел его сидящим на крыльце церкви; руки между коленями свешены; глаза совершенно красные.

Сойер накричал на нее, когда она вошла на кухню, но она просто повернулась к нему спиной и потянулась за фартуком. Его крики были ей

---

[1] Белый цвет — у африканцев и американских негров цвет смерти, цвет мертвых.

нипочем: доступ в ее душу был закрыт — ни щели, ни трещинки. Хватит с нее. Уж она позаботится о том, чтобы держать их всех на расстоянии. Однако она прекрасно понимала, что в любой момент они могут снова раскачать ее, расколоть надвое, сорвать с якорей; могут снова наслать на нее птиц, хлопающих крыльями у нее в волосах; или высушить у нее в груди молоко, как это уже было однажды. Могут превратить ее спину в дерево — и это тоже уже было. Когда они ее беременную загнали в лес, то сперва сделали это. Даже мысли о них пахли гнилью. Это они вымазали маслом лицо Халле и заставили Поля Ди грызть железо; это они живьем поджарили Сиксо и повесили ее родную мать. Она больше ничего не хотела слышать о белых людях; не хотела знать то, что знали Элла, Джон и Штамп о мире, созданном по вкусу белых. Да и не должна она больше ничего знать об их жизни, раз улетели те птицы, что хлопали крыльями у нее в волосах.

Когда-то, давным-давно, она была мягкой, доверчивой. Верила миссис Гарнер и ее мужу. Она ведь тогда завязала узелок на подоле нижней юбки, спрятав туда сережки, не столько для того, чтобы их потом носить, а чтобы у нее они просто были. Эти сережки заставляли ее верить, что среди них не все плохие. Что на каждого такого учителя найдется по крайней мере одна Эми, а на каждого учительского племянника и ученика — Гарнер, или Бодуин, или даже тот шериф, который тогда поддержал ее под локоть и отвернулся, когда она кормила Денвер. Но в итоге она начала верить тем, последним словам Бэби Сагз и похоронила воспоминания о сережках и о грезившемся ей счастье. Поль Ди, правда, снова все это выкопал из глубин ее души, вернул ей ее тело, поцеловав в изуродованную шрамами спину, пробудил в ней воспоминания о былом и рассказал то, о чем она не знала: о маслобойке, о мундштуке, об улыбке петуха Мистера... но когда услыхал то, чего не знал о ней, сразу начал пересчитывать ее ноги и даже не попрощался, когда уходил навсегда.

— Не говорите со мной сегодня, мистер Сойер. Пожалуйста, не надо мне ничего говорить сегодня.

— Что? Как ты сказала? Да как ты смеешь мне возражать?

— Я прошу только, чтоб вы мне ничего не говорили сегодня.

— Знаешь что... давай-ка побыстрей пирожки делай!

Сэти взглянула на гору фруктов и взяла в руки нож.

Когда сок из пирожков зашипел на дне духовки, а Сэти уже вовсю занималась картофельным салатом, явился Сойер и сказал:

— Только смотри, чтоб пирожки не слишком сладкие были. Ты слишком сладкие делаешь, людям не нравится.

— Делаю, как всегда делала.

— Вот-вот. Всегда делаешь слишком сладкие.

Ни одной порции колбасок обратно не принесли. Повар отлично их готовил, и к концу дня в ресторане Сойера никогда колбасок не оставалось. Так что если Сэти хотела взять немного себе, приходилось откладывать сразу, как только колбаски были готовы. Зато осталось вполне приличное рагу. Дело в том, что и все ее пирожки тоже были проданы. Было, правда, немного рисового пудинга и половина круглого имбирного пряника, который получился не ахти. Если бы она была повнимательнее и перестала предаваться мечтам, ей не пришлось бы теперь собирать себе на обед всякие остатки, словно крабу какому-то. Она не очень-то умела определять время по часам, но знала, что когда стрелки сходятся наверху словно для молитвы, то с основной работой должно быть покончено. Она положила рагу в банку с жестяной крышкой и завернула остатки имбирного пряника в бумагу. Сунув все это в карманы юбки, она принялась за уборку. Она взяла такую малость — и сравнивать нечего с тем, что уносили домой повар и оба официанта. Мистер Сойер включал обед для своих работников в условия контракта — и платил ей еще три доллара сорок центов в неделю,— и Сэти с самого начала дала ему понять, что будет уносить свой обед домой. Но спички или немного керосину, соли, масла — все это она тоже порой брала и всегда при этом испытывала стыд, потому что спокойно могла себе позволить это купить; просто не желала стоять в длинной

очереди в магазине Фелпса, где всех белых обслуживали вне очереди, а целая толпа чернокожих, заглядывавших в заднюю дверь, терпеливо ждала, когда хозяин соизволит обратить на них внимание. Стыдно Сэти было еще и потому, что она считала это самым настоящим воровством, а забавные доводы Сиксо на сей счет нисколько не меняли ее собственного отрицательного отношения к воровству; точно так же, как его доводы не смогли убедить тогда учителя в Милом Доме.

— Это ты украл молочного поросенка? Ну да, так и есть, поросенка украл ты.— Учитель говорил тихо, но твердо и как-то равнодушно — словно ответа ему не требовалось. Сиксо сидел, даже не пытаясь ни просить о снисхождении, ни отрицать своей вины. Просто сидел, держа в руке тонкую полоску постного мяса; нежные хрящики свернулись в оловянной плошке и просвечивали, как драгоценные камни — еще грубые, необработанные, но все-таки хорошая добыча.

— Значит, ты украл этого поросенка? Верно?

— Нет,— сказал Сиксо, но из вежливости, не сводя глаз с мяса, прибавил: — Сэр.

— И ты говоришь, что не крал его, глядя мне прямо в глаза?

— Нет, сэр. Я его не крал.

Учитель улыбнулся.

— Это ты его зарезал?

— Да, сэр. Я.

— А разделал его кто?

— Я, сэр.

— Кто же его сварил?

— Я, сэр.

— Прекрасно. А кто его съел?

— Я, сэр. Конечно же я.

— И ты еще будешь говорить мне, что это не воровство?

— Нет, сэр. Не воровство.

— А что же?

— Забота о вашей собственности, сэр.

— Что?

— Сиксо сеет рожь, выбирая для нее лучший участок. Сиксо возделывает и поит землю, чтобы у вас урожай был больше. Сиксо поит и кормит Сиксо, чтоб потом он мог принести вам как можно больше пользы.

Умно сказано, однако учитель все равно избил Сиксо, чтобы наглядно продемонстрировать всем, кому принадлежит право давать определения вещам и делам — уж во всяком случае, не тем, кто сам подлежит определению. После смерти мистера Гарнера от дырки в ухе — миссис Гарнер сказала, что у него лопнула барабанная перепонка из-за апоплексического удара, а Сиксо уверял, что тут скорее порохом пахнет,— все, чего бы они ни коснулись, могло быть рассмотрено как предмет воровства. Ни одного початка кукурузы, ни одного яйца, даже если курица снесла его метрах в двух от ограды, там, где и сама не помнит, они взять не имели права: решительно все считалось кражей. Учитель отнял у мужчин Милого Дома ружья, и тогда, лишенные охоты как развлечения и возможности несколько улучшить свой рацион, состоявший из хлеба, бобов, мамалыги, овощей и кусочка мяса в дни забоя скота, они начали воровать по-настоящему; и это стало не только их правом, но и обязанностью.

Тогда Сэти их понимала, но теперь, когда у нее была оплачиваемая работа и хозяин, проявивший достаточную доброту и снисходительность, взяв к себе бывшую заключенную, она себя презирала за собственную гордость, из-за которой воровство было для нее лучше стояния в общей с другими неграми очереди. Она не желала толкаться среди них. Не желала чувствовать их осуждение или жалость. Особенно сейчас. Сэти тыльной стороной ладони вытерла со лба пот. Рабочий день подходил к концу, и ее охватило приятное возбуждение. Никогда со времени своего бегства из Милого Дома не чувствовала она себя такой живой. Подкармливая объедками уличных собак, глядя, как жадно они едят, Сэти сурово поджала губы.

Сегодня был такой день, когда она согласилась бы даже сесть к кому-то на телегу или в повозку, если б ей предложили. Никто, конечно, не предложит; целых шестнадцать лет гордость не позволяла ей никого просить об этом. Но сегодня!.. О, сегодня, сейчас ей больше всего хотелось поскорее пролететь долгий путь до дома и уже оказаться там!

Когда Сойер сердито предупредил ее, чтоб больше не опаздывала, она почти не слушала. Обычно он был с нею очень мил. Он вообще был человеком терпеливым и мягким, но с каждым годом — особенно после гибели на той Войне сына — становился все более раздражительным и капризным. Словно виновата во всем была она, чернокожая Сэти.

— Ладно,— буркнула она, думая только о том, как бы поскорее пролетело время в пути.

Впрочем, можно было и не спешить. Когда, поплотнее закутавшись и клонясь под ветром, она двинулась наконец в обратный путь, мысли ее уже были заняты тем, что теперь она имела полное право забыть.

Слава Богу, мне ничего не нужно вспоминать вслух, ничего не нужно объяснять тебе, потому что ты знаешь все. Ты знаешь, что я никогда бы тебя не бросила. Никогда. Это единственное, о чем я тогда могла думать и к чему стремиться. Я должна была быть готова к приходу поезда. Тот учитель учил нас таким вещам, которым мы научиться не могли. Да мне было наплевать, как и что измеряют с помощью сантиметра. Все мы тогда смеялись над этим — все, кроме Сиксо. Он никогда ни над чем не смеялся. А мне было просто наплевать. Учитель измерял сантиметром мою голову, вокруг и вдоль, через нос; оборачивал сантиметр вокруг моей задницы; пересчитывал у меня зубы. Я думала, он сумасшедший. Особенно если судить по тем вопросам, которые он задавал.

Как-то мы с твоими братьями шли по второй тропе. Первая тропа совсем близко от дома, там, где сажали ранние овощи: бобы, лук, зеленый горошек; а вторая — подальше, там, где картошка, тыква, окра; для всего этого было еще слишком рано. Ну, может, грядка салата где и была. Мы все пропололи, порыхлили землю, чтобы овощи зрели скорее, а потом пошли назад, к дому. Вторая тропа шла в гору. Не то чтобы там была настоящая гора, но вроде холма. Вполне достаточно, чтобы Баглер и Ховард могли взбегать на него и кубарем скатываться вниз по траве и снова взбегать и скатываться. Такими я и вижу их в своих снах — смеются и бегут вверх по склону холма на своих коротеньких толстеньких ножках. Правда, теперь я все чаще вижу только их спины — когда они уходят от меня вдоль железной дороги. Теперь они всегда от меня уходят. Всегда. Но в тот день они были очень счастливы, играя на холме. Было раннее лето — все уже начинало зреть, но до сбора урожая было еще далеко. Я помню, что горох еще кое-где цвел. А травы были уже высокими, и в них полно белых цветов и еще таких высоких, красных, да кое-где мелькали голубые цветочки — похожие на васильки, только намного бледнее. Почти белесые. Мне, наверно, надо было бы торопиться, потому что я оставила тебя за домом в корзине. Довольно далеко от того места, где обычно копаются куры, но ведь всякое может случиться. А тут я почему-то не спешила; зато у твоих братишек терпения не хватало, и, когда я без конца останавливалась и любовалась цветами и облаками, они убегали вперед, и я на них за это не сердилась. Что-то чудесное витает в воздухе ранним летом, а если еще и такой особый ветерок налетит, то и вовсе в доме не усидишь. Когда я наконец дошла до дому, то сразу услышала, как Ховард и Баглер смеются возле наших хижин. Я поставила мотыгу под навес и прошла через двор прямо к тебе. Корзинка, которую я утром оставила в тени, теперь оказалась на самом солнце, и оно светило прямо тебе в лицо, но ты и не думала просыпаться. Мне очень хотелось взять тебя на руки, но я все продолжала любоваться тобой спящей. У тебя было такое милое личико! Неподалеку от двора мистер Гарнер посадил виноград. Он вечно был полон всяких планов и решил, что неплохо было бы делать собственное вино. Ни разу больше одной корзинки ягод с этого виноградника так и не набрали. По-моему, земля там не годилась для виноградников. Хотя твой отец считал, что во

всем виноваты частые дожди, а не земля. А Сиксо говорил, что это все жучки какие-то вредят. Виноградинки были такие маленькие, твердые и ужасно кислые, прямо как уксус. Зато среди виноградных лоз был маленький столик, и вот я взяла корзинку с тобой и перенесла ее в этот виноградник. Там было прохладно и тень. Я поставила твою корзинку на столик и решила добыть кусок миткаля, чтобы жучки и прочие насекомые на тебя бы не падали. А потом, если прямо сейчас я не нужна миссис Гарнер на кухне, взять табуретку и посидеть с тобой в теньке, пока овощи чищу. Я быстро пошла на кухню за куском чистого миткаля, который мы хранили в яблочном прессе. Так приятно было ступать босиком по траве! И вдруг, подойдя к дверям, я услышала голоса. Этот учитель каждый день заставлял своих учеников учиться по книжкам. Если погода была хорошей, они устраивались втроем на боковой веранде. Он говорил, а они писали. Или же он что-то читал им, а они это потом записывали. Я никогда никому об этом не рассказывала. Ни твоему отцу, никому. Я чуть было не сказала миссис Гарнер, но она тогда уже была слишком слаба и становилась все слабее. Я впервые рассказываю об этом, и именно тебе, потому что это может объяснить кое-что, хотя я знаю: тебе вовсе не нужно, чтобы я что-то объясняла. Чтобы я рассказывала вслух или просто думала об этом. Ты тоже, конечно, можешь не слушать, если не хочешь. Но я в тот день не слушать не могла. Учитель разговаривал со своими учениками, и я услышала, как он сказал: «Кого ты сейчас описываешь?» И один из ребят ответил: «Сэти». И я, услышав собственное имя, сперва замерла, а потом тихонько встала так, чтобы можно было их видеть. Учитель стоял над ним, заложив руку за спину. Он пару раз облизнул указательный палец и перевернул несколько страниц тетрадки. Медленно перевернул. Я уж собралась было идти дальше, за этим миткалем, когда вдруг услышала, как он говорит: «Нет, нет. Не так. Я ведь велел тебе записывать ее человеческие характеристики слева, а животные — справа. И не забудь подчеркнуть их». Тут я стала пятиться от них и даже не посмотрела, куда иду. Просто двигала ногами, как деревянная. И конечно, налетела на дерево — всю голову себе ободрала колючками. Какая-то собака на дворе вылизывала сковородку. Я довольно быстро опомнилась и бросилась в виноградник; про миткаль я так и забыла. Мухи за это время облепили тебе все лицо; сидели и потирали лапки. Голова у меня чертовски болела. Словно острые иголки в череп втыкали. Я никогда об этом не рассказывала. Ни Халле, ни кому-то другому. Но в тот день я все-таки кое-что спросила у миссис Гарнер. Она тогда уже была плоха. Не так плоха, конечно, как потом, но уже совсем не та, что прежде. У нее под челюстью, на горле какой-то мешок вырос. Вроде бы не больно, да только она совсем ослабела. Сперва она еще вставала и двигалась довольно быстро, особенно по утрам, но уже ко второй дойке почти на ногах не держалась. Потом стала подолгу спать и поздно вставать по утрам. А в тот день, когда я у нее кое-что спросить хотела, она целый день провела в постели, и я решила, что сперва надо ей принести немножко фасолевого супу, а потом уж и спрашивать. Я поднялась наверх и когда открыла дверь ее спальни, она посмотрела на меня из-под своего ночного чепца. Уже и тогда глаза у нее стали почти что совсем безжизненными. Ее туфли и чулки валялись на полу у кровати, и я догадалась, что она пробовала встать и одеться.

— Я принесла вам фасолевого супу,— сказала я.

— Вряд ли я его проглотить смогу,— отвечала она.

— Попробуйте хоть немножко,— стала я ее уговаривать.

— Нет, он слишком густой. Я точно не проглочу — слишком густой.

— Хотите, я его чуточку водой разбавлю?

— Нет. Унеси. Принеси лучше холодной воды, больше мне ничего не надо.

— Хорошо, мэм. Можно мне вас кое о чем спросить, мэм?

— О чем же, Сэти?

— Что значит «характеристики»?

— Что?

— Слово такое. Характеристики.

— О Господи! — Она помотала головой на подушке.— Характеристики — это свойства, черты. Кто тебя научил такому?

— Я слышала, как учитель это слово сказал.

— Принеси мне холодной воды, Сэти. Эта степлилась.

— Да, мэм. Черты?

— Воды, Сэти. Холодной воды.

Я поставила кувшин на поднос рядом с тарелкой супа из белой фасоли и пошла вниз. Потом принесла свежей холодной воды и поддерживала миссис Гарнер голову, пока она пила. Пила она долго — эта опухоль здорово ей мешала. Потом она снова легла на подушку и утерла рот. Похоже, она наконец напилась вволю. И вдруг она нахмурилась и говорит мне:

— Знаешь, я никак не могу как следует проснуться. Единственное, чего я хочу все время,— спать.

— Ну так спите, мэм,— сказала я ей.— Я обо всем сама позабочусь.

Но она не могла успокоиться: а как же это? а как же то? Сказала, что знает, с Халле проблем не будет, но вот ей хочется знать, ладит ли учитель со всеми Полями и Сиксо.

— Да, мэм,— сказала я.— Вроде бы так.

— Они действительно делают то, что он им велит?

— Им и велеть-то ничего не нужно, мэм.

— Хорошо. Это милость Божья. Я, конечно, спущусь вниз через денек-другой. Мне просто нужно немного отдохнуть. Вот и доктор еще должен прийти. Завтра ведь, так?

— Вы сказали «черты», мэм?

— Что?

— Черты, свойства, мэм?

— Хм. Ну, например, характерной чертой лета является жара. Характеристика — это основная черта, свойство, признак чего-то. Самое для этой вещи естественное.

— А их может быть больше, чем одна?

— Конечно, может, и даже довольно много. Вот тебе пожалуйста: этот ребенок всегда сосет палец. Это одна из его характеристик, но у него есть и другие. Смотри держи Билли подальше от Рыжей Коры. Мистер Гарнер никогда не давал ей телиться каждый год. Сэти, ты меня слышишь? Отойди от окна и слушай.

— Да, мэм, я все слышу.

— Попроси моего деверя подняться после ужина наверх.

— Хорошо, мэм.

— Если станешь мыть голову как следует, то и вшей у тебя не будет.

— У меня и нет никаких вшей, мэм!

— Ну, не знаю, а хорошенько вымыть голову тебе не мешало бы! И перестань чесаться. И не говори, что у нас мыло кончилось.

— Нет, что вы, мэм.

— Ну вот и хорошо. Сил у меня больше нет разговоры разговаривать. Ужасно они меня утомляют.

— Хорошо, мэм. Я сейчас уйду.

— И спасибо тебе, Сэти.

— Да что вы, мэм.

Ты была слишком маленькой, чтобы помнить нашу хижину. Твои братья спали под окном. А мы втроем — я, ты и твой папа — у стены. Ночью, после того как я услышала, зачем учителю нужно было обмерять меня, я никак не могла уснуть. Когда вернулся Халле, я спросила, что он думает насчет этого учителя, и он сказал, что тут и думать-то нечего. Он ведь белый, разве не так? Но мне хотелось знать, похож он на мистера Гарнера или нет.

— Что ты хочешь этим сказать, Сэти?

— Он и она,— сказала я,— они оба не такие, как те белые, которых я видела раньше, в той большой усадьбе, где жила до Милого Дома.

— Что значит «не такие»? — спросил он.

— Ну,— сказала я,— они, например, всегда говорят тихо.

— Это не так уж важно, Сэти. Все они говорят одно и то же. Громко или тихо.

— Но мистер Гарнер позволил тебе выкупить мать,— сказала я.

— Да. Позволил.

— Ну?

— Если б он не позволил, она бы вскоре просто упала прямо на горячую плиту у него на кухне.

— И все-таки он позволил! Позволил тебе отработать за нее.

— Угу.

— Проснись, Халле!

— Я же не сплю.

— Он ведь мог и «нет» сказать. А он тебе «нет» не сказал.

— Нет, он не отказал мне. Она здесь проработала десять лет. И ты думаешь, она способна была еще десять проработать? Я расплачиваюсь с ним за ее последние годы жизни, а взамен он получил тебя, меня и еще троих наших малышей, что сейчас подрастают. Мне осталось еще год свой долг отрабатывать, всего один год. Но этот учитель говорит, чтобы я эту затею бросил. Говорит, овчинка выделки не стоит. Говорит, лучше мне дополнительно работать прямо здесь, в Милом Доме.

— И он собирается тебе за эту дополнительную работу платить?

— Нет, конечно.

— А как же быть? Сколько тебе еще нужно выплатить?

— Сто двадцать три доллара семьдесят центов.

— Он разве не хочет их получить?

— Ему кое-что другое нужно.

— Что?

— Не знаю. Но что-то нужно. Во всяком случае, он больше не разрешает мне куда-нибудь из Милого Дома уходить. Говорит, на стороне платят гроши, а мальчики у нас еще слишком малы.

— Но как же нам добыть денег, которые ты должен?

— У него, должно быть, есть другой способ получить их.

— Какой другой?

— Не знаю, Сэти.

— Но как? Как же он их получит?

— Это не самый главный вопрос. Есть и поважнее.

— Какой?

Халле приподнялся, повернулся ко мне и нежно коснулся моей щеки костяшками пальцев.

— Главный вопрос в том, кто теперь выкупит тебя? Или меня? Или ее? — Он показал туда, где лежала ты.

— Что?

— Если я буду работать только в Милом Доме и здесь же долг отрабатывать, разве у меня останутся еще силы на продажу?

Он повернулся на бок и сразу заснул, а я, хоть и считала, что заснуть не смогу, тоже заснула, но ненадолго. Что-то из сказанного Халле, а может, из того, о чем он умолчал, разбудило меня. Я вдруг села, словно меня кто толкнул, и ты тоже почему-то проснулась и начала плакать. Я взяла тебя на руки и стала укачивать, но места было маловато, и я вышла с тобой на улицу, на воздух. Ходила там взад-вперед, взад-вперед. Вокруг было совершенно темно, только в верхнем окне дома светилась лампа. Миссис Гарнер, должно быть, так и не встала с постели. Я никак не могла выбросить из головы те слова, что, видно, меня и разбудили: «А мальчики у нас еще слишком малы». Да, он именно так сказал, из-за этого я и не могла больше уснуть. Ведь мальчики ходили за мной по пятам целыми днями, со мной вместе пололи сорняки, доили коров, собирали хворост для растопки. Но все это — пока. Пока. До поры до времени.

Вот тогда-то мы и должны были бы начать строить планы. Но мы не начали. Не знаю, о чем мы думали, но вопрос о том, чтобы уехать из Милого Дома, для нас всегда был связан с деньгами. С выплатой долга.

С собственным выкупом. О побеге мы тогда даже не помышляли. Неужели никто из нас об этом не думал? Да и куда бежать? Как? Сиксо в конце концов первым заговорил об этом — после того как миссис Гарнер продала Поля Эф, надеясь поправить дела. Она целых два года прожила благодаря тем деньгам, которые выручила от его продажи. Но вот деньги кончились, и она, верно, написала деверю, чтоб приехал и взял бразды правления в свои руки. В Милом Доме было четверо мужчин, но она все-таки считала, что этот учитель и двое его племянников нужны ей, потому что все кругом твердили, она не должна, мол, оставаться одна в окружении негров. Ну он и приехал — в большой шляпе, в очках, а ящик под козлами битком набит разными бумагами. Он говорил мягко, да смотрел жестко. Избил Поля Эй. Бил не очень сильно и не очень долго, но впервые в Милом Доме кого-то били, потому что мистер Гарнер этого не позволял. В другой раз я видела, как он развлекался среди тамошних чудесных деревьев — ты таких и не видела никогда. А Сиксо начал внимательно посматривать на небо. Он был единственным, кто выбирался с фермы по ночам; Халле говорил, что именно так он и узнал про тот поезд [1].

— Это где-то там.— И Халле показывал мне вдаль, за конюшни.— Туда мистер Гарнер увез мою мать. Сиксо говорит, свобода где-то там. И туда пойдет поезд; если мы сможем туда попасть, нам не придется платить никакого выкупа.

— Поезд? А что это такое? — спросила я его.

Потом они перестали разговаривать при мне. Даже Халле отмалчивался. Но между собой перешептывались, и Сиксо все наблюдал за небом — смотрел не вверх, а туда, где оно почти касалось деревьев. Сразу было ясно, что мыслями он давно уже не в Милом Доме.

План был хорош, но, когда подошло время, я оказалась беременна Денвер. Так что план мы немножко изменили. Чуть-чуть. Как раз хватило, чтобы Халле оказался с вымазанным маслом лицом, а Сиксо наконец засмеялся. Судя по словам Поля Ди.

Но тебя-то я оттуда вытащила, детка. И мальчиков тоже. Когда был получен сигнал о поезде, только вы и были готовы по-настоящему. Я не смогла отыскать ни Халле, ни остальных. Я еще не знала, что Сиксо сожгли живьем, а Полю Ди надели железный ошейник и, ты просто не поверишь, сунули железо в рот. Это я узнала много позже. А всех вас я тогда отослала к поезду с той женщиной, что ждала в кукурузе. Ха-ха. Ни в какую записную книжку мои дети не попадут, и никаким сантиметром их обмерять не будут, решила я. То, что мне пришлось преодолевать потом, я сделала только благодаря тебе. Прошла мимо повешенных на дереве парней. На одном из них была рубашка Поля Эй, но ноги были почему-то не его и голова тоже. Но я прошла мимо, потому что только у меня было молоко для тебя, и, что бы там ни задумал Господь, я намерена была тебе его доставить. Ты ведь помнишь это, правда? Помнишь, как я его тебе принесла? И когда я наконец добралась до цели, молока у меня было достаточно на всех.

Еще один поворот, и Сэти увидела наконец трубу у себя над крышей; труба уже не выглядела такой одинокой. Столбик дыма тянулся от того огня, что согрел возвращенную ей теперь дочь — словно ее никогда и не отнимали, словно ей никогда и не нужно было делать никакого надгробия, словно сердце, что билось сейчас в этом возвращенном теле, никогда и не останавливалось у нее, Сэти, в руках.

Она открыла дверь, вошла и крепко заперла ее за собой.

В тот день, когда Штамп увидел в окно дома номер 124 две спины и поспешил спуститься с крыльца и уйти, он поверил, что непонятный говор, слышавшийся возле дома, был бормотанием потревоженных чернокожих мертвецов. Очень немногие из них умерли в постели, как Бэби Сагз;

[1] Имеется в виду помогавшая неграм-рабам бежать на Север созданная аболиционистами подпольная организация «Подземная железная дорога», представлявшая собой цепь «пересадочных станций».

и никто — по крайней мере, из тех, кого он знал,— не прожил сколько-нибудь сносно свою жизнь. Даже образованные, те, кто долго учился: чернокожие доктора, учителя, газетчики и бизнесмены,— оказывались перед слишком трудной задачей. В придачу к тому, что им приходилось вовсю работать собственной головой, чтобы как-то продвинуться, они были вынуждены нести бремя всей своей расы. Для этого нужно было самое меньшее две головы. Белые люди полагали, что при любом образовании внутри каждого чернокожего непроходимые джунгли. Шумят неспокойные, не пригодные для навигации реки, раскачиваются на ветках и испускают дикие крики бабуины, спят ядовитые змеи. А красные десны чернокожих жаждут их сладкой «белой» крови. В какой-то степени, думал Штамп, они правы. Чем больше старались цветные убедить белых, что на самом деле негры — люди добрые, мягкие, умные, любящие, чем больше они истощали себя этими тщетными попытками объяснить, что некоторые из вещей, в которые верят негры, не подлежат сомнению, тем глубже и непроходимей становились джунгли внутри их. Но эти джунгли черные не привезли с собой со своей бывшей родины, из другого мира. Нет, эти джунгли насаждали в них белые. И они разрастались, захватывая все новые территории; прорастали вглубь, сквозь их жизни; и даже после их смерти джунгли продолжали процветать и в итоге захватывали и самих белых, которые их создали. Каждого из них они изменяли до неузнаваемости. Кровожадными, неразумными — хуже даже, чем они сами дозволяли себе,— они стали потому, что безумно боялись тех джунглей, которые сами же и создали. Тот вопящий на ветке бабуин жил, оказывается, в их собственной душе, под их белой кожей; и те страшные красные десны были их собственными.

Между тем тайное распространение этой новой разновидности джунглей, выдуманных белыми, происходило тихо, незаметно, и только в отдельных случаях их голоса можно было расслышать в таких местах, как дом номер 124.

Штамп прекратил свои попытки поговорить с Сэти, когда с болью в сердце ушел от той двери, которую на его стук не открыли. И тогда наконец дом номер 124 был оставлен в покое. А когда Сэти крепко заперла за собой дверь, все три женщины внутри этого дома стали наконец вольны вести себя так, как им нравилось, видеть то, что им хотелось, говорить то, что было у них на уме.

Почти. Смешиваясь с теми голосами, что звучали вокруг дома номер 124, узнаваемые, но непонятные старому Штампу, существовали мысли этих женщин, не произнесенные вслух, невысказанные.

Возлюбленная — дочь моя. Она моя. Понимаете? Она вернулась ко мне по собственной доброй воле, и мне не нужно ровным счетом ничего ей объяснять. У меня и прежде не было времени объяснять, потому что нужно было все сделать очень быстро. Мгновенно. Она должна была оказаться в безопасном месте, и я туда ее отправила. Но я привязала ее к себе крепкой любовью своей, и вот она снова здесь. Я знала: она непременно вернется. Поль Ди тогда ее прогнал, и у нее просто не было иного выхода, как вернуться ко мне во плоти. Поспорить готова — ей там Бэби Сагз помогала. Но больше уж я ее не отпущу. Я ей все объясню, хоть мне и не нужно этого делать. Объясню, почему я так сделала. Объясню, что если б я ее не убила, она бы просто не выдержала, умерла, и я не могла этого допустить. Когда я ей это объясню, она поймет — она уже все понимает. Я буду заботиться о ней так, как ни одна мать о своем ребенке, о дочери, не заботилась. И больше никто не получит моего молока, кроме моих собственных детей. Меня никогда не заставляли кормить грудью чужих детей; я кормила только своих; но однажды у меня отняли мое молоко силой. Прижали меня к земле и отняли его. Молоко, принадлежавшее моему ребенку. Когда я была маленькой, Нан кормила грудью белых детей и меня заодно, потому что моя мать все время работала на рисовом поле. Сперва,

конечно, кормили маленьких белых, а я получала то, что осталось. Или совсем ничего. У меня никогда не было в детстве своего собственного молока, которым меня кормила бы моя собственная мать. Я знаю, каково это — остаться без своего законного молока, вечно быть вынужденной сражаться за него, орать от голода во все горло и получать только ту малость, которая осталась после других. Я расскажу об этом Возлюбленной; она поймет. Она — моя дочь. Та самая, для кого мне удалось сохранить молоко даже после того, как у меня его отняли; после того, как они доили меня, как корову, нет, как вредную и упрямую козу, которую держат в самом дальнем углу хлева, чтоб не мешала остальным животным. А вот для того, чтобы готовить им еду или ухаживать за больной миссис Гарнер, я годилась. Я ухаживала за ней, как за родной матерью, если б с той такое случилось и я была бы нужна ей. И если б они хоть когда-нибудь отпускали ее с того рисового поля — ведь я была единственным ее ребенком, которого она не бросила. Я б, наверно, не могла сделать большего для собственной матери, чем я сделала для миссис Гарнер; но с матерью я осталась бы до тех пор, пока она не поправилась бы или не умерла. Я и в тот раз тоже осталась бы с ней, если б Нан меня из толпы не вытащила, прежде чем я успела проверить, есть ли у нее тот знак. Это вроде бы точно была она, очень долго я все никак не могла этому поверить и повсюду искала ее шляпу. Начала даже заикаться. А говорить нормально стала, только встретившись с Халле. Ах, теперь-то все это уже позади. Я здесь. Я выжила. И моя девочка вернулась домой. Теперь я снова могу смотреть вокруг, потому что она тоже все это видит. После того, что случилось в дровяном сарае, я на некоторые вещи смотреть не могла или перестала обращать на них внимание. Теперь по утрам, разжигая огонь в плите, я непременно смотрю в окно, чтобы узнать, какой занимается день, высоко ли уже солнце. Касаются ли уже его лучи ручки насоса или крана на кухне? Смотрю, какого цвета трава — серо-зеленая от росы, или бурая, или еще какая. Теперь я понимаю, почему Бэби Сагз так много думала о цветах вещей в последние годы жизни. У нее раньше просто никогда не хватало времени посмотреть вокруг и уж тем более чем-то полюбоваться. И она любовалась долго — сперва голубым, потом желтым, потом зеленым. Очень полюбила розовый, но это уже перед самой смертью. Я думаю, к красному ее не влекло; и это понятно: мы с Возлюбленной красного ей дали предостаточно. Между прочим, красный и светло-розовый, как тот камень на могиле, были последними цветами, которые я помню. Ну, теперь-то я буду насчет красок настороже, буду ждать. Подумать только, чем станет для нас весна! Я посею морковь, и репу, и редиску — просто чтобы она могла хоть полюбоваться ими. Ты хоть одну редиску когда-нибудь видела, детка? Господи, до чего ж они хорошенькие! Бело-розовые, яркие, с нежными хвостиками, твердые, хрустящие. Приятно даже просто в руках держать. И пахнут, словно бегущий ручей, — горьковато, но счастьем. Мы с тобой вместе станем выдергивать их из земли. Возлюбленная моя. Возлюбленная. Потому что ты — моя, и я должна показать тебе все и научить тебя всему, чему мать учит своего ребенка. Смешно, почему иногда совершенно не помнишь одних вещей и очень хорошо помнишь другие? Я, например, никогда не забуду руки той белой девушки, Эми. Но я забыла, какого цвета была жуткая грива у нее на голове. Хотя глаза вроде были зеленые. Да, кажется, глаза ее я еще помню. Вот у миссис Гарнер глаза были светло-карие, пока она была здорова. А когда заболела, сразу потемнели. Сильная была женщина. Она все пыталась сама себя разговорами от смерти отвлечь и часто говорила: «Я всегда была сильной, как мул, Дженни». Называла меня «Дженни», ей-богу, особенно когда в бреду бормотала. Она была высокая и сильная. Когда мы с ней вдвоем за дровами ходили, так вязанка у нас была не меньше, чем у мужчин. Ужасно ее мучило, что она не в силах стала голову с подушки поднять. И вот чего я до сих пор понять не могу: зачем ей понадобился этот учитель? Интересно, жива ли она? Я-то ведь выжила. Когда я ее видела в последний раз, она могла только плакать, а я — утирать ей слезы: я ей тогда рассказала, что они со мной сделали.

Кто-нибудь же должен был это узнать. Услышать об этом. Хоть кто-нибудь. Может, она еще и жива, ведь этот учитель вряд ли обращался с ней так, как со мной. Но тот первый раз, когда меня избили, стал и последним. Больше никто не разлучит меня с моими детьми. Если бы я не была так занята уходом за миссис Гарнер, может, и узнала бы, что там с ними со всеми произошло. Может, Халле пытался что-то передать мне, а я стояла у ее постели и ждала, пока она оправится в горшок. Потом снова уложила ее в постель, и она сказала, что ей холодно. А сама была горячей, как адский огонь. Потребовала еще одеяло и велела мне закрыть окно. Я отказалась. Сказала, что укрою ее потеплее, но окно не закрою — мне дышать нечем. Пока длинные желтые занавеси в ее спальне раздувались от ветерка, было еще ничего. Невозможно было ни на минуту ее оставить. Может, мне показалось, что я слышала выстрелы, а может, действительно кто-то стрелял? Если б только я кого-то из них могла увидеть! Если бы. А я отвела своих детей в кукурузу и не стала больше ждать Халле. О Господи, как услышала, что та женщина затрещала гремучей змеей, так и отвела. Она спросила, придет ли кто-нибудь еще. Я сказала, что не знаю. Она говорит: я тут из-за вас всю ночь проторчала, больше ждать не могу. Я пробовала ее уговорить, но она ни в какую. Говорит, пошли со мной. Ох! И как назло, ни одного мужчины! Мальчики мои очень испугались. Ты спала у меня за спиной. Денвер тоже спала — у меня в животе. Мне тогда казалось, что душа моя разрывается надвое. Но я сказала, чтобы она брала вас всех с собой, а я должна все-таки вернуться. На всякий случай. Она только искоса на меня глянула и сказала: ты что, женщина, спятила? Но у меня, видно, язык совсем не ворочался: от него кусок оторвался, когда они мне спину полосовали, на лоскуте кожи висел, так я его сильно закусила. Я тогда еще подумала: Господи, вот уже начинаю сама себя есть. Они ведь что сделали: выкопали в земляном полу ямку для моего живота, чтоб ребенка не повредить... Денвер не любит, когда я об этом рассказываю. Она все разговоры о Милом Доме ненавидит; любит только, когда я рассказываю, как она родилась. Но ты-то там жила, так что, хоть ты и была слишком мала, чтобы Милый Дом помнить, я могу рассказать тебе о нем. О том уголке в винограднике. Ты помнишь? Как я тогда бросилась туда, вспомнив про мух! Нет, я, конечно, должна была сразу догадаться, кто ты такая, когда солнце светило так ярко и в тени твое лицо как бы исчезло — в точности как в тот день в винограднике. Я должна была понять сразу, когда из меня буквально хлынула вода, стоило мне увидеть тебя сидящей на пне. Да и когда мне удалось хорошенько рассмотреть твое лицо, то по нему вовсе не трудно было догадаться, как ты можешь выглядеть спустя все эти годы. И еще — когда ты пила воду чашку за чашкой, мне должно было быть ясно, отчего это: ведь в тот день, когда я добралась до дома номер 124, ты срыгнула свои чистые слюнки прямо мне в лицо — дала мне напиться. Я должна была это понять сразу, но меня отвлек Поль Ди. Иначе я бы сразу разглядела следы собственных ногтей у тебя на лбу — в том самом месте, где оставила их всем на обозрение, когда все поддерживала твою голову, там, в сарае, чтоб не падала. Ну а когда ты спросила меня о тех сережках, которые я часто покачивала перед тобой, чтобы тебя позабавить, я должна была сразу все вспомнить, да Поль Ди помешал. Мне кажется, он с самого начала хотел, чтобы ты ушла, только я не позволяла. Ты-то что на этот счет думаешь? Гляди, как он сразу сбежал, когда узнал о нас с тобой — о том, что было в сарае! Слишком он нежный, чтобы слушать такие страсти. Он так и сказал: слишком все это тяжело. Любовь твоя, Сэти, слишком тяжела, говорит. Да что он в этом понимает? Разве хотел бы он ради кого-нибудь умереть? Разве расплатился бы своим телом незнамо с кем за одно лишь слово на камне? Был же, наверно, какой-нибудь другой выход, сказал он мне. Не такой. А вот пусть бы этот учитель оттащил тебя в сторону да и обмерил твою задницу, Поль Ди, прежде чем ее пополам разорвать. Я-то на своей шкуре все это испробовала, и никто, ни двуногие, ни тварь ползучая не заставят моих детей тоже хлебнуть такого. Никого из моих детей! И когда я говорю, что ты — моя, то это значит, что

и я — твоя. Если б меня моих детей лишили, я бы в ту же секунду дышать перестала. Когда я сказала об этом Бэби Сагз, она упала на колени и стала просить Господа простить меня. Но это действительно так. И тогда так было. Я считала, что всем нам нужно поскорее переправиться туда, где сейчас моя мать. Всех они не дали мне переправить, зато не смогли помешать тебе вернуться. Ха-ха. И ты вернулась назад, как и полагается хорошей дочери, какой и я хотела стать и стала бы, если б моя мать успела выбраться с рисового поля до того, как ее повесили и оставили меня одну. А знаешь что? Моей матери так часто совали в рот железный мундштук, что она всегда улыбалась. Даже когда ей было грустно, губы у нее все равно улыбались; а вот ее настоящей улыбки я никогда не видела. Интересно, что они делали, когда их поймали? Пытались убежать, ты как думаешь? Нет, вряд ли. Она ведь была моей матерью, а разве мать может убежать и бросить свою родную дочку с несчастной однорукой женщиной? Даже если она сама и не могла кормить свою девочку больше одной-двух недель и была вынуждена отдать ее общей кормилице, все равно она бы ее не бросила. Говорили, это из-за железного мундштука она все время улыбалась, даже когда вовсе этого не хотела. Как те девушки на дворе бойни, что «работали» там по субботам. Выйдя из тюрьмы, я их хорошо рассмотрела. Они приходили к концу смены по субботам, когда мужчины получали деньги, и работали — за оградой, за сараями. Некоторые работали стоя, прислонившись к дверям мастерской. Часть своих жалких монеток они отдавали перед уходом десятнику, но тогда улыбок на их лицах уже не было. Некоторые из них после этого напивались, чтобы забыть. Другие, наоборот, не пили ни капли — несли все заработанное к Фелпсу, выплачивая долги за самое необходимое для своих детей или матерей. Да, они работали на скотобойне. Это все-таки было очень страшно для женщины, хотя я сама была близка к этому, когда вышла из тюрьмы и тем же способом выкупила твое имя на камне. Но тут Бодуины договорились насчет работы для меня в ресторане у Сойера, и я стала улыбаться своей собственной улыбкой — той самой, какой я улыбаюсь сейчас, когда думаю о тебе.

Но ведь ты все это уже знаешь, потому что ты умненькая, как все говорили. Когда я добралась сюда, ты уже ползала, пыталась вставать на ножки и взбираться по лестнице. Бэби Сагз тогда покрасила ступеньки в белый цвет, чтобы ты могла видеть весь свой путь наверх, в полутьму, туда, куда не доставал свет лампы. Господи, как же ты любила эту лестницу!

Да, я была близка, очень близка к тому, чтобы стать такой же, как те девушки, что приходили на бойню по субботам. Тем более у меня уже был опыт — в мастерской у резчика. Так что до бойни по субботам было рукой подать. Когда я втащила тот розовый камень на холм и положила туда, где ему и положено было лежать, мне и самой захотелось лечь в землю рядом с тобой, положить твою головку себе на плечо и попытаться тебя согреть. И я, наверно, сделала бы это, если б не была так нужна Баглеру, Ховарду и Денвер, ибо душа моя тогда была бесприютна и не знала покоя. Но я не могла лечь с тобой, как бы сильно я этого ни хотела. Тогда, в те времена, я нигде не могла бы лежать спокойно. Теперь могу. Теперь, слава Богу, я могу спать как мертвая. Она ко мне вернулась, моя дочь! И она — моя.

Возлюбленная — моя сестра. Я глотала ее кровь вместе с материнским молоком. А первое, что я услышала после долгой глухоты,— это как она карабкалась по лестнице и падала. Она была моей тайной подругой, пока не явился этот Поль Ди, который вышвырнул ее из нашего дома. Она была моей подругой, сколько я себя помню, и это она помогала мне ждать отца. Мы с ней вместе ждали его. Я очень люблю мать, но знаю, что она убила одну из своих дочерей. И пусть она ко мне очень добра, я все-таки ее боюсь. Ей не удалось тогда убить моих братьев, и они это знали. Они

рассказывали мне «ведьминские» истории, ужасно страшные, и показывали, как нужно убивать, если мне когда-нибудь это понадобится. Может быть, потому, что они были на волосок от смерти, они и решили пойти на Войну. Во всяком случае, говорили мне, что туда собираются. Только, по-моему, они предпочли бы болтаться где-нибудь поблизости и убивать мужчин, а не женщин. А в нашей матери и точно есть что-то такое — сразу ясно, что она способна своих детей убить. Вот я и боюсь, что раз когда-то моя мать смогла убить мою сестру, то это может повториться. Я не знаю, что ее заставило или кто, но, должно быть, что-то очень страшное, и оно еще существует и может заставить ее снова так поступить. Мне нужно было узнать, что так подействовало на нее, но я не хочу. Что бы это ни было, оно приходит в наш дом и в наш двор снаружи, издалека, и может явиться когда только захочет. Вот я и стараюсь не покидать свой дом и всегда внимательно слежу за двором, чтобы это не смогло случиться снова и моя мать не должна была снова убивать.— теперь меня. С тех пор как я ходила учиться к Леди Джонс, я больше из нашего дома одна не выходила. Никогда. В остальные разы — их всего было два — я была с мамой. Один раз мы ходили проведать бабушку Бэби, похороненную рядом с моей сестрой Возлюбленной. А во второй раз мы ходили вместе с Полем Ди на карнавал, и, когда возвращались, я еще подумала: теперь наш дом так и останется пустым, раз он прогнал оттуда маленькое привидение. Но нет. Когда я подошла к дому, Возлюбленная была уже там. Ждала меня. Усталая после долгого пути назад. Готовая принять чью-то заботу о себе; готовая к тому, чтобы я ее защищала. И теперь мне приходится держать мать подальше от нее. Это трудно, но я должна. Все заботы на мне. Я помню: я уже видела мать в каком-то темном месте; там все время что-то скреблось и царапалось. И платье ее так противно пахло. Мы с ней были там вместе, и что-то маленькое все время следило за нами из углов. И порой касалось нас. Да, иногда они нас касались. Я довольно долго не вспоминала об этом, пока меня не заставил вспомнить Нельсон Лорд. Я спросила мать, правда ли это, но услышать, что она ответила, уже не смогла; и стало невозможно ходить в школу к Леди Джонс, ведь я совсем ничего больше не слышала. Наступила полная тишина. И я научилась читать по губам и по выражению лиц угадывать, о чем люди думают, так что мне даже и не нужно было слышать, что они говорят. Вот как получилось, что мы с Возлюбленной смогли играть вместе. Мы не говорили. Играли. На веранде. У ручья. В зеленой комнатке. Все заботы теперь на мне, но она может на меня рассчитывать. Я тогда решила, что она хочет убить маму — на Поляне. В отместку. Но она только поцеловала маму в шею, и мне потом пришлось предупреждать ее: не люби нашу мать слишком сильно. Не люби! Может быть, то страшное еще сидит в ней — то, почему она смогла поднять руку на собственных детей. Я должна была сказать ей об этом. Должна была защитить ее.

Каждую ночь мать отрезает мне голову. Баглер и Ховард говорили, что когда-нибудь она непременно это сделает. Ее красивые глаза смотрят на меня как на чужую. Глаза совсем не злые и не страшные, а такие, словно я младенец, которого она случайно нашла и пожалела. Словно она не хочет этого делать, но должна, и это вовсе не будет больно. Словно это самая обычная вещь, вроде как занозу вытащить или порошинку из глаза — все взрослые детям это делают. Вот она оглядывается на Баглера и Ховарда — чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Потом подходит ко мне. Я знаю, она все сделает хорошо, осторожно, правильно. Что когда она отсечет мне голову, больно не будет. Она это делает, и я лежу спокойно еще минутку, и голова моя пока при мне. Но потом она уносит ее вниз, чтобы заплести мне косы. Я пытаюсь не плакать, но так ужасно больно, когда тебе расчесывают волосы! Когда она начинает заплетать косы, я становлюсь очень сонной. Мне хочется снова лечь и уснуть, но я знаю: если усну, то уже никогда не проснусь. Приходится бороться со сном, пока она меня не причешет, а уж потом можно и спать. Самое противное — ждать, пока она войдет и сделает это. Не тот миг, когда она это делает, а когда ждешь.

Единственное место, где она ночью до меня добраться не может,— это комната бабушки Бэби. А наша спальня наверху раньше принадлежала горничной, когда здесь еще белые жили. А кухня у них была снаружи. Но бабушка Бэби превратила ее в дровяной сарай и мастерскую, когда переехала в этот дом. И черный ход забила, сказав, что больше не желает совершать бесконечные путешествия из кухни в дом и обратно. А у черного хода она устроила теплую кладовую, так что если вы хотите попасть в наш дом, то придется обойти его кругом. Бабушка Бэби говорила, что ей наплевать на сплетни насчет того, что она двухэтажный дом превращает в жалкую негритянскую хижину, где и готовят тоже внутри, и что посетители в хороших платьях не желают даже присесть рядом с кухонной плитой и всякими очистками, и жиром, и копотью. Она на них ноль внимания, так она говорила. В ее комнате я чувствовала себя в полной безопасности. Обычно я могла слышать только свое собственное дыхание, но иногда, днем, мне казалось, что рядом со мной сопит кто-то еще. Я тогда стала следить за нашим псом Мальчиком — как у него живот ходит туда-сюда, чтобы понять, совпадают его вдохи и выдохи с моими или нет; я затаила дыхание, стараясь попасть с ним в такт, но потом выпускала воздух и начинала снова дышать нормально. Просто хотелось узнать, откуда он — этот звук, странный такой, будто кто-то тихо и ритмично дует в горлышко бутылки. Неужели это я сама так дышу? Или Ховард? Кто же? Это случилось как раз тогда, когда для меня наступила полная тишина и когда я не могла разобрать ничего из того, что говорят другие. Мне это в общем-то не мешало, даже наоборот, тишина позволяла мне лучше представить себе своего отца. Я всегда знала, что он скоро приедет. Просто его что-то задерживает. Что-нибудь случилось с лошадью. Река разлилась; лодка дала течь, и пришлось делать новую. Иногда, правда, мне мерещилась толпа линчующих или смерч, который обрушивался внезапно. Отец обязательно должен был приехать, но это было моей тайной. Всю свою остальную, внешнюю часть души я посвящала любви к маме, чтобы она никогда не смогла убить меня; я любила ее даже во сне, когда она причесывала мою отрезанную голову. Я никогда не говорила ей, что папа скоро за мной приедет. Бабушка Бэби тоже сперва думала, что он скоро приедет. Потом, правда, перестала. А я никогда не переставала. Даже когда сбежали Баглер и Ховард. А потом появился Поль Ди. Услышав внизу его голос и мамин смех, я подумала: это он, мой отец! Все равно больше никто в наш дом не приходил. Но когда я спустилась вниз, то увидела Поля Ди. И явился он вовсе не ко мне; ему нужна была только моя мать. Сперва. Потом ему понадобилась еще и моя сестра, но она-то его отсюда и выгнала, и я очень рада, что он ушел. Теперь здесь живем только мы, и я могу защищать Возлюбленную, пока не приедет наш отец и не поможет мне присматривать за мамой и следить, как бы то страшное снова не пробралось в наш дом.

Мой отец больше всего на свете любил недожаренную яичницу-болтунью. Он в нее хлеб макал. Бабушка Бэби часто мне об этом рассказывала. Она говорила, что когда она могла ему зажарить большую яичницу-болтунью, так для него это было все равно что Рождество. Бабушка рассказывала, что всегда даже чуточку побаивалась моего отца, до того он был добрый и хороший. С самого детства — так она говорила — он был слишком хорош для этого мира. И ей от этого становилось страшно. Она думала: Господь ничего без умысла не делает. Белые, должно быть, тоже так думали, поэтому позволили им никогда не разлучаться. Так что у бабушки была возможность хорошо узнать своего сына, заботиться о нем, и он вечно пугал ее своими увлечениями: очень любил зверей, всякие машины, злаки и даже буквы. Он умел считать на бумаге. Его тот хозяин научил. Он предложил это и другим парням, но учиться захотел только мой папа. По словам бабушки, остальные ребята сразу отказались. Один из них, у которого вместо имени было что-то вроде числа [1], сказал: от этого ученья у него душа переменится и он забудет то, о чем забывать не должен, а ему

[1] Сиксо (от *англ.* «six-o») — *букв.* «шесть-о».

такая путаница в мозгах ни к чему. А мой отец сказал: «Если ты считать не умеешь, так тебя всякий обманет. А если не умеешь читать, так тебя каждый проведет». Им это показалось смешным. Бабушка Бэби говорила, что она-то не сразу об этом узнала, но потом поняла, что только потому, что мой отец умел считать, читать и писать, он смог ее выкупить. А еще она говорила, что сама всегда мечтала научиться читать Библию, как настоящие священники. Вот и хорошо, что я научилась и тому, и другому, и я училась очень хорошо, пока не наступила эта тишина и я могла слышать только свое собственное дыхание и еще чье-то — того, кто перевернул кувшин с молоком, стоявший точно посреди стола. Никого там и близко не было. Мама все-таки выдрала Баглера, хотя он его вовсе не трогал. Потом маленькое привидение разбросало и перемяло целую груду только что отглаженного белья и сунуло руки в тесто. Похоже, я была единственной, кто уже тогда все понял. А когда она вернулась, я сразу поняла, кто она такая. Ну, не сразу, конечно, но очень скоро — когда она по буквам произносила свое имя; и это было не то имя, которым ее нарекли, а то, за которое мама заплатила резчику, чтоб вырезал на камне. А когда она стала спрашивать про мамины сережки — я-то о них и вовсе не знала,— что ж, тогда совсем жареным запахло, и я поняла, что это моя сестра пришла и будет вместе со мной ждать нашего отца.

Отец мой был не человек, а чистый ангел. Вот он посмотрит на тебя и сразу скажет, где у тебя болит, и тут же все вылечит. Он подвесил над кроватью бабушки Бэби такую петлю, чтоб ей легче было вставать с постели и ложиться, а еще он сделал такую ступенечку, чтобы когда она подолгу простаивала на кухне, то стояла бы ровно. Бабушка говорила, что она всегда боялась, что какой-нибудь белый собьет ее с ног на глазах у детей. Она всегда вела себя очень достойно и вообще все делала правильно, особенно перед детьми, потому что не хотела, чтобы они видели, как ее сбивают с ног. Она говорила, дети прямо с ума сходят, когда видят такое. В Милом Доме никто вроде бы ничего подобного не делал и не собирался делать, так что мой отец там никогда этого не видел и с ума не сходил, и даже сейчас я об заклад готова побиться, что он пытается добраться сюда. Если уж Поль Ди смог это сделать, так мой папа тоже сможет. Не человек, а чистый ангел. Нам всем нужно быть вместе — мне, ему и Возлюбленной. А мама как хочет: может оставаться с нами или уйти куда-то с этим Полем Ди. Если только папа сам не захочет, чтобы она была с ним, но я думаю, что теперь уже не захочет, потому что она пустила Поля Ди в свою постель. Бабушка Бэби рассказывала, что люди всегда смотрели на нее свысока, потому что у нее было восемь детей от разных мужчин. И цветные, и белые — все смотрели на нее свысока. Считается, что рабы не должны получать удовольствия и испытывать какие-то чувства. Их тела вроде как для этого не приспособлены. С другой стороны, они должны рожать как можно больше детей, чтобы доставить удовольствие своему хозяину. Но при этом считается, что сами они никакого удовольствия испытывать не должны. Бабушка Бэби говорила, что все это ерунда и чтобы я всегда прислушивалась к своему телу и любила его.

Моя зеленая комнатка... Когда бабушка умерла, я пошла туда. Мама строго запретила мне выходить во двор и есть вместе с остальными. Мы с ней все это время оставались в доме. Это было больно и обидно. Я знаю, бабушке Бэби непременно понравились бы и сами поминки, и те люди, что пришли к нам во двор, потому что она очень тосковала, никого не видя и никуда не выходя, и печалилась, думая о различных цветах радуги и о том, как она ошибалась насчет того, что душа и сердце что-то могут и что-то значат. Все равно белые люди явились к ней в дом. Она все делала правильно, но они таки явились. И она не знала, как быть. Все, что у нее осталось, это ее сердце, но они и сердце ее совсем доконали — даже Война с ней такого сделать не сумела.

Она мне все про моего отца рассказала. Как тяжко ему приходилось работать, чтобы выкупить ее. А когда был испорчен пирог и все переглаженное белье измято и разбросано, но главное, когда я услышала, как моя

маленькая сестра карабкается по лестнице, чтобы добраться до своей кроватки, бабушка Бэби и обо мне все мне рассказала. Что я была заколдована. Что мое рождение было просто чудом и что при любой опасности я все время каким-то образом оказывалась спасена. И что мне не нужно бояться маленького привидения. Оно никогда не причинит мне вреда, потому что я попробовала его крови, крови своей сестры, когда мать кормила меня грудью. Она сказала, что этот дух преследует маму и ее тоже, потому что она ничего тогда не сделала, чтобы остановить зло. Но меня дух никогда не тронет. Мне просто нужно быть к нему внимательной, потому что это жадный дух и ему нужно очень много любви, что, если подумать, только естественно. Я так и делаю. Люблю ее. Действительно очень люблю. Она играла со мной и всегда приходила, когда я в ней нуждалась. Она моя, Возлюбленная. Она моя.

Я — Возлюбленная, и она моя. Я вижу, как она собирает цветы, обрывая листья на стеблях кладет их в круглую корзинку листья ей не нужны она заполняет корзинку доверху и раздвигает траву я бы непременно помогла ей, но облака застилают путь как могу я рассказать о вещах, которые существуют только в моем воображении я неотделима от нее я нигде не могу остановиться ее лицо — это мое лицо, и я хочу быть там, где ее лицо, хочу смотреть на него горячо

Все это — сейчас всегда — только сейчас я всегда буду ползти по земле и смотреть на других, ползущих со мною рядом я ползу по земле тот человек, что лежит на моем лице, мертв его лицо — это не мое лицо изо рта у него пахнет сладко, но глаза заперты некоторые поедают сами себя не я люди без кожи приносят нам утром свою мочу вместо питья у нас нет ничего ночью я не могу видеть того мертвого человека, что лежит у меня на лице дневной свет просачивается сквозь щели, и я снова вижу его запертые глаза я не очень большая маленькие крысы не дожидаются, пока мы уснем кто-то их гонит, только здесь слишком тесно если бы у нас было больше питья, мы могли бы плакать мы не можем даже потеть или выделять мочу, так что люди без кожи приносят нам свою однажды они принесли нам сладкие камешки, чтобы мы их сосали все мы пытаемся расстаться со своими телами тот мертвый человек, что лежит на моем лице, сделал это очень трудно заставить себя умереть навсегда просто ненадолго засыпаешь, потом возвращаешься в самом начале нас еще могло стошнить теперь уж нет теперь мы не можем у него очень красивые белые зубы кого-то бьет дрожь я чувствую это он изо всех сил старается покинуть свое тело, и это похоже на трепет маленькой птицы но здесь так тесно, что даже трепетать негде, он не может умереть того мертвого человека стащили с моего лица жаль, что я больше не увижу его красивых белых зубов

Сейчас мы не ползем по земле мы стоим, но ноги мои заперты — как глаза моего мертвого человека я не могу упасть, потому что здесь чересчур тесно люди без кожи говорят очень громко я не умерла этот хлеб цвета моря я слишком голодна, чтобы есть солнце заставляет меня закрыть глаза те, кто способен умереть, лежат штабелем я не могу найти того человека, чьи зубы мне нравились горячо небольшой такой холм из мертвых тел горячо люди без кожи тычут в него какими-то палками а вот и та женщина с лицом, которое мне нужно это мое лицо они падают в море цвета хлеба сережек у нее в ушах нет будь у меня такие зубы, как у моего мертвого, я бы выгрызла у нее вокруг шеи кружок отгрызла бы ее напрочь я знаю, ей это не нравится те-

перь здесь хватает места, чтобы ползти и смотреть, как ползают другие сейчас и всегда только ползать здесь, внутри та женщина с моим лицом в море горячо

В самом начале я могла ее видеть я не могла ей помочь, потому что облака застилали мне путь вначале я могла видеть ее что-то сверкало у нее в ушах ей не нравится тот кружок вокруг шеи я это знаю я пристально смотрю на нее, чтобы она догадалась, что облака застилают мне путь я знаю, она меня видела я смотрю на нее и вижу, что она меня видит она делает пустыми свои глаза и вот я здесь, в том месте, где у нее лицо, и рассказываю ей, что пройти мне мешали облака шума она хочет свои сережки она хочет свою круглую корзинку я хочу ее лицо горячо в самом начале женщины были отдельно от мужчин буря разбросала нас и смешала мужчин с женщинами и женщин с мужчинами именно с этого времени я и стала существовать за спиной у того мужчины в течение долгого времени я видела над собой только его шею и широкие плечи я маленькая я люблю его, потому что у него есть песня когда он перевернулся на спину и умер, я увидела зубы, сквозь которые он пел его пение было тихим он пел о том месте, где женщины собирают цветы и очищают их от лишних листьев, а потом кладут в круглую корзинку пока не появились те облака она ползет где-то рядом с нами но я не вижу ее, пока он не запирает свои глаза и не умирает прямо на моем лице все мы такие он больше не дышит, а его недышащий рот пахнет сладко остальные не знают, что он умер я знаю он больше не поет свою песню теперь вместо той песни я люблю его красивые белые зубы

Я не могу снова потерять ее мой мертвый человек мешал мне пройти, как и те облака шума когда он умер у меня на лице, я смогла увидеть ее она вот-вот улыбнется мне вот-вот... ее сережки с остренькими концами исчезли люди без кожи громко кричат они проталкивают вперед моего мертвого, но не ту женщину с моим лицом она уходит куда-то внутрь они не проталкивают ее вперед она уходит тот холмик исчез она собиралась вот-вот улыбнуться мне вот-вот горячо

Теперь они не ползут это мы ползем они плывут по водам моря они взламывают тот холмик и проталкиваются сквозь него я не могу отыскать того, с хорошенькими белыми зубками я вижу темнокожее лицо, готовое вот-вот улыбнуться мне это мое собственное лицо готово вот-вот мне улыбнуться у нас на шее железный ошейник у нее в ушах нет сережек с остренькими концами и той круглой корзинки у нее нет она уходит в воду с моим лицом

Я стою под дождем остальных забрали меня не забрал никто и я падаю, словно этот дождь я смотрю, как он ест там, внутри я припадаю к земле, чтобы удержаться и не начать падать вместе с дождем я вот-вот рассыплюсь на куски ему больно там, где я сплю он кладет туда свой палец я роняю пищу и разваливаюсь на куски она отнимает у меня мое лицо нет никого, кому я нужна кто назовет меня по имени я жду на мосту, потому что она — под ним ночь проходит, и день проходит снова снова ночь-день ночь-день я жду никакого железного ошейника у меня на шее больше нет лодки не плавают по этим водам здесь нет людей без кожи мой мертвый человек здесь тоже не плавает его зубы там, внизу, где синева и трава там же осталось и лицо, которое мне необходимо лицо, что вот-вот улыбнется мне вот-вот улыбнется днем бриллианты в воде, где и она сама, и те черепашки ночью я слышу, кто-то жует, и глотает, и смеет-

ся смех принадлежит мне она — это мой смех я — смеющаяся я вижу ее лицо мое лицо это то лицо, которое собиралось вот-вот улыбнуться мне там, где мы ползли по земле теперь она снова вот-вот улыбнется ее лицо всплывает из-под воды горячо ее лицо — это мое лицо она не улыбается она жует и глотает мне нужно мое лицо я вхожу трава раздвигается она раздвигает ее я в воде, и она идет ко мне у нее нет круглой корзинки нет железного ошейника на шее она поднимается туда, где бриллианты я следую за ней мы внутри бриллиантов, которые теперь превратились в сережки мое лицо приближается я должна получить его я ищу способ соединиться с ним я так люблю свое лицо мое темнокожее лицо совсем близко я хочу с ним соединиться она шепчет мне шепчет я тянусь к ней она жует, и глотает, и касается меня она знает, что я хочу с ним соединиться она жует и глотает меня я исчезла теперь я — ее лицо у меня больше нет лица я вижу себя уплывающей прочь горячо я вижу в воде свои пятки я одна я хочу быть нами обеими я хочу соединиться я выхожу из голубой воды когда мои собственные пятки куда-то уплывают от меня, я выхожу из воды мне нужно найти место, где я буду существовать воздух тяжек я не умерла нет вот какой-то дом она что-то шепчет мне я там, где она мне велела я не умерла я сажусь солнце бьет мне в глаза, я закрываю их когда я их открываю, то вижу лицо, которое потеряла это лицо Сэти, той, что покинула меня Сэти видит меня и понимает, что я вижу ее и ту ее улыбку ее улыбающееся лицо — вот место для меня это то лицо, которое я потеряла она — это мое лицо, и она улыбается мне наконец-то она это делает горячо теперь мы можем соединиться горячо

Я — Возлюбленная, и она моя. Сэти — та, что собирала цветы, желтые цветы, прежде чем скорчиться на земле и ползти. Уносила цветы прочь, обрывая их зеленые листья. Теперь эти цветы — на том стеганом одеяле, под которым мы спим. Она готова была вот-вот улыбнуться мне, когда явились те люди без кожи и вытащили нас наверх, на солнечный свет, вместе с мертвыми, а мертвых побросали в море. Сэти тоже упала в море. Она упала сама. Они ее не толкали. Она сама туда упала. Она готова была вот-вот улыбнуться мне, но когда увидела, как мертвых сталкивают в море, то прыгнула тоже и бросила меня одну и без лица и своего лица мне тоже не оставила. Сэти — это то лицо, которое я нашла и потеряла в реке под мостом. Когда я погрузилась в воду, то увидела, как ее лицо приближается ко мне; это было и мое лицо тоже. Я хотела с ней соединиться. Я пыталась это сделать, но она всплыла наверх, к солнечным зайчикам. Я снова потеряла ее, но отыскала тот дом, о котором она мне шепнула, там она и оказалась, наконец улыбаясь мне. Это хорошо, но я не могу снова потерять ее. Единственное, что я хочу знать: почему она прыгнула в воду, когда мы ползли по земле? Зачем она это сделала, когда вот-вот собиралась улыбнуться мне? Я хотела соединиться с ней в море, но и шагу не могла сделать; я хотела помочь ей, когда она собирала цветы, но меня слепил дым от выстрелов, и я снова потеряла ее. Три раза я теряла ее: один раз, когда она собирала цветы, из-за тех облаков шума; потом, когда она прыгнула в море, вместо того чтобы улыбнуться мне; и еще раз под тем мостом, когда я погрузилась в воду, чтобы соединиться с ней, и она подплыла ко мне, но так и не улыбнулась. Она шептала мне что-то, жевала меня, потом уплыла прочь. Теперь я нашла ее в этом доме. Она улыбается мне — моим собственным лицом улыбается мне! Я ни за что не расстанусь с ней снова. Она моя.

* * *

Скажи мне правду. Разве ты пришла не оттуда?
Да. Я была там.
Ты вернулась из-за меня?
Да.
Ты помнишь меня?
Да. Я тебя помню.
Ты никогда меня не забывала?
Твое лицо — это мое лицо.
Ты действительно простила меня? Ты останешься? Здесь ты в полной безопасности.
А где те люди без кожи?
Там. Далеко отсюда.
Они не могут добраться сюда?
Нет. Один раз пытались, да я их остановила. Они больше никогда не вернутся.
Один из них был в том же доме, где и я. Он делал мне больно.
Они больше не могут сделать нам больно.
Где твои сережки?
У меня их забрали.
Те люди без кожи забрали их?
Да.
Я хотела помочь тебе, да облака застилали мне путь.
Здесь таких облаков нет.
Если они наденут тебе на шею железный ошейник, я его разгрызу.
Возлюбленная моя.
Я сплету тебе новую круглую корзинку.
Ты вернулась. Вернулась.
А мы с тобой улыбнемся мне?
Разве ты не видишь, что я уже улыбаюсь?
Я люблю твое лицо.

Мы играли у ручья.
Нет, я была там, в воде.
А когда было тихо, мы играли.
Облака шума застилали мне путь.
Когда ты была нужна мне, ты всегда приходила.
Мне нужно было ее лицо, чтобы самой улыбнуться.
Я могла слышать только дыхание.
Он больше не дышал; видны были только зубы.
Она сказала: ты не причинишь мне зла.
Она причинила мне боль.
Я буду защищать тебя.
Я хочу ее лицо.
Не люби ее слишком сильно.
Я уже люблю ее слишком сильно.
Осторожней, она может околдовать тебя.
Она что-то жует и глотает.
Не засыпай, когда она расчесывает тебе волосы и заплетает косы.
Она — тот смех; я — та, что смеялась.
Я слежу за домом; и за двором тоже.
Она меня бросила.
Скоро за нами приедет наш папа.
Горячо.

Возлюбленная моя
Ты моя сестра
Ты моя дочь

Ты мое лицо; ты это я
Я вновь обрела тебя; ты вернулась ко мне
Ты моя Возлюбленная
Ты моя
Ты моя
Ты моя

У меня есть молоко для тебя
У меня есть улыбка для тебя
Я стану заботиться о тебе

Ты мое лицо; я это ты. Почему же ты бросила меня? Ведь я это ты.
Я больше никогда не оставлю тебя
Никогда больше не смей оставлять меня
Ты никогда больше меня не оставишь
Ты погрузилась в воды реки
Я пила твою кровь
Я принесла тебе молоко
Ты забыла мне улыбнуться
Я любила тебя
Ты сделала мне больно
Ты вернулась ко мне
Ты меня бросила

Я ждала тебя
Ты моя
Ты моя
Ты моя

Это была совсем маленькая церковь, не больше обычного хорошего дома. Скамьи были без спинок, а поскольку прихожане сами исполняли обязанности хора, то специального места для хора не требовалось. Прихожане побогаче специально пожертвовали некую сумму на строительство кафедры для пастора, чтобы он несколько возвышался над своей паствой, однако особой необходимости в этом не было — нельзя же ему было оказаться выше белого дубового креста, который уже занял самое подходящее место. Прежде чем стать церковью Святого Спасителя, этот дом служил бакалейной лавкой, где боковые окна были ни к чему, а окна фасада использовались как прилавок. Они были заклеены бумагой, пока члены конгрегации решали, то ли закрасить стекла, то ли повесить на окна шторы — им хотелось одновременно и обрести уединение, и не потерять того небольшого количества света, которое, возможно, посетит церковь. Летом двери постоянно оставались открытыми навстречу ветерку. Зимой железная печка в приделе грела как могла. Перед главным входом было крепко сколоченное крыльцо, где обычно прежде сиживали покупатели бакалейной лавки, а дети смеялись над историей про мальчишку, который сунул голову между прутьями перил да и застрял. Солнечным тихим январским днем на крыльце было явно теплее, чем в самой церкви, особенно если железная печка не топилась. В сыроватом подвале было, впрочем, почти терпимо, но там не было ни света, чтобы пробраться к тюфяку на полу, ни таза для умывания, ни гвоздя, на который можно повесить одежду. А масляная лампа, принесенная Полем Ди, выглядела в подвале настолько печально, что он предпочитал сидеть на крыльце и согреваться с помощью спиртного, сунув бутылку в карман куртки. От выпитого спиртного действительно становилось теплее, но глаза у Поля Ди все время были красными. Он зажал руки между коленями не потому, что они дрожали; просто ему некуда было их деть. Заветная жестянка из-под табака была теперь открыта, и содержимое

ее рассыпалось и валялось как попало, превращая его то ли в свою игрушку, то ли в жертву.

Он никак не мог понять, почему ему на все это потребовалось так много времени. Он с тем же успехом мог бы прыгнуть в огонь вместе с Сиксо, и они отлично посмеялись бы вместе. Все равно ведь пришлось сдаваться, почему же не встретить свою гибель со смехом, выкрикивая «Севен-О» [1]? Почему бы и нет? К чему откладывать? Он уже однажды смотрел вслед своему брату, махавшему на прощанье рукой с задка телеги,— жареный цыпленок в кармане, на глазах слезы. Мать. Отец. Матери он не помнил. Отца никогда не видел. Он был самым младшим из трех сводных братьев (мать у них была одна, а отцы разные), проданных Гарнеру и живших у него на ферме без права выходить за ее пределы целых двадцать лет. Однажды, в Мэриленде, он встретил четыре семьи рабов, которые в течение ста лет жили вместе: прадеды, деды, матери, отцы, тетки, дядья, двоюродные сестры и братья, дети. Мулаты, квартероны, негры, метисы. Он смотрел на них с восторгом и завистью и каждый раз, встречая большие семьи цветных, приставал к ним с вопросами, кто кому кем приходится. Ему рассказывали с удовольствием.

— Это вот моя тетушка. А вон тот мальчик — ее сынок. А это двоюродный брат моего отца. Мама была замужем дважды, так что это моя сводная сестра и ее двое детишек. Ну а перед тобой — моя жена...

Ничего подобного у него самого никогда не было, и, подрастая в Милом Доме, он о семье не тосковал. У него были братья, двое друзей, на кухне — Бэби Сагз, хозяин, который учил их стрелять из ружья и прислушивался к их словам, и хозяйка, которая варила им суп и никогда не повышала голоса. Двадцать лет они прожили в этой колыбели, пока не уехала Бэби, не появилась Сэти и Халле не взял ее в жены. У них была настоящая семья; и Сиксо тоже с чертовским упрямством стремился создать настоящую семью с той женщиной с тридцатой мили. Когда Поль Ди распрощался со своим старшим братом, старый хозяин уже умер, хозяйка стала какой-то нервной, а их общая колыбель дала здоровенную трещину. Сиксо уверял всех, что миссис Гарнер заболела по вине доктора, потому что тот давал ей лекарство, которое дают жеребцам, когда они ногу сломают, а порох тратить не хочется, и если бы не новые правила, введенные этим учителем, он, Сиксо, обязательно бы все ей рассказал. Они над ним посмеялись. У Сиксо всегда было наготове очередное объяснение. Все-то на свете он знал. Даже про удар мистера Гарнера — Сиксо заявил, что тому просто выстрелили в ухо. Кто-нибудь из завистливых соседей.

— А кровь-то где же? — спрашивали они его.

Крови не было. Мистер Гарнер явился домой, навалившись на шею своей кобылы, весь в поту, бледный до синевы, но ни капли крови видно не было. Сиксо только ворчал; он был единственным из них, кому не было жаль, что мистер Гарнер умирает. Позже, однако, он об этом очень сильно пожалел; все они пожалели.

— Зачем она позвала его? — спрашивал Поль Ди.— Зачем он ей, учитель этот?

— Ей нужен кто-нибудь, умеющий хорошо считать,— сказал Халле.

— Так ты же умеешь!

— Умею, да не так.

— Нет, парень,— сказал Сиксо.— Просто ей тут нужен еще один белый. Взамен.

— Зачем?

— А ты как думаешь? Ну-ка?

Что ж, так вот оно и было. Никто не предполагал, что Гарнер умрет. Никто даже об этом не думал. Оказалось, все держится только на нем. Когда он умер, их жизни тоже стали останавливаться, замерли. Рабство, оно рабство и есть, как там его ни назови. Особенно прижали Поля Ди; он был мужчина в самом расцвете сил, выше многих других и сильнее многих.

---

[1] К этому времени Сиксо уже знал, что у него будет ребенок. Seven *(англ.)* — семь.

Сперва у него отняли ружье, потом мысли, потому что учитель не желал слушать советы чернокожих. Их попытки что-то ему объяснить он называл дерзостью и разработал целую систему наказаний (которую изложил в своей книжечке), чтобы отучить их от этого. Он жаловался, что они слишком много едят, слишком много отдыхают, слишком много болтают языком, что, пожалуй, было правдой, если сравнивать с ним самим: он мало ел, еще меньше говорил и, кажется, совсем не отдыхал. Однажды он увидел, как они играют в пристеночек, и одного его оскорбленного взгляда было достаточно, чтобы Поль Ди моргнул и промахнулся. Он был и со своими учениками не менее суров, только наказания для них у него были другие.

Долгие годы Поль Ди считал, что этот учитель ломал и превращал в детей тех, кого Гарнер воспитал настоящими мужчинами. Именно это и заставило их решиться на побег. Теперь, измученный вывалившимся наружу содержимым той жестянки из-под табака, он все пытался понять, сколь же на самом деле велика разница между тем, что было с ними до появления этого учителя и после. Гарнер называл их мужчинами и объявлял об этом всем и каждому — но они были мужчинами только на ферме и с его разрешения. То ли он называл этим словом то, что видел в действительности, то ли пытался создать что-то, им самим выдуманное. Это не давало покоя Сиксо и даже Халле; Полю Ди всегда было ясно, что эти-то двое точно были настоящими мужчинами, независимо от того, как их называл Гарнер. И его весьма беспокоил вопрос относительно собственных мужских качеств; он на этот счет был собой недоволен. Нет, он, конечно же, как и все, выполнял всякую мужскую работу — но неясно, то ли с разрешения мистера Гарнера, то ли по собственному желанию? И кем бы он в конце концов стал — без Милого Дома, без Гарнера? В тех краях, например, откуда Сиксо был родом или его собственная мать? Или, Господи помилуй, на невольничьем судне? Неужели только то, что какой-то белый, назвав его мужчиной, его в мужчину и превратил? Предположим, Гарнер проснулся бы однажды утром и передумал. Взял бы это слово назад. Убежали бы они тогда или нет? И если бы он даже этого не сделал, остались бы все три Поля в Милом Доме на всю жизнь или нет? Почему ему с братом, чтобы решиться на побег, понадобилась целая ночь? Неужели чтоб обсудить, стоит ли им присоединяться к Сиксо и Халле? А все потому, что они были отгорожены от окружающего мира с помощью чудесной лжи, а жизнь Халле и Бэби Сагз до Милого Дома казалась им просто цепью неудач. Не понимая тех мрачных историй, которые рассказывал Сиксо, или забавляясь ими, они чувствовали себя защищенными от невзгод и были убеждены в том, что они особенные. Они даже не подозревали, что существует Альфред в штате Джорджия, и настолько любили тот мир, что окружал их, что готовы были мириться с чем угодно, лишь бы жить и быть там, где луна, на которую он, Поль Ди, как потом оказалось, не имел никакого права, все-таки всходила и всегда была прекрасна. Они познали очень мало любви, да и то потихоньку, тайком. Его маленькой любовью было, конечно, дерево; не такое, как Братец — старый, с широкой кроной и манящей тенью,— нет, ничего похожего.

В Альфреде, штат Джорджия, была одна осинка, которую даже еще и подростком назвать было нельзя. Тоненькая, ему еле до пояса — прутик, который годится разве что лошадь погонять. Коверканье слов в песнях да та осинка. Он жил, чтобы петь песни, коверкавшие жизнь, и наблюдать за той осинкой, которая жизнь утверждала. И никогда, ни минуты не верил, что может спастись. Пока не пошли дожди. Зато потом, после того как индейцы чероки указали ему путь и послали его вдогонку за цветом деревьев, ему хотелось только двигаться, идти, проводить в пути целый день, а назавтра оказываться уже совсем в другом месте. И он примирился с отсутствием в его жизни теток, двоюродных братьев, сестер и детей. И даже женщины — пока не пришел к Сэти.

А потом эта девушка выгнала его. Как раз когда все сомнения, сожаления и все незаданные вопросы куда-то разом отступили, через много-много

дней после того, как он поверил, что собственной волей заставил себя жить, и как раз там, где он наконец захотел пустить корни. Она гнала его из одной комнаты в другую, из дома — в сарай. Швыряла его, как старую тряпичную куклу.

Сидя на крыльце бывшей бакалейной лавки, а ныне церкви, немножко пьяный и мучаясь от безделья, он вполне мог разрешить себе подобные мысли. И вообще — подумать: неторопливо, со всякими «а что, если», которые врезаются глубоко, но не дают достаточно твердой опоры, чтобы можно было за нее уцепиться. Так что он держался сам за себя, вцепившись одной рукой в кисть другой. То, что он, проходя мимо жизни этой женщины, в эту жизнь вошел и позволил ей войти ему в душу, как раз и явилось причиной его падения и краха. Желание прожить оставшиеся годы с настоящей, принадлежащей одному ему женщиной было совершенно новым, и когда он это желание утратил, ему хотелось только оплакивать свою утрату и думать спокойно и неторопливо, хотя подобные мысли и не давали возможности обрести хоть какую-то опору. Когда он плыл по течению, думая лишь о том, где в следующий раз поесть и переночевать, когда все воспоминания были плотно упакованы и спрятаны у него в груди, чувства утраты не возникало, как не возникало и ощущения, что он неудачник. Все, что могло получиться, как-то получалось. Теперь он пытался понять, когда же это все пошло наперекосяк, и понял, что, начиная с того их плана, все действительно шло наперекосяк, хотя план на самом деле был очень хороший. Разработанный в мельчайших деталях, с учетом всех возможных ошибок и просчетов.

Сиксо, снова заговоривший по-английски, собирая лошадей в табун, рассказывает Халле то, что сообщила ему женщина с тридцатой мили: семеро негров с ее фермы и еще двое с другой отправляются на Север. Эти двое уже проделывали такое раньше и дорогу знают. Одна из этих двоих готова ждать их в кукурузе, когда та достаточно подрастет; она будет ждать всю ночь и половину следующего дня и, если они придут, отведет их туда, где будут спрятаны остальные беглецы. Она даст знать, когда придет в кукурузу: затрещит, как гремучая змея. Сиксо был твердо намерен бежать, и его женщина — тоже; Халле собирался вместе со всей семьей. Поль Ди и Поль Эй сказали: им нужно время, чтобы подумать, поразмышлять, к чему они придут в итоге; как будут жить дальше; будет ли у них работа; у кого они будут жить и не стоит ли им попытаться найти Поля Эф, хозяин которого вроде бы жил где-то на «большой реке». Они просят на обсуждение всего одну ночь, а потом скажут, что решили.

Теперь им нужно только дождаться наступления лета, когда кукуруза поднимется во весь рост. И еще полнолуния.

И еще. Не лучше ли выйти затемно, чтобы с рассветом уже быть в пути и, таким образом, получить некоторую фору? Или все же лучше отправиться на рассвете, когда все будет видно? Сиксо недоволен последним вариантом. Если выйти ночью, будет больше времени; к тому же ночь защитит их своей чернотой. Он даже не спрашивает, не боятся ли они. За оставшееся время он умудряется несколько раз сбегать ночью в кукурузу и спрятать возле ручья одеяла и два ножа. Сможет ли Сэти перейти вброд ручей? Сиксо отвечает, что к тому времени, как кукуруза поднимется во весь рост, ручей совершенно пересохнет. У них, правда, совсем нет еды, чтобы отложить впрок, но Сэти обещает добыть кувшин сахарного сиропа или патоки и немного хлеба, когда срок подойдет. Она только просит, чтобы одеяла непременно были на месте; они понадобятся, чтобы пристроить малышку ей на спину и дать детям возможность укрыться во время путешествия. Запасной одежды у них, конечно, нет; только та, что на них. Ни у кого нет и башмаков. Ножи помогут им прокормиться, но на всякий случай они прячут в тайник веревку и котелок. В общем, хороший план.

Они наблюдают за учителем и запоминают, когда он и его ученики приходят и уходят: нужно точно знать — когда и куда они уходят и сколько времени отсутствуют. Миссис Гарнер, страдая по ночам бессонницей, утром обычно спит глубоким сном. В отдельные дни учитель занимается со

своими учениками до завтрака. Раз в неделю они вообще не завтракают — отправляются за десять миль в церковь, рассчитывая по возвращении на обильный обед. После ужина учитель обычно пишет что-то в своей записной книжке, а его ученики чистят и точат инвентарь. Самый ненадежный человек — Сэти, потому что ее в любое время может позвать миссис Гарнер, даже ночью, когда боль, слабость или невыносимое одиночество не дают ей покоя. Итак: Сиксо и оба Поля отправятся в кукурузу сразу после ужина и будут ждать у ручья женщину с тридцатой мили. Халле приведет Сэти и троих детей перед самым рассветом — но до восхода солнца и до того, как куры и коровы проснутся и потребуют внимания; так что, когда над кухонной плитой появится первый дымок, все они будут уже у ручья или даже переправятся через него. А если миссис Гарнер и понадобится ночью Сэти, то Сэти будет на месте и придет к ней. Остается только дождаться лета.

Но. Весной Сэти оказалась беременна и к середине лета так отяжелела, что, пожалуй, могла и не поспеть за мужчинами, которые, конечно, способны были нести детей, да только не Сэти.

Но. Соседи, у которых Гарнер, пока был жив, совершенно отбил охоту посещать Милый Дом, теперь чувствуют себя свободнее и частенько заходят в гости; они могут появиться у ручья в самый неподходящий момент.

Но. Детям Сэти больше не разрешают играть на кухне, так что она мотается туда-сюда между хозяйским домом и своей хижиной, беспокойная и расстроенная, пытаясь уследить за ними. Для работы они еще слишком малы, мужчины их взять с собой не могут, а малышке всего девять месяцев от роду. Лишившись помощи миссис Гарнер, Сэти сбивается с ног, а запросы учителя все растут.

Но. После объяснения по поводу съеденного молочного поросенка Сиксо стали по ночам запирать в амбаре и на все — на закрома, на загоны для скота и птицы, на курятники, на кладовую — навесили замки. Просто нет места, где можно было бы собраться и поговорить. Теперь Сиксо все время носит во рту гвоздь, чтобы с помощью его развязать узел на веревке, если понадобится.

Но. Халле велели отрабатывать свой долг в Милом Доме, и у него больше нет возможности покидать ферму без разрешения учителя. Или же — по его поручению. Только Сиксо, который тайком ходит на свидания со своей женщиной, и Халле, долгие годы ходивший на заработки, знают, что лежит за пределами Милого Дома и как туда добраться.

Это хороший план. Он выполним даже при неусыпном наблюдении учителя и его учеников.

Но приходится его изменить — совсем чуть-чуть. Сперва время ухода. Они заучивают наизусть все об окрестностях Милого Дома, что рассказывают им Халле и Сиксо. Сиксо, которому потребуется время, чтобы развязать узел на веревке, сломать замок на двери амбара и при этом не потревожить лошадей, выйдет попозже и присоединится к ним у ручья вместе с женщиной с тридцатой мили. Потом они четверо отправятся прямиком в кукурузу. Халле, которому теперь тоже нужно больше времени из-за Сэти, решает переправить ее и детей еще ночью, не дожидаясь рассвета. Итак, все сразу пойдут в кукурузу и не станут собираться у ручья. Кукуруза сейчас им по плечи — вряд ли вырастет выше. Луна пухнет на глазах. Они с трудом заставляют себя думать об уборке урожая, с трудом разговаривают друг с другом, с трудом занимаются прополкой и не решаются громко кого-то окликнуть — боятся пропустить тот миг, когда в кукурузе затрещит гремучая змея, а на самом деле — не змея и не птица. И вот однажды, ближе к полудню, они слышат сигнал. А может, слышит только Халле, который тут же начинает петь условную песенку, чтобы остальные все поняли: «Тише, тише, кто меня кличет? Тише, тише, кто меня кличет? Боже мой, Боже, что же мне делать?»

Во время обеденного перерыва Халле приходится уйти с поля. Он обязательно должен сообщить Сэти, что слышал условный сигнал. Две предшествующие ночи Сэти провела у миссис Гарнер, и Халле не может

полагаться на счастливый случай: необходимо предупредить ее, ведь в эту ночь она не сможет дежурить у хозяйки. Оба Поля видят, как Халле уходит. Сидя в тени Братца и жуя кукурузный пирог, они видят, как он, чуть покачиваясь, удаляется от них. Пирог вкусный. Они слизывают пот с верхней губы, чтобы немного подсолить его. Учитель и его ученики уже вернулись, обедают. Халле мерно движется по дороге. Молчит, не поет.

Никто не знает, что с ним произошло. Разве что потом, у маслобойки, его видел Поль Ди — это было в последний раз, когда кто-то из них его видел. Поль Ди знал лишь, что Халле исчез, так и не предупредив Сэти, и только потом увидел его — на корточках и с перемазанным маслом лицом. Может, когда он подошел к дверям и попросил позвать Сэти, этот чертов учитель успел уловить в его голосе тревогу — почти незаметную, но этого оказалось достаточно, чтобы учитель немедленно схватился за свое ружье, которое всегда наготове и всегда при нем. Возможно, Халле сделал другую ошибку: сказал «моя жена» как-нибудь так, что учителю это не понравилось. Сэти говорит, что вроде бы слышала выстрелы, но не выглянула из окна спальни миссис Гарнер. Однако Халле в тот день точно не был убит или ранен, потому что Поль Ди видел его значительно позже, когда Сэти уже убежала, хотя никто ей не помогал; когда Сиксо уже отсмеялся в первый и последний раз; когда бесследно исчез его брат, Поль Эй. Он видел Халле, перепачканного маслом, с пустыми, как у рыбы, глазами. Может, это учитель стрелял ему вслед? Или под ноги, чтобы проучить за очередной проступок? А может, Халле сам забрался в тот амбар, спрятался там на чердаке и оказался запертым на замок вместе с добром учителя. Все возможно. Он исчез, и теперь остальные были предоставлены самим себе.

Поль Эй после обеда снова отправился таскать доски. Они должны были увидеться теперь только дома, после ужина. Однако Поль Ди так больше его и не видел.

Итак, Поль Ди в точно назначенное время отправляется к ручью, надеясь, что брат тоже пошел прямо туда чуть раньше; совершенно ясно, учитель что-то пронюхал. Поль Ди добирается до ручья, и ручей совсем сухой, как и обещал Сиксо. Он ждет там Сиксо и Поля Эй вместе с женщиной с тридцатой мили. Однако через какое-то время появляется только Сиксо; руки в крови, а языком, точно языком пламени, беспрерывно облизывает губы.

— Ты Поля Эй видел?
— Нет.
— А Халле?
— Нет.
— А кого видел?
— Никого. И в хижинах тоже; там только дети были.
— А Сэти?
— Дети ее спали. Она, должно быть, еще у миссис Гарнер.
— Я без брата не могу уйти.
— А я ничем не могу тебе помочь.
— Может, мне пойти и поискать их?
— Ничем не могу тебе помочь.
— Ну ты-то что думаешь?
— По-моему, они сразу в кукурузу придут.

И Сиксо поворачивается к той женщине; они прижимаются друг к другу и начинают шептаться. Она вся прямо-таки светится сейчас каким-то внутренним светом. А до того, пока они с Полем Ди, скорчившись, сидели в кустах на покрытом галькой берегу ручья, в ней не было ничего особенного — так, какая-то черная тень в темноте, еле дышит от страха.

Потом Сиксо собирается выползти из кустов, чтобы отыскать спрятанные им заранее ножи. Кажется, он что-то слышит. Черт с ними, с ножами! Скорей! Они втроем карабкаются вверх по берегу ручья, а учитель, его ученики и еще четверо других белых мужчин спешат им наперерез с фонарями. Сиксо подталкивает женщину с тридцатой мили, и она бежит дальше по руслу ручья, а Поль Ди и Сиксо бегут в другую сторону, к лесу. Обоих вскоре окружают и связывают.

Перед рассветом воздух становится сладостным. Он напоен ароматами цветов, которые так любят пчелы. Стреноженный, как мул, Поль Ди чувствует босыми ногами росистую душистую траву. Он думает об этой траве и о том, где все-таки может быть Поль Эй. И тут Сиксо резко оборачивается и хватается за дуло ближайшего ружья, направляя его на себя. И начинает петь. Двое белых отталкивают Поля Ди в сторону и привязывают к дереву. Учитель говорит: «Живым. Живым. Мне он нужен живым». Сиксо рвется у них из рук и, кажется, ломает кому-то ребра, но со связанными руками все-таки не может как следует схватить ружье. Белые решают подождать. Но сколько? Может быть, пока он кончит свою песню? Пять ружей нацелены на певца; белые слушают. Поль Ди их почти не видит, потому что они стоят вне освещенного фонарем круга. В конце концов им это надоедает, и один из них бьет Сиксо прикладом по голове. Когда тот приходит в себя, он уже привязан к дереву, а перед ним разожжен костер из веток орешника. Учитель, видно, передумал. «От этого все равно толку не добьешься»,— говорит он. Должно быть, на него так подействовала песня Сиксо.

Костер разгораться не желает, и белые сердятся на самих себя; они не были готовы к такому повороту событий — их позвали, чтобы поймать беглого негра, а не убить его. Им удается наконец развести костер побольше, но на нем разве что мамалыгу приготовить можно. Сухой хворост попадается редко, а трава промокла от росы.

Освещенный этим жалким костерком, Сиксо распрямляется. Он допел свою песнь. И теперь смеется. Журчащим смехом — так смеются сыновья Сэти, когда кувыркаются в сене или плещутся в дождевой луже. Его ноги поджариваются на медленном огне; штанины дымятся. Он смеется. Ему почему-то смешно. Поль Ди догадывается о причине, когда Сиксо перестает смеяться и громко кричит: «Севен-О! Севен-О!»

Дымящий, упрямо не желающий разгораться огонь... В конце концов им пришлось пристрелить Сиксо, чтобы заткнуть ему рот. Пришлось. Связанный, шагая среди дивно пахнущих трав и цветов, которые так любят пчелы, Поль Ди слышит, о чем говорят эти белые, и впервые узнает свою цену. Он всегда знал, вернее, считал, что знает ее — цену своих сильных рук, цену своего труда, цену себя как работника, который может принести ферме большую пользу,— но теперь он узнает свою стоимость, выраженную в долларах. Цену своего роста, веса, физической силы, могучего сердца, детского ума, мужских достоинств и своего будущего.

Белые, добравшись до того места, где привязали лошадей, сразу взбираются в седла и тут же становятся тише; теперь они разговаривают о тех проблемах, с которыми им пришлось столкнуться. У них проблем хватает. В который раз они твердят учителю, что Гарнер совершенно испортил своих рабов. Он ведь противозаконными делами занимался, Гарнер этот: позволял своим ниггерам подрабатывать на стороне, чтобы выкупить себя на волю; даже позволял им ружьями пользоваться! Может, вы думаете, он, как это делают все, спаривал своих негров, чтобы получить побольше рабов? Нет, черт побери! У него, видите ли, были совсем другие планы: он хотел, чтобы они жили в браке! Вот это уж просто ни в какие ворота не лезет! Учитель вздыхает и говорит, что прекрасно все это знает. Он ведь и приехал сюда только затем, чтобы навести наконец порядок. Но теперь все оборачивается куда большими неприятностями: мало ему было идиотского наследия Гарнера; теперь вот, по крайней мере, два негра пропали, а может, и три, потому что вряд ли они найдут того, по имени Халле. А невестка чересчур слаба, и проку от нее никакого. Черт побери, не хватало только, чтобы все остальные негры теперь разбежались со страха! Придется продать вот этого долларов за девятьсот, если получится, а потом вовсю следить за той беременной самкой, и ее детенышами, и за этим Халле, если он его отыщет. Денег, которые он получит за «вот этого», хватит на двух молодых, лет двенадцати-пятнадцати. И тогда, если считать беременную самку, ее троих щенков и еще одного, который вот-вот родится, у него с племянниками получится уже семь рабов; может, в этом случае Милый

Дом как-то и окупит все то, что ему пришлось из-за этой фермы пережить; все его хлопоты.

— Ты думаешь, Лилиан поправится?

— Кто ее знает? Пятьдесят на пятьдесят.

— Ты ведь был женат на ее золовке, верно?

— Ну да.

— Та что, тоже болела сильно?

— Да она вообще не очень крепкая была. От лихорадки скончалась.

— Что ж, тебе оставаться вдовцом ни к чему.

— Сейчас я пока что только о Милом Доме думаю.

— И знаешь, тут тебя упрекнуть не за что! Уж тут-то тебе неприятностей хватило с избытком.

Они надевают на Поля Ди ошейник с тремя шипами, так что лечь он не может, и сковывают ему ноги кандалами. Число «два», которое он слышал собственными ушами, не выходит у него из головы. Двое. Двое? Два негра пропали? Полю Ди кажется, что сердце у него вот-вот выпрыгнет. Они собираются искать Халле, не Поля Эй. Значит, они поймали Поля Эй, а уж если белые тебя поймали, пиши пропало.

Учитель долго смотрит на него, прежде чем закрыть дверь хижины. Настороженно так смотрит. Но Поль Ди даже глаз на него не поднимает. Брызгает мелкий дождичек. Дразнящий августовский дождик — он пробуждает надежды, которым не дано осуществиться. Поль Ди думает о том, что должен был бы спеть вместе с Сиксо. Громко. Что-нибудь такое громкое и раскатистое, подходящее к той мелодии, что напевал Сиксо. Вот только слова его сбили с толку — он тех слов не понимал. Да какая разница — понимал, не понимал: он отлично понял то, что за этими словами стояло: необузданная ненависть, словно Сиксо танцевал джубу.

Теплый мелкий дождичек то начинается, то перестает, и так без конца. Полю Ди кажется, что он слышит рыдания; вроде бы они доносятся из окна миссис Гарнер. Впрочем, плакать может кто угодно, даже кошка, когда кота зовет. Устав держать голову прямо, он осторожно опускает подбородок, упираясь в ошейник с шипами, и размышляет, как бы ему подобраться к очагу, разжечь огонь и вскипятить немножко воды — он давно ничего не ел. Именно этим он и занят, когда в его хижину вдруг входит Сэти, промокшая насквозь, с огромным торчащим животом. Она сообщает ему, что твердо решила бежать. Она только что вернулась после того, как отвела своих детишек в кукурузу. Тех белых поблизости не видно. Но она нигде не могла найти Халле. Кого же все-таки поймали? Убежал ли Сиксо? И где Поль Эй?

Поль Ди рассказывает ей, что знает: Сиксо мертв; той женщине с тридцатой мили удалось убежать, но он понятия не имеет, что случилось с Полем Эй или Халле.

— Где же он может быть? — спрашивает Сэти.

Поль Ди пожимает плечами, потому что покачать головой не может.

— Ты сам видел, как Сиксо умер? Ты в этом уверен?

— Уверен.

— Он был в сознании? Он их видел и все понимал?

— Он был в сознании. Все понимал и смеялся.

— Сиксо — смеялся?

— Это стоило послушать, Сэти.

Платье Сэти исходит паром у слабенького огня, на котором он кипятит воду. Очень трудно двигаться со скованными ногами, да и украшение на шее страшно мешает. Стыдясь своей беспомощности, он старается не смотреть ей в глаза, а когда случайно их взгляды пересекаются, он замечает, что глаза у нее абсолютно черные — белков не видно. Она говорит, что ей пора, и он думает, что побег ей, конечно, не удастся — она и до ворот добраться не сможет; но он ее не разубеждает. Он понимает, что никогда больше не увидит ее, и сердце у него замирает при этой мысли.

Должно быть, племянники учителя, поразвлекавшись с ней, затащили ее в амбар сразу после того, как она рассказала все миссис Гарнер, и сняли

со стены плеть из воловьей кожи. Кому, черт возьми, могло в голову прийти, что после всего этого она все-таки умудрится сбежать? Они, должно быть, уверены были, что с таким пузом да еще с располосованной чуть не до кости спиной ей дальше своей хижины не дойти. Он не удивился, узнав, что они все-таки выследили ее, когда она уже добралась до Цинциннати; теперь он понимал, что ее стоимость была выше, чем его: еще бы, собственность, которая сама себя бесплатно воспроизводит!

Вспоминая ту цену в долларах и центах, которую учитель сумел получить за него, он все думал, какова была бы цена Сэти? А какова была цена Бэби Сагз? Сколько еще денег должен был выплатить Халле, не говоря уж о том, чтобы отработать бесплатно? Сколько миссис Гарнер получила за Поля Эф? Кажется, больше девятисот долларов? На сколько долларов больше? На десять? На двадцать? Этот учитель, конечно же, знал. Он всегда знал, что почем. В его голосе звучала неподдельная грусть, когда он заявил, что от Сиксо все равно толку не добьешься. Какой дурак согласится купить поющего негра да еще с ружьем? Выкрикивающего «Севен-О! Севен-О!» (потому что его женщина, та, с тридцатой мили, убежала от них, унося в себе его зреющее семя!). Ах, какой был у него смех! Журчащий, детский, полный торжества. Этот смех даже тому жалкому костру разгореться помог. И Поль Ди думал именно о том, как Сиксо смеялся, а вовсе не о железном мундштуке, когда они привязывали его к козлам повозки. Потом уже он увидел Халле и того улыбавшегося петуха, который словно хотел сказать ему: ты еще ничего особенного не видел, милый! Как мог какой-то петух знать об Альфреде в штате Джорджия?

— Привет.

Штамп по-прежнему терзал пальцами ленточку в кармане брюк, так что карман шевелился.

Поль Ди глянул на него, заметил это шевеление в кармане и хмыкнул.

— Я не умею читать, Штамп. Так что если ты принес мне еще какую-нибудь газетку, то зря время потратил.

Штамп вытащил ленточку из кармана и присел на ступеньку с ним рядом.

— Нет. Я тебе кое-что другое сказать хочу.— Штамп нежно пропустил красную ленточку между указательным и большим пальцами.— Совсем другое.

Поль Ди ничего не ответил, и оба некоторое время сидели молча.

— Мне это трудно,— сказал Штамп.— Но я все-таки скажу. Две вещи. Но сперва — более легкую.

Поль Ди хихикнул.

— Если это тебе так трудно, так меня, может, и до смерти убьет.

— Нет, нет! Ты не думай! Я ведь тебя искал, чтобы прощения просить. Извиниться.

— За что? — Поль Ди потянулся за бутылкой, что торчала у него из кармана куртки.

— Выбирай любой дом — любой, где цветные живут. В целом Цинциннати — любой, и тебя везде с радостью примут. Можешь там сколько хочешь жить. Я прошу у тебя прощения за то, что люди сами не предложили тебе этого. Но ты знай, тебя везде с радостью примут, везде, где ты сам поселиться захочешь. Мой дом — это твой дом. Как и дом Джона и Эллы, и мисс Леди, и Абеля Вудрафа, и Вилли Пайка — любой. Выбирать тебе. А в подвале ты спать не должен! И я прошу у тебя прощения за все те ночи и за каждую из них в отдельности, когда тебе пришлось здесь спать. Не понимаю, как только преподобный отец тебе позволил? Я-то его еще мальчишкой знал...

— Да нет, Штамп, он предложил мне к нему пойти.

— Да? Ну и что?

— Ну и то. Я сам так решил; не хотел к нему идти; просто одному

побыть хотелось. А так-то он предлагал, и каждый раз, как мы встречаемся, предлагает.

— Ну, у меня прямо камень с души упал! Я уж думал, что все здесь с ума посходили.

Поль Ди покачал головой.

— Только я один.

— Ты что делать-то теперь собираешься?

— О, планы у меня большие.— Поль Ди два раза глотнул из бутылки.

Любой план плох, если он из бутылки высосан, подумал Штамп, он по собственному опыту знал, что бессмысленно говорить пьянице, чтоб тот не пил. Штамп высморкался и стал думать, как лучше заговорить о главном, о чем, собственно, он и пришел поговорить с Полем Ди. В тот день людей на улице было мало. Канал замерз совсем, так что ни лодки, ни другие суда по нему больше не плавали. Вдруг они услышали цоканье лошадиных копыт. Седло у всадника было высокое, восточное, но во всем остальном он был типичным жителем долины Огайо. Он заметил их с дороги, натянул поводья и по тропе подъехал прямо к церкви. Поклонился, не слезая с седла.

— Привет,— сказал он им.

Штамп поздоровался и сунул свою ленточку в карман.

— Да, сэр? Я вас слушаю.

— Я ищу девушку, ее Джуди зовут. Работает где-то тут, на бойне.

— Вряд ли я знаю ее, сэр. Нет, сэр, такой я не знаю.

— Она сказала, что на Планк-роуд живет.

— Планк-роуд? Да, сэр, это чуть дальше по этой дороге. Может, с милю еще будет.

— Неужели ты ее не знаешь? Джуди. Работает на бойне.

— Нет, сэр, но я знаю, где Планк-роуд. Примерно с милю отсюда, в ту сторону.

Поль Ди снова хлебнул из бутылки. Всадник посмотрел на него, потом снова на Штампа. Чуть отпустив правый повод, он повернул лошадь к дороге, потом передумал и вернулся.

— Послушай-ка,— сказал он Полю Ди,— тут наверху крест, так я полагаю, это церковь или что-то такое. По-моему, стоит поуважительней к церкви-то относиться. Ты меня понимаешь?

— Да, сэр,— сказал Штамп.— Тут вы правы. Я ведь как раз об этом и пришел с ним потолковать. Как раз об этом самом.

Всадник возмущенно поцокал языком и неспешно поехал прочь. Штамп водил по ладони левой руки пальцем правой.

— Ты должен выбрать,— сказал он.— Выбирай любого. Тебя никто беспокоить не станет, коли ты сам не захочешь. Хочешь — ко мне. Или к Элле. Или к Вилли Пайку. Все мы небогаты, но у всех найдется местечко еще для одного человека. Заплатишь немножко, когда сможешь; а не сможешь — тоже сойдет. Подумай об этом. Ты ведь взрослый мужчина, и я не могу заставить тебя что-то сделать против твоей воли. Но ты все-таки об этом подумай.

Поль Ди промолчал.

— Если я тебе зло причинил, так я сюда и явился, чтоб хоть немного его исправить.

— Не требуется. Совсем не требуется.

Какая-то женщина с четырьмя детьми, проходя по другой стороне улицы, помахала им рукой и улыбнулась:

— Эй, привет! Не могу подойти, спешу. Увидимся в церкви.

— Непременно,— откликнулся Штамп.— А вот и еще одна,— сказал он Полю Ди.— Библия ее зовут, Библия Вудраф, сестра Абеля. Она на фабрике работает, где делают щетки из свиной щетины и свечи. Вот ты поживешь тут подольше — сам увидишь, что нет лучше людей, чем в этих местах. Гордость, хм, что ж, гордость им, правда, немного мешает порой. И заблуждаться они тоже могут, особенно если решат, что кто-то слишком высоко нос задрал, но когда до дела доходит, так все с самой лучшей стороны себя показывают, так что любой тебя к себе пустит.

— А как насчет Джуди? Она меня пустит к себе?
— Это зависит от того, что у тебя на уме.
— Так, значит, ты все-таки знаешь Джуди?
— Юдифь. Я всех здесь знаю.
— И на Планк-роуд?
— Всех.
— Что ж, пустит она меня к себе?

Штамп наклонился и стал расшнуровывать ботинок. Двенадцать черных крючков, по шесть с каждой стороны внизу, и четыре пары дырочек сверху. Он распустил шнурки до самого низу, аккуратно поправил язычок и снова зашнуровал ботинок. Когда он добрался до верху, то тщательно скручивал разлохматившиеся концы шнурков, прежде чем сунуть в дырочку.

— Дай-ка я расскажу тебе, как заполучил это свое имя.— Штамп туго затянул узел, потом так же туго завязал шнурок бантиком.— Меня звали Джошуа,— сказал он.— А я себя переименовал и хочу рассказать тебе, почему это сделал.— И он стал рассказывать Полю Ди о Вашти.— Я никогда ее и пальцем не тронул. Ни разу. Почти год. У нас посевная была, когда все это началось, и урожай поспел, когда кончилось. Странно, мне казалось, дольше. Мне бы надо было сразу убить его. Она не велела, а надо было. Тогда я, конечно, еще такого терпения не набрался, как сейчас, и решил: может, у кого-то еще тоже терпения не хватает? У его собственной жены, например. Эта мысль прямо-таки из головы у меня не выходила; дай, думаю, выясню все-таки, как ей это нравится. Мы с Вашти днем вместе в поле работали, а потом она на всю ночь уходила. Я к ней и пальцем не прикасался, и черт меня побери, если я ей за день хоть три слова сказал. Но я все старался как-нибудь поближе подобраться к господскому дому, чтоб ее увидеть, жену нашего молодого хозяина. Да он и сам-то мальчишкой был. Лет восемнадцать, от силы двадцать. Наконец я ее заприметил; она стояла на заднем дворе у ограды. Стакан воды в руках. Пошел я туда, остановился неподалеку и шляпу снял. Потом говорю: «Простите, мисс, вы Вашти не видали? Жену мою, Вашти?» Маленькая она такая была, жалкая. Волосы черные. Лицо — не больше моего кулака. Она говорит: «Что? Какую Вашти?» Я и поясняю: «Да Вашти, мэм. Мою жену. Она говорила, что должна вам яйца принести. Не знаете, принесла или нет? Да вы ее точно знаете, она такую черную ленточку на шее носит». Молодая хозяйка порозовела, и я понял, что она все знает. Ведь это он Вашти камею на черной ленточке подарил. Она всякий раз ее надевала, когда к нему на свидания отправлялась. Ну, я снова свою шляпу надеваю и говорю: «Ежели вы ее увидите, мисс, так скажите, что я ее искал, пожалуйста. И спасибо вам, мисс». Потом я сразу ушел, не стал ждать, пока она что-то скажет. Даже оглянуться не смел, пока подальше за деревья не отошел. Но она так и осталась стоять там. Голову опустила и в свой стакан смотрела. Я-то надеялся, это мне куда больше удовлетворения принесет, а получилось скверно. А еще я надеялся, что, может, она все-таки вмешается и прекратит это, но они продолжали встречаться. Пока однажды утром Вашти не вошла в дом и не села молча у окна. Воскресенье было. По воскресеньям мы на своих собственных клочках земли работали. Она сидела у окошка и глядела на улицу. А потом и говорит: «Ну вот я и вернулась, я вернулась, Джош». А я все смотрел ей в затылок. У нее такая тонкая шейка была. И я вдруг решил сломать ей шею. Знаешь, как хворостинку — щелк, и все. Ох и гнусно у меня на душе было, гнуснее не придумаешь!

— И ты это сделал? Сломал ей шею?
— Угу. И переменил свое имя.
— Как же ты оттуда выбрался? И как попал сюда?
— На лодке. Сперва вверх по Миссисипи до Мемфиса. Потом пешком от Мемфиса до Кумберленда.
— И Вашти тоже?
— Нет. Она умерла.
— Ох, парень! Давай завязывай свой второй башмак!

— Что?

— Завязывай свой ботинок, черт его побери! Вон он на тебя смотрит! Завязывай!

— Ну что, не полегчало тебе?

— Нет.— Поль Ди швырнул бутылку на землю и уставился на золотую колесницу у нее на этикетке. Никаких лошадей. Только золотая карета с синими занавесками.

— Я сказал, что хочу сказать тебе две вещи. Я пока только одну сказал. Я должен сказать и вторую.

— Не желаю я ничего знать! Не желаю. Только одно: примет меня Джуди в свой дом или нет?

— Я ведь был там, Поль Ди.

— Где это «там»?

— Там, в том дворе. Когда она это сделала.

— Джуди?

— Сэти.

— О Господи.

— Это не то, что ты думаешь.

— А ты и не знаешь, что я думаю.

— Она не сумасшедшая, Поль Ди. Она этих детей любила. Просто хотела опередить того, кто боль им причинить собирался.

— Оставь ты это.

— Успеть раньше хотела.

— Оставь меня в покое, Штамп. Я знал ее еще девчонкой. Она меня пугает. И я хорошо знал ее, когда она еще совсем девчонкой была.

— Ничего она тебя не пугает. Не верю я тебе.

— Пугает. Я сам себя пугаю. Но больше всего меня пугает та девушка в ее доме.

— Кто она такая, эта девушка? Откуда она взялась?

— Не знаю. Просто объявилась однажды — на пне у крыльца сидела.

— Хм. Похоже, только ты да я и видели ее — я имею в виду, из тех, кто в доме сто двадцать четыре не живет.

— Она же никогда никуда не ходит. Где ж ты ее видел?

— Она в кухне на полу сидела, а я в окно заглянул.

— С первой же минуты, как я ее увидел, мне и близко к ней подходить не хотелось. Что-то в ней не то. Говорит странно. Делает все тоже странно.— Поль Ди сунул палец под шапку и поскреб висок.— И кого-то она мне все время напоминает. Кого-то знакомого, кого я вроде бы должен хорошо помнить.

— Она никогда не рассказывала, откуда она родом? Где ее семья?

— Она не знает. Или притворяется, что не знает. Я от нее только всякую ерунду слышал — насчет того, что она украла свою одежду и раньше жила на мосту.

— На каком таком мосту?

— Это ты меня спрашиваешь?

— Тут нет ни одного моста, о котором я бы не знал. Только никто на них не живет. И под ними — тоже. И давно она у Сэти поселилась?

— С прошлого августа. В день карнавала пришла.

— Это дурной знак. А на карнавале она была?

— Нет. Но когда мы вернулись, она тут как тут — сидит себе на пне и спит. Шелковое платье. Новехонькие башмачки. Черные такие и блестят, будто маслом намазаны.

— Вот как? Хм. Была тут одна девушка за Козьим Ручьем. Ее белый все в доме запирал. А прошлым летом его нашли мертвым, а девушка та исчезла. Может, это она? Говорят, он ее взаперти держал с тех пор, когда она еще совсем младенцем была.

— Зато теперь, похоже, ведьмой стала.

— Так это она тебя выгнала? Не то, что я тебе о Сэти рассказал?

Поль Ди содрогнулся с головы до ног. Холод вдруг пронизал его до мозга костей, так что он вынужден был стиснуть колени. Он не знал, то ли

это из-за скверного дешевого виски, то ли из-за ночей, проведенных в погребе, а может, из-за какой-нибудь заразы, подхваченной на бойне, или из-за тех железных оков и мундштуков, из-за улыбающихся петухов, из-за поджаренных ног, из-за смеющихся мертвецов, из-за шипящей в огне мокрой травы, из-за дождей, из-за цветущих яблонь, из-за железного ошейника, из-за Джуди с бойни, из-за Халле с перемазанным маслом лицом, из-за белой, похожей на привидение лестницы, из-за вишневого деревца на спине, из-за камеи на тонкой шейке, из-за осинки, из-за лица Поля Эй, из-за свиной колбасы или из-за утраты своего красного, красного сердца.

— Скажи-ка мне вот что, Штамп.— Глаза у Поля Ди были воспаленными и слезились.— Скажи мне только одно: сколько же может вынести жалкий ниггер? Скажи мне, Штамп, сколько?

— Все он может,— сказал Штамп.— Все он может вынести.

— Почему? Почему? Почему? Почему? Почему?

Часть третья

Тихо стало в доме номер 124. Даже Денвер, которая считала, что знает о тишине все, удивлялась, поняв, что может сделать с человеком голод: заставить его быть тише воды, ниже травы. Ни Сэти, ни Возлюбленная, казалось, этого не понимали или, во всяком случае, не обращали на это никакого внимания. Они были слишком заняты, сберегая силы для сражений друг с другом. Так что именно Денвер необходимо было первой совершить этот шаг в пропасть и умереть, потому что иначе умрут они все. Кожа между большим и указательным пальцами на руке ее матери стала тонкой, как китайский шелк, и в доме не нашлось ни одного платья, которое не висело бы на ней как на вешалке. Возлюбленная на ходу поддерживала голову ладонями и засыпала где придется; кроме того, она постоянно ныла, требуя сладкого, хотя с каждым днем становилась все толще, будто распухала. В доме не осталось ничего, кроме двух кур-несушек, так что в самое ближайшее время придется решать, что лучше: то ли время от времени одно яйцо, то ли две жареные курицы сразу. Чем голоднее они становились, тем больше слабели; чем больше слабели, тем тише было в доме — и это было лучше яростных споров, ударов кочергой о стену, всех этих воплей и плача, которые последовали за тем счастливым январем, когда они только играли. Денвер тоже порой присоединялась к их играм — сдержанно, немного настороженно: она несколько отвыкла от подобных забав, хотя веселее их не было ничего на свете. Но с тех пор как Сэти увидела тот шрам, кончик которого Денвер давным-давно уже разглядела и видела каждый раз, когда Возлюбленная раздевалась — будто слабая тень странной улыбки в самом потаенном местечке, под нежным подбородком,— так вот, с тех пор как Сэти, увидев его, надолго закрыла глаза и не открывала их, эти двое как бы отлучили Денвер от своих игр. Эти игры ее мать полюбила настолько, что стала с каждым днем все позже и позже уходить на работу, пока не случилось то, что и должно было случиться: Сойер велел ей больше не приходить вообще. И вместо того чтобы начать искать другую работу, Сэти все больше и больше времени проводила с Возлюбленной, которой всегда всего было мало: игр, колыбельных, обновок, поскребышков со дна сковородки из-под кекса, пенок с молока. Если несушки приносили только два яйца, Возлюбленная получала оба. Сэти словно совсем потеряла разум — как бабушка Бэби, когда мечтала о розовом цвете и не желала делать ничего из своих прежних обычных дел. Но Сэти сходила с ума немного по-другому, хотя бы потому, что в отличие от Бэби Сагз она совершенно отлучила от себя Денвер. Даже ту песенку, которую она всегда раньше пела Денвер, она теперь пела одной лишь Возлюбленной: «Высокий Джонни, широкий Джонни, не покидай меня, мой Джонни».

Да, сперва они играли все вместе. Целый месяц, и Денвер это очень нравилось. После того вечера, когда они катались на коньках под усыпанным звездами небом и пили сладкое молоко у плиты на кухне, Сэти днем развлекала их замысловатыми пу́танками из тонкой бечевки, а в сумерках показывала им тени на стене. В самый разгар зимы она с лихорадочно горящими глазами задумывала невиданный огород и сад с цветами и без конца говорила, говорила о том, какие краски будут пестреть в ее саду. Она забавлялась с волосами Возлюбленной, заплетала их, взбивала, перевя́зывала лентами, умащивала маслом, пока у Денвер это зрелище не начало вызывать тошноту. Они менялись постелями и одеждой. Ходили держась за руки и все время улыбались друг другу. Стоило наступить весне, как они, стоя на коленях во дворе за домом, стали вслух придумывать, какой у них будет сад, хотя земля еще была слишком холодной и влажной. Тридцать восемь долларов сбережений ушли на лакомства, яркие ленточки и красивые ткани, из которых Сэти без конца что-то кроила и шила, словно они куда-то должны были спешно уезжать. Ярки́е платья — в голубую полоску, с сочным пестрым рисунком. Сэти прошла пешком целых четыре мили до магазина Джона Шиллито, только чтобы купить желтую ленту, блестящие металлические пуговицы и кусочек черных кружев. К концу марта они все трое были одеты как для карнавала; или — как совершенные бездельницы. Когда стало ясно, что обе они поглощены исключительно друг другом, Денвер стала постепенно выходить из игры, однако наблюдала за ними по-прежнему, желая в любой момент быть наготове, если Возлюбленной будет грозить опасность. В конце концов, убедившись, что никакая опасность той не грозит, и видя мать такой счастливой, такой сияющей,— ну что тут плохого могло случиться? — она позволила своему внутреннему стражу пойти отдохнуть. Но сперва ей хотелось разобраться, кто же во всем этом виноват. Она не сводила глаз с матери, надеясь поймать мгновение, когда то страшное, что жило у нее внутри, выйдет наружу и она снова начнет убивать. Однако все сердитые требо́вания исходили именно от Возлюбленной. Она получала все что хотела, и когда у Сэти перестало хватать вещей, которые можно было бы ей подарить, Возлюбленная придумала новую игру: в желания. Она требовала, чтобы Сэти часами сидела с ней и они вместе смотрели на слой коричневых листьев на дне ручья, вздымавшихся течением и словно машущих им рукой,— именно в этом месте Денвер, пораженная глухотой, когда-то играла с Возлюбленной. Теперь игроки поменялись местами. Когда сошли вешние воды, Возлюбленная часто сидела на берегу и любовалась своим отражением в ручье, словно поднимавшимся ей навстречу и то увеличивавшимся, то уменьшавшимся, покрывавшимся рябью и исчезавшим среди листьев на дне. Она ложилась плашмя на землю, пачкая в грязи свое яркое полосатое платье, и касалась лицом своего движущегося отражения. Она наполняла корзины цветами, с приходом теплого времени вылезавшими из земли — одуванчиками, фиалками, форситиями,— и дарила их Сэти, которая делала из них бесконечные букеты, повсюду втыкала их, украшала ими весь дом. Одетая в платья Сэти, Возлюбленная любила гладить ее по обнаженным рукам обеими ладошками. Она во всем подражала Сэти, говорила в точности как та, смеялась ее смехом и старалась точно так же ходить — размахивая руками, втягивая носом воздух и высоко держа голову. Порой, наткнувшись на них, занятых игрой в дочки-матери, готовкой понарошку или пришиванием новых лоскутков к старенькому лоскутному одеялу Бэби Сагз, Денвер не сразу могла сказать, кто из них мать, а кто дочь.

Потом настроение у обеих переменилось и начались споры. Сперва потихоньку. Жалоба от Возлюбленной — извинение от Сэти. Старшая, похоже, несколько подустала от бесконечных игр. Не слишком ли холодно так долго гулять? Возлюбленная в ответ только смотрела, и взгляд ее говорил: «Ну и что?» Или, когда уже давно пора было ложиться спать, а шить уж тем более темновато, Возлюбленная упорно не двигалась с места, твердила одно: «Шей!» — и Сэти уступала. Возлюбленная всегда первая забирала все самое лучшее. Лучший стул, самый большой кусок,

самую хорошенькую тарелку, самую яркую ленту для волос, и чем больше она брала, тем больше стала говорить Сэти — что-то объясняла, описывала свои страдания и то, сколько горя она пережила ради своих детей; рассказывала, как сгоняла мух в винограднике, как ползла на коленях в тот сарай-развалюху. Но ни один из ее рассказов не производил того впечатления, на которое она рассчитывала. Возлюбленная обвиняла Сэти в том, что та ее бросила. Что не была к ней добра, не улыбалась ей. Она повторяла, что они единое целое, что у них одно и то же лицо, так как же Сэти могла тогда оставить ее? Сэти плакала и говорила, что никогда ее не бросала и не собиралась этого делать; что она должна была вытащить их оттуда, отослать прочь, что она все время берегла для Возлюбленной молоко, а еще — что она достала деньги для надписи на том камне, но маловато, на все слова не хватило. Что она всегда думала о том, как они будут жить все вместе на том берегу, всегда — вместе. Но Возлюбленной все это было неинтересно. Она говорила, что, когда она плакала, рядом никого не было. А мертвый человек лежал прямо на ней. Что ей было нечего есть, и привидения без кожи тыкали в нее пальцами и называли своей возлюбленной в темноте и чертовой ведьмой при свете дня. Сэти молила о прощении, просила что-то принять во внимание, вновь и вновь перечисляя причины тех или иных своих поступков; говорила, что Возлюбленная была для нее важнее жизни; что она с радостью поменялась бы с ней местами в тот день; что отдала бы свою жизнь, каждую минуту ее и каждый час, лишь бы вернуть хоть одну слезинку, пролитую Возлюбленной. Знала ли она, как больно ей, матери, было, когда москиты кусали ее детку? Что, когда ей приходилось оставлять ее в корзине на земле, а самой бежать в господский дом, она прямо с ума сходила. Что до того как отправить ее из Милого Дома, она каждую ночь укладывала свою девочку к себе на грудь, и та уютно сворачивалась там? Возлюбленная возражала: все это неправда; Сэти никогда к ней не подходила, никогда ни слова ей не сказала, никогда ей не улыбалась и, что хуже всего, так и не помахала ей рукой на прощанье и даже не посмотрела в ее сторону, когда убегала от нее.

Когда раз или два Сэти пыталась защититься: доказать, что она мать и ее слово — закон в семье, и именно она знает, что хорошо, а что плохо,— Возлюбленная вдребезги разбивала посуду, сметая тарелки со стола, рассыпала по полу соль, разбила даже оконное стекло.

Она была не такой, как они. Она была какая-то дикая, необузданная, и никто ни разу не сказал ей: «А ну-ка, девушка, выметайся отсюда и возвращайся, когда соображать начнешь». Никто не сказал: «Только попробуй поднять на меня руку, и я так тебе врежу, что своих не узнаешь! Известно ведь: сруби ствол дерева, и ветка отсохнет. Чти мать свою и отца своего, чтобы продлились дни твои на той земле, которую Господь Бог твой дал тебе. Не то я тебя к дверной ручке привяжу! И не думай, что кто-то будет вместо тебя работать. В общем, ты эти свои безобразия прекрати немедленно».

Нет, нет. Они с матерью склеивали разбитые тарелки, собирали рассыпанную соль, и мало-помалу Денвер начала понимать, что если Сэти в одно прекрасное утро и не схватится за нож, то это вполне может сделать Возлюбленная. Денвер и без того была достаточно напугана тем, что таилось в душе Сэти и могло вновь пробудиться и выйти наружу, но теперь чувствовала стыд, когда видела, как мать прислуживает девчонке чуть старше ее, Денвер. А когда она увидела, как мать выносит ночной горшок Бел, то прямо-таки бросилась к ней и выхватила его у нее из рук. Но боль стала непереносимой, когда у них перестало хватать еды и Денвер заметила, что мать вообще ничего не ест — так, подбирает крошки, оставшиеся на столе и на плите, прилипшие ко дну кусочки мамалыги, всякую кожуру, очистки. Однажды она видела, как мать пальцем старательно выковыривает что-то со дна пустой банки из-под варенья, прежде чем вымыть ее и убрать.

Они начинали уставать от такой жизни, и даже Возлюбленная, которая становилась все толще, казалась столь же измученной, как Сэти и Денвер.

Во всяком случае, она больше не швырялась кочергой и выражала свой гнев всего лишь ворчанием или цокала языком. И дом номер 124 постепенно затих. Вялая и сонная от голода, Денвер видела, как тает плоть между большим и указательным пальцами на руке матери. Видела ее глаза, яркие, но какие-то мертвые; взбудораженные и в то же время пустые; эти глаза обращали внимание на все, что касалось Возлюбленной: на ее младенчески-гладкие ладошки, на ее лоб, на ту тень улыбки, что таилась у нее под подбородком — улыбки злобной и слишком широкой,— на все, только не на ее ставший похожим на большую корзину живот. Денвер видела также, что рукава ее собственного карнавального платья стали ей настолько длинны, что закрывают пальцы; что подол, когда-то открывавший щиколотки, теперь метет пол. Она видела себя и мать как бы со стороны — истощенные, ребра торчат, одеты и разукрашены как клоуны, еле волочат ноги и умирают с голоду, однако будто ото всех заперлись внутри той любви, что высасывает из них последние силы. А когда Денвер заметила, как Сэти, закашлявшись, сплюнула то, чего не ела, какой-то темный сгусток, это ее потрясло, как выстрел. Ее заботы теперь полностью переменились: вместо того чтобы защищать Возлюбленную от Сэти, она должна была защищать от Возлюбленной свою мать. Теперь ей стало совершенно ясно, что мать очень даже легко может умереть и оставить их обеих, и что тогда станется с Возлюбленной? Что бы там с ними ни происходило, оно касалось их троих — не только матери и Возлюбленной; и поскольку ни той, ни другой, похоже, и дела не было, что им принесет грядущий день (Сэти была счастлива, когда была счастлива Возлюбленная, а та жадно, точно сливки, пила ее преданность), Денвер поняла, что все ложится на ее плечи, вся ответственность. Она непременно должна будет выйти из дому и со двора; первой сделать этот шаг — в мир, к людям, оставить этих двоих и пойти попросить кого-нибудь о помощи.

Но кого? К кому она могла бы явиться без стыда и рассказать, что ее мать, превратившись в послушную тряпичную куклу, в конце концов так и рухнет без сил из-за того, что все пыталась заботиться и угождать. Денвер слышала о нескольких хороших людях из разговоров матери и бабушки. Но сама она знала только двоих таких людей: одного старика с белыми волосами по прозвищу Штамп и Леди Джонс. Ну и Поля Ди, конечно. И еще того мальчика, который рассказал ей о Сэти. Но они совсем не подходили. Сердце у Денвер болезненно екнуло, и едкое жжение в горле заставило ее проглотить слюну. Она даже не решила, в какую сторону ей идти. Когда Сэти еще работала в ресторане и когда у нее еще были деньги, чтобы ходить в магазин, она всегда сворачивала направо. Когда-то давно, когда Денвер ходила в школу к Леди Джонс, сворачивать было нужно налево.

На улице было тепло: весенний день был прекрасен. Стоял апрель, и все живое пробовало свои силы. Денвер прикрыла голову и плечи платком. В самом ярком из своих дурацких карнавальных платьев, в чужих башмаках, она стояла на крыльце дома номер 124, готовясь быть проглоченной тем миром, что лежал за пределами этого двора. И оказаться там, где скреблись в темноте маленькие зверьки, иногда касавшиеся ее. Где чьи-то слова могут навсегда сделать твои уши неспособными слышать. Где, если ты одинока, любовь к кому-то может взять над тобой власть и навсегда пристать к тебе, точно тень. Где-то в этом мире есть места, ставшие свидетелями таких ужасных событий, что, если там оказаться, те ужасные вещи могут случиться снова. Вроде как в Милом Доме, где время остановилось и где, как говорила Сэти, зло всегда ждет ее. Как она отличит эти места от других? Но еще страшнее — куда страшнее! — было то, что где-то там были белые люди, о которых даже и рассказать невозможно. Сэти иногда говорила об их недобрых губах, иногда об их руках. Бабушка Бэби считала, что от них нет спасения — они умеют незаметно подкрасться, без конца меняют обличье, и даже когда они сами считают, что ведут себя нормально, это ничуть не похоже на то, как должны вести себя действительно нормальные люди.

— Они выпустили меня из тюрьмы,— как-то раз сказала Сэти.
— Но они же и посадили тебя туда,— возразила ей Бэби Сагз.
— Они перевезли тебя на этот берег реки.
— На спине моего сына!
— Они дали тебе этот дом.
— Никто мне ничего не *давал*.
— Благодаря им я получила работу.
— Это Сойер благодаря им получил отличную повариху, девочка.
— Но некоторые из них все-таки неплохо с нами обращаются, верно?
— И каждый раз мы этому удивляемся.
— Ты раньше никогда так не говорила!
— Давай не будем начинать все сначала, Сэти. Они утопили куда больше наших людей, чем их самих всего-то на свете было с начала времен. Сложи свое оружие, Сэти. Это не честный поединок; это избиение.

Вспоминая эти разговоры и последние в жизни слова бабушки, Денвер стояла под солнцем на крыльце и не могла сойти с него. Горло у нее жгло; сердце болезненно билось — и тут она совершенно ясно услышала, как Бэби Сагз рассмеялась: «Ты что же, хочешь сказать, я никогда тебе не рассказывала о нашей жизни в Каролине? О твоем отце? И ты не помнишь, как мне там изуродовали ногу? И об истерзанных ногах твоей матери, не говоря уж о ее спине, ты тоже не помнишь? Неужели я никогда не рассказывала тебе об этом? Значит, ты именно поэтому не можешь сойти с крыльца? Господи ты Боже мой!»

Но ты ведь сама сказала, что от них спасения нет.

«Нет».

Тогда что же мне делать?

«Знать об этом и жить дальше. Для начала — выйти со двора. Ну, давай».

* * *

Все вернулось. Двенадцать лет прошло, но путь в школу Леди Джонс вспомнился сразу. Четыре дома с правой стороны, сидящие тесно в рядок, точно птички крапивники. В первом доме на веранду вели две ступеньки и там стояло кресло-качалка; во втором было три ступеньки, метла, заткнутая за перила веранды, два сломанных стула и цветущие форситии; этот дом окнами на улицу не выходил. Маленький мальчик сидел на земле и жевал веточку. В третьем доме на двух выходящих на улицу окнах были желтые ставни и множество горшков с зелеными растениями, усыпанными белыми и красными цветами в виде сердечек. Денвер было слышно кудахтанье кур и скрип незакрытой калитки. Возле четвертого дома цветы сикоморы ковром покрывали крышу и весь двор. Женщина, стоявшая в открытых дверях, приподняла было руку в приветственном жесте, потом, когда она, наклонившись вперед, разглядела, кому машет, рука ее застыла где-то возле плеча. Денвер опустила голову. Потом был небольшой огороженный участок с коровой посредине. Участок она помнила, а корову нет. Волосы у нее от напряжения взмокли под платком. Где-то сзади послышались голоса, мужские голоса; они будто плыли в воздухе, приближаясь с каждым шагом. Денвер не сводила глаз с дороги на тот случай, если это окажутся белые; на тот случай, если ей с этими мужчинами в одну сторону; на тот случай, если они скажут ей что-нибудь и она будет вынуждена ответить. А вдруг они набросятся на нее, схватят и свяжут? Мужчины приближались. Может, ей сразу перейти на ту сторону? Интересно, та женщина, которая чуть было не помахала ей рукой, все еще стоит в дверях? Придет ли она ей на помощь или же, рассердившись на то, что Денвер не помахала ей в ответ, не станет помогать ей? Может, лучше вернуться назад, к дому той женщины, что чуть не помахала ей? Прежде чем она успела на что-то решиться, мужчины нагнали ее. Их было двое. Негры. Денвер перевела дыхание. Оба коснулись своих шляп и пробормотали: «Доброе утро». Денвер надеялась, что они сумели прочесть в ее глазах благодар-

ность, однако не смогла заставить себя открыть рот и ответить. Мужчины обошли ее слева и пошли дальше.

Несколько воспрянув духом и набравшись смелости после столь просто окончившейся встречи, она пошла быстрее, более внимательно осматривая дома вокруг. Она была потрясена, увидев, как на самом деле малы казавшиеся ей когда-то большими вещи: тот валун на краю дороги, за которым когда-то ее и видно не было, оказался обычным плоским камнем, на который все присаживались отдохнуть. Тропинки, ведущие к домам, вовсе не были в милю длиной. Собаки недоставали ей и до колен. Буквы на березах и дубах, вырезанные, как ей когда-то казалось, гигантами, теперь были не выше уровня ее глаз.

Она все узнавала сразу. Столбы и сделанная из горбыля изгородь лесопилки теперь были серыми, а не белыми, но она все равно тут же узнала и столбы, и саму изгородь. Каменное крыльцо, увитое пышным плющом, бледно-желтые занавески на окнах; выложенная кирпичом дорожка до дверей и деревянные мостки вокруг дома, на которых она тогда стояла, притаившись, под окном и подсматривала через подоконник. Денвер уже собралась было по старой привычке заглянуть в окно, но тут поняла, как глупо было бы вновь оказаться пойманной за подобным занятием. Удовлетворение оттого, что она сразу нашла нужный дом, растаяло вдруг в сомнениях. А что, если Леди Джонс здесь больше не живет? Или не сможет вспомнить свою бывшую ученицу — после стольких-то лет? Да и что она ей скажет? У Денвер екнуло сердце, когда она вытерла испарину на лбу и постучалась.

Леди Джонс пошла открывать, ожидая, что принесли изюм. Судя по тихому стуку, кто-то из женщин послал своего малыша, чтобы передать ей изюм для пирога, раз уж она все-таки вызвалась его испечь для этого ужина. Обычных кексов и пирожков с картошкой там, разумеется, будет сколько угодно. Она не слишком охотно вызвалась изготовить свое коронное блюдо, сказав председательнице, что у нее нет изюма. Но та тут же заявила, что изюм ей обязательно принесут. Миссис Джонс, с неудовольствием думая, как долго придется сбивать масло, надеялась, что та забыла. Всю неделю ее духовка была холодной — теперь попробуй доведи ее до нужной температуры! Ужасно. После того как умер ее муж, а глаза ей застлало какой-то пеленой, она все свое идеально налаженное хозяйство забросила. Она и сейчас не слишком-то рвалась печь что-то особенное для собрания в церкви. С одной стороны, ей хотелось напомнить всем, на что она была когда-то способна в кулинарном искусстве; с другой — не хотелось, чтоб ее к этому вынуждали. И, услышав это царапанье в дверь, она вздохнула и пошла открывать, надеясь, что изюм, по крайней мере, вымыт как следует.

Она, конечно, стала старше и была одета как последняя потаскушка, но эту девочку Леди Джонс узнала сразу. Удивительно, как много было в этом лице детского: детские, круглые, как монетки, глаза, умные и одновременно недоверчивые; крупные здоровые зубы, видневшиеся между темными, красиво вырезанными губами; какая-то уязвимость, беспомощность — в глазах, в переносице, в скулах. И потом — эта дивная кожа! Безукоризненно гладкая, туго натянутая — ни морщинки, ни лишней складочки. Ей, должно быть, сейчас восемнадцать или девятнадцать, думала Леди Джонс, глядя на это лицо, впрочем, настолько юное, что могло принадлежать двенадцатилетней. Густые брови, пушистые детские ресницы и та откровенная потребность в любви, что всегда мерцает сиянием вокруг детских лиц, пока они не узнают жизнь лучше.

— Не может быть! Неужели это ты, Денвер? — воскликнула Леди Джонс.— Нет, вы только на нее посмотрите!

Леди Джонс пришлось взять девушку за руку и втащить в дом чуть ли не силой, потому что она, похоже, кроме улыбки, ничего из себя выдавить не могла. Многие считали когда-то, что эта девочка глуповата и недоразвита, но Леди Джонс никогда в это не верила. Она знала лучше — ведь это она учила Денвер и видела, как легко девочка усваивает прочитанное,

запоминает правила и цифры. Когда Денвер вдруг перестала приходить в школу, Леди Джонс решила, что у них дома просто нет денег. Однажды она сама подошла к неграмотной бабке Денвер, встретив ее на дороге,— к этой лесной проповеднице, что еще и башмаки чинила,— и сказала ей, что если у них нет денег, то это ничего, можно и в долг. Но старуха ответила, что дело вовсе не в этом; просто девочка оглохла. Леди Джонс считала, что Денвер так и осталась глухой, пока не предложила ей сесть и не поняла, что та отлично ее слышит.

— Как мило, что ты зашла навестить меня. У тебя ко мне какое-нибудь дело?

Денвер не ответила.

— Ну что ж, для того чтобы зайти навестить, особого предлога не требуется. Приготовлю-ка я нам по чашечке чаю.

Леди Джонс была мулаткой. У нее были серые глаза и какие-то желтоватые, похожие на шерсть волосы, которые она ненавидела — хоть и не знала, за что больше: за цвет или за курчавость. Когда-то она специально вышла замуж за самого чернокожего человека, какого только сумела отыскать, и родила от него пятерых детей всех цветов радуги; всех их она отослала в школу Уилберфорса [1], прежде научив всему тому, что знала сама, а заодно с ними — и остальных детишек, что приходили к ней в дом. Благодаря светлой коже ее в свое время выбрали для обучения в женском педагогическом училище для цветных в Пенсильвании, и теперь она старалась отплатить за свою удачу, обучая тех, кто оказался неизбранным. Ее учениками становились дети, игравшие на улице в грязи, пока не подрастали настолько, что годились для работы. В Цинциннати у цветных было два своих кладбища и шесть церквей, но ни одной школы или больницы, так что они учились и умирали дома. Леди Джонс всей душой верила, что, за исключением ее мужа, весь мир (в том числе и ее дети) презирают ее и ее волосы. Она всю жизнь только и слышала: «Эх, сколько желтой краски зря пропало!» или «Гляди, белая негритянка!» и тому подобное — с самого раннего детства, когда жила в доме, полном черно-коричневых детишек всех мастей, так что людей она скорее недолюбливала, потому что была уверена, что они ненавидят ее волосы так же сильно, как и она сама. Но во время своего удачного поступления в училище и учебы там она поумерила свою затаенную враждебность к людям, стала со всеми без исключения вежлива, приберегая свою настоящую, искреннюю любовь для тех неизбранных цветных детей Цинциннати, одна из которых сидела сейчас перед нею в таком кричаще непристойном платье, что, казалось, оно своей расцветкой заставляет краснеть от стыда даже сам стул под ней.

— Сахару?

— Да. Спасибо.— Денвер залпом проглотила чай.

— Еще?

— Нет, мэм.

— Пожалуйста, не стесняйся.

— Хорошо, мэм. Спасибо.

— Как поживает твоя семья, детка?

Денвер так и застыла, забыв про чай. Ну как рассказать ей все это? Так что она сказала первое, что пришло ей на ум:

— Мне нужна работа, мисс Леди.

— Работа?

— Да, мэм. Любая.

— Что же ты умеешь делать? — улыбнулась Леди Джонс.

— Я ничего такого особенного не умею, но я непременно выучусь — специально для вас, если вы мне еще немножко дадите.

— Еще немножко чего?

— Поесть. Моя мама... она плохо себя чувствует...

— Ах, детка! — только и сказала миссис Джонс.— Ах, детка!

Денвер подняла на нее глаза. Она не сразу поняла это, но именно слово

[1] Уильям Уилберфорс (1759—1833) — британский государственный деятель, филантроп

«детка», произнесенное тихо и с удивительной добротой, ввело ее в мир взрослых людей. Тернистая тропа, по которой она шла, чтобы попасть в это волшебное место, была сделана из бумажных полос, на которых были от руки написаны имена других людей. Леди Джонс дала ей немного риса, четыре яйца и немного чая. Денвер сказала, что не может надолго отлучаться из дому, потому что мать серьезно больна, и спросила, нельзя ли ей помогать Леди Джонс по дому с утра? Леди Джонс ответила, что ни она сама и ни одна женщина из тех, кого она знает, не в состоянии платить за ту работу, которую всегда делали и делают сами. «Но если вопрос только в продуктах, то, пока твоя мама не поправится, тебе нужно всего лишь сказать об этом». И она пояснила, что у них в церкви есть такой специальный комитет — чтобы никто не остался голодным. Это сообщение взволновало Денвер, которая тут же сказала: «Нет, нет, спасибо, не надо», как будто просить помощи у незнакомых людей куда хуже, чем голодать. Леди Джонс попрощалась с ней и сказала, чтобы она в любое время заходила еще. «В любое время, как сможешь, так и заходи».

Через два дня Денвер, выйдя на крыльцо, вдруг заметила что-то на пне у ограды. Она пошла посмотреть и обнаружила мешочек белой фасоли. В следующий раз она нашла там тарелку с холодным тушеным кроликом. А однажды утром — целую корзинку яиц. Когда она взяла корзинку в руки, на землю упал клочок бумаги, на котором крупными корявыми буквами было написано: «М. Люсиль Уильямс». За корзинкой обнаружился еще комок пресного теста. И Денвер пришлось совершить свой второй поход за ворота, чтобы вернуть корзинку, хотя сказать она при этом смогла только одно слово: «Спасибо».

— На здоровье,— откликнулась М. Люсиль Уильямс.

С тех пор всю весну на пне появлялись подарки с записками. Записки писались, очевидно, в основном для того, чтобы Денвер знала, кому вернуть сковородку, тарелку или корзинку; и отчасти затем, чтобы девушка поняла, если ей это, конечно, не все равно, кто именно принес подарок, потому что некоторые из посылок были всего лишь завернуты в бумагу, и хотя в таком случае возвращать было нечего, имя все равно было написано. Но многие просто ставили вместо подписи разнообразные кресты, и тогда Леди Джонс трудновато было определить, чья это тарелка, или сковородка, или полотенце. Если она лишь догадывалась, то Денвер все равно следовала ее указаниям и отправлялась сказать «спасибо» вне зависимости от того, правильно ли Леди Джонс определила дарителя. Если Денвер благодарила не того, ей обычно отвечали: «Нет, милая. Это не моя миска. У моей поверху такая синенькая полоска», и завязывалась короткая беседа. Все эти люди знали ее бабушку и многие даже ходили с ней на Поляну. Другие помнили те дни, когда дом номер 124 служил для беглых пересадочной станцией, а для них самих — клубом, где они собирались, чтобы узнать новости, попробовать суп из бычьих хвостов, оставить на время малышей или скроить юбку. Одна женщина припомнила отличное укрепляющее средство, которое готовила Бэби Сагз; это лекарство поставило на ноги ее родственника. Другая показала Денвер вышитую особым крестом подушку — голубые с тычинками цветочки; она вышивала ее на кухне у Бэби Сагз при свете масляной лампы за жарким спором о выкупе земли поселенцами. Женщины часто вспоминали и ту знаменитую пирушку, где съели двенадцать жареных индюков и несколько бочек земляничного пюре. Одна из них сказала, что пеленала Денвер, когда той был всего один день от роду, и ей тогда еще пришлось разрезать хорошие ботинки, чтобы впихнуть в них до ужаса распухшие ноги Сэти. Возможно, они жалели Денвер. А может, Сэти. А может, и о том, что так долго их презирали. Скорее всего, это были просто хорошие, добрые люди, которые теперь стыдились своей затянувшейся неприязни к их семье, однако, узнав о случившемся несчастье, тут же бросились на помощь. Так или иначе, теперь им казалось, что чрезмерная гордость и высокомерие, приписываемые обитателям дома номер 124, поразили кого-то другого. Они, естественно, перешептывались, удивлялись, качали головой и даже смеялись при виде бордель-

ных одеяний Денвер, но это не мешало им каждый раз заботливо спросить, ела ли она; им приятно было также слышать в ответ ее тихое «спасибо».

По крайней мере раз в неделю Денвер заходила к Леди Джонс, которая настолько вдохновилась, что стала печь специально для нее большую булку с изюмом по собственному рецепту, поскольку Денвер, как ей показалось, была просто помешана на сладком. Леди Джонс подарила ей книжку псалмов и слушала, как та бормочет слова про себя или громко выкрикивает их. К июню Денвер выучила наизусть все пятьдесят две страницы — по одной на каждую неделю года.

Итак, жизнь Денвер вне дома шла совсем неплохо, но вот дома ей становилось все хуже и хуже. Если бы белые жители Цинциннати допускали негров в свою лечебницу для душевнобольных, то пациенты для нее вполне нашлись бы в доме номер 124. Обретя силы благодаря приносимым в дар продуктам — об этом источнике ни Сэти, ни Возлюбленная даже не спрашивали,— эти женщины точно получили долгожданную передышку перед днем Страшного суда, от дьявола, должно быть, получили. Возлюбленная бездельничала, ела, валялась то на одной постели, то на другой. Иногда она вскрикивала: «Дождь! Дождь!» — и царапала себе горло, пока капельки ярко-красной крови не проступали на коже цвета полуночи. Тогда Сэти кричала «нет!» и, сшибая стулья, бросалась к ней, чтобы поскорее стереть с ее горла эти крохотные сверкающие рубины. Порой Возлюбленная просто сворачивалась клубком на полу, зажав руки между коленями, и в таком положении оставалась часами. Или отправлялась к ручью, опускала ступни в воду и с громким плеском болтала ногами, забрызгивая подол до колен. А потом обычно шла к Сэти, ощупывала пальцами ее зубы, а с пушистых ресниц и из огромных черных глаз капали слезы. В такие моменты Денвер казалось, что неизбежное свершилось: Возлюбленная, склонившаяся над Сэти, выглядела матерью, а Сэти — ребенком, у которого режутся зубы; а в те часы, когда она Возлюбленной была не нужна, Сэти покорно сидела на стуле в уголке. Чем больше и толще становилась Возлюбленная, тем худее и меньше — Сэти; чем ярче сверкали огромные глаза Возлюбленной, тем чаще глаза Сэти, те глаза, которые она прежде никогда не отводила в сторону, казались тусклыми щелками, опухшими от постоянной бессонницы. Сэти больше уже не расчесывала и не взбивала свои пышные волосы и не плескала себе в лицо водой, умываясь. Сидела в кресле, облизывая губы, точно наказанный ребенок, а Возлюбленная тем временем пожирала ее жизнь, забирала ее себе, распухала от этого обжорства, становилась все толще и выше. И старшая из них уступала младшей во всем без звука.

Денвер ухаживала за обеими. Мыла, готовила, порой обманом заставляла мать хоть немножко поесть, когда удавалось, добывала сладости для Возлюбленной, чтобы доставить той радость и успокоить ее, потому что невозможно было предположить, что она способна выкинуть уже в следующую минуту. Когда наступила настоящая жара, Возлюбленная вполне могла, например, ходить по всему дому совершенно голой или слегка завернувшись в простыню; живот ее победно торчал, как перезрелая дыня.

Денвер считала, что понимает, чем вызвана эта болезненная связь между Сэти и Возлюбленной: Сэти пыталась как-то загладить свое преступление, а Возлюбленная постоянно заставляла ее расплачиваться. Но ведь этому никогда не будет конца! Видя, как худеет и усыхает ее мать, как она унижена, Денвер испытывала одновременно и стыд, и злость. И все-таки она понимала: больше всего Сэти боится того же, чего прежде боялась сама Денвер,— того, что Возлюбленная может уйти. Что, прежде чем Сэти сумеет объяснить Возлюбленной, чем это все для нее было, что заставило ее провести пилой по крохотному горлышку и почувствовать, как кровь ее ребенка маслянистым ручьем заливает ей руки, а потом придерживать эту головку лицом вверх, чтобы не отвалилась, сжимать дочку в объятиях, принимая в себя, впитывая те предсмертные судороги, что пробегали по ее тельцу, такому пухленькому и совсем недавно полному жизни,— прежде чем она успеет объяснить ей все это, Возлюбленная может уйти. Уйти до того, как Сэти сумеет заставить ее понять, что хуже смерти — куда хуже —

было то, отчего умерла Бэби Сагз; то, что знала Элла; то, что видел Штамп, и то, отчего Поля Ди била неудержимая дрожь. То, что любой белый может забрать тебя себе целиком, всего, вместе с душой, если ему это придет в голову. Не просто вынудит тебя работать на него — может убить или изуродовать, может испачкать тебе душу. Испачкать так, что ты сама себе станешь отвратительна; забудешь, кем была прежде, даже вспомнить не сможешь. И хотя она, Сэти, и многие другие пережили такое и справились, она никогда не смогла бы позволить, чтобы это случилось с ее детьми. Самое лучшее, что было в ней,— это ее дети. Ладно, пусть даже белые испачкают ее тело и душу, но им не добраться до самого лучшего в ней, самого прекрасного, волшебного — до той части ее существа, что всегда была чиста. И не будет тех не приснившихся ей снов о человеке, чей обезглавленный торс свисал тогда с дерева с нарисованным на груди знаком,— ее мужа или Поля Эй; и о том, не окажутся ли ее дочери среди тех горящих заживо девушек в школе для цветных, подожженной бандой патриотов; и о том, не станет ли банда белых мерзавцев своими грязными лапами касаться обнаженного тела ее девочки, насиловать ее, пачкать ее бедра своей спермой, а потом просто выбросит ее из поезда на полном ходу. Это она, Сэти, могла бы «работать» на бойне по субботам, но только не ее дочь.

И никто, ни один человек на земле никогда не станет перечислять свойства ее дочери на той стороне листа, где записывают свойства животных. Нет. Ах нет! Может, Бэби Сагз, хотя и ее не покидала постоянная тревога, все же могла жить и мириться с чем-то подобным; Сэти и тогда отказалась так жить — и отказывается поныне.

Это и еще многое другое слышала Денвер от матери, когда та сидела в кресле в углу, пытаясь убедить Возлюбленную в правильности своего выбора,— убедить того единственного человека, перед которым чувствовала себя обязанной оправдываться, доказывать, что все сделала правильно, потому что руководила ею истинная любовь.

Возлюбленная, упершись своими полными гладкими ступнями в сиденье поставленного напротив стула и спокойно сложив свои младенчески гладкие руки на животе, смотрела на Сэти. Не понимая и не воспринимая ничего, только одно: Сэти была той женщиной, что отобрала у нее лицо, оставила ее ползать в каком-то темном-претемном месте и забыла ей улыбнуться.

В конце концов, будучи дочерью своего отца, Денвер решила действовать. И перестать полагаться на доброту тех, кто оставлял им еду на пне. Она собралась непременно найти какую-нибудь работу и хоть и боялась оставлять Сэти и Возлюбленную на целый день одних, не зная, что еще может выкинуть та или другая, но наконец поняла, что ее присутствие в доме для обеих в общем-то не имеет значения. Она поддерживала в них жизнь, но они не обращали на нее ни малейшего внимания. Ворчали друг на друга, дулись, выясняли отношения, что-то друг у друга требовали и ходили с важным видом; дрожали от страха или от холода, плакали, доводили друг друга до бешенства, а потом все вдруг кончалось, но вскоре начиналось снова. Денвер стала замечать, что даже если Возлюбленная была спокойной и сонно-мечтательной, думая о чем-то своем, то первой тогда начинала Сэти. Она что-то шептала, бормотала какие-то оправдания, что-то рассказывала Возлюбленной, пытаясь объяснить, как все это было на самом деле и почему так произошло. Похоже, Сэти никакого прощения вовсе не требовалось; наоборот, ей хотелось, чтобы в этом прощении ей отказали. И Возлюбленная с удовольствием оправдывала это ее тайное желание.

Кого-то из них нужно было спасать, но если Денвер не найдет работу, то спасать будет некого. И не к кому будет возвращаться домой. И самой Денвер тоже тогда не будет. Это была новая мысль, призывающая Денвер обратить внимание и на себя тоже, и себе тоже как-то постараться сохранить жизнь. Мысль эта могла бы у нее и не появиться, если бы она не встретила Нельсона Лорда, который выходил из дома своей бабушки как раз в тот момент, когда Денвер туда входила, чтобы поблагодарить за

принесенные полпирога. Он только улыбнулся и сказал: «Подумай о себе самой, Денвер, пожалуйста», но ей показалось, что именно ради этих слов и был создан человеческий язык. В первый раз, давно, когда он разговаривал с ней, его вопросы намертво закрыли ей уши. Теперь же его слова открыли ей разум. Пропалывая грядки в огороде, выдергивая из земли овощи, готовя еду, моя посуду, Денвер обдумывала, что и как ей делать. Больше всего надежды было на Бодуинов, ведь они уже два раза им помогали. В первый раз — Бэби Сагз, во второй — матери Денвер. Почему бы им не помочь и ей, представительнице третьего поколения этой семьи?

Она долго блуждала по улицам Цинциннати и добралась до цели только после полудня, хотя вышла с рассветом. Дом стоял довольно далеко от тротуара, его большие окна смотрели через сад на шумную деловую улицу. Негритянка, открывшая ей парадную дверь, спросила:

— Тебе чего?

— Можно мне войти?

— Зачем?

— Я хочу видеть мистера и миссис Бодуин.

— Мисс Бодуин. Они брат и сестра.

— Ой, простите!

— Зачем они тебе понадобились?

— Я ищу работу. Я думала, они, может, что-нибудь мне на этот счет подскажут.

— Ты ведь из семьи Бэби Сагз, верно?

— Да, мэм.

— Ну так входи. И так уже мух напустила.— Женщина провела Денвер на кухню, приговаривая: — Самое главное — знать, в какую дверь постучаться.— Но Денвер ее почти не слушала: она только что прошла по чему-то мягкому и голубому. И все вокруг было уютным, мягким и голубым. Застекленные шкафы битком набиты какими-то красивыми блестящими вещами. Книги на столах и на полках. Жемчужно-белые лампы со сверкающими металлическими подставками. И запах — похожий на тот одеколон, которым она поливалась в зеленой комнатке, но только несравненно лучше.

— Садись,— сказала негритянка.— Знаешь, как меня звать-то?

— Нет, мэм.

— Джани. Джани Вэгон.

— Как поживаете?

— Прекрасно. Я слышала, мать твоя заболела, это правда?

— Да, мэм.

— Кто же за ней ходит?

— Я. Но мне обязательно нужно работу найти.

Джани рассмеялась:

— Знаешь что? Я тут живу с четырнадцати лет, но как вчера помню, когда Бэби Сагз, святая, впервые пришла сюда и села точнехонько вон там, где ты сидишь. Ее один белый мужчина привез. А потом она получила и дом, в котором все вы живете, и все остальное тоже.

— Да, мэм.

— А с Сэти-то что случилось? — Джани прислонилась к раковине, скрестив на груди руки.

С нее запрашивали не так уж дорого, но ей показалось — непомерно много. Никто не собирался помогать ей, пока она не расскажет всего. Это было совершенно ясно. Ни Джани и никто другой. А значит, Джани не позволит ей повидаться с Бодуинами. И тогда Денвер рассказала этой чужой женщине то, чего не рассказывала никому, даже Леди Джонс. Выслушав ее, Джани тут же предположила, что Бодуинам потребуется еще одна прислуга, даже если сами они об этом еще не знают. Она здесь единственная служанка и теперь, когда ее хозяева стареют, уже не может заботиться о них, как прежде. Тем более что они все чаще и чаще просят ее ночевать здесь. Может быть, удастся уговорить их, чтобы Денвер подменяла ее на ночь? Приходила, скажем, сразу после ужина и оставалась до утра; может

быть, даже завтрак готовила и завтракала сама. Тогда у нее хватило бы времени на Сэти днем, а ночью она бы немножко подрабатывала. Как ей нравится такой план?

Денвер описала Возлюбленную как свою родственницу, которая жила у них в доме, но теперь заболела, мучает мать до смерти и ужасно мешает им обеим жить. Но Джани, похоже, куда больше интересовало состояние Сэти; а судя по рассказам Денвер, несчастная женщина, видно, потеряла рассудок. Это была совсем не та Сэти, какую Джани хорошо знала. Эта Сэти, верно, совсем обезумела — что ж, в конце концов так и должно было случиться: слишком уж она самостоятельная была да гордая, слишком нос задирала. Денвер поежилась, услышав недобрые слова в адрес матери, заерзала на стуле и, опустив голову, уставилась на раковину. Джани Вэгон продолжала рассуждать о неуместной гордыне, пока не добралась до Бэби Сагз, и тут у нее нашлись одни только хорошие слова.

— Я-то никогда на Поляну слушать ее проповеди не ходила, но она всегда была ко мне так добра! Всегда! Другой такой уж больше никогда на свете не будет.

— Я тоже по ней скучаю,— сказала Денвер.

— Ну еще бы не скучать. Все по ней скучают. Это была хорошая женщина.

Денвер молчала, и Джани заглянула ей в лицо.

— Никто из твоих братьев так и не вернулся, чтобы вас проведать?

— Нет, мэм.

— И вестей от них никаких не было?

— Нет, мэм. Никаких.

— Видно, несладко им жилось в этом доме. Скажи-ка, а у этой женщины, у родственницы вашей, морщинок на руках нет?

— Нет,— ответила Денвер.

— Что ж,— проговорила Джани.— Наверно, все-таки есть Господь на небесах.

Разговор закончился, и Джани велела Денвер прийти через несколько дней: ей нужно время, чтобы убедить своих хозяев в необходимости новой служанки — на ночь,— потому что она, Джани, по ночам своей собственной семье нужна.

— Мне-то с этого места уходить никуда не хочется, да только не могут же эти люди забрать себе все мои дни и ночи?

Что здесь будет нужно делать по ночам Денвер?

— Просто быть тут. На всякий случай.

На случай чего?

Джани пожала плечами.

— А вдруг пожар случится? — И она улыбнулась.— Или дожди так сильно размоют дорогу, что я не смогу вовремя сюда добраться с утра. Или припозднившимся гостям что-нибудь понадобится, или нужно будет что-то убрать после их ухода. Да мало ли что, и не спрашивай меня, что там белым может по ночам понадобиться.

— Они вроде бы всегда были хорошими белыми.

— О да! Они хорошие. Ничего не могу сказать. Я бы ни за что их на других хозяев не променяла, вот как!

Обнадеженная, Денвер двинулась было в обратный путь, но тут на завалинке у черного хода увидела чернокожего мальчишку с полным ртом денег. Голова у него была запрокинута назад, руки засунуты в карманы. Огромные, как две луны, глазищи занимали пол-лица — остальное был его разинутый рот с красными губами. Волосы у него торчали немыслимыми пучками. И он стоял на коленях. А во рту у него величиной с чайную чашку лежали монеты, которыми ему платили за всякие мелкие услуги, но там могли бы с тем же успехом лежать пуговицы, булавки или яблочное варенье. На том приступочке, где помещались его колени, было написано: «К вашим услугам».

Новости, которые узнала Джани, распространились среди других цветных женщин. Покойная дочь Сэти, которой та перерезала горло, вернулась

и полностью захватила над ней власть. Сэти на пороге смерти; вся покрылась пятнами, вертится волчком, меняет обличье и вообще — явно одержима дьяволом. А эта дочь бьет ее, привязывает к кровати и повыдергала у нее на голове все волосы. Потребовалось немало дней, чтобы эта история приобрела подлинные очертания, а женщины, сперва взбудораженные до предела, несколько успокоились и стали оценивать ситуацию более трезво. Они разделились на три группы: те, кто верил в худшее; те, кто вообще ничему из этого не поверил; и те, кто, как Элла, искал выход.

— Элла, что там такое с Сэти?

— Скажи лучше, у нее в доме, а не с ней самой.

— А что, правда, та ее дочь вернулась? Убитая?

— Так мне сказали.

— А откуда известно, что это она?

— Она там живет. Спит, ест и творит черт знает что. Бьет Сэти каждый день.

— Господи! Малышка?

— Нет. Взрослая. Такая, какой была бы, если б осталась жива.

— Ты хочешь сказать — во плоти?

— Да, именно так.

— И бьет Сэти кнутом?

— Как тесто взбивает.

— По-моему, так Сэти и надо.

— Никому такого не надо!

— Но, Элла...

— Никаких «но». То, что справедливо, не всегда правильно.

— Но нельзя же своих детей убивать, если тебе вдруг что-то в голову пришло?

— Нет. Но и детям, если им что-то вдруг в голову пришло, нельзя просто взять и убить свою мать.

Именно Элла постаралась убедить всех, что необходимо организовать спасение Сэти. Она была женщиной практичной, которая твердо верила, что есть корни съедобные, а есть и такие, которых нужно избегать при любых обстоятельствах. А излишние размышления, считала она, только мозги затуманивают и мешают действовать. Соседи Эллу не особенно любили, да она и сама была бы недовольна, если б было наоборот, потому что считала любовь вредной слабостью. Ее девственность и чистота утрачены были в том доме, где ее делили между собой отец и сын, который, как она говорила, «был еще хуже». Именно «тот, что был еще хуже», внушил ей полное отвращение к сексу и стал для нее мерилом жестокости. Убийства, похищения, насилия — слушая обо всем этом, она только головой качала. Ничто не могло сравниться с тем, «что был еще хуже». Она понимала ярость, охватившую Сэти двадцать лет назад, но то, что она сделала там, в сарае, под влиянием этой ярости, было, по мнению Эллы, исполнено непомерной гордыни да и вообще не туда направлено. Саму Сэти Элла считала слишком уж сложной. Когда та вышла из тюрьмы и даже не взглянула в сторону бывших соседей, а стала жить так, словно вокруг не было ни одного человека, Элла отбросила память о ней, как ненужный хлам, и совершенно перестала обращать на нее внимание.

Однако эта ее дочь, Денвер, похоже, все-таки что-то соображала. Во всяком случае, она решилась выйти за порог, попросила о помощи, которая действительно была ей необходима, и теперь искала работу. А когда Элла услышала, что дом номер 124 находится во власти неведомого существа, которое истязает Сэти, то разозлилась и получила очередную возможность увидеть, сколь же отвратителен сам дьявол по сравнению с тем, «что был еще хуже». А разозлилась она еще и вот почему: что бы там ни сделала Сэти, Элла не любила, когда былые ошибки заставляют человека расплачиваться за них своим настоящим и будущим. Преступление, совершенное Сэти, было ошеломляющим; гордыня ее превосходила все возможные пределы; однако Элла никак не могла допустить, чтобы

некогда совершенный Сэти грех обрел человеческую плоть и поселился у нее в доме, пользуясь там полной свободой и подчинив себе остальных. Каждый день жизни требовал от Эллы всех ее сил. Будущее виделось ей как закат; ну а прошлое следовало забыть, оставить в прошлой жизни. И если оно не желало оставаться там, где ему положено, тогда его можно было только прогнать. В ее рабской жизни, как и в жизни свободной, каждый день был настоящим испытанием. Ни на что нельзя было рассчитывать в этом мире, где ты сам одновременно являлся и задачей, и ключом к ней. В этой жизни зла хватало с избытком, и никому не требовалось добавки; никому не хотелось, чтобы повзрослевшее злобное существо, ворча, садилось со всеми вместе за стол. До тех пор пока привидение только выглядывало порой из своего тайника — сотрясало дом, разбрасывало вещи, плакало, било посуду и так далее,— Элла его уважала. Но как только оно обрело реальную плоть и явилось в мир живых людей, все сразу встало с ног на голову. Элла ничего не имела против определенной связи между двумя мирами, этакого небольшого мостика, но теперь это было уже вторжение.

— Может, нам помолиться всем вместе? — спрашивали ее женщины.

— Ладно,— согласилась Элла.— Сперва мы помолимся. А потом займемся делом.

В тот день, когда Денвер должна была впервые провести ночь в доме Бодуинов, мистер Бодуин как раз поехал по каким-то своим делам на окраину Цинциннати и сказал Джани, что вернется к ужину и на обратном пути прихватит с собой эту новую девушку. Денвер сидела на крыльце с узелком на коленях; ее карнавальный наряд выгорел под солнцем и стал не таким вызывающе ярким. Она смотрела направо, потому что как раз оттуда должен был появиться мистер Бодуин. И не видела, как к их дому слева медленно, по две, по три идут женщины. Денвер смотрела только направо. Она немножко волновалась: подойдет ли хозяевам, оправдает ли их доверие? И еще ей было не по себе, потому что утром она проснулась в слезах: ей приснилась убегающая от нее пара туфель. Тоска, которая при этом охватила ее, не проходила весь день; она никак не могла стряхнуть ее с себя, а когда принялась за домашнюю работу, жара и духота просто измучили ее. Так что, куда раньше положенного срока, она уже собралась: завернула в узелок ночную рубашку и щетку для волос. Сидя на крыльце, Денвер нервно теребила узелок и безотрывно смотрела направо.

Кое-кто из женщин принес с собой то, что, по их мнению, могло как-то подействовать, спрятав драгоценные амулеты в карманы фартуков или повесив на шею и на грудь. Другие несли с собой только свою веру в Христа — свой щит и меч. Большинство же захватили понемногу и того, и другого. Они понятия не имели, что именно станут делать, когда подойдут к крыльцу. Они просто вышли из своих домов, прошли по Блустоунроуд и сошлись в назначенный час в назначенном месте. Жара, правда, заставила кое-кого из обещавших прийти остаться дома. Некоторые, хоть и поверили во всю эту историю, не пожелали иметь дело с существом из иного мира и не пришли бы ни при какой погоде. А такие, как Леди Джонс, которая ни одному слову вообще не поверила и порицала невежество тех, кто поверил, конечно, тоже остались дома. Так что всего собралось человек тридцать. И женщины медленно-медленно двинулись к дому номер 124.

Было три часа дня, пятница, влажные и горячие испарения Цинциннати достигли окраины и окутали все вокруг своей вонью — от гниющей воды канала, от развешанных на бойне свиных туш, от требухи в бесчисленных ведрах и тазах, от разлагающихся трупов крыс и мышей в канавах и городской канализации, от заводов и фабрик. Вонь, жара, влажность — стоит дьявола помянуть, и он тут как тут. С другой стороны, все выглядело так же, как и в любой будний день. Эти женщины вполне могли идти, например, стирать в сиротский приют или в сумасшедший дом; а может, лущить кукурузу на мельницу; или чистить рыбу у причалов; или полоскать требуху на бойне; или баюкать белых детей, мыть в домах лестницы, скоблить свиные шкуры, топить жир, паковать в ящики готовую колбасу или скры-

ваться по кухням таверн, чтобы белые не оскорбляли свой взор созерцанием того, как эти женщины готовят им еду.

Но не сегодня.

Когда они сошлись, все тридцать, и приблизились к дому номер 124, то первое, что они увидели вдруг, были они сами, а не Денвер, сидевшая на крыльце. Только они были моложе, сильнее и такие спокойные, как уснувшие на траве маленькие девочки. Сомики исходили жиром на сковородках, а они, гостьи, зачерпывали картофельный салат и накладывали на тарелки. Коблер со льдом и лимоном вспыхивает красными искрами, сок окрашивал зубы и губы. Они сидели на крыльце, бегали к ручью, дразнили мужчин, качали детишек на коленях; а те, кто тогда сами были еще детьми, оседлывали колени стариков, которые играли с ними в «лошадку». Бэби Сагз смеялась и проталкивалась среди гостей, требуя еще веселья. Матери их, теперь умершие, придвинувшись друг к другу плечами, играли на губных гармониках... Но теперь ограда, на которую они тогда опирались и через которую перебирались, исчезла. Пень от старого орехового дерева раскололся. Но сами-то они были там! Молодые и счастливые, играли и веселились во дворе у Бэби Сагз, нисколько не ощущая той зависти, которая всплыла в их душах на следующий день.

Денвер наконец услышала чьи-то голоса, посмотрела налево и вскочила. Они стояли группками, бормоча и перешептываясь, но во двор ни одна не вошла. Денвер помахала им рукой. Кое-кто помахал ей в ответ, но ближе они так и не подошли. Денвер снова села, удивляясь тому, что происходит. Какая-то женщина вдруг упала на колени. Многие последовали ее примеру. Денвер видела их опущенные головы, но самой молитвы не слышала — только яростный припев: «Да, да, да, о да! Слышишь меня, Господи? Слышишь? Сделай же это, о Создатель, сотвори чудо». Среди тех, кто на колени не опустился и стоял, не сводя сурового взгляда с дома номер 124, была Элла; она словно пыталась увидеть сквозь стены, сквозь закрытую дверь то, что там было внутри. Неужели все-таки мертвая дочь Сэти вернулась? Или кто-то притворяется ею? Действительно ли она бьет Сэти кнутом? Эллу били всем на свете, но сломить так и не смогли. Она отлично помнила, как ей выбили нижние зубы. И те шрамы на талии от ударов железной трубой — они были толстыми, как веревки. Она тогда только что родила, но ни за что не соглашалась кормить то волосатое белокожее существо, отцом которого был «тот, что еще хуже». Существо прожило пять дней, так и не издав ни звука. От одной только мысли о том, что хозяйский ублюдок мог бы вернуться с того света и бить ее кнутом, у нее желваки на лице заходили. И тогда она издала громкий призывный клич.

Тут же и те, кто преклонил колена, и те, кто не стал этого делать, присоединились к ней. Все женщины разом перестали молиться и сделали шаг назад, собираясь начать. В самом начале никаких слов не требовалось. Нужно было только издать тот звук, который все они хорошо знали.

Эдвард Бодуин ехал по Блустоун-роуд. Ему не слишком нравилось сидеть на козлах; он предпочел бы красоваться верхом на Принцессе. Согнувшись и держа в руках поводья,— в этой позе он казался действительно старым, каким, собственно, и был на самом деле,— он себе не нравился. Но он обещал сестре сделать небольшой крюк, чтобы забрать эту новую девушку. О дороге думать было не нужно — его влекло к дому, где он родился. Возможно, именно поэтому он и стал размышлять о времени — о том, как оно то сочится по капле, то мчится неудержимым потоком. Он не видел этого дома уже лет тридцать. Как и того серого ореха, что рос перед крыльцом; как и ручья на задворках; как и сарая. Как и того луга на другой стороне дороги. И очень плохо помнил, как выглядел дом изнутри, потому что ему было всего три года, когда семья переехала в город. Но он хорошо помнил, что еду готовили в кухне за домом, что возле колодца играть было запрещено и что многие женщины из его семьи умерли в этом доме: мать, бабушка, одна из теток и одна из старших сестер (она умерла еще до того, как он родился). Мужчины же (его отец и дед) переехали с ним и его крохотной сестренкой на Корт-стрит шестьдесят семь лет назад. Земля,

разумеется — восемьдесят акров земли по обе стороны Блустоуна,— была здесь главным богатством и могла приносить неплохой доход, но он относился к этому дому с такой глубокой нежностью, что соглашался сдавать его в аренду за мизерную плату или вообще даром, лишь бы жильцы содержали дом в порядке, спасая его от разрушения и запустения; а деньги Бодуина не слишком волновали.

Когда-то давно он прятал там клады. Драгоценные для него вещи, которые хотел бы непременно сохранить в секрете. Когда ты ребенок, все, чем ты владеешь, доступно и известно твоей семье. Тайна — это привилегия взрослых. Однако когда он сам стал взрослым, то, похоже, потребность в секретах отпала.

Лошадка бодро постукивала копытами, и Эдвард Бодуин выдохнул в свои прекрасные усы. Все женщины в их Обществе единодушно считали, что, помимо красивых рук, усы — самая привлекательная его черта. Темные, бархатистые. Крепкий, гладко выбритый подбородок только подчеркивал их красоту. А вот голова у него была совсем седая, как и у его сестры,— еще с молодых лет. Благодаря этому он был заметен на любом сборище, и карикатуристы вечно цеплялись к его несколько театрально выглядевшим снежно-белым волосам и пышным черным усам, изображая местные политические распри. Двадцать лет назад, когда Общество по борьбе с рабством было в зените своей славы и возможностей, контраст между его усами и совершенно белой головой выглядел как символ самой их деятельности. «Крашеный негр» — так называли его враги, а во время поездки в Арканзас жители прибрежных селений, взбешенные поведением лодочников-негров, с которыми вечно соперничали, поймали Бодуина и вымазали ему лицо и волосы ваксой. Теперь бурные деньки давно миновали; оставалась только тина недоброжелательства; недовоплощенные или разбитые надежды и проблемы, которые не разрешить только силами аболиционистов. Спокойная республика? Увы, ему до этого не дожить.

Даже изменения в погоде действовали на него уже слишком сильно. Ему было то слишком жарко, то он мерз, ну а сегодняшняя жара его просто доконала. Он поглубже надвинул шляпу, чтобы солнце не так жгло шею, впрочем, тепловой удар и так вполне возможен. Мысли о смерти и собственной слабости были вовсе не новы (сейчас ему уже перевалило за семьдесят), однако они по-прежнему его раздражали. Все ближе подъезжая к старому родовому гнезду, весь во власти воспоминаний о былом, он все более отчетливо видел, как много с тех пор прошло времени. Измеряемое войнами, которые он пережил, но не участвовал в них (с индейцами майами, с испанцами, с южанами-раскольниками), время казалось медлительным. Однако измеряемое промежутками между закапыванием его «кладов», оно казалось мгновением. Где, например, закопал он ту коробку с оловянными солдатиками? А ту цепочку от часов? И от кого, собственно, он их прятал? От отца, наверно, человека глубоко религиозного, который знал многое из того, что ведомо только Господу, и рассказывал об этом людям. Эдвард Бодуин считал отца человеком довольно странным, у которого, однако, было одно абсолютно нерушимое правило: всякая человеческая жизнь священна. Ту же уверенность унаследовал и его сын, хотя у Эдварда Бодуина оставалось для подобной веры все меньше и меньше оснований. Давно уже их движение вдохновляли на дальнейшую борьбу лишь воспоминания о былом — о тайных посланиях, петициях, митингах, яростных спорах, о вступлении в их ряды все новых и новых членов, о публичных скандалах, о жизни в подполье и об откровенных призывах к бунту. И все же их деятельность дала свои результаты, а когда она затихла, то они с сестрой продолжали работать как бы в подполье и научились преодолевать множество иных препятствий. Например, когда беглая негритянка поселилась в их собственном доме, где жила тогда ее свекровь, а потом сама себя повергла в бездну несчастий. Их Обществу удалось тогда замять дело об убийстве ребенка и заглушить несмолкавшие вопли о варварстве и тому подобном; и даже преподнести это как хороший урок для побор-

ников отмены рабства. Да, славные то были годы, хотя и полные плевков и осуждения. Теперь же ему просто хотелось знать, где он закопал когда-то своих солдатиков и цепочку от часов. Да, на сегодня и этого вполне достаточно: провести день на такой жаре, доставить домой новую служанку и вспомнить точно, где спрятано его сокровище. А потом он отдохнет, поужинает, и если будет угодно Богу, то солнце снова зайдет и снова подарит ему благословенный ночной сон.

Еще на излучине дороги он услышал поющих, еще до того, как увидел их.

Когда женщины собрались перед домом номер 124, Сэти была занята тем, что дробила кусок льда, собирала осколки в карман фартука и бросала потом в кастрюлю с водой. Услышав за окном пение, она как раз смачивала в ледяной воде тряпку, чтобы приложить ее ко лбу Возлюбленной. Возлюбленная, вся мокрая от пота, распростерлась на постели Бэби Сагз, в гостиной, держа в руке кусочек каменной соли. Обе они услышали пение женщин одновременно, и обе подняли головы. Голоса становились все громче, и Возлюбленная села, лизнула соль и перешла в большую комнату. Потом они с Сэти, обменявшись взглядами, двинулись к окну. Они увидели Денвер, сидевшую на крыльце, и за ней, на границе двора и улицы, исступленные лица примерно тридцати женщин, их соседок. У одних глаза были закрыты; другие смотрели прямо в жаркие, сияющие небеса. Сэти открыла дверь и взяла за руку Возлюбленную. Вместе вышли они на порог. Сэти показалось, что та Поляна сама явилась к ней сюда вместе с жарой и шепчущейся листвой, когда женские голоса пытались отыскать единственно верное сочетание звуков, тот ключ, тот волшебный аккорд, который позволил бы снять со слов их внешнюю оболочку. Женщины складывали свои голоса так и эдак, пока не прозвучала наконец нужная секвенция, которая оказалась настолько мощной, словно вот-вот должны были встрепенуться глубины морские, задрожать могучие старые каштаны и уронить свои плоды на землю. Эта волна звуков обрушилась на Сэти, и она задрожала с головы до ног, словно младенец, опущенный в купель.

Поющие женщины сразу узнали Сэти и, на удивление самим себе, не испытали ни малейшего страха, увидев ту, что стояла с нею рядом. До чего же это дьявольское отродье умное, подумали они. И красивое. Предстает перед людьми в обличье беременной женщины, только совершенно обнаженной и чему-то все время улыбающейся под жарким полуденным солнцем. Черная, как грозовая туча, с блестящей от пота кожей, Возлюбленная стояла перед ними на длинных прямых ногах, выставив свой большой тугой живот. Множество искусно заплетенных косичек виноградными лозами окутывали ее голову и плечи. Господи! Улыбка ее была просто ослепительна.

Сэти чувствует, как щиплет ей глаза, и, возможно из желания сохранить ясность зрения, поднимает их. Небо синее и безоблачное. В яркой зелени листвы не чувствуется еще дыхания осени и смерти. Но когда она чуть опускает глаза, чтобы наконец снова взглянуть на эти любящие лица, то сразу видит его. Он медленно ведет под уздцы лошадь; на нем черная шляпа с широкими полями — достаточно широкими, чтобы скрыть его лицо, но намерений его они скрыть не могут. Он входит к ней во двор; он приехал, чтобы забрать у нее самое дорогое. Она слышит шум крыльев. Крохотные колибри снова вонзают тонкие клювы-иглы сквозь ее головной платок, сквозь волосы прямо в кожу и хлопают крыльями. И если у нее есть в голове хоть одна мысль, то это: Нет! Нет нет. Нетнетнет. Она взлетает. Топорик для рубки льда она больше не держит в руке, нет, он сам стал ее рукой.

Оставшись на крыльце одна, Возлюбленная улыбается. Но теперь в ее руке ничего нет: пусто. Сэти убегает, убегает от нее, и Возлюбленная ощущает пустоту в той руке, где только что была рука Сэти. А сама Сэти бежит прямо в толпу тех людей за оградой, соединяется с ними и оставляет Возлюбленную одну. Одну. Снова одну. Потом появляется Денвер и тоже бежит. Прочь от нее — и к толпе людей. И эти люди превращаются в холм. Холм, состоящий из падающих черных людей. И над ними, поднимаясь со

своего места с кнутом в руке, возвышается тот человек без кожи и смотрит. Смотрит на нее.

Босые ноги. Ромашки сок.
Хотел уйти, да никак не мог.
Возьми мою шляпу, постелью помани,
Бери и душу, только не гони!

Под голову положишь пустой мешок.
Босые ноги. Ромашки сок.
Прокрадется дьявол за спиной в ночи,
Полюбишь такую — от боли не кричи.

Полюбишь такую — с ума сойдешь,
Только в Милом Доме такую и найдешь.
Стоять будет дьявол за спиной в ночи,
Полюбишь такую — от боли не кричи.

Босые ноги. Ромашки сок.
Хотел уйти, да никак не мог.
Отдай мою шляпу, ботинки отдай,
Отдай мою душу — ухожу прямо в рай!

Он вернулся, точно совершая обратное движение по кругу. Сперва сарай, потом теплая кладовая, потом кухня, а вот и пес Мальчик, старый и слабый, весь в клочьях линяющей шерсти, спит у колодца. Увидев его, Поль Ди понимает, что Возлюбленная действительно ушла. Исчезла, как говорят некоторые, взорвалась прямо у них на глазах. Элла рассказывает не столь уверенно. «Может, и так,— говорит она,— а может, и нет. Может, она среди деревьев прячется, другого подходящего случая ждет». Но когда Поль Ди видит старую собаку, восемнадцать лет псу день в день, он уверен, что в доме номер 124 Возлюбленной нет. Однако открывает дверь в холодную кладовую с опаской, ожидая услышать знакомое: «Коснись меня. Погладь. Там, внутри. И назови меня по имени».

А вот и его тюфяк, покрытый старыми газетами и по краям обглоданный мышами. Вот и банка из-под жира. И мешки из-под картофеля — аккуратно сложены на грязном полу. При свете дня он никак не может представить себе, как все это выглядело в темноте, когда лунный свет просачивался сквозь щели. Не может вспомнить ту всепоглощающую страсть, что заставляла его бороться с этой девушкой и в то же время брать ее так исступленно, словно она была свежим воздухом над поверхностью океана, из глубин которого он выныривал. В совокуплении с нею не было даже радости. Больше всего это было похоже на непреодолимое желание выжить во что бы то ни стало. Каждый раз, когда она приходила и задирала свои юбки, жажда жизни ошеломляла его, и он стремился к жизни так же неудержимо, как неудержимо было и его собственное дыхание. И потом, вынырнув на поверхность, выброшенный на берег, хватающий ртом воздух, испытывая отвращение к самому себе и чудовищный стыд, он был благодарен ей за то, что она помогла ему нырнуть снова в те океанские глубины, ведомые когда-то и ему самому.

Просачивающиеся сквозь щели лучи света рассеивают воспоминания, превращая их в пылинки, пляшущие в воздухе. Поль Ди захлопывает за собой дверь и смотрит на дом. К его удивлению, дом не отвечает ему взглядом. Он пуст, дом номер 124; это теперь самый обычный старый дом, которому нужен основательный ремонт.

— Там всегда вокруг разные голоса звучали. А теперь тихо,— сказал ему как-то Штамп.— Я несколько раз мимо проходил, но так ничего

больше и не слышал. Дом-то заперт, наверно, потому, что мистер Бодуин сказал, что продаст его при первой же возможности.

— Это так того белого зовут, которого она поранить пыталась? Он это?

— Ага. Его сестра говорит, что этот дом одни неприятности приносит, и они хотят от него избавиться. Так мне Джани сказала.

— А он что? — спросил Поль Ди.

— Джани говорит, хозяин против, но мешать сестре не хочет.

— Да неужели кому-то понадобится старая развалюха, да еще в такой дали? У кого деньги есть, тот тут жить не станет.

— Это точно,— ответил Штамп.— Мне кажется, мистеру Бодуину без колдовства от этого дома не избавиться.

— А он не собирается Сэти в суд тащить?

— Непохоже. Джани говорит, он только одного хочет: знать, кто была та обнаженная чернокожая женщина, что стояла в дверях. Он так на нее засмотрелся, что и не заметил, как Сэти к нему подкралась. Говорит, видел только, что несколько цветных женщин вдруг подрались, и решил, что это Сэти на кого-то из них набросилась.

— А Джани его на этот счет не разубеждала?

— Нет, что ты. Она говорит, что ужасно рада за хозяина, ведь Сэти его убить могла. Если б Элла ей тогда не врезала, то Джани сама врезала бы ей непременно. Испугалась до смерти, что эта женщина мистера Бодуина убьет. Она вместе с Денвер сейчас работу ищет.

— А что ему Джани объяснила насчет той голой негритянки?

— Сказала, что ему показалось и никакой голой женщины на крыльце не было.

— Ты-то веришь, что они ее видели?

— Ну, что-то они, во всяком случае, видели. По крайней мере, Элле я верю, а она говорит, что смотрела той девушке прямо в глаза. Девушка стояла рука об руку с Сэти. Но, судя по их словам, непохоже, чтоб это была та, что я через окно видел. Та девушка была совсем худенькая. А это прямо огромная. Все говорят, они за руки держались, и Сэти рядом с ней была точно маленькая девочка.

— Ну да, маленькая девочка с топориком. И близко ей удалось к нему подобраться?

— Да она уже на него бросилась, так они говорят, когда Денвер и остальные успели ее перехватить, а Элла еще и кулаком дала ей прямо в зубы.

— Он должен знать, что Сэти на него напасть хотела! Должен.

— Может, и так. Не знаю. Если он так и думал, то, по-моему, решил выбросить это из головы. Очень на него похоже. Он из тех, кто никогда негров не унижал. Надежный как скала. Знаешь, что я тебе скажу: если бы она до него добралась, это было бы для нас хуже всего на свете. Ты ведь, кажется, знаешь, что именно он-то и был самым главным среди тех, кто ее тогда от виселицы спас.

— Да, знаю. Черт побери, эта женщина просто спятила! Спятила.

— Да? А может, и все мы с ней заодно тоже?

И тут они рассмеялись. Сперва сухим шелестящим смехом, потом все громче и громче, пока Штамп не вытащил из кармана носовой платок и не принялся вытирать глаза; Поль Ди тоже вытирал выступившие от смеха слезы тыльной стороной ладони. По мере того как складывалась картина, которой ни тот ни другой не видели, они уясняли всю серьезность и неожиданность случившегося, и это почему-то заставляло их трястись от нервного смеха.

— Ты ж понимаешь: как только к ее двери белый человек подходит, так она за топор хватается!

— Нет, сборщика налогов она пока не трогает.

— Хорошо еще, что здесь белые почту не разносят.

— Тогда у нас тут никто ни одного письма бы не получил!

— Кроме самого почтальона.

— Ну уж он-то получил бы так получил!

— До смерти бы запомнил!

Когда смех постепенно утих, оба с трудом перевели дыхание и покачали головой.

— И он по-прежнему собирается пускать Денвер к себе в дом на ночь? Ничего себе!

— Ну нет, Денвер ты не трожь! Оставь девочку в покое, Поль Ди. Денвер — это моя душа. Я этой девочкой горжусь! Она первой бросилась на мать и сбила ее с ног еще до того, как остальные поняли, что замышляет дьявол.

— Значит, можно сказать, она этому Бодуину жизнь спасла?

— Можно. Можно, конечно! — сказал Штамп, вдруг вспомнив тот свой прыжок и бешеное раскачивание материнской руки с зажатой в ней крохой, чью маленькую курчавую головку он спас тогда от удара, перехватив буквально в нескольких сантиметрах от стены сарая.— Я горжусь ею! Она отлично со всем справляется. Отлично.

Это было действительно так. Поль Ди увидел Денвер на следующее же утро, когда шел на работу, а она как раз возвращалась с работы домой. Она похудела, взгляд был значительно спокойнее, и она еще больше, чем прежде, стала похожа на Халле.

Денвер первой поздоровалась с ним и улыбнулась:

— Доброе утро, мистер Ди.

— Да уж и впрямь доброе.— Ее улыбка, а вовсе не та прежняя ухмылка, была приветливой и очень похожей на улыбку Сэти. Поль Ди вежливо коснулся шляпы.— Как у тебя дела?

— Грех жаловаться.

— Домой идешь?

Она ответила, что нет. Она кое-что слышала о работе в дневную смену на фабрике, где шьют рубашки. И надеялась, что это вместе с ее ночными дежурствами у Бодуинов поможет ей скопить немного денег и помочь матери. Когда он спросил, хорошо ли с ней обращаются у Бодуинов, она ответила, очень хорошо. Мисс Бодуин учит ее «всякой всячине». Он спросил, чему именно, и она рассмеялась и сказала:

— Книжки дает разные. Говорит, что я могла бы поехать учиться в Оберлин. Говорит, что она со мной «экспериментирует».

И он даже не сказал: «Смотри, осторожнее. Осторожнее, Денвер. В мире нет ничего опаснее, чем белые учителя». Он только понимающе кивнул и спросил то, о чем давно собирался спросить:

— А как у твоей матери дела? Она здорова?

— Нет,— ответила Денвер.— Нет. И ни капельки ей лучше не становится!

— Ты как думаешь, я мог бы зайти к вам? Она против не будет?

— Не знаю,— сказала Денвер.— Мне кажется, я потеряла свою мать, Поль Ди.

Оба помолчали, потом он сказал:

— Ох уж эта девчонка! Ну ты знаешь, о ком я. А кстати, что с ней?

— Не знаю.

— Ты считаешь, она действительно твоя сестра?

Денвер потупилась.

— Иногда мне так кажется. Иногда я думаю, что она была... даже больше чем...— Денвер с преувеличенным усердием стала оттирать какое-то пятнышко на блузке. Потом вдруг посмотрела Полю Ди прямо в глаза.— Но кто может знать о ней что-либо лучше, чем вы, Поль Ди? Я хочу сказать, вы-то наверняка знаете ее достаточно хорошо!

Он облизнул губы.

— Ну, если тебе интересно мое мнение...

— Нет,— сказала она.— У меня есть свое.

— Ты стала совсем взрослой,— сказал он.

— Да, сэр.

— Это хорошо. Очень хорошо, и я желаю тебе удачи с работой.

— Спасибо. И знаете, Поль Ди, вам вовсе не обязательно обходить наш дом стороной, но только, пожалуйста, поосторожнее, если будете говорить с мамой, хорошо?

— Не беспокойся,— сказал он, и они как-то сразу расстались, вернее, это она ушла, потому что какой-то молодой человек вдруг бросился к ней бегом, крича:

— Эй, мисс Денвер, погодите!

Она обернулась к юноше, и лицо ее вспыхнуло так, словно кто-то включил газовый рожок.

Поль Ди расстался с Денвер неохотно; ему хотелось еще поговорить с ней, понять смысл тех историй, которые рассказывают все вокруг: белый мужчина специально приехал, чтобы отвезти Денвер на работу, а Сэти его порезала топором. Значит, дух умершего ребенка снова вернулся, и очень злой, раз послал Сэти во двор, чтобы она убила того белого человека, который спас ее от виселицы. В одном они все-таки сходились: сперва они привидение видели, а потом — нет. Когда им удалось повалить Сэти на землю, отнять у нее топорик для колки льда и снова оглянуться на дом, той голой женщины на крыльце не было. Позже какой-то мальчик рассказал, что когда копал червей для рыбалки позади дома номер 124, на берегу ручья, то увидел, как прямо сквозь лес ломится какая-то голая женщина и вместо волос у нее на голове рыбы.

На самом-то деле Полю Ди все равно, как Возлюбленная ушла оттуда и почему. Гораздо важнее, как и почему он сам ушел из этого дома. Когда он смотрит на себя глазами Гарнера, то видит одно. Глазами Сиксо — совсем другое. Один доказывает, что он прав. Другой заставляет стыдиться себя. Как во время Войны, когда он был как бы и по ту, и по другую сторону. Убежав от Норт-Пойнт банка и Железнодорожной компании и присоединившись к 44-му цветному полку в Теннесси, он считал, что поступил правильно. Но вскоре обнаружил, что его перебросили в другой цветной полк, сформированный в Нью-Джерси. В этом полку он пробыл четыре недели. Полк распался еще до того, как был окончательно решен вопрос о том, могут ли его солдаты иметь оружие или нет. Нет, решило командование, и белый командир их цветного полка пытался придумать, что же его солдатам делать на этой Войне еще, раз других белых людей убивать им не разрешили. Некоторые из десяти тысяч солдат все-таки остались — чистить, перевозить и строить; часть перебралась в другие полки; но большинство осталось ни при чем, с горечью размышляя о собственной судьбе и планах. Он тоже пытался решить, что же ему делать, когда агент Норт-Пойнт банка настиг его и отвез обратно в Делавэр, где он работал как раб целый год. Потом Норт-Пойнт банк сдал его в аренду за 300 долларов куда-то в Алабаму, где он работал на раскольников из южных штатов, сперва сортируя трупы, а потом плавя металл. Когда он со своей группой прочесывал поля брани, то прежде всего нужно было отделить раненых конфедератов от мертвых. Позаботиться о живых, как им говорили. Хорошенько позаботиться. Там работали и цветные, и белые; обмотав лица до самых глаз, они с фонарями пробирались по лугам и болотам, прислушиваясь в темноте к стонам и тихим окликам живых, что лежали среди совершенно равнодушных, молчаливых мертвецов. По большей части это были совсем молодые люди, иногда почти дети, и ему было немного стыдно, что он жалеет их, тех, кто, вероятно, могли быть сыновьями его злобных стражников в Альфреде, штат Джорджия.

Пять раз он пытался бежать, но ни одна попытка так и не удалась. Он бежал (из Милого Дома, от Брэндивайна, из Альфреда в штате Джорджия, из Уилмингтона, из Норт-Пойнта) в одиночку, без грима и какой-либо маскировки, когда его выдавали цвет кожи и густая запоминающаяся копна волос, не имея ни одного помощника среди белых. В итоге его всегда ловили. Дольше всего он оставался на свободе, когда убежал вместе с другими заключенными из Альфреда, скрывался у индейцев чероки, а потом последовал их совету, отправился на Север и жил у ткачихи в Уилмингтоне, пригороде Делавэра: три года. И каждый раз во время

своих скитаний он не мог не удивляться красоте той земли, что была не его землей. Он прятался у нее на груди, перебирал ее пальцами в поисках чего-нибудь съедобного, льнул к берегам ее рек, чтобы напиться,— и все-таки старался не любить ее. По ночам, когда небо принадлежало ему одному, ослабев от тяжести этих сокровищ — своих собственных звезд,— он внушал себе: не люби это небо. Не люби эти тихие кладбища и реки с низкими берегами. Не смей любить вон тот одинокий дом в зарослях вишневых деревьев с привязанным рядом мулом и еле светящимся в сумерках окошком — со всем тем, что может взволновать душу. Он очень старался заставить себя не любить эту землю.

После нескольких месяцев, проведенных на полях сражений в Алабаме, он был отправлен в литейный цех в Селму вместе с тремя сотнями пленных и арендованными неграми. Именно там он и встретил конец Войны, и теперь, казалось бы, очень просто было покинуть Алабаму, раз ему было заявлено, что он свободен. Он просто должен был уйти с этого завода в Селме и отправиться прямиком в Филадельфию, не скрываясь, пешком, или на поезде, или на пароходе — как захочется. Но все получилось совсем не так. Когда он и двое цветных пленных солдат из 44-го полка, к которому он тогда присоединился, шли пешком из Селмы в Мобил, то за первые восемнадцать миль натолкнулись на двенадцать мертвых негров. Двое из них были женщины, четверо — совсем маленькие мальчики. Он думал, что это, конечно же, самый главный поход в его жизни. Янки, держа свои войска под контролем, оставили южан, вышедших из-под контроля, без присмотра. Поль Ди и его приятели добрались до пригородов Мобила, где черные снова прокладывали железную дорогу на север Соединенных Штатов — ту самую, которую раньше взорвали по приказу южан. Один из спутников Поля Ди, рядовой по имени Кин, служил тогда в 54-м Массачусетском полку. Он рассказывал Полю Ди, что им платили значительно меньше, чем белым солдатам. Особенно он напирал на то, что и он, и целая группа цветных солдат отказались от компенсации, предложенной им позже властями Массачусетса. На Поля Ди произвело большое впечатление уже и то, что, оказывается, можно получать деньги за участие в сражениях, так что он смотрел на рядового Кина с изумлением и завистью.

Кин и его друг, сержант Росситер, конфисковали чей-то ялик, и они втроем плавали в заливе Мобил, пока рядовой Кин не попросился на проплывавший мимо военный корабль Соединенных Штатов, и всех троих взяли на борт. Кин и Росситер высадились в Мемфисе, надеясь разыскать своих командиров. А Полю Ди капитан позволил остаться на борту до самого Уилинга, Западная Виргиния. А потом он уже в одиночку добирался до Нью-Джерси.

К тому времени как Поль Ди попал в Мобил, он видел куда больше мертвых людей, чем живых. Зато когда он добрался до Трентона и его окружили толпы живых людей, за которыми никто не охотился и которые сами ни за кем не охотились, то вдруг ощутил такую замечательную свободу, что запомнил это ощущение на всю жизнь. Шагая по шумной деловой улице, полной белых, которым вовсе не требовалось объяснять, почему он здесь оказался, он понимал, что если кто и поглядывал на него косо, то это имело отношение только к его отвратительным лохмотьям и грязным отросшим патлам. И тем не менее, несмотря на его обшарпанный вид, тревоги никто не поднимал. А потом случилось чудо. Стоя на улице напротив аккуратного ряда кирпичных домов, он услышал вдруг, как какой-то белый окликнул его («Эй! Ты!») и попросил помочь снять с повозки два тяжелых сундука. За это белый дал ему монетку. Поль Ди несколько часов ходил по улицам, зажав монетку в руке и не зная, что именно можно на нее купить (одежду? еду? лошадь?) и продадут ли ему что-нибудь. Наконец он увидел тележку зеленщика, подошел и молча указал на пучок редиски. Зеленщик вручил ему редиску, взял его монетку и дал ему несколько других. Потрясенный, Поль Ди даже попятился. Но, оглядевшись, понял, что никто, похоже, не заинтересовался этой «ошибкой» или им самим, и пошел дальше, счастливый, жуя на ходу редиску, хотя на лицах встречных женщин читал порой отвращение.

Первая честным трудом заработанная покупка заставляла его прямо-таки светиться от восторга, хотя редиска была грязной и довольно вялой. Именно тогда он и решил, что если есть возможность свободно ходить, есть и спать, то жизнь еще не кончена и вообще — достаточно хороша. Так он и жил целых семь лет, пока не очутился в южном Огайо, куда давно уже переехала одна его знакомая, старая женщина со своей невесткой.

Теперь же он пришел, точно совершая обратное движение по кругу. Постоял за домом, возле холодной кладовки, удивленный нашествием поздних летних цветов там, где должны были бы расти овощи. Турецкая гвоздика, ипомеи, хризантемы. Странное нагромождение ящиков и жестянок с сухими и подгнившими стеблями, среди которых прорастают свежие, с яркими цветами, похожими на алые раны. Засохшие побеги плюща на подставках для бобов, на дверных ручках. Выцветшие картинки из журналов, прибитые гвоздями к наружным стенам сарая и к деревьям. Веревка, годная разве что для скакалки, брошена возле бочки с водой. И повсюду банки и баночки, полные мертвых светлячков. Словно детский игрушечный домик; только домик очень высокого ребенка.

Поль Ди поднимается на крыльцо, подходит к двери и открывает ее. В доме тихо, как в гробнице. Там, где когда-то пляшущий кружок красного света омыл его печалью, запер его внутри себя, заставив застыть на месте, пусто. Везде мрак, холод и больше ничего. Пустота минус еще что-то, чье-то отсутствие. И это отсутствие он должен преодолеть столь же решительно, как когда поверил Сэти, прошел сквозь пульсирующее красное пятно света. Поль Ди быстро смотрит на ярко-белые ступени лестницы, ведущей на второй этаж. Все перила увиты лентами, бантами, букетами. Поль Ди идет дальше. Ветерок, ворвавшийся в открытую дверь с ним вместе, колышет ленты. Осторожно, не спеша, однако и не теряя времени даром, он поднимается по светящимся в полумраке ступенькам. Входит в комнату Сэти. Ее там нет, а кровать выглядит такой маленькой, что он удивляется, как это они вдвоем умещались на ней тогда. Простыней на кровати нет, а поскольку окна в потолке не открываются, то в комнате душно. Яркие одежды валяются на полу. С гвоздя на стене свисает то платье, в котором была Возлюбленная, когда он впервые увидел ее. Пара коньков пристроилась в корзинке в углу. Он косится назад, на кровать; ему не отвести от нее глаз. Ему вдруг кажется, что здесь он перестает существовать. С огромным усилием, покрывшись испариной, он заставляет себя представить, что это он сам лежит на постели Сэти, и когда это ему удается, то сразу наступает облегчение. Поль Ди переходит в другую спальню. Спальня Денвер, в отличие от предыдущей, тщательно убрана. Но и здесь Сэти нет. Может, она вернулась на прежнюю работу? Может, ей стало лучше с тех пор, как он разговаривал с Денвер? Поль Ди снова спускается по лестнице, оставляя себя воображаемого там, где надо, на той узкой кровати. Присаживается у кухонного стола. Чего-то в доме номер 124 явно не хватает. Чего-то большего, чем те люди, что жили здесь. Чего-то большего, чем Возлюбленная или тот таинственный красный свет. Он не может с точностью сказать, чего именно, но в какой-то миг ему кажется, что стоит ему понять это, как оно тут же засветится и обнимет его потусторонним светом, одновременно любя и обвиняя.

Справа, где приоткрыта дверь в гостиную, вдруг слышится тихое пение. Кто-то напевает песенку. Тихую и нежную, точно колыбельная. Он различает несколько слов. Что-то вроде: «Высокий Джонни, широкий Джонни. Гвоздики вымокли в росе, мой Джонни». Ага, думает он, вот она где! Там она и оказывается. Лежит под стеганым одеялом из пестрых лоскутков. Ее волосы, словно темные тонкие корни добрых злаков, рассыпались и вьются по подушке. Ее глаза, безотрывно смотрящие в окно, настолько безжизненны, что он не уверен, узнает ли она его. Здесь, в этой комнате, слишком много света. Все выглядит словно уже проданное.

— «Наперстянка мне до плеч,— поет Сэти.— Лютик вырос до колен, клевер хочет взять меня и тебя в душистый плен...» — Она теребит в пальцах длинную прядь волос.

Поль Ди откашливается, чтобы как-то прервать это пение.

— Сэти?

Она поворачивает голову.

— Поль Ди.

— Ах, Сэти!

— Я сделала чернила, Поль Ди. Он бы никогда не смог такого написать, если бы я не сделала ему чернила.

— Какие чернила? Кто?

— Ты сбрил бороду?

— Да. Что, плохо?

— Нет. Ты выглядишь очень хорошо.

— Черт меня попутал, вот я и сбрил. А что это ты, как я слышал, и с постели не встаешь?

Она улыбается и позволяет улыбке медленно растаять у нее на лице; потом снова отворачивается к окну.

— Мне нужно поговорить с тобой,— говорит он ей.

Она не отвечает.

— Я видел Денвер. Она тебе сказала?

— Да. Она приходит. Днем. Денвер. Она все еще со мной, моя Денвер.

— Встать тебе нужно с этой постели, девушка! — Он начинает нервничать. Это ему напоминает о чем-то знакомом.

— Я очень устала, Поль Ди. Так устала. Мне нужно немного отдохнуть.

Теперь он понимает, *что* это ему напоминает, и кричит на нее:

— Нечего тут мне умирать! Это постель Бэби Сагз! Так вот ты, значит, что задумала? — Он так зол, что готов убить ее. Потом берет себя в руки, вспомнив о предупреждении Денвер, и шепчет: — Что ты задумала, Сэти?

— Ох, ничего я не задумала. Совсем ничего.

— Слушай,— говорит он.— Днем здесь будет Денвер. Ночью здесь буду я. Я намерен о тебе заботиться, слышишь? Прямо сейчас и начну. Во-первых, пахнешь ты, прямо сказать, не очень. Лежи, лежи. Не шевелись. Сейчас я воды согрею...— Он умолкает.— Ничего, Сэти, если я согрею немного воды?

— И сосчитаешь, сколько у меня ног? — спрашивает она, глядя на него.

Он подходит к ней ближе.

— И разотру тебе твои усталые ноги.

Сэти закрывает глаза, поджимает губы. Она думает: нет, эта постель у окна — все, что мне теперь нужно. И еще отдохнуть. И нечего ноги мне растирать, да и ни к чему это теперь. Там и тела-то не осталось, чтобы его мыть, даже если он, предположим, умеет это делать. Он что же, будет делать это по частям? Сперва лицо, потом руки, бедра, ступни, спину? И наконец, ее измученные груди? Но если он будет обмывать ее частями, то не распадется ли она на части? Сэти открывает глаза, понимая, как опасно ей смотреть на него. Но все-таки смотрит на него. Угольно-черная кожа, морщинка между полными любви и преданности, ждущими глазами. И она видит в нем то самое, то благословенное, благодаря чему он мог зайти в любой дом и заставить женщин плакать и рассказывать ему обо всем на свете. Потому что при нем они поплакать могли. Плакать и рассказывать такие вещи, какие изредка говорили только друг другу; и она может плакать и рассказывать ему, что время уходит; что она звала, но Ховард и Баглер не оборачивались и шли все дальше и дальше по железнодорожной колее, словно не слышали ее; что Эми сперва боялась остаться с ней, потому что ноги у нее были просто безобразные, а уж про спину и говорить нечего; что ее мать поступила с ней жестоко, что она нигде не могла найти ее шляпу, что...

— Поль Ди?

— Что, детка?

— Она оставила меня.

— Да, детка. Не плачь.

— Она была самым моим дорогим сокровищем.

Поль Ди присаживается рядом с ней на кресло-качалку и рассматривает стеганое лоскутное одеяло цветов карнавала. Руки его бессильно свешиваются между коленями. Слишком много чувств вызывает у него эта женщина, так что голова раскалывается от боли. Он вдруг вспоминает попытки Сиксо описать свои чувства к той женщине с тридцатой мили. «Она мой сердечный друг, понимаешь? Она меня с земли поднимает, парень, возвышает меня. Вот будто берет те отдельные кусочки, из которых я состою, и делает меня целым, а потом возвращает меня мне самому. Знаешь, это так хорошо, когда у тебя есть женщина, которая тебе сердечный друг!»

Поль Ди неотрывно смотрит на одеяло, но думает о задубевших рубцах на спине Сэти; о ее нежных губах, все еще чуть припухших от того удара Эллы. Об этих застенчивых черных глазах. О мокром платье, что дымилось у огня в его хижине. О ее нежности — когда она услышала о том ошейнике с тремя шипами, торчавшими у его лица, точно детеныши гремучей змеи. О том, что она никогда не упоминала об этом больше — чтобы он тоже забыл и не стыдился, что, как зверь, был посажен на цепь. Только эта женщина, Сэти, могла сохранить и пробудить в нем столько мужества. Ему очень хочется положить свою жизнь, все ее события, рядом с ее жизнью.

— Сэти,— говорит он,— у нас с тобой куда больше осталось в прошлом, чем у кого бы то ни было. Теперь нам бы нужно хоть какое-то завтра.

Он наклоняется к ней и берет ее за руку. Другой рукой касается ее лица.

— Ты — самое свое дорогое сокровище, Сэти. Ты сама.— Он крепко, крепко держит ее за руку.

— Я? Я?

Есть одиночество, которое можно убаюкать. Руки скрещены на груди, колени приподняты, и покачиваешься, покачиваешься — движение это, в отличие от качки корабля, смягчает душу и убаюкивает. Оно исходит откуда-то изнутри и обволакивает тебя плотно, как кожа. Есть еще и такое одиночество, которое словно накатывает извне. Его не убаюкаешь. Оно живое и существует независимо, само по себе. Оно иссушает и разрастается, захватывая все вокруг, так что даже звук собственных шагов будто доносится до тебя со стороны.

Все знали ее прозвище, но никто и нигде не знал ее имени. Не вспоминаемая никем и всеми сброшенная со счетов, она не может даже потеряться, потому что никто не ищет ее; но даже если б и искали, то не могли бы окликнуть: ведь никто не знает ее имени. И хотя сама она знает свои права, на нее-то права никем не предъявлены. И там, где над землей приоткрываются высокие травы, девушка, что ждала, чтобы стать любимой и выплакать наконец свой стыд, взрывается и распадается на части, чтобы жующим и смеющимся устам легче было проглотить ее без остатка.

Мимо такой истории не пройдешь.

Они забыли о ней, как о дурном сне. Придумали свои собственные истории, придали им нужную форму, разукрасили их, а потом быстро и решительно забыли о ней — те, кто видел ее в тот день на крыльце, те, кто говорил с нею, жил с ней вместе, любил ее; этим последним, правда, потребовалось больше времени, чтобы ее забыть; но и они вскоре увидели, что не могут ни вспомнить, ни повторить ничего из ее слов, и поверили, противореча самим себе, что она вообще ничего никогда им не говорила. Так что в конце концов они тоже забыли ее. Помнить, видимо, глупо. Они так и не узнали, где и почему она припала к земле, и где ползла по ней, и чье

лицо было ей так необходимо. Там, где могла бы быть тень той страшной улыбки у нее под подбородком, теперь все скрыл железный ошейник, намертво запертый и уже покрывшийся зеленоватой патиной. С чего это она решила, что ногтями сможет открыть замок, заржавевший после стольких дождей?

Мимо такой истории не пройдешь.

Итак, они ее забыли. Как неприятное видение, мелькнувшее в беспокойном сне. Иногда, правда, тихо прошуршит чья-то юбка перед их пробуждением, или чья-то рука легонько коснется щеки, но потом окажется, что это рука спящего рядом. Порой фотография близкого друга или родственника— если смотреть на нее слишком долго — вдруг шевельнется и оживет, и что-то более знакомое, чем даже это дорогое лицо, мелькнет в глубине. Они могут даже коснуться ее, если захотят, но никогда не касаются, понимая, что ничто и никогда уже не будет по-прежнему, если они это сделают.

Мимо такой истории не пройдешь.

На берегу ручья, что течет за домом номер 124, появляются и исчезают, появляются и исчезают отпечатки ее ног. Они им так хорошо знакомы. Если ребенок или взрослый поставит на такой след свою ногу, то оба следа в точности совпадут. Уберешь ногу, и следы исчезнут, как если бы их никогда здесь и не было.

Потихоньку исчезают все следы, забываются не только отпечатки ног на песке, но и сама вода, и то, что там, внизу, под нею. Все остальное переменится со сменой погоды. И уже не дыхание ее, позабытой и всеми сброшенной со счетов, будет слышаться рядом, а просто ветер над крышей или весенний ледоход, начавшийся слишком бурно. Просто наступит другое время года. И уж конечно, никто больше громко не потребует поцеловать ее на прощанье.

Возлюбленная моя.

■

Дом Поэзии

С французского

Вот уже более ста лет по страницам поэтических монографий кочует репродукция картины Фантен-Латура «Угол стола», где в окружении друзей-поэтов сидят Верлен и Рембо. Время — 1872 год, место — гостиная в особняке Эмиля Блемона, поэта и мецената, одного из центральных персонажей полотна. Картину, ставшую хрестоматийной не столько для истории живописи, сколько для истории литературы, Эмиль Блемон передал в Лувр, а свой дом завещал парижским поэтам. Теперь здесь Дом Поэзии, где усилиями Административного совета из семи человек: Жака Шарпантро (председатель), Робера Удло (генеральный секретарь), Мишеля Конта, Клер де ла Сужоль, Жана Леставеля, Бернара Лоррена, Жан-Люка Моро — поддерживается жизнь литературного салона, привлекающая любителей поэзии, увы, немногочисленных — во всяком случае, по российским меркам — в сегодняшнем Париже.

Известно, что широкая публика во Франции отвернулась от поэзии. Поэтические сборники не раскупаются, и даже юные девушки давно не грезят над томиками стихов, как в былые времена. Правда, поэты Сопротивления сумели в годы оккупации найти путь к многотысячной аудитории, чему, впрочем, отчасти способствовали гонения и цензурные запреты немецких властей. Однако после войны интеллектуальная, подчас герметичная современная поэзия оттолкнула основную массу читателей, требуя слишком сложных умственных усилий, необходимых для чтения-сотворчества. Живой контакт между публикой и стихотворцами оказался надолго нарушен. Надежда восстановить этот контакт, сокрушить «башню из слоновой кости», где нынешние поэты очутились, по существу против воли, объединила вокруг Дома Поэзии на улице Баллю группу поэтов, из которых мы представляем сегодня читателям пятерых: Жака Шарпантро, Жана Леставеля, Робера Удло, Люка Декона и Жан-Люка Моро, чьи последние книги вышли в недавно созданном при Доме Поэзии небольшом издательстве.

Этот литературный союз никак не может быть назван школой. Однако в отличие от другого парижского Дома Поэзии, основанного замечательным поэтом Пьером Эммануэлем, где тоже устраиваются поэтические чтения для публики, в Доме Поэзии на улице Баллю собираются единомышленники, и даже не просто единомышленники, а чуть ли не ниспровергатели литературной нормы, задумавшие на исходе столетия возвратить поэзии внутренний музыкальный строй и ясность мысли. Видимо, мятежный дух Рембо все еще витает в этих стенах, заражая бунтарством уже далеко не молодых, известных, давно печатающихся авторов. Их декларированный возврат к французской поэтической традиции, по сути своей как бы антибунтарский, звучит тем не менее в сегодняшней литературной жизни Франции как шокирующий вызов. Пускаясь на свой «дерзкий эксперимент», они рисковали столкнуться с высокомерным пренебрежением критиков и собратьев по перу, давно уже рассматривающих не только рифму, но и любую традиционную организацию стиха как пахнущий нафталином пережиток.

«Мне хотелось,— пишет Жан Леставель в послесловии к своему сборнику, выпущенному издательством Дома Поэзии,— победить в себе табу, от которого я до сих пор был внутренне несвободен,— запрет писать и публиковать рифмованные стихи». Люк Декон, один из старейших французских поэтов, получивший известность еще до войны и представленный не в одной антологии, вынужден оправдываться и объяснять, что его обращение к рифме и ассонансу не есть «регресс», что это константа его творчества. Даже в верлибрах, если они принадлежат «поэту милостью божьей», непременно присутствуют, утверждает Декон, и внутренние рифмы, и ритм. От считает музыкальность «счастливым роком французской речи», от которого не уйти настоящему поэту.

Французская рифма поплатилась за свою относительную легкость, даже некоторую назойливость, связанную с морфологией французского языка. В обновленной поэзии XX века она была признана ненужной формальностью, чем-то вроде безвкусных виньеток, затеняющих смысл. Сегодня это как бы общее место, не тема для разговора. Однако именно в этом поэт поколения шестьдесят восьмого, Жан-Люк Моро, изучавший когда-то русский язык в Московском университете, видит причину непопулярности поэзии во Франции. Он отстаивает рифму с позиции знатока и переводчика поэзии русской: «Русская поэзия напевна, в ней есть что-то от моцартовской гармонии, поэтому в России стихи любят и читают. Считается, что французская рифма исчерпана, затаскана. Неправда, новые рифмы всегда можно найти. Но это не главное, главное — свежесть слов». И цитирует Ахматову: «Нам свежесть слов и чувства простоту...»

Сама по себе рифма для этого круга поэтов действительно не главное. Робер Удло, например, включает в свой сборник, вышедший в издательстве Дома Поэзии, стихи в прозе, вовсе не считая, что одна лишь рифма может быть носительницей гармонии. Однако его стихи приводят на память забытое слово «лиризм» — еще одно понятие, давно ушедшее из французского поэтического лексикона.

Но защита традиции тоже имеет свою традицию. Еще до войны вокруг поэта Рене Ги Каду (1920—1951) сложился кружок поэтов (Жак Руссло, Марсель Беалю, Жан Фоллен, Люк Беримон и др.), известный под названием Рошфорской школы.

Слово «школа» и в этом случае не следует понимать буквально, ибо, как и у тех поэтов, о которых идет речь, у них была только одна общая задача — «вывести отечественную лирику из дебрей головоломных мудрствований и чрезмерных ухищрений, оздоровить, вернув ей сердечную теплоту, добрую улыбку, прелесть непосредственного и естественного переживания» (С. Великовский). К Рошфорской школе был близок и Люк Декон. Вдова Рене Ги Каду, поэтесса Элен Каду, входит в руководство Дома Поэзии. Это не возрождение Рошфорской школы, а лишь еще один шаг на том же пути.

Сейчас, в критический для французской поэзии момент, когда самый крупный поэтический журнал Франции «Аксьон поэтик» ведет на своих страницах дискуссию о том, должна ли, может ли поэзия как форма литературного творчества исчезнуть совсем, попытка возврата к традиционным приемам, к поэтическому наследству прошлого выглядит вполне логичной. Но вопрос в том, как «оприходовать» это наследство после ста лет беспощадного отрицания, совсем не прост, и каждый из пятерых представленных в подборке поэтов решает его по-разному, всякий раз заново, но всегда в соответствии с мироощущением человека сегодняшнего.

И. КУЗНЕЦОВА

ЖАК ШАРПАНТРО

Из сборника «ЗОЛОТАЯ НИТЬ»

Весна

Брожу сегодня день-деньской
Вдоль Сены в обществе почтенном
С Карко, Нервалем и Верленом,
С Бодлером, в гуще городской,
И время, кажется в толпе нам,
Само становится рекой.

Весна уже за поворотом:
Спешит на остров Сен-Луи
Одеть листвой кусты свои,
Дать волю праздничным заботам,—
А болтунишки воробьи
Ее распишут, как по нотам.

Поэты — ровни. Им легко,
Смеясь, брести весенним сквером —
Деснос, Превер с Аполлинером...
Весна. И солнце высоко.
А вот блистательный пример им —
Наш славный мэтр Виктор Гюго.

Весной Париж наполнен светом.
Вовсю синеет небосвод.
Сегодня каждый — стихоплет,
И день хорош по всем приметам.
Нас в лавку букинист зовет —
О, вот где благодать поэтам!

© Maison de Poésie et Jacques Charpentreau, 1990

Из сборника «ОБРАЗЫ»

Глаза, чтобы видеть

Река пересекает город.
Старые дома с островерхими крышами
ровными рядами тянутся по берегам.
Ребенок
склоняется над перилами моста,
увлеченный отражениями.
И там,
из реки,
из воды,
поднимается прямо к нему
зеленый лес.

Под музыку

Дом
срублен из свежих бревен
и еще полон птиц.
Уже спозаранок они поют —
из-под каждой доски
раздается весеннее пенье.
Они распрямляют перья,
они расправляют крылья,
они готовы к полету,
и новый дом трепещет
каждым своим гнездом.
И вот
он отрывается от земли.
Медленно поднимается.
И песня любви
исчезает следом за ним
в утреннем небе.

Из сборника «МОРЕ-ЛЮБОВЬ»

* * *

Жизнь моя
сверкает под солнцем,
как мыльный пузырь,
наполненный легким и светлым
дыханьем любви;
она расцветает в небе,
вся в фиолетовых отсветах
живой, трепещущей крови —
и лопается от счастья.

© Editions du Petit Véhicule, 1989
© Jacques Charpentreau, Paris, 1989.

* * *

У нашего дома
будут окна без стекол,
будут прозрачные стены,
осязаемые только нами.
Дом наш будет распахнут
всем ветрам,
из любого уголка земли
несущим запахи, подобранные на дорогах,
ароматы далеких берегов,
внятные тем, кто их слышит.
Дом наш будет легко покоиться
на наших плечах,
и стены не станут
давить на тех, кто войдет к нам в двери,
раскрытые веснам.
Дом наш, чистый и хрупкий,
увидят лишь те,
кто замечает былинки
на откосах железных дорог.
И на самом верху, рядом с небом,
будет наша комната,
украшенная звездами
и переходящая в необъятность.

Из сборника «СОКРОВЕННЫЙ МУЗЕЙ»

Метафизическое

На веревке моя рубаха
раздувается ветром.
Внутри никого.
Не видно души,
повешенной на просушку.

Каждому своя работа

На заре
чья-то рука
развеивает облака
и начинает высаживать
деревья
одно за другим
на земле,
сырой от росы.
Буки,
дубы
и в особенности березы,
и разные виды
других деревьев,
более хрупких,
с неизвестными названиями.
Одно дуновение —
и листва трепещет.

© Maison de Poésie, Editions Serpenoise, Presses Universitaires de Nancy, 1992

К вечеру
лес
будет готов
к приему ночных зверей.

Из сборника «ГДЕ ТЫ, ВОЛК?»

На чародейском рынке

На чародейском рынке,
На рынке ведьм и фей,
Предложат жабу в крынке,
И ящериц, и змей.
И два яйца гадюки
Вам вложат прямо в руки,
И глаз волшебной щуки,
Что глянет, покосясь,
И колдовскую мазь.

На чародейском рынке,
На рынке ведовском,
Вам продадут в корзинке
Кота с таким хвостом,
Который как замашет —
Так целый мир запляшет.
Кому гнилой воды глоток?
Летучей мыши коготок?
Кому котел и ступа —
Отличная, из дуба?
А вот метла — всего за грош,
Дешевле метел не найдешь!
На чародейском рынке,
На рынке ворожбы,
Встречаются новинки —
Ходячие гробы.
Здесь все, что пригодится:
Сушеная мокрица,
Толченый мухомор,
И кочерга, и свечка,
И едкое словечко,
И ядовитый взор.

На чародейском рынке,
На рынке злых старух,
Вам продадут пылинки,
И тлен, и прах, и пух,
Кулек вареных мух
И нить от паутинки.

На чародейском рынке,
На рынке злобных чар
Подсунут вам слезинки,
Трясучку, боль и жар.
Вот говорящий ворон —
Несет коварный вздор он.

© Enfance heureuse, 1887

А вот танцующий скелет:
Махнул, мелькнул — и нет как нет.

Пусть множество тропинок
Ведет сквозь лес густой
На чародейский рынок,
На рынок ведовской,
Туда вы — ни ногою,
Там плутовской народ
Окружит вас толпою
И в клетку увлечет.
Потом, на радость рынку,
Там превратят вас в свинку
И в несколько минут
На мясо и щетинку
Зевакам продадут.

ЖАН-ЛЮК МОРО

Из сборника «УЗДА НА СЕРДЦЕ»

Октябрь

Дымок травы, горящей по долинам,
Немного пепла в воздухе пустынном...

И аромат давилен по садам,
И запах тьмы и цвели по углам...

Сверчок, неумолкающий, осенний,
И дверь, и скрип, и ключ от сновидений...

Ночь погребов, где бодрствует один
Дух, старый дух новорожденных вин...

Сад

Дрозд наклевался всласть — и видит птичьи сны
В своем гнезде, в тени ветвистой бузины;
Спит майский жук в траве; забылся дремой сладкой
Кот, стерегущий птиц за помидорной грядкой;
Вполглаза ящерка задумчиво следит,
Как шмель зигзагами заштриховал зенит;
И это все поэт, под шляпою своею,
Рифмует, нагишом на жарком солнце млея.

Из сборника «ДЕРЕВО НА ВЕТКЕ»

Кружился снег...

Кружился снег ночной порой
Над деревенькой и рекой;

© Maison de Poésie et Jean-Luc Moreau, 1990
© Éditions ouvrières, 1980

Кружился снег над колокольней,
Над пасекой и крышей школьной;

Кружился снег всю ночь подряд
Над кладбищем, где тени спят;

Кружился снег — белели кроны
И распускались, как бутоны.

Если хочешь...

Если хочешь, мы, Жюли,
Побредем на край земли,

К югу — до Италии,
Африки — и далее.

Если хочешь, мы, Жюли,
Прибредем на край земли

Жить в стране Печалии,
Льдинии, Снежалии...

Из сборника «СТИХИ ЗЕЛЕНОЙ МЫШКИ»

Спичка и сигара

Спичка влюбилась
В большую сигару —
И потянулась к ней
С пылу и с жару,
И на себе
Убедиться смогла,
Что от любви
Мы сгораем дотла.

Пустячок

— Что милей, плутовка,
Если выбирать:
Божьей ли коровкой
Иль коровой стать?

А она, приметьте,
Говорит в ответ:
— Лучше вы ответьте,
Дорогой поэт,

Что вам, для примера,
Больше по нутру —
Петь: «Тра-ля-ля-лере»
Или: «Тру-ру-ру»?

© Hachette, 1992

Засада *

Тени сгущаются понемногу,
Ночь надо мною встает стеной.
Может быть, это — сумерки Бога,
Бога, выслеживаемого мной?

Стих мой высветил ярким кругом
Логово, грянул победный рог,
Но Бог улыбнулся моим потугам
И, окопавшись во тьме, залег.

Как браконьер, я таюсь в пустынной
Роще, расставив силки стихов:
Придет ли он с песнею лебединой,
Исчезнет ли с пением петухов?

Каждый капкан ему — как подмога,
Ясность скрывает его в тиши.
Он!.. Подбегаю... Но вместо Бога —
Волчья яма моей души.

Перевод МИХАИЛА ЯСНОВА

ЖАН ЛЕСТАВЕЛЬ

Из сборника «УХОДЫ»

Дитя простора

Давно уж мне иной не открывался вид,
Чем серенький пейзаж с продрогшими кустами,
С прудами черными среди больных ракит,
Где только воронье над мерзлыми полями
В предзимних сумерках от голода кричит.

Блуждал я много лет в кирпичных Вавилонах
Угрюмых городов, в безликих номерах,
Где эхо не поет в колодцах заоконных
И мертвенный пейзаж двоится в зеркалах,
Казенной лампочкой уныло освещенных.

Но я — дитя живых и дышащих просторов.
Ни сирым пустошам, ни желчи городов,
Ни небу дымному, придавленный которым,
Я бился в стены лбом, не взять меня измором,
Не заглушить во мне родного моря зов.

И память не дает с тюрьмою примириться:
Пускай хоть все пути приводят к тупику —
Мне снятся, бередя изгнания тоску,
В раздолии ветров свобода вольной птицы
И шумный росплеск волн по мокрому песку.

* © Jean-Luc Moreau, 1993
© 1992, Editions Serpenoise, Metz; Presses Universitaires de Nancy.

Апрель

На солнце, что блестит, как желтая солома,
И морщит смехом мне лицо,
Встречаю я апрель, по-новому легко
Толкуя проповедь Былого.

Окно мое — тропа для божиих коровок.
Вот с ними вверимся и мы
Блаженному теплу и синеве весны —
А все само воскреснет снова.

Вестники

Когда дрожит чердак под натиском ночей,
Ветров и ноября — тогда в сердцах детей
Рождаются порой морские чудо-птицы.

И страшно женщинам, когда залетный стон
Над кровлями села пойдет кружить и плакать,
И ветер, возвестив надолго мглу и слякоть,
Вздымается окрест и крепнет, взяв разгон.

Смотрите: огонек. Там лампу засветили,
Там дом, убежище — скорей бежим туда:
Вот-вот, отрезав путь, подымется вода —
А даль и диких птиц туманы поглотили.

Надежен ли корабль, что спящих в ночь несет,
Не отплывет ли дом в моря, порвав швартовы?
Метанья черных стай, что значат ваши зовы,
Что нам пророчит ваш неистовый полет?

РОБЕР УДЛО

Из сборника «ЧЕРНЫЙ ЛАВР И ДРУГИЕ СТИХИ»

Сады Аланкура

Садами шла весна, и била ей во славу
Дробь пулеметная в гигантский барабан.

И я лежал ничком в веселых буйных травах,
Своею юностью и всей любовью пьян.

Душистой свежестью земля в лицо дышала,
Как над возлюбленной, склонялся я над ней.

© Maison de Poésie et Robert Houdelot, 1991

И тех, кто ей умел понравиться, венчала
Смерть, странное дитя тех чудных майских дней.

В плодовых тех садах, среди цветенья мая
Я истинно тогда, глубоко счастлив был.

Увы! теперь в глазах лишь насыпи могил,
И нет на них цветов — одна листва гнилая.

* * *

Рыбкой гибкой под волну
Взбаламученного ложа
Ты, сетей не потревожа,
В сон уходишь, в глубину.

Поскорей, заря, займись:
Обнажит отлив глубины —
И без снасти рыбку выну
На солено-сладкий бриз.

Перевод НАТАЛЬИ ШАХОВСКОЙ

Из цикла «ТРИНАДЦАТЬ»

13

В одиночестве, осенним вечером, ждать последнего поезда на платформе маленькой станции — какое печальное свиданье с самим собой! Враждебная и загадочная, как в начале времен, тьма не спеша поглощает леса и поля. Все живое смолкает, прячется в гнезда и норы, и вот уже ни единый звук не нарушает пугающего безмолвия, лишь пролетает порой торопливая птица, да ветер доносит с болот тихий жалобный зов какой-то неведомой твари.

Если сердце хранит горьковатые запахи детства, то в такие минуты его затопляет бесконечная грусть, ибо нет тяжелей одиночества, чем в сгустившихся сумерках, когда все распадается и исчезает. И какой теперь поезд, будь то даже последний, остановится здесь ради странного путника без лица и души? Его затянули в свой омут тревога и тьма, и он, постепенно смиряясь, соглашается в них раствориться.

Перевод ИРИНЫ КУЗНЕЦОВОЙ

Из цикла «СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ»

* * *

Что там темнеет вдали над холмами, туман или дождь? Или это из леса выбралась ночь и сюда приближается тихо? Похоже, дорога никуда не ведет, и мои шаги отдаются только во мне.

О одиночество, немое, застывшее, точно лики мертвых светил, я снова с тобою встречаюсь у поворота дороги. Но, меня столько раз предававшее, ты не будешь мне больше прибежищем, ты спокойствия сердцу не дашь. Одиночество, красавица мнимая под густыми слоями румян, земля бесплодная, голая, на которую поэты ложатся — и умирают на ней.

Перевод МОРИСА ВАКСМАХЕРА

ЛЮК ДЕКОН

Из сборника «ПОЭЗИЯ»

Все эти люди

Для кого-то прогулки бессонной
С темнотой наступает пора.
Люди грезят в кафе до утра,
Превращаясь в сомнамбул неона.

А другие выходят искать,
Заблудившись во тьме безотрадной,
Овдовевшую вновь Ариадну,
Чтоб ей больше, чем просит, отдать.

Кто-то мечется в смутной тревоге,
Ночь их душит гнетущей тоской —
Этим дарит недолгий покой
Черный свет фонарей у дороги.

Есть любители сценок ночных,
Постояльцы скамей деревянных,
Много нищих и бесталанных,
Нелюбимых, нелепых, смешных...

Каждый, тьмой прикрываясь, как маской,
Вышел с тайной надеждой во мрак.
Люди вроде бездомных собак:
Ждут, что утро им сделает знак
И утешит бесхитростной лаской.

© 1992, Editions Serpenoise, Metz; Presses Universitaires de Nancy.

Существование

О, твои невесомые руки!
Солнца свет, преломленный в воде,
Руки — снег, руки — небо в паденье,
Руки — бликов слепящих сплетенье,
Руки — день в пелене облаков,
Руки мягкие, мох для птенцов,
Руки — пламя без пепла и дыма,
Руки — струи, текущие мимо,
Руки — прихоть, свобода, каприз,
Оправданье мое и девиз,
Руки — слезы в потоке весеннем,
Руки нежные, легким движеньем
Разорвавшие ночи петлю...

Я целую, люблю, существую,
СУЩЕСТВУЮ, ИБО ЛЮБЛЮ.

Перевод ИРИНЫ КУЗНЕЦОВОЙ

■

ДИНО БУЦЦАТИ

Рассказы

С итальянского

Мастер Страшного суда

Художник Иероним Босх интересовал меня всегда. Приехав в Голландию, я решил побывать в его родном городе — Хертогенбосе. На французский манер город называют еще Буа-ле-Дюк. Буквально это означает Герцогский лес. Хозяин гостиницы, человек весьма образованный, посоветовал мне: — А не зайти ли вам к старику Петеру ван Теллеру? Хотя бы ради любопытства. Он у нас малость со странностями. Когда-то работал часовщиком, а теперь живет на доход от мастерской, которую передал внуку. По-моему, он старейшина Хертогенбоса. Всю свою жизнь ван Теллер занимался Босхом. Он даже уверен, что Босх один из его предков по материнской линии. Много лет назад он написал о Босхе нашумевшую книжку. В общем, ван Теллер большой оригинал. Так что встреча с ним может оказаться для вас полезной...— Мой собеседник лукаво улыбался, и я уже начал подумывать, а не разыгрывает ли он меня?

Отправившись по указанному адресу, я вышел на узенькую улочку за городской ратушей и быстро отыскал небольшой трехэтажный дом в классическом староголландском стиле. Перед домом был разбит крохотный садик; на первом этаже выделялся изящный эркер; окна расчертил частый переплет прямоугольных рам; в покатой черепичной крыше зияли два слуховых оконца. С торцов крышу стискивали фигурные, ступенчатые фронтоны, увенчанные флюгерами в форме петушков. На одной из трех длинных труб пристроилось что-то вроде журавлиного гнезда.

У калитки я дернул за ручку звонка. Немного погодя на пороге появилась ладная старушка лет шестидесяти в аккуратном белом чепце. Говорила она только по-голландски, и я не понял, служанка она или родственница старого часовщика. К счастью, на помощь пришел прохожий, знавший немецкий. Так я узнал, что ван Теллер вышел прогуляться и вернется не раньше чем через час. Впрочем, если у меня нет желания подождать, я могу найти его в городском парке; ван Теллер всегда сидит на третьей скамейке справа от входа. Ошибиться невозможно: он самый старый житель Хертогенбоса и носит прадедовскую широкополую шляпу.

Спросив дорогу, я вскоре увидел моего чудаковатого героя. Он сидел один на скамейке, скрестив ладони на загнутой рукоятке трости, и наблюдал за проходившими мимо горожанами, играющими детьми, облагороженными мамашами, занятыми возле своих колясок вязанием или разговорами.

Сколько ему было лет? Восемьдесят? Девяносто? Двести? Поражало обилие морщин, избороздивших его худощавое лицо. И все же оно было живым и, можно сказать, задорным.

При моем приближении он перевел на меня взгляд. Увидев его вблизи, я мгновенно отметил необычайное сходство с единственным достоверно

известным портретом Иеронима Босха — рисунком, хранящимся в библиотеке аббатства Сен-Вааст в Аррасе. Тот же острый, ястребиный и одновременно насмешливый взгляд. Тот же решительный рот, расходящийся двумя ехидными складками. Рисунок пером из Арраса, запечатлевший пожилого художника, в точности совпадает с лицом человека, изображенного на заднем плане в «Увенчании терновым венцом» из Прадо; человек с осуждением и состраданием созерцает муки Христа; только здесь Босх явился нам с густой черной шевелюрой, в расцвете лет. Так вот, по сравнению с этими двумя портретами, сидевший передо мной старичок представлял третью пору, до которой Босх не успел дожить. Теперь это был человек, достигший порога глубокой старости.

Я представился. К моей несказанной радости, ван Теллер неплохо владел немецким. Общаться можно было без особого труда. Хотя не совсем: старик был глуховат, и приходилось чуть ли не кричать ему в ухо.

— Кто вас ко мне прислал? — поинтересовался он первым делом. Услыхав ответ, хмыкнул, словно считал хозяина гостиницы не заслуживающим большого доверия. Затем умолк и снова принялся рассматривать окружающих, как будто меня вовсе не было.

Стоял ласковый осенний полдень. Полуобнаженные деревья пламенели сочными красками, распространяя окрест трогательное чувство увядания.

Ван Теллер был одет по старинке: длиннополый сюртук, доходивший почти до колен, рубашка с высоким накрахмаленным воротничком, широкий темный галстук а-ля Робеспьер. Встрепенувшись, он посмотрел на меня, усмехнулся (зубы у него были еще свои): — Вы ко мне по поводу великого Иеронима? Хе-хе. Прежде всего считаю своим долгом упредить вас, милостивый государь, что в нашем городе меня принимают за сумасшедшего,— и разразился пронзительным каркающим смехом.

Я сел рядом. Костлявой, но по-прежнему сильной рукой старик сжал мою руку. — Вы, сударь, как я погляжу, издалека. О здешних провинциальных сплетнях ведать не ведаете, да и на что они вам... Однако вы мне сразу приглянулись. Извольте, вам я кое-что расскажу. Хе-хе. Вы, надо полагать, уже приметили некоторое сходство кое с кем?!

— Потрясающее сходство! — воскликнул я.— Совершенно невероятное совпадение.

— Совпадение, друг мой? По-вашему, это всего лишь совпадение?

— Вы хотите сказать, господин ван Теллер, что между вами кровные узы?

— Как знать, как знать,— проговорил он загадочно.— Есть вещи, до которых нам не дойти никогда.

Старик не заставил упрашивать себя и поведал свою историю.

Родился он в семье часовщика и пошел по отцовским стопам. С утра до вечера работал в часовой мастерской. С детства его непреодолимо привлекало все, что касалось знаменитого художника, считавшегося в семье предком матери, урожденной ван Акен. Обычное юношеское увлечение. И все же довольно странное, ведь учили его только ремонту часов. Еще мальчишкой он прочел о Босхе все что мог. Разумеется, недостатка в книгах о великом художнике в публичной библиотеке Хертогенбоса не было. Повзрослев, он увидел чуть ли не все работы прославленного мастера; он побывал в Вене, Берлине, Париже, Венеции, Лиссабоне и несколько раз в Мадриде.

Смеркалось. Парк почти опустел. Аллеи приобретали тот таинственный и недоверчивый оттенок, какой бывает у природы, оставленной наедине с собой.

Слушая историю ван Теллера, я вздрогнул от неожиданности: мне померещилось, будто из кустов позади нас выскочило какое-то темное существо и запрыгало по траве. Но уже в следующее мгновение все было по-прежнему спокойно.

Стало свежо; повеяло ночной прохладой. Я предложил ван Теллеру проводить его домой. Он извлек старинные золотые часы из жилетного кармашка и воскликнул: — Батюшки! Скоро уже семь. Представляю, как волнуется Маргарет.

Парк совсем обезлюдел. Я почувствовал себя неуютно. То тут, то там вскрикивали невидимые птицы. Гнулись и скрипели голые ветки; вечерний ветерок ворошил кучки опавших листьев. Ван Теллер, видимо порядком успевший утомить сограждан своими набившими оскомину баснями, не мог поверить, что ему подвернулся такой внимательный слушатель. Он воодушевлялся все больше и больше. И уверял меня, что ни один из многочисленных критиков, писавших о Босхе — известные, авторитетные имена,— так и не сумел его убедить.— Они рассуждают об аде, вечном проклятии, Святом Августине, ересях, реформе Лютера; роются в частной жизни Иеронима,— хотя что они о ней могут знать? — исписывают сотни страниц бесконечными толкованиями. Тут вам и психоанализ! И предвещание экзистенциальной тоски! И сюрреализм! И все это аж за целых четыре столетия!.. Один из критиков дошел до того, что составил подробный перечень всех монстров — хе-хе, они называют это монстрами,— классифицировал их как жесткокрылых насекомых и привел для каждого соответствующий тип невроза. И, конечно, непременное манихейство! А как же! И подавление половых инстинктов... психические отклонения... элементы содомии... эзотерическая некромания... Сколько напрасных усилий! — Он прервался, яростно стуча по земле наконечником тонкой трости.— Ведь это так просто, так ясно! На свете еще не было более реалистичного и понятного художника, чем он!.. Какие там фантазии, кошмары и черная магия... Ничего, кроме окружавшей его реальности, неприкрытой и жестокой... Просто он был гением и видел то, что никто, до и после него, не сумел увидеть. Вот и весь секрет: он просто все это видел и запечатлел увиденное...

— Понимаю,— сказал я.— Конечно, в литературном отношении нельзя отрицать... Очевидно, вы намекаете на вымышленную, фантастическую реальность, реальность снов, страхов, внутренних терзаний? Непреложная заслуга Босха в том, что он придал этим видениям конкретную форму... Не станете же вы утверждать, будто все эти отвратные существа, человекообразные твари, безобразные механизмы, хитроумные устройства, превращенные в члены, гномы и мерзкие насекомые, действительно встречались на улицах Голландии четыреста лет назад и будто он действительно их видел?

— Видел ли он их? — переспросил часовщик вызывающе.— Встречались ли они на наших улицах? Лучше не спрашивайте! — Тут уж его прорвало. Он признался, что сам хоть и не каждый день, но довольно часто «видел» мир, как Босх. К примеру, сегодня. Многие из этих ласковых мам, выгуливавших в колясках своих младенцев, на самом деле были — заверил меня старик — противными птицами с загнутыми клювами, огромными черными ящерицами, раздувшимися от злости, прожорливыми беззубыми мартышками, тошнотными пузырями с паучьими лапками. Среди детей он приметил несколько утконосов и гномов, вооруженных окровавленными крюками. Отсюда и пошли все его беды и мучения в Хертогенбосе, объяснил он. Лет тридцать назад ван Теллер написал книжку, в которой изложил свою теорию, подкрепив ее множеством примеров. Хоть он и не называл конкретных имен, несомненным было, скажем, сравнение тогдашнего вицемэра со свирепым профилем беспощадного филистера из «Несения креста», хранящегося в Генте, или директора музыкального училища — со свиноголовым пажем из триптиха «Искушения Святого Антония», хранящегося в Лиссабоне.

Я начинал понимать, почему хозяин гостиницы ухмылялся, давая мне адрес ван Теллера. И почему он сам предупредил меня, что здесь его принимают за ненормального. Жалкий старикашка, у которого явно не все дома, возомнивший себя воскресшим гением.

— А вы сами,— спросил я,— когда-нибудь пробовали заняться живописью?

— Погодите,— прошептал ван Теллер с заговорщическим видом.— Погодите. Я вам все покажу.

Спускалась ночь. Под темными полями шляпы ветхое лицо старика излучало слабый свет, а ястребиные глаза отливали сухой белизной. Он указующе поднял правую руку.

Оказывается, мы уже подошли к его дому. Благодаря островерхим боковым фронтонам и горящим окнам дом напоминал в темноте громадного затаившегося филина. Прежде чем ван Теллер успел позвонить, навстречу нам выбежала запыхавшаяся старушка и пролепетала что-то вроде:

— Так поздно, сударь!

Меня пропустили вперед. Мы вошли. В доме витал дух старины и фамильных тайн. Стены были обшиты старым деревом, лестницы сколочены из старого дерева; деревянные статуи старинных святых выглядели мрачновато и скованно. Освещение было электрическим. Немногочисленные светильники были расположены со знанием дела. Маргарет заперла дверь на черный засов, издавший гулкий стук.

Наверное, ван Теллеру пора было ужинать? Маргарет вопросительно смотрела на хозяина. Он сделал короткий жест, давая понять, что сейчас ему недосуг, и медленно стал подниматься по лестнице. Он не остановился на втором этаже, где, по-видимому, находились спальни. Объятые потемками углы, ниши, узкие коридоры и боковые лесенки терялись в кромешном мраке.

Мы поднялись в мансарду. Ван Теллер повернул выключатель. Сноп яркого света упал на большую незавершенную картину, стоящую на мольберте. Внизу, на столике, лежали кисти, краски и палитра.

Насколько я понимал, это была незаконченная работа Босха. В левом верхнем углу сияет чистое, сочное небо. В небе парят два чудных ангела. Их трубы закручиваются в триумфальные завитки, развевающиеся на ветру восхитительными картушами. Справа от ангелов — Он, Господь Бог, Всемогущий Творец, восседающий на вершине радуги, увенчанный лучезарным нимбом, всесильный и отрешенный. Фигура Господа обнажена. В дугообразно изогнутой деснице — длинный стебель райских цветов. Скрещенные ступни опираются на земной шар. Однако образ написан лишь наполовину. Оставшаяся часть намечена нитевидными линиями. Наиболее выразительным был пейзаж внизу полотна. Голые, изрезанные скалы; в трещинах и складках извиваются чудовищные клубки человеческих и нечеловеческих тел, окутанных гадкими желтыми испарениями. Ширококрылые ангелы пытаются вырвать из скверны еще колеблющиеся души, которые яростно удерживаются богопротивной нечистью. Заранее ясно, что ее дело проиграно. Бесы со звериными и свиными рылами, жабьими пастями, чешуйчатыми и паучьими брюхами, непомерно крупными головами и оттопыренными ушами, из которых торчат рахитичные ноги; с туловищами ящерицы или сколопендры, покрыты слизистой оболочкой — червообразные, членоподобные глумливо и бесстыдно разверстые для самых уродливых непотребств. На фоне неровных каменистых склонов эти бьющиеся в непристойных корчах, разгоряченные тела выделяются гораздо отчетливее в своем неукротимом буйстве, чем прекрасные юные куртизанки в «Саду наслаждений» из Прадо.

Я стоял не шелохнувшись. То было одно из самых безжалостных и отчаянных полотен Босха, которые я когда-либо видел. Тем не менее я не встречал его ни в одной книге или альбоме.

— Это же подлинный Босх, не так ли? Он ваш? Где вы его нашли? И почему он недописан?

— Нет, нет, это всего лишь копия...— ответил с улыбкой ван Теллер.

— Однако она напоминает...

Ван Теллер просиял:

— Вы узнали его? Да, это «Страшный суд». Тот самый, что пострадал в огне Прадо. Вы вспомнили гравюру на этот сюжет Аллаэрта де Хамеела?

Да, теперь я все вспомнил. После пожара сохранилось одно-единственное свидетельство о знаменитой работе: уменьшенных размеров копия, гравюра по меди, выполненная современником Босха. И вот передо мной наполовину воскрешенный шедевр.

— Не может быть! — вырвалось у меня.

Тут ван Теллер таинственно огляделся по сторонам и начал,— как бы

это сказать? — начал дрожать мелкой дрожью, словно им завладела некая высшая сила. Он назидательно поднял палец и произнес:

— Иногда он наведывается ко мне.

— Кто?

— Сам великий Иероним.

— То есть как?

Он просеменил к столу, заваленному бумагами, и сел. Затем взял карандаш, упер его кончиком в лист бумаги — карандаш двигался сам по себе.

— Он здесь, здесь. Сегодня он пришел,— объявил старик голосом чревовещателя.— Вам повезло, сударь.

Значит, старый часовщик был медиумом? И теперь предлагал мне поучаствовать в соответствующем ритуале?

— Сядьте вон там, в уголке. И, пожалуйста, ни слова, сударь.

Я послушно сел. Ван Теллер принялся кружить по мансарде, точно страждущая душа. Он мычал, корчился, будто кто-то сжимал его тело, и умолял: — Не так сильно, мастер Иероним, не так сильно, ради всего святого! — постанывая, он забормотал что-то невнятное по-голландски.

В то же время — а при таком свете всякая возможность трюка исключалась — от стола оторвались две кисти, зависли в воздухе, нырнули, подобно дрессированным зверькам, хохолками в палитру, затем нацелились на полотно и неторопливо, с невероятной тщательностью, стали выводить какую-то противную тварь — полусаламандру-полуптицу, тянувшуюся клювом к обнаженной девушке, уже пронзенной пикой. Стало быть, невидимый дух великого Иеронима посещал родной город, чтобы восстановить уничтоженную картину?

Вся эта сцена выглядела жутковато. Находясь в некотором трансе, ван Теллер все же прошептал мне:

— Посмотрите, посмотрите в окно.

Я посмотрел. И понял, что́ пытался объяснить старый часовщик. Иероним Босх действительно ничего не выдумывал. Он лишь правдиво отображал то, что каждодневно представало его взору.

Со своего места я различал только противоположный дом и половинки соседних домов. Той волшебной ночью дома словно оголились, и сквозь рассеявшиеся стены можно было наблюдать за их обитателями. Они ели, спали, ругались, работали, занимались любовью, ненавидели, завидовали, надеялись, желали, как и все мы. Обыкновенные, ничем не примечательные мужчины, женщины, дети. Однако, присмотревшись, я увидел, что вперемежку с ними лихорадочно копошились бесчисленные существа: какие-то пиявки, устрицы, лягушки, суетливые рыбки, неугомонные ящерицы, чертовски напоминающие так называемых монстров Иеронима Босха. Они составляли подавляющее большинство, совсем не отличаясь от людей, воплощая их истинную суть. Они выли, блевали, кусали, брызгали слюной, пронзали жертву насквозь, терзали ее, пили из нее кровь, разрывали на куски. Так и мы денно и нощно разрываем друг друга на куски, даже не подозревая об этом.

Внезапно видение прекратилось. Передо мной по-прежнему стоял недвижимый дом, защищенный плотной стеной; соседние дома крепко спали, погруженные в темноту. Все вокруг обрело привычный, будничный облик. Я обернулся. Старый часовщик, тяжело дыша, откинулся на диване. Казалось, силы оставили его.

В доме царили ночная тишина и покой. Как будто ничего не произошло. И только уродливая гадина — помесь саламандры и птицы — чернела на холсте. Когда я вошел, ее там не было.

— Мне никогда не закончить эту картину,— грустно произнес старик, не вставая с дивана.— Годы берут свое. Еле ноги таскаю... А он приходит все реже и реже...

Я пристально взглянул на картину. Она была выполнена с непогрешимостью старинного мастера. Кое-где краска слегка потрескалась: такие отметины оставляют только столетия.

— Кто-нибудь ее видел? — спросил я.

— Никто.

— Что же будет после?

— После моей смерти, вы хотите сказать? Нет, сударь, никто и никогда ее не увидит. Я всего лишь сумасшедший, несчастный сумасшедший. Эта картина — моя тайна. Я уже сделал распоряжения. Она исчезнет вместе со мной.

Перевод Г. КИСЕЛЕВА

Поединок

Епископ был один, а вокруг — только лес и поле, да изгородь на краю поля. Он подошел к изгороди и кончиком трости смахнул паука, сидевшего на своей паутине. Паук был великолепен: молодой, красивый, крупный, с изысканным узором на выпуклой спинке. Падая, он повис на ниточке, да так и остался висеть, покачиваясь и недоумевая, что же с ним будет дальше.

Неподалеку на заборе, в центре роскошной паутины, примостился другой паук, еще красивее первого. Он был похож на Молоха. Или нет, даже не на Молоха, а на дракона, на древнего кровожадного змея, имя которому Сатана. Сытый и спокойный, он недвижно царил в своем крошечном блещущем красотой мире. Епископу вздумалось посмотреть, что будет, и точным движением он подсадил первого паука в самую середину большой паутины. Тот приклеился и замер.

Царственный паук, казалось, спал, но не успел человек и глазом моргнуть, как он бросился на пришельца и стал обматывать его серебристой пеленой слюны. Меньший паук даже не сопротивлялся. В несколько секунд он превратился в белый неподвижный кокон.

Стоял тихий вечер, солнце плавно спускалось к горе. Паутина сверкала в его лучах тончайшим рисунком своего плетения. В центре ее, будто ничего не произошло, по-прежнему сидел гигантский паук. Он не двигался и, казалось, погрузился в спячку. Чуть ниже висел кокон с плененным врагом. Может, меньший паук уже умер? Но нет, время от времени его передние лапки чуть заметно подрагивали.

И вдруг пленник скинул с себя путы. Он не прикладывал к этому никаких видимых усилий, не бился, пытаясь высвободиться. Может, просто подумав, разгадал секрет ловушки? Он вылез из кокона цел и невредим и не спеша пополз прочь по радиусу огромной паутины. Скорей, скорей, подумал епископ, а то он тебя догонит. Но паук и не думал торопиться.

Молох в своем царственном величии позволил беглецу уйти. Что это, своего рода договор? Сумеешь, мол, сам выбраться — свободен, помилую тебя. Или что-то в этом роде. Во всяком случае, гигант не шелохнулся, сделав вид, что ничего не замечает. И меньший паук благополучно скрылся в листве.

Но монсеньор ухитрился снова поймать его и осторожно подцепил на кончик трости. Он покачал его, точно маятник, и ловким движением сбросил обратно на большую паутину.

Паук-гигант сразу ринулся на свою жертву и, обхватив ее лапками, попытался скрутить. Некоторое время они боролись. На беду, меньший паук приклеился к паутине и никак не мог развернуться, чтобы встретить противника лицом к лицу. Все же он отбивался, пытаясь скинуть с себя врага. В этой неудобной позе и связал его большой паук.

Путы были уже не столь безукоризненны, как в первый раз, потому что злодей израсходовал почти весь запас слюны. Теперь он ограничился несколькими перехватами, оставив между ними прогалы. Монсеньору вдруг почудилось, что у него за спиной что-то промелькнуло: не то упавший лист,

не то птица или змея... Он резко обернулся. Природа была тиха и спокойна. Паук-победитель не оставил на этот раз своей жертвы, а продолжал хлопотать вокруг, покусывая ей спину и стараясь впрыснуть яд. Пленник не противился и вроде бы даже не испытывал боли.

Победитель укусил его еще раз и уполз на тронное место, но вскоре передумал и вернулся. И снова принялся кусать. Он уходил и возвращался трижды. На третий раз побежденный изловчился и сквозь прореху в коконе схватил мучителя клешнями за ногу.

Молох содрогнулся всем телом, бросил добычу и попытался спастись бегством, но противник не собирался его отпускать. Он крепко вцепился в ногу, дергал, тянул — вот-вот оторвет. Наконец силы пленника иссякли, и он разжал клешни.

Монсеньору опять почудилось, что кто-то пристально смотрит ему в спину. Он оглянулся и опять никого не увидел. Только закат догорал, да через все небо протянулось длинное желтое облако. Оно было похоже на огромную руку, вытянутую в знак предостережения. Уж не к нему ли относилось это знамение?

Хромая, гигант вполз на свое законное место. Теперь он трясся от страха — а вдруг гнусный враг успел впрыснуть яд? Он принялся нежно оглаживать пораненную ногу: водил по ней семью другими, подносил ко рту, облизывал, вытягивал, чтобы посмотреть,— совсем как человек, подвернувший конечность. Он возился со своей ногой как с грудным ребенком. Мало-помалу испуг его прошел, и он стал проверять лапку, цепляясь ею за нити паутины — будто играл на арфе. И вновь в отвратительном порыве принимался ее обнимать.

В конце концов он совсем успокоился и с удвоенным рвением вернулся к расправе. Как консервный нож врезается в дно банки, так его клешня пропорола брюхо плененного паука; из разреза вытекла густая белая жижица.

В этот момент закатилось солнце, и огромная рука, нависшая над полем, взялась пунцовым заревом, окрасив мир в кровавые тона. Даже изгородь и та заалела. Все было тихо, еще тише, чем прежде,— ведь сначала были два паука, карауливших друг друга. Теперь остался только один. Он сидел неподвижно и делал вид, что ничего не произошло. Другой перестал быть пауком, он превратился в мягкий, бесформенный комочек, даже утробная слизь вся вытекла и свернулась. Но он еще жил: затекшие, стянутые путами лапки время от времени слабо шевелились.

Вдалеке по дороге проехала повозка; дробный цокот копыт затих, удаляясь к северу. Монсеньор услышал, как у реки с чувством запела крестьянка. Затем все смолкло. Он был совсем один. Взяв прутик, епископ с уверенностью опытного хирурга разорвал путы, высвободил изуродованное существо и положил его на лист.

Оно лежало в прежней позе, искалеченное, парализованное, будто только что извлеченное из гипсового корсета. Потом оно приподнялось и попыталось уползти, но свалилось на бок, а восемь лапок продолжали ритмично подрагивать, словно всеми преданный, невинный агнец Божий взывал ко Всевышнему.

Упав на колени, монсеньор склонил голову перед этой неутолимой болью. Боже, что он наделал! Как мало нужно, чтобы невинный эксперимент оборвал чью-то жизнь. Думая так, он внезапно почувствовал, что паук на него смотрит: маленькие невыразительные глазки глядели сурово и жгуче. Закат совсем угас, изгородь и деревья сделались страшными, загадочными и притаились, ожидая чего-то, в сгущавшихся сумерках. Кто же опять промелькнул сзади? Кто тихо нашептывал имя монсеньора? Нет, кажется, все-таки никого...

Перевод М. АННИНСКОЙ

Плащ

Когда исчезла последняя надежда и казалось, ожиданию не будет конца, Джованни вернулся домой. Стоял серый мартовский день. В небе кружили вороны. Еще не пробило двух. Мать убирала со стола. Он появился на пороге неожиданно. С криком «Сынок!» мать бросилась его обнимать. Пьетро и Анна, маленькие братишка и сестренка Джованни, радостно заверещали. Этот долгожданный, мелькавший в сладких предрассветных снах миг должен был принести им счастье.

Джованни едва проронил несколько слов, с трудом сдерживая слезы. Он положил тяжелую саблю на стул. На голове у него была зимняя солдатская шапка.

— Ну-ка, покажись,— сказала сквозь слезы мать, отступая назад.— Покажись, каким ты стал красавцем. Уж больно бледный...

Джованни и впрямь был очень бледен. Силы словно оставили его. Сняв шапку, он прошел в комнату и опустился на стул. Он так устал, что даже улыбка давалась ему с трудом.

— Сними плащ, сынок,— сказала мать, оглядывая сына, как диковинку, и слегка робея перед ним: он был таким статным, красивым, мужественным (только очень бледным).— Давай сюда. Жарко ведь в доме.

Джованни резко отстранился и еще плотнее запахнулся в плащ, боясь, что его сорвут.

— Нет, нет, не надо,— ответил он, не глядя на мать.— Так удобнее. Да и потом, скоро надо идти...

— Идти? Два года не был дома и сразу уходишь? — воскликнула мать в отчаянии. Не успела и порадоваться по-настоящему, да, видно, такова материнская доля.— Что это так сразу? Отдохни с дороги, поешь!

— Я уже ел, мама,— ласково улыбнулся Джованни, вглядываясь в знакомый полумрак комнаты.— Мы остановились в таверне. Неподалеку отсюда.

— Так ты не один? А с кем? Это твой однополчанин? Не сын ли Мены?

— Да нет. Попутчик. Он остался ждать на улице.

— На улице? Что ж ты его в дом не позвал? Бросил товарища одного.

Мать подошла к окну. За огородом, по ту сторону забора, медленно прохаживался незнакомец, закутанный в темный плащ.

В это мгновение в глубине ее души, среди круговорота неисчерпаемой радости, зародилась таинственная, щемящая боль.

— Лучше не надо,— ответил Джованни решительно.— Он этого не любит.

— Может, угостить его стаканчиком вина?

— Говорю, не надо, мама. Он не как все. Ему не понравится.

— Да кто он? Зачем ты с ним связался? Что ему нужно?

— Я его почти не знаю,— чуть слышно промолвил Джованни.— Мы повстречались в пути. Вместе пришли. Вот и все.

Джованни словно чего-то стеснялся. Мать сразу заговорила о другом. Прежний радостный свет, озарявший ее лицо, начал угасать.

— Вот Мариетта узнает, что ее Джованни вернулся! Запрыгает от счастья! Это ты к ней собрался?

Вместо ответа он лишь улыбнулся, как человек, которому хотелось бы порадоваться, да невмоготу: что-то гложет его душу.

Мать терялась в догадках: почему Джованни все сидит, понурив голову, как в тот далекий день отъезда? Ведь он вернулся, впереди новая жизнь, сколько прекрасных дней, чудных вечеров проведут они вместе! Перед ними открывался бесконечный путь в необозримое будущее. Не будет больше тревожных ночей с огненными вспышками на горизонте, когда начинаешь думать, что и он там, лежит, смертельно раненный в грудь, среди обагренных кровью руин. Наконец он вернулся, возмужавший, красивый. Дождалась Мариетта своего часа! Скоро весна. Воскресным утром молодые обвенчаются в церкви под звон колоколов. Что же он сидит, такой бледный

и рассеянный? Почему не смеется, не рассказывает о сражениях? И этот плащ? Почему он никак не снимает его, когда в доме такая жара? Может, форма под плащом порвалась и запачкалась? Но разве можно стесняться родной матери? Думала, все мучения позади, а тут новые заботы. Склонив голову, мать ласково смотрела на сына, готовая угодить ему во всем, мгновенно исполнить любое его желание. А ну как Джованни заболел? Или просто очень устал? Почему он молчит, даже не взглянет на нее?

Джованни и вправду старался не смотреть на мать, точно боялся. Пьетро и Анна молча разглядывали брата, сгорая от любопытства.

— Джованни,— не сдержалась мать.— Наконец-то ты дома, наконец-то! Погоди, я приготовлю кофе.

И она поспешила на кухню.

Джованни остался с братишкой и сестренкой. Где-нибудь на улице они бы и не узнали друг друга: так сильно все трое изменились за эти два года. Они молча переглядывались, не находя нужных слов, и улыбались по старой, еще незабытой привычке.

Из кухни вернулась мать. Она несла дымящийся кофе и аппетитный кусок пирога. Джованни залпом выпил кофе и нехотя принялся за пирог.

«Неужто не нравится? А ведь любил когда-то!» — подумала она, но промолчала, чтобы не надоедать сыну.

— Джованни,— предложила она вслух.— Хочешь посмотреть свою комнату? Знаешь, теперь там новая кровать, стены побелены, лампа тоже новая. Иди погляди... Только плащ, может, все-таки снимешь? Жарко ведь!

Солдат не ответил. Встал и пошел в соседнюю комнату. Ступал он тяжело и медленно, словно глубокий старик, а не двадцатилетний юноша. Мать кинулась вперед распахнуть ставни. Проникший в комнату свет оказался серым и безрадостным.

— Хорошо,— устало произнес Джованни. Оглядел с порога новую мебель, опрятные занавески, белоснежные стены: все вокруг чистое, свежее. Мать нагнулась поправить новенькое покрывало на постели. Он взглянул на ее хрупкие плечи. И была в этом взгляде непередаваемая печаль. Никто не мог этого видеть. Анна и Пьетро стояли позади брата. Детские личики сияли в предвкушении настоящего праздника, полного веселья и неожиданностей. Но праздник не состоялся.

— Как все красиво! Спасибо, мама,— повторил Джованни и не прибавил ни слова. В глазах юноши замелькало беспокойство: поскорее бы кончить тягостный разговор. Время от времени Джованни нетерпеливо посматривал в окно, на зеленую калитку, за которой прохаживался его спутник.

— Ну как, сынок? Нравится? — робко спросила мать. Ей очень хотелось видеть сына счастливым.

— Еще бы, просто здорово,— ответил Джованни (почему же он не снимет плащ?), улыбаясь через силу.

— Джованни,— взмолилась мать.— Что с тобой, сынок? Ты что-то от меня скрываешь!

Джованни молчал, закусив губу; у него перехватило дыхание.

— Мама,— сказал он немного погодя тихим голосом.— Мама, мне пора.

— Уже уходишь? Приходи побыстрей, ладно? Ты к Мариетте? Скажи правду, к Мариетте? — Она старалась быть веселой, хотя чувствовала недоброе.

— Не знаю, мама,— ответил Джованни сдержанно и печально. Взяв шапку, он направился к двери.— Не знаю. Мне нужно идти. Он ждет.

— Когда вернешься? Часика через два? Я позову дядю Джулио и тетушку. Вот радости-то будет! Постарайся быть к обеду.

— Мама,— он словно умолял ее не говорить больше слов, сжалиться над ним и не причинять столько боли.— Меня ждут. Он и так слишком терпелив.— Джованни пристально смотрел на мать, желая заглянуть ей в самую душу.

Он подошел к двери. Малыши, для которых праздник еще продолжал-

ся, прижались к нему. Пьетро приподнял полу плаща, чтобы узнать, во что одет брат.

— Пьетро, ты что делаешь! Отпусти сейчас же! — крикнула мать, опасаясь, что Джованни рассердится.

— Не надо, не трогай,— воскликнул солдат, опомнившись. Было поздно. Голубые полы на мгновение распахнулись.

— Джованни, сыночек, что они с тобой сделали? — пробормотала мать, закрыв лицо руками.— Ведь это кровь!

— Мне пора, мама,— повторил он с отчаянной твердостью.— Я и без того заставил его долго ждать. Пока, Анна. Пока, Пьетро. Прощай, мама.

Джованни уже стоял на пороге и вышел, точно подхваченный ветром. Быстрым шагом он прошел через огород и открыл калитку. Две лошади пустились галопом, но не в сторону деревни, а через луга, на север, в горы. Под серым небом они мчались все дальше и дальше...

И тут мать все поняла. Беспредельная, вовек невосполнимая пустота раскрылась в ее сердце. Она поняла, что означали этот плащ и печаль в глазах сына. А главное, кто был тот загадочный незнакомец, стоявший у калитки: тот зловещий и терпеливый спутник. Такой терпеливый и сострадательный, что согласился проводить Джованни до дома (прежде чем забрать с собой навсегда), чтобы сын мог проститься с матерью. Тот, кто, не присев, ожидал его на дороге — он, повелитель мира, весь в пыли, как жалкий нищий.

Перевод Г. КИСЕЛЕВА

■

ДЖОН КОЛЬЕР

Если бы молодость знала, если бы старость могла...

РАССКАЗ

Перевод с английского А. ЛИВЕРГАНТА

Первое, что бросалось в глаза, когда вы видели Анри Морра, были его длинный, с горбинкой, как у Дон Кихота, испанский нос и громадные, темные и печальные глаза, которые, впрочем, умели зажечься. К несчастью, романтические эти черты никак не вязались с его капризно, по-детски надутыми губками и смешными маленькими усиками.

В остальном же это был весьма субтильный молодой человек, носивший дешевый серый костюм, в котором его маленькие ягодицы напоминали булавочные головки. Работал Анри младшим бухгалтером в большом марсельском универмаге и ужасно хотел жениться.

Нередко он забывал о колонках цифр и подымал к потолку свои огромные глаза, представляя девушку своей мечты: юную, преданную, страстную, с пышными формами и безупречной репутацией. Особенно важна была для нашего любвеобильного petit bourgeois [1] безупречная репутация.

Его маленькие усики дерзко топорщились, когда он воображал, какие прогулки он будет совершать с женой по воскресеньям всем на зависть. Она будет любовно опираться на его руку, сводя всех мужчин с ума; а он — он будет щеголять в роскошном костюме от Марке и опираться на модную трость.

— Развлечение — дело, конечно, хорошее,— заявил он своим коллегам, когда те предложили «гульнуть» в день получки.— Но какое развлечение может сравниться с женитьбой? Если, разумеется, женишься на красотке — веселой, ласковой, симпатичной и...— и Морра изобразил рукой в воздухе умопомрачительные очертания.— А для этого,— добавил он,— необходимо экономить. И ждать.

— Чепуха,— в один голос сказали его сослуживцы.— Пойдем с нами к мадам Гарсье. Экономии это, понятно, помешает, зато ожидание, безусловно, скрасит. В конце концов молодой человек имеет право на скромное счастье — за свои-то деньги.

— Нет, нет,— возразил Морра.— У меня есть идеалы. Вы вряд ли поймете.

Идеалы Анри, столь же высокие, как и его переносица, предохраняли его от продажной любви, весьма популярной среди марсельской молодежи. И все же фраза «скромное счастье — за свои-то деньги» возымела свое пагубное действие. Из-за этой фразы наш герой не смог противостоять искушению приобрести потрясающую трость, выставленную в витрине самого дорогого магазина на всей улице Сен-Ферреоль. «В конце концов,— оправдывался он перед самим собой,— все равно же придется рано или поздно ее купить. Почему не сейчас?»

В первый момент после того как Анри уплатил деньги, ему стало так стыдно за свое расточительство, что он готов был убить себя. И в то же время он буквально дрожал от радости, когда вертел в руках свое со-

[1] мелкого буржуа, мещанина *(франц.)*.

кровище, опирался на него или вешал на руку. Когда он выходил из магазина, ему показалось даже, что несколько франтовато одетых мужчин провожают его глазами с завистливым интересом. «Посмотрим, что вы запоете,— подумал он,— когда увидите меня в костюме от Марке, под руку с очаровательной молодой женой».

Вернувшись, однако, домой, он спрятал свою покупку в гардероб. Пусть полежит там до свадьбы, а то еще поцарапается или лак облупится. В день свадьбы он должен будет выглядеть совершенно безупречно, во всем, так сказать, блеске.

И все же каждый вечер, перед тем как лечь спать, он вновь надевал шляпу и, достав из гардероба новую трость, красовался несколько минут перед зеркалом. Он непринужденно (насколько позволяли размеры крохотной комнатушки) помахивал ею или, присев на край кровати, рисовал тростью сердце на ковре.

На ощупь трость была поразительно гладкой и округлой, ручка украшена великолепным роговым ободом, а посередине красовалось узкое золотое полукружье — ни дать ни взять обручальное кольцо высшей пробы.

Теперь, став обладателем такой трости, Анри не мог более отказывать себе в удовольствии бросать нескромные взгляды на девушек — и это несмотря на то, что накопления его находились покуда на начальной стадии и никак не соответствовали подобной дерзости.

Вглядываясь в хорошенькие женские лица, он иногда и сам с тревогой ловил на себе взгляды, в которых чувствовался немалый жизненный опыт. «Где найти невесту,— размышлял он,— которая была бы столь же чистой и незапятнанной, как моя новая трость?» В эти минуты ему не приходило в голову, что трость эта, прежде чем попасть к нему, росла в джунглях, очищалась от листвы, а потом тщательно шлифовалась в мастерской.

И тем не менее, когда по вечерам Анри ехал с работы на автобусе к себе домой, в самый конец Прадо, в нем все еще теплилась надежда. В этот час, в начале мая, улицы Марселя освещены каким-то золотистым светом — это цветут бесчисленные платаны, их свежие листья отдают желтизной в ослепительных лучах заходящего весеннего солнца.

Однажды вечером в автобус вошла девушка, и стоило Анри встретиться с ней глазами, как ноздри его грандиозного донкихотовского носа раздулись, в темных глазах вспыхнул огонь, усики затрепетали, а по-детски капризный ротик надулся, точно от укуса пчелы. Девушка — должно быть, по происхождению итальянка — была свежа и упоительна, точно черный виноград. А вернее — персик, ибо кожа ее отливала воском и покрыта была золотистым пушком. Верхняя губка этого райского создания была пленительно вздернута, миндальные глаза были влажные и огромные, как у газели, щечки нежные, а фигура одновременно стройная и в то же время пышная — во вкусе мужчин, особенно тех, у кого маленькие ягодицы под дешевыми брюками напоминают булавочные головки.

В довершение всего одета она была весьма просто, в одно из тех не бросающихся в глаза черных платьев, что могут себе позволить лишь зажиточные крестьяне, которые живут куда вольготнее, чем скромные младшие бухгалтеры. Были на ней и черные хлопчатобумажные перчатки. Как видно, происходила девушка из весьма строгой, старомодной семьи, где чтят традиции и настороженно относятся к причудам сомнительной моды. Такие старомодные люди обычно добросовестны в отношении dot [1]. Анри все понял, оценил, восхитился — и влюбился.

«Разумеется,— думал он,— мне еще предстоит завоевать ее любовь, добиться расположения ее родителей и, главное, скопить целую гору франков. Все это реально — но как бы с ней познакомиться? Она же в любую секунду может выйти из автобуса. Если я заговорю с ней, она либо ответит мне, что будет означать, что она вовсе не столь добродетельна, как кажется на первый взгляд, либо промолчит — и тогда я никогда не увижу ее снова».

[1] наследства *(франц.)*.

И тут Анри столкнулся с одним из вечных вопросов, над которыми испокон веков бьется человечество и которыми, к несчастью, пренебрегают философы.

Судьба, однако, ему благоволила. Автобус целую минуту простоял на перекрёстке, где цыгане устроили традиционное представление. Коза неловко забиралась на стремянку, рядом, понуро переступая с ноги на ногу, стоял на задних лапах сильно запаршивевший дрессированный медведь, а поодаль, суетясь и гримасничая, играла на миниатюрном тамбурине и собирала с прохожих су презабавная маленькая мартышка.

Девушка — совсем еще ребенок — как завороженная наблюдала за этим спектаклем. Она прижалась лицом к стеклу, восторженно улыбалась и то и дело поворачивалась, сверкая глазами,— посмотреть, разделяют ли остальные пассажиры ее восхищение. Набравшись смелости, Анри сделал шаг в сторону девушки и с видом светского человека стал комментировать увиденное.

— Забавная обезьянка, не правда ли?

— Да, мсье, очень.

— А медведь какой смешной.

— О да, мсье, ужасно смешной.

— И коза тоже. Подумать только — домашнее ведь животное...

— Да, мсье, невероятно!

— Gitanos [1] очень живописны, однако с ними следует быть настороже.

В этот момент автобус тронулся. Искрометная беседа была прервана, однако знакомство состоялось — причем произошло это настолько просто и естественно, что даже самым привередливым из будущих мужей не к чему было бы придраться. Анри рискнул сесть с девушкой рядом. Автобус дернулся — и Анри испытал восторг от мимолетного, однако совершенно умопомрачительного соприкосновения. Вскоре между ними установился rapport [2], их языки мололи всякую чушь, зато плечи вели себя более чем красноречиво.

— Мадемуазель,— сказал наконец Анри,— позвольте мне надеяться, что в следующее воскресенье вы окажете мне честь и совершите со мной небольшую прогулку?

— О, боюсь, мсье, из этого ничего не получится,— ответила девушка, зардевшись от смущения и похорошев еще больше.

Анри принялся ее уговаривать со всем чувством, на какое только был способен, и в конце концов его возлюбленная, которую звали Мари, решила, что сможет преодолеть препятствия, причина которых, вне всякого сомнения, коренилась в традиционности ее воспитания.

Свидание было назначено. Оставшись один, Анри так углубился в самые радужные раздумья и мечты, что проехал свою остановку, в результате чего пришлось выложить кондуктору лишних два франка.

В тот вечер он простоял перед зеркалом битый час, помахивая тростью и воображая, как он будет выглядеть в воскресенье. «Не может быть двух мнений,— рассудил он,— *такая* трость и *такая* девушка требуют нового костюма от Марке. Схожу-ка я завтра в этот магазин». Он изобразил на ковре сразу несколько сердец, причем каждое из них на этот раз было пронзено стрелой и окружено инициалами. «Поведу ее, пожалуй, в calanque [3],— решил он,— и там сяду рядом с ней на скалу и нарисую на песке что-нибудь в этом роде. Бьюсь об заклад, она догадается, что́ я имею в виду».

В воскресенье все шло поначалу как нельзя лучше. Анри первым пришел на место встречи и вскоре увидел приближающуюся Мари. На этот раз девушка была в легком летнем платье и в белых бумажных перчатках; у нее был счастливый вид девчонки, которую отпустили с уроков. «Должно быть, у нее очень строгие родители,— подумал Анри.— Что ж, тем лучше. Интересно, каким образом ей удалось усыпить их бдительность?»

---

[1] Цыгане *(исп.)*.

[2] *Здесь:* контакт *(франц.)*.

[3] бухту *(франц.)*.

Поздоровались они так, словно знали друг друга всю жизнь. Всякий пылкий влюбленный, а также и тот, чьи цели не столь похвальны, знает, что́ такое сладостное предчувствие первых встреч, когда и он и она ведут себя по-детски просто, непосредственно и берутся за руки, даже если направляются к автобусной остановке. Первые свидания всегда следует проводить на свежем воздухе, и нет для возлюбленных места более укромного и благоприятного, чем глубокие скалистые бухты под Марселем, которые называются calanques. Белоснежные скалы опускаются в прозрачную, как стекло, воду, а крошечные песчаные пляжи между скалами как нельзя лучше приспособлены для изображений пронзенных стрелами сердец. На склонах холмов растут низкие сосны, и, когда нестерпимо палит полуденное солнце, нет ничего предосудительного в том, чтобы уйти с пляжа и скрыться в их тени.

Так Анри и Мари и поступили.

— Снимите перчатки,— сказал он,— и я предскажу вам вашу судьбу.

Она с готовностью сняла перчатку с правой руки и протянула ему ладонь с непередаваемой грацией.

— Нет,— сказал он,— снимите обе перчатки, прошу вас.

Мари густо покраснела и, поколебавшись секунду-другую, начала с дразнящей медлительностью стягивать вторую перчатку.

— Как вы медленно...— сказал Анри.

— Вы слишком многого от меня требуете,— возразила Мари.— Ведь сегодня мы встречаемся первый раз. Я не думала, что вы попросите меня снять перчатки.

«Наконец-то,— подумал Анри,— я встретил девушку, простота и добродетельность которой уникальны для нашего времени!»

— Мари! — вскричал он, целуя ей руки.— Я обожаю вас всеми фибрами души. Я умоляю вас — будьте моей! Я сохну, я сгораю, я умираю от желания... назвать вас своей женой.

— О нет,— сказала она.— Это невозможно.

— Стало быть, вы меня не любите,— сказал он.— Я слишком рано заговорил о любви.

— Нет,— сказала она,— может, я вас и люблю. Но сейчас я не могу дать вам ответ. Придется подождать — год, возможно, два, а то и три.

— Что с того?! — вскричал он.— Я буду ждать! Ведь мне все равно предстоит еще накопить много денег.

И он рассказал ей о своих планах открыть мебельный магазин, а также о старушке матери, с которой бессовестно обращаются дальние родственники.

Мари же была менее словоохотлива. Правда, она дала понять, что в семье у нее порядки строгие и она едва ли сможет привести в дом молодого человека, с которым по чистой случайности познакомилась в автобусе.

— Что ж, ничего не попишешь,— вздохнул Анри.— Рано или поздно мы что-нибудь придумаем. А пока... пока будем считать, что мы помолвлены, хорошо? Мы будем приходить сюда каждое воскресенье.

— Мне будет очень нелегко вырваться из дому,— предупредила Мари.

— Не беда, со временем все уладится. Пока же будем считать, что мы обручены. А раз так, позвольте мне поцеловать вас.

Последовала интерлюдия, в продолжение которой Анри испытал то редкое счастье, какое дано лишь молодым людям умеренной комплекции в объятиях пышнотелых девушек. В конце дня вопрос будущего брака был для Анри решен столь же окончательно и бесповоротно, как и вопрос трости с набалдашником и костюма от Марке. «Они правы,— подумал он,— молодой человек имеет право на скромное счастье — за свои-то деньги».

Домой он вернулся самым счастливым молодым человеком во всем Марселе — чтобы не сказать во всей Франции, и на следующий день прихватил с собой на работу трость, ибо даже помыслить не мог с ней расстаться.

В тот вечер, возвращаясь по обыкновению домой на автобусе, он во все глаза разглядывал сгрудившихся на остановках людей в тайной надежде, что среди них окажется его возлюбленная. И действительно, два-три раза обознавшись, он вдруг явственно различил в толпе очертания знакомого плеча и нежную линию шеи. Эту линию он не спутал бы ни с какой другой.

Сердце его лихорадочно забилось, руки задрожали, он чуть было не выронил трость. Автобус остановился, и Анри повернулся, чтобы произнести слова приветствия, однако, к его ужасу и отчаянию, Мари словно бы не узнавала его и, только он сделал шаг в ее сторону, предостерегающе нахмурилась.

И тут Анри обратил внимание, что рядом с ней стоит исполинского роста старик лет восьмидесяти с тусклыми, запавшими глазами, длинными, обвислыми грязно-белыми усами и провалившимся ртом, из которого торчали два-три кривых желтых бивня. Старик как ни в чем не бывало плюхнулся на сиденье рядом с его обожаемой Мари и сложил свои громадные, с черными ногтями, испещренные густо-синими набухшими венами руки на набалдашнике страшного вида трости, бамбукового убожества, купленного за гроши. На старике мешком висел темный костюм из дорогого и уродливого материала — такие костюмы носят зажиточные крестьяне.

Анри не спускал с него глаз.

«Должно быть, это ее отец»,— подумал он.

Влюбленные, однако же, на редкость наблюдательны, их нелегко обмануть, и Анри в душе прекрасно понимал, что старикан этот — не ее отец. Он попытался справиться с охватившей его тревогой. «Он очень стар,— подумал Анри.— Скорее всего, это ее дедушка, а не отец. Похоже, она его побаивается... Во всяком случае, развалился он рядом с ней как-то уж очень по-хозяйски. Боже, как бы мне хотелось жениться на ней сегодня, сейчас!»

В этот момент к старику подошел кондуктор и призывно зазвенел у него под носом своим кассовым аппаратом.

— Мадам заплатит,— прогнусавил старик.

Анри был сражен наповал. «Нет, это невозможно,— бессчетное число раз повторил он самому себе.— В конце концов, свою спутницу, особенно если обращаешься к официанту, кондуктору в автобусе и так далее, принято называть «мадам», вне зависимости от того, замужем она или нет. К тому же старый болван заговаривается: он сам не знает, что несет. Ему, наверное, кажется, будто это его покойная жена, ее бабушка; он явно не в себе, у него все мысли в прошлом».

В этот момент ему вдруг вспомнилось, как Мари медленно, словно бы нехотя, стягивает белую перчатку с левой руки.

«Она чистая, искренняя, серьезная, бесхитростная,— подумал он.— Да, так вот почему она медлила, снимая перчатку. Будь Мари себе на уме, она бы сняла обручальное кольцо загодя, до встречи со мной. Что ж, это было бы еще ужаснее!

Нет, нет, я сошел с ума! Это, *разумеется,* ее дед. А то и прадед. Ведь он — старая развалина. Нельзя, чтобы люди доживали до *таких* лет. Посмотри на его рот, его зубы! Господи, *неужели* это ее муж?! Неужели это ископаемое ласкает ее? Вздор. Я сошел с ума. Быть такого не может».

И тем не менее он промучился до конца недели, пока не получил от Мари записочку, где говорилось, что в воскресенье ей удастся вырваться из дому на пару часов. «В два часа на том же месте»,— говорилось в записке.

Нет ничего более естественного и обнадеживающего, чем такая записка, от которой веяло невинностью и преданностью. Не обошлось, понятное дело, и без двух-трех орфографических ошибок — неопровержимое свидетельство искренности писавшего. Подозрения Анри развеялись так же быстро, как и возникли. «Какая же я скотина! — размышлял он, торопясь на свидание.— Я обязательно попрошу у нее прощения. Стану на колени. Нет, нет, не в этом костюме! Лучше, пожалуй, вообще на эту тему не говорить. Хороший же муж у меня будет, подумает она, если уже сейчас он приревно-

вал меня к какому-то отвратительному старикану! А вот и она! Как же она прелестна! Глаз не оторвешь! Нет, я, бесспорно, заслуживаю того, чтобы меня побили моей же собственной тростью!»

Широко улыбаясь, она подошла к Анри и протянула ему руку в белой бумажной перчатке. Анри увидел перчатку, и нежные слова приветствия застыли у него на губах.

— Кто этот старик, с которым вы ехали в автобусе?

Мари сразу же опустила руку и с тревогой посмотрела на Анри.

— Это не ваш отец,— проговорил Анри дрожащим голосом, в котором слышались и гнев и отчаянье.

— Нет,— откликнулась она, с ужасом глядя на него.

— И не дедушка! — вскричал Анри.— Это... это ваш муж!

— Как вы догадались?

— Вы обманули меня! — взвился Анри.— А я-то думал, вы чистая, искренняя, серьезная, бесхитростная! Непорочная! Я... я... я... Впрочем, неважно. Adieu [1], мадам. Прошу об одном: откройте завтра газету и посмотрите, не бросился ли какой-нибудь несчастный со скалистых берегов острова Иф!

С этими словами он резко повернулся и решительным шагом двинулся в направлении пристани, откуда маленькие лодочки доставляли туристов в Chateau d'If [2]. Мари с криком бросилась за ним и повисла у него на руке.

— Прошу вас, не поступайте опрометчиво! — взмолилась она.— Поверьте, я обожаю вас!

— И при этом женитесь на отвратительном старике?

— Но ведь это произошло до того, как мы познакомились.

— Ничего не поделаешь, мадам. Желаю вам счастья.

— Любимый! — в слезах вскричала она.— Ты несправедлив ко мне. Он богат. А я... я была еще совсем девчонкой. Меня заставили родители. Неужели ты мог подумать, что я люблю его?!

— Оставь меня, шлюха!

— Ах, зачем ты говоришь такое! Почему ты ревнуешь меня? Ведь ты же молод. Одет по последней моде. У тебя такая замечательная трость. Ты красив. Я всегда мечтала о таком, как ты. Зачем же отчаиваться? Совершать необдуманные поступки? Старик не будет жить вечно. Мы с тобой будем богаты. Счастливы. Скажи, Анри, разве мы не были счастливы в прошлое воскресенье, в calanque? Ведь я такая же, как была...

— Что?! — взорвался Анри.— Думаешь, мне нужны его грязные деньги? Неужели ты полагаешь, что я могу быть с тобой счастлив, вспоминая об этом гнусном старике?

— Как сказать,— прошептала Мари,— ведь у него почти миллион франков.

— Наплевать! Даже если мы с тобой будем снимать номера в лучших отелях, путешествовать, пусть даже купим квартиру в Париже — подумай сама, могу ли я быть счастлив, зная, что ты принадлежишь ему?

— Но ведь он очень стар,— возразила она.— Почти слеп. С трудом говорит. Глух как пень. Он уже ничего не чувствует. Понимаешь, Анри, *ничего!*

— Что ты хочешь этим сказать? — Анри замедлил шаг.

— *Ничего* не чувствует,— с расстановкой выговорила она.— Он утратил *все* чувства, абсолютно *все*.

— Ему восемьдесят лет,— продолжала она.— Какой смысл ревновать к восьмидесятилетнему старику? Тут ведь *не к чему* ревновать, пойми ты. Совершенно не к чему.

— Не скажи,— стоял на своем Анри.— Иногда они бывают еще хуже молодых. Да, в тысячу раз хуже! Оставь меня! Отпусти мою руку!

— Да он же полено! — со всей искренностью сказала Мари.— Бесчувственное полено, пойми ты это! Можно ли ревновать к полену, бревну? Не я его выбирала, неужели непонятно? Он — ничто, а вот миллион франков кое-что да значит.

[1] Прощайте *(франц.)*.

[2] замок Иф *(франц.)*.

Получив многочисленные и разнообразные заверения в вечной любви, Анри немного успокоился. В конце концов он был парижанином и умел смотреть на вещи здраво. «Не будем же мелочными,— уговаривал он себя.— Ведь эта образина утратила все чувства. Все до одного!»

— Мы сможем видеться каждое воскресенье,— обнадежила его Мари.— Я надоумила его, чтобы по воскресеньям, с двух до шести, он совершал небольшую прогулку, а потом выпивал в кафе бокал вина. Я боялась, что он заставит меня сопровождать его, но он, слава Богу, на моем присутствии не настаивал и вникать в мои малоубедительные оправдания не стал. По правде сказать, я думала, будет скандал.

— Стало быть, он ревнив? — вскричал Анри.— Бесчувственное бревно не способно ревновать.

— Еще как способно,— возразила Мари.— Ревность ведь логикой не поверяется, правда, любимый?

— Не знаю, не знаю...— сказал Анри.— Не могу взять в толк, с какой стати он должен тебя ревновать. Я вот тебя ревную — это нормально. Но полено, бесчувственное полено...

Мари вновь поклялась ему в своей любви, и, когда наконец они расстались, Анри вновь обрел утраченный было покой.

И все-таки одна ложка дегтя в бочке меда оставалась. «Когда думаешь,— размышлял он,— каким я всегда был щепетильным, не чета золотой марсельской молодежи, то понимаешь, насколько несправедлива ко мне судьба. Я же никогда не тратил денег на девочек. Я никогда не бывал в заведениях, подобных тому, что содержит мадам Гарсье. Как же мне теперь взять в жены девушку, которая... Верно, ему восемьдесят лет. В таком возрасте мужчина действительно ничем не отличается от полена. И тем не менее мы оказываемся в разном положении. Когда мы поженимся, меня будут обуревать тысячи горьких мыслей. Но она так красива... Да и миллион франков на улице не валяется... Грустно сознавать, что есть причина для горьких мыслей... Как она сегодня была хороша! Жаль, что в этот раз нам не удалось посидеть под соснами в calanque. Тогда бы я не воспринимал происшедшее столь близко к сердцу!»

В этот момент ему в голову неожиданно пришла одна мысль. Трудно сказать, откуда эта мысль взялась — возможно, в душе Анри всегда оставался парижанином. «Таким образом мы окажемся в равном положении,— рассуждал он.— И не будет оснований так отчаиваться. Она-то только обрадуется, я уверен. В конце концов, не моя же вина, что мы не смогли пойти в calanque».

И, рассуждая таким образом, Анри направил свои стопы к знаменитому заведению мадам Гарсье, которое ему так рекомендовали сослуживцы. Снаружи эта обитель нравственности ничем не отличалась от обыкновенного частного дома: дверь открывала горничная, которая провожала посетителей в гостиную.

— Мадам сейчас выйдет к вам, соблаговолите немного подождать,— сказала горничная, взяла у Анри шляпу и трость и, повесив и то и другое на старомодную вешалку, проводила гостя в комнату, с чем и удалилась, не закрыв за собой дверь.

«Превосходная мысль! — похвалил сам себя Анри.— Теперь мы оба в одинаковом положении, и я — как, впрочем, и полагается мужчине — ничем ей не уступаю. Впредь у меня не будет оснований так отчаиваться. Мы будем счастливы! Да и потом, можно себе позволить незначительное расточительство — если тебя ожидает миллионное наследство».

И в этот момент он услышал приближающиеся шаги.

— Ваш сегодняшний визит — приятный сюрприз для всех нас,— раздался низкий женский голос — вероятно, это была мадам, которая обращалась к одному из завсегдатаев.— Узнав, что вы женитесь, я сразу сказала, что больше вы нас навещать не станете. Как я рада, что ошиблась. Делфина и Фифи так горевали, так горевали...

— Жениться никогда не поздно, мадам,— прогнусавил знакомый голос, от которого у Анри волосы стали дыбом.— Мужчина, мадам, должен

с возрастом остепениться. Это, можно сказать, наш долг перед Республикой. И в то же время, мадам, я, слава Богу, еще в недурной форме, а когда мужчина в недурной форме, ему требуется разнообразие... Кроме того, мадам, молоденькие жены в наши дни...

Анри чуть было не лишился чувств. Услышав, как хлопнула входная дверь и как приближаются к гостиной шаги хозяйки заведения, он почувствовал, что должен как можно скорее уйти отсюда.

— Пардон, мадам,— пробормотал он,— но, к сожалению, я... я передумал. Мне вдруг стало несколько не по себе...

— Как вам будет угодно, мсье,— сказала старая сводня.— Мы никого не принуждаем. Но если мсье пожелает попросту навестить юную даму... обменяться с ней любезностями...

— Нет, нет, благодарю вас,— сказал Анри дрожащим голосом, пятясь в коридор.— Мне пора. Вот моя шляпа... Позвольте, но где моя трость? Где же моя трость?!

Он осмотрелся, но трость его исчезла. На ее месте висела другая, забытая, вероятно, последним посетителем,— дешевая, старая, с аляповатым рисунком на набалдашнике. Бамбуковое убожество, иначе не скажешь.

■

РОМЕН ГАРИ

Ночь будет спокойной

ФРАГМЕНТЫ КНИГИ

Перевод с французского Н. ПАНИНОЙ

«Во мне нет ни капли французской крови, но Франция течет в моих жилах»,— любил повторять Ромен Гари.

Этот высокий человек с удлиненным лицом, голубыми миндалевидными глазами и бархатным баритоном родился в 1914 году в Литве. Его мать играла в Москве во Французском театре. Влюбленная в родину Виктора Гюго, она собиралась родить во Франции, но опоздала.

Ромен Гари воссоздал портрет этой незаурядной женщины в романе «Обещание на рассвете»[1], который назвали самым прекрасным букетом цветов, когда-либо подаренным матери.

Мать Р. Гари открывает домá моды в Варшаве и Ницце. Разбогатев, она дважды или трижды терпит крах. Мать не перестает внушать сыну: «Ты будешь французским писателем, ты будешь послом Франции, ты получишь орден Почетного легиона!» Эти слова, повторявшиеся с чудовищным акцентом в Вильно (Польша) мальчику, который никогда не видел Парижа и вряд ли когда-нибудь мог его увидеть, казались абсурдными. И тем не менее «предсказание» сбылось. Книга «Обещание на рассвете» была переведена на четырнадцать языков, поставлена в театре на Бродвее, а также экранизирована. После выхода романа в издательстве «Галлимар» автор получил от читателей более пяти тысяч писем.

Ромен Гари приезжает во Францию в возрасте четырнадцати лет, учится в лицее в Ницце, а затем изучает право в Париже. Во время службы в армии он — инструктор по стрельбе в летном военном училище; в 1940 году вступает в ряды патриотического движения «Свободная Франция». В 1940—1944 годах, будучи капитаном эскадрильи «Лотарингия», он принимает участие в Битве за Англию, в африканских походах в Эфиопию и Ливию, в высадке в Нормандии и становится кавалером ордена Почетного легиона. В 1945 году Гари поступает на службу в Министерство иностранных дел в качестве секретаря, а затем работает советником посольства в Софии и Берне. В 1952—1956 годах он представляет Францию в ООН, после чего получает назначение поверенного в делах в Боливию и, наконец, становится генеральным консулом в Лос-Анджелесе. Покинув дипломатическое поприще в 1961 году, писатель в течение десяти лет разъезжает по миру, делая репортажи для различных американских изданий, и снимает два фильма по собственным сценариям: «Птицы любят умирать в Перу» (1968) и «Килл» (1972). В 1962—1970 годах он женат на актрисе Джин Сиберг.

И все же главную роль в жизни Гари неизменно играет литература. Во время войны, в перерывах между боевыми действиями, он пишет роман «Европейское воспитание», удостоенный премии Критики в 1945 году. Книга «Корни неба» получает в 1956 году Гонкуровскую премию. С тех пор творчество Гари пополнилось двадцатью шестью романами, эссе и мемуарами. Последний из его романов называется «Воздушные змеи» [2].

© Éditions Gallimard, 1974

[1] См. «ИЛ», 1993, № 2. *(Здесь и далее — прим. перев.).*

[2] См. «ИЛ», 1994, № 1, 2.

Ромен Гари покончил с собой в Париже 2 декабря 1980 года.

В книге «Ночь будет спокойной» автор «Обещания на рассвете» откровенно рассказывает о том, что он видел, знал и любил. Благодаря стечению обстоятельств и собственному характеру Гари как никому другому довелось участвовать во многих важных событиях истории и соприкасаться с большим количеством необычных, экстравагантных, загадочных и прославленных людей нашего времени...

Кадры автобиографии «искателя приключений» сменяют друг друга, складываясь в итоге в портрет человека, которому, очевидно, удалось прожить сразу несколько жизней. Однако книга «Ночь будет спокойной» состоит не только из свидетельств и признаний; это подлинный гимн женщине и женственности, которую писатель считает основной ценностью всякого общества. Попутно темой повествования и поводом для едких суждений служат Европа, политика и яркие личности, вызывающие у одного из последних гуманистов века вспышки гнева и нежности.

Собеседником Ромена Гари на страницах этой книги-исповеди стал друг его детства швейцарский писатель и журналист Франсуа Бонди, издавший на немецком языке ряд книг о современной литературе, редактор цюрихского еженедельника «Вельтвохе», удостоенный премии Академии наук и литературы Майнца за распространение в Германии французской культуры.

Франсуа Бонди. Почему ты согласился здесь раскрыться, ведь ты живешь очень замкнуто?

Ромен Гари. Именно потому, что я живу очень замкнуто... И я не испытываю ни малейшего содрогания уязвленного тщеславия при мысли, что придется исповедоваться бог весть перед кем,— мне очень нравится «бог весть кто», это приятель,— а также отдать себя на суд «общественности»; ибо мое «я» не принуждает меня расшаркиваться перед самим собой, совсем наоборот. Здесь и доля эксгибиционизма, и доля риска. Читатель сам рассудит, что к чему. «Гари» означает по-русски «гори!», в повелительном наклонении; есть даже старинная цыганская песня с таким припевом... Это приказ, от которого я никогда не увиливал ни в своем творчестве, ни в жизни. Стало быть, я хочу пожертвовать собой, чтобы мое «я» горело на этих страницах, чтобы оно пылало, как говорится, у всех на виду. «Я» вызывает у меня смех, это великий комик, оттого-то смех народа зачастую становился причиной пожара. «Я» — это немыслимая претензия. Оно даже не знает, что с ним произойдет через десять минут, но трагическим образом принимает себя всерьез...

«Я» всегда теряет свои штаны публично. Условности и предрассудки стараются прикрыть голую задницу человека, и мы в конце концов забываем о своей изначальной наготе. Поэтому я готов «раскрыться», как ты говоришь, не краснея. Тут и другие соображения. Во-первых, мой сын слишком мал, чтобы со мной общаться, чтобы я мог рассказать ему обо всем этом. Когда он сможет понять, меня уже не будет. Это меня безумно «достает». Безумно. И вот я говорю с ним здесь. Он прочтет позже. И наконец, дружба. Я чувствую себя окруженным великой дружбой, в это даже трудно поверить... Люди, которых я совсем не знаю... Читатели пишут. Допустим, ты получаешь пять-шесть писем в неделю в течение ряда лет, и на одного читателя, который мне пишет, приходится, возможно, сто человек, которые думают обо мне, как и он, думают и чувствуют, как я. Это невероятное количество дружбы. Тонны и тонны.

Ф. Б. Ты ощущаешь обязательства перед своими читателями?

Р. Г. Никаких. От меня нет общественной пользы, но я предан своим друзьям... как тебе известно. Однако предупреждаю тебя, что я не буду говорить *всё*, ибо я не доносчик. Ты не можешь по-настоящему «раскрыться», не выдавая других, тех, чьи секреты играли какую-то роль в твоей жизни. Я готов предать огласке «неприличное», связанное со мной, но я не имею права подставлять других, так как для меня это слово имеет отнюдь не тот же смысл, что для них... Поэтому я буду говорить с предельной откровенностью о себе, а не о других.

Ф. Б. Ты и писатель, и «звезда» мировой величины, личность и персонаж одновременно: хорошо ли уживаются между собой эти два Ромена Гари?

Р. Г. Нет, очень плохо. Они ненавидят друг друга, устраивают всякие пакости, спорят, обманывают друг друга, жульничают и по-настоящему пришли к согласию лишь однажды, когда решили дать это интервью, надеясь помириться... Да, не стоит забывать и об этом мотиве. Очень мило с твоей стороны, что ты мне о нем напомнил.

Ф. Б. Ты похож на мозаику, сложенную из разнородных кусков: русский, азиат, еврей, католик, француз, автор, который пишет романы по-французски и по-английски, говорит на русском и польском,— какой из этих элементов, по-твоему, играет ведущую роль?

Р. Г. Кое-что, о чем ты не упомянул в своем перечне: «Свободная Франция». Это единственное человеческое сообщество из плоти и крови, к которому я принадлежал целиком и полностью. Я уже говорил тебе, что не верю в «людей на все времена», и потому, например, для меня было немыслимо перейти от голлизма «Свободной Франции» и Сопротивления, являвшегося *моим* историческим моментом, к политическому голлизму, который всегда был мне безразличен.

Ф. Б. Тем не менее ты оставался всю жизнь верен одному идеалу...

Р. Г. Это был не я, а де Голль. Он никогда нас не предавал, в том смысле, что всегда соответствовал мнению, которое мы составили о нем в сороковом году. В июне сорокового года де Голль был тем же, что сейчас Солженицын. Однако мой первый контакт с ним был сущей катастрофой. Первые французы добровольцы, прибывшие в Лондон в июне сорокового, хотели только одного: сражаться. В ту пору имя «де Голль» было для нас пустым звуком, мы его не знали и не хотели знать, мы хотели сражаться. Но сразу же начались всякие политические интриги и махинации. Нам старались помешать вступить в английские эскадрильи, чтобы мы не гибли по одному у англичан; они хотели подождать, когда наберется два с половиной человека, чтобы создать французские части, французские эскадрильи. И вот нас созывает де Голль. Я излагаю ему нашу точку зрения... ведь я был дипломированным юристом! Я говорю ему, что нельзя больше ждать, что мы приехали, чтобы драться, что во Франции нас приговорили к смертной казни, как дезертиров, что следует отпустить нас в английские эскадрильи. Он слушает, и его усы слегка подрагивают от негодования. Затем он встает: «Очень хорошо, ступайте... И главное: не забудьте погибнуть!» Я отдаю ему честь, поворачиваюсь, иду к двери, и тут у старика просыпается совесть. Он хочет сгладить эту резкость и выпаливает: «Впрочем, с вами ничего не случится... Гибнут всегда только лучшие!» Иными словами, желая смягчить свои слова, он выпустил в меня еще один заряд гадости. В нем была небольшая доля стервозности, заставлявшая его лезть на рожон. Но он был прав. Погибли лучшие: Букийяр, Мушот... все. Но мы одержали верх. Битва за Англию началась, и французские пилоты смогли принять в ней участие в составе английских эскадрилий, после чего были образованы французские эскадрильи... Я не понимаю, почему ты заставляешь меня об этом рассказывать. Все уже быльем поросло.

Ф. Б. Я ни о чем тебя не спрашивал, ты сам об этом заговорил...

Р. Г. Ну ладно.

Ф. Б. В сорок пятом году, когда ты был капитаном авиации, ты издал свой первый роман, «Европейское воспитание». У юного героя книги нет отца, он трагически погиб в Польше во время войны... Два года спустя ты написал «Большую раздевалку»; книга прошла во Франции почти незамеченной, но принесла тебе первый громкий успех в Америке под названием «The company of men». Герой книги — подросток, отец которого трагически и героически погиб во французском Сопротивлении...

Р. Г. Послушай, Франсуа, ты ведь не станешь меня уверять, что веришь в это?

Ф. Б. Я думаю, что надо об этом сказать, только и всего. Допустим, что я тебя провоцирую, чтобы посмотреть на твою реакцию.

Р. Г. Иными словами, не присоединился ли я к де Голлю из-за того, что он воплощал для меня образ героического отца, которого у меня никогда не было? Я знаю, об этом писали. Но эти благие психоаналитические потуги не стоят и выеденного яйца. В конце концов: зачем мне было тянуть до двадцати семи лет, чтобы выбрать себе отца, и почему я выбрал де Голля, а не, скажем, Сталина, который был тогда весьма модным папашей? Я никогда не «выбирал» де Голля. Де Голль выбрал себя сам; он прибыл в Англию на несколько дней раньше меня, я даже не слышал призыва восемнадцатого июня, и мои отношения с ним всегда были сложными. Я беседовал с де Голлем дюжину раз, и по крайней мере четыре-пять раз он выставлял меня за дверь. Я относился к нему с безграничным восхищением, но оно постоянно смешивалось с раздражением.

Ф. Б. Я вспомнил о «Европейском воспитании» и «Большой раздевалке», чтобы задать тебе совсем другой вопрос. Когда тебе было шестнадцать-семнадцать лет и ты жил в Ницце, ты сильно рисковал «сбиться с пути», стать хулиганом. В тебе чувствовались какая-то неудовлетворенность, досада и озлобленность... И в твоих первых книгах, особенно в «Большой раздевалке», изданной в сорок девятом году, появляются и говорят от твоего имени юные правонарушители. Из всех книг, что ты написал, я в наибольшей степени узнаю тебя в Люке из «Большой раздевалки», именно таким ты был в семнадцать лет... Почему молодые преступники стали для тебя навязчивой идеей? Не потому ли, что ты сам едва не «оступился» на пороге юности?

Р. Г. Я не знаю. Была война. Возможно, это меня спасло, как знать. Впрочем, я настолько опасался своего внутреннего брожения, что собирался вступить в тридцать пятом году в Иностранный легион, но тут подоспело мое свидетельство о гражданстве, и я смог выбрать авиацию. Нет, видишь ли, я не думаю, что мог бы «оступиться». Я не знаю, кем бы я стал без войны, но думаю, что я не мог бы «плохо кончить», в том смысле, что сделался бы сутенером или грабителем. Однако я действительно был в опасности. Конец юности был самым «скользким» периодом в моей жизни. Я мог бы стать невесть кем. Нет, знаешь, на самом деле я ничем не рисковал. Я колебался, но у меня был центр тяжести, своего рода внутренний контролер: моя мать...

Ф. Б. Все те, кто читал «Обещание на рассвете», знают, что твоя мать, которая тебя воспитала, была необыкновенной женщиной.

Р. Г. Она стала «необыкновенной», потому что эта книга спасла ее от забвенья, которое постигает всех матерей, и сделала «достоянием гласности». Множество исключительных качеств «необыкновенных» матерей теряются, ибо их сыновья не смогли написать «Обещание на рассвете», только и всего. Ты ведь знаешь, быть матерью — это неблагодарный труд. Моя, по крайней мере, удостоилась книги.

Ф. Б. Твоя мать была российской еврейкой, которая шла к попу, когда испытывала потребность в утешении. Твой отец был православным греком, и я хочу прямо спросить тебя, действительно ли твоим отцом был Иван Мозжухин, безусловно, величайшая «звезда» европейского немого кино двадцатых годов, эдакий европейский Рудольф Валентино.

Р. Г. Ладно. До того как я родился, моя мать вышла замуж за российского еврея по имени Леонид Касев, с которым она разошлась вскоре после моего рождения. Моя мать была заурядной актрисой с небольшим талантом, как мне говорили, но она страстно любила театр. Когда мне было шесть лет, я видел ее на сцене в Москве в эпизодической роли: она играла очень старую женщину, которую спасали во время пожара в деревне. Двое мужчин поддерживали ее, она с трудом передвигалась по сцене. Впоследствии один из этих актеров, эмигрировавший в Ниццу, объяснил мне, что иначе нельзя было заставить мою мать пересечь сцену: она топталась на месте, чтобы растянуть свою роль, и приходилось ее подталкивать, чтобы она наконец рассталась с огнями рампы. Мозжухин, с которым она познакомилась, когда я еще не родился, был, несомненно, ее большой любовью. Что касается нашего родства, это объясняется очень

просто. После смерти моей матери в Ницце одна русская дама забрала из отеля «Мермонт» шкатулку с ее перепиской с Мозжухиным. Эта дама, которую звали госпожа Виноградова, построила здание на том месте, где располагался отель, но разорилась и на старости лет стала консьержкой в своем заведении. Она показывала письма всей русской Ницце: попам, завсегдатаям русского бистро на бульваре Гамбетты, моей двоюродной сестре — всем, кого она знала. С тех пор слухи о том, что я — сын Мозжухина, расползлись из русской колонии в Ницце по всему миру. Эти письма были святой собственностью моей матери. Никто не должен был совать в них нос. Мать никогда не говорила мне, что Мозжухин — мой отец, но я очень часто встречал этого человека у нас в гостинице. Он приезжал в «Мермонт» всякий раз, когда снимался на Лазурном берегу.

Ф. Б. Я хорошо знал твою мать. Я часто приходил в отель-пансион «Мермонт» в Ницце, когда мы оба были очень молоды, и даже жил там. Таким образом, я — один из тех немногих очевидцев, кто может подтвердить: да, она была именно такой, какой ты описал ее в «Обещании на рассвете»: восхитительной и безумно влюбленной, но, мне кажется, ты мало рассказывал, как, вероятно, трудно было ребенку с ней жить... Она была величественной, неистовой, одухотворенной и сумасбродной... И все же ты уверен, что в тебе и в твоей жизни нет следов урона, который наносят детям властные матери?..

Р. Г. Нельзя научиться быть матерью, сыном или человеком по учебникам психологии: жизнь не обращает внимания на правила и приказы. Психоанализ — дитя богатых. Вспомним, что Эдип был сыном царя,— вот что главное, а Фрейд об этом немного позабыл, не так ли?.. Я видел в своей матери только любовь. Это заставляло забывать обо всем остальном, как и в отношениях со всеми женщинами... Меня воспитывали глаза женщины, излучавшие любовь. Поэтому я любил женщин. Не чересчур, так как мы всегда любим их недостаточно. Безусловно, я искал женственность всю свою жизнь. Без этого нет мужчины. Если это называется «быть под влиянием» матери, я ничего не имею против и даже требую добавки. В детстве я был окружен нежностью и поэтому испытываю потребность в женственности вокруг себя; также я всегда старался развить ту долю женственности, которую всякий мужчина носит в себе, если он способен любить. Мужчина, в котором нет женственности,— это получеловек. Первое, что приходит в голову при слове «цивилизация»,— это некоторая мягкость и материнская нежность... Так вот, властные матери, которые «лишают мужественности», эдипов комплекс... не смешите! Теоретически я должен был бы стать по меньшей мере гомосексуалистом или импотентом. Но этого не случилось.

Ф. Б. Кто пришел на смену матери в твоей жизни? Ведь другая женщина пришла на смену.

Р. Г. Ты путаешь ангелов...

Ф. Б. Илона? По-моему, это было в тридцать седьмом году?

Р. Г. Ее звали Илона Жесмай, и она жила в Будапеште. Она была очень красивой и умной, и я ее полюбил. Она приехала на Лазурный берег и остановилась у нас в «Мермонте». Моя мать смотрела на наш роман очень благосклонно, она одобряла его. Илона была единственной, кто мог позволить себе одеваться в серое с головы до ног, из-за своих глаз, которые были такого же цвета, как персидские кошки, как их шерсть. Я никогда больше не встречал таких глаз, но, знаешь, это как посмотреть... Она была очень хрупкой... Иногда она оставалась в постели по нескольку недель кряду, и если ее состояние не улучшалось, уезжала в Швейцарию лечиться. Я думал, что не смогу без нее жить, но у нас всегда получается наоборот, вот в чем вся мерзость. И вот, как сказано в «Обещании на рассвете», она уехала в Венгрию накануне войны, чтобы поговорить с родителями о нашей свадьбе. Но я не верю, что она могла действительно выйти за меня замуж; она была слишком нежной и милой для этого, и, кроме того, она *знала*... я уверен, что она знала и скрывала от меня *это*... Во время войны я всячески пытался наладить с ней связь через Красный Крест и посольства... Тщетно.

Осталось только воспоминание о серых глазах и подчас чувство, что я изменяю ей с другой. Конечно, я любил эту женщину больше всех; она была создана, чтобы жить со мной до гробовой доски — до моей, во всяком случае. Жизнь любит все предавать забвению, но со мной ей это не удалось. Я носил это в себе много лет вместе с ее фотографией, которую у меня стащили во время войны. Затем, двадцать четыре года спустя, грянул гром. Я был тогда генеральным консулом в Лос-Анджелесе, мне было уже сорок шесть лет, как вдруг получаю письмо-открытку от Илоны. Всего несколько слов. Нет, мне было тогда сорок пять. Письмо гласило: «Дорогой Ромен, я постриглась в монахини в сорок пятом году, после отъезда из Венгрии, теперь живу в одном из монастырей Бельгии. Я благодарю тебя за то, что ты вспомнил обо мне в «Обещании на рассвете». Будь счастлив». Земля ушла у меня из-под ног. На обратной стороне был указан адрес бельгийского монастыря, неподалеку от Антверпена. Я посылаю туда телеграммы, пишу письма. В ответ — ничего. Молчание. Наконец я получаю еще одно письмо с тем же текстом, что и в первом. Мне сразу же приходит в голову, что она написала два письма друг за другом, но ей не передали мой ответ из-за монашеского обета, по религиозным соображениям, неведомо почему. Тогда я пишу Рьяллану, нашему генеральному консулу в Антверпене, прошу его навести справки, сходить в монастырь, поговорить с ними и все объяснить. Он идет туда и пишет мне. Я узнаю, что Илона — не в монастыре, а в психиатрической больнице, что она больна шизофренией с двадцати пяти лет и дела у нее все хуже и хуже, это безнадежно... Я все понял, но слишком поздно! В Ницце с Илоной уже случались приступы... Когда она чувствовала, что «это» приближается, она ложилась в постель и отдыхала; если же «это» ухудшалось, она уезжала в Швейцарию, в клинику Сант-Ангезе в Лугано. Как видишь, я никогда не забываю адресов. Но я ничего не замечал. Я прожил целый год с шизофреничкой, не подозревая об этом — к счастью, ибо я не знаю, что бы я тогда делал! Илона избавила меня от этого.

Ф. Б. Как же ты поступил?

Р. Г. Я сел в самолет, но в Брюсселе повернул назад и полетел в Лос-Анджелес. Мне сказали, что сознание возвращается к ней лишь на полчаса в день... Но дело было не в этом. Внезапно все у меня внутри сгорело. Я не имел права ее видеть. Нет, я не имел права. Ей было на тридцать лет больше, и ее психика была расколота на куски... Я не имел права ее видеть... Она не могла даже защитить себя, сказать «нет»... Это было бы насилием над нашим прошлым... Тридцать лет спустя, ты понимаешь, о чем я говорю. Она наверняка хотела остаться красивой. Я не пошел к ней. Она осталась красивой. Самой красивой.

Ф. Б. Ты попытался освободиться от этого в «Европе», чтобы одержать верх над судьбой...

Р. Г. Судьбы нет. Господин Рок в перчатках, в цилиндре, с тростью не существует. Существуют мужчины и женщины, страдающие вперемешку, как попало, наудачу. В «Европе» я превратил подлинную историю в фарс, так как должен был изжить это и оправдаться. Когда Рабле говорит, что «смех — это сущность человека», он имеет в виду страдание...

Ф. Б. Обман, мошенничество, шарлатанство играют важную роль в твоем творчестве. Тюльпан начинает голодовку, но ест тайком, чтобы поддерживать в себе силы и продолжать свою акцию протеста бесконечно. Поначалу его протест — его вызов, как сказали бы сегодня,— это злоупотребление доверием... Затем мы снова сталкиваемся с интеллектуальным мошенничеством и обманом в романе «Преступный праздник», где Матьё извлекает выгоду из комплекса вины, который ощущает Таити по отношению к своему великому «прóклятому художнику» Гогену. Он копирует «прóклятого художника», и все угождают ему, опасаясь повторить ошибку еще раз... Героиня «Европы» Мальвина фон Лейден — это авантюристка и мошенница высокого полета, злоупотребляющая доверием в большом масштабе... Племя загá в «Волшебниках» — это племя шарлатанов... Идея

интеллектуального мошенничества и злоупотребления доверием не дает тебе покоя.

Р. Г. Дело в том, что я — писатель двадцатого века, и никогда раньше за всю историю интеллектуальная, идеологическая, моральная и духовная непорядочность не была столь циничной, гнусной и кровавой. Лицедейство комедианта Муссолини и шарлатана Гитлера обошлось миру в тридцать миллионов жизней. Фашизм был не чем иным, как чудовищной эксплуатацией человеческой глупости. В России Сталин истреблял целые народы во имя социальной справедливости и трудящихся масс, которых он превращал в рабов... В настоящее время мы являемся свидетелями примитивнейшей, жесточайшей и глупейшей коммерческой конкуренции во имя европейского единства... Сегодня правит бал самая наглая ложь, постоянное искажение ориентиров и глубочайшее презрение к истине. Этот позор настолько непреходящ, настолько общепринят, что «дело Дрейфуса», к примеру, уже невозможно. Ты представляешь себе современную Францию, расколотую на два лагеря из-за вины или невиновности одного человека?.. Это немыслимо. Идеологическое и интеллектуальное надувательство — самый явный и гнусный признак нашего века... А все мои книги до предела напичканы *этим* веком... Жизнь виновата перед моей матерью, которую подлым образом обманула. Жизнь облапошила ее по-королевски, разбила в пух и прах. Илона, самая красивая женщина, какую я когда-либо видел и любил, как любят женщину только раз в жизни, при условии, что вы не лишены этого дара, стала жертвой преступной болезни — шизофрении. Конечно, это поправимо. Общество можно изменить, шизофрению когда-нибудь победят. Но и доля безнадежности здесь присутствует. Я рассматриваю человека как фронт братского сопротивления против своей изначальной сущности.

Ф. Б. Тебе шестьдесят лет. Вот уже три-четыре года ты все больше говоришь о «женственности». Я не сказал бы, что ты относишься к ней мистически, но, несомненно, ты делаешь из нее символ цивилизации, новой цивилизации. И тут мне на ум приходят всякие мысли. В шестьдесят лет ты говоришь только о женственности. Раньше ты говорил просто о женщинах. Это какой-то культ...

Р. Г. Никакого культа нет. Ладно, допустим, что культ есть.

Ф. Б. Недавно ты довольно резко выступал по телевидению с требованием начать что-то вроде кампании за «феминизацию» мира, за «женскую» цивилизацию... Ты не одинок во взгляде на женщин как на великих жертв истории. Но ты зашел очень далеко, заявляя, что все ценности цивилизации — это женские ценности... Мягкость, нежность, материнство, уважение к слабости. И в заключение ты с таким пылом потребовал, чтобы женщинам «воздали должное»... Быть может, причина «несправедливости» коренится главным образом в двух воспоминаниях: о твоей матери и об Илоне?

Р. Г. Я не знаю. Это просто анекдот. Изысканное жеманство. Я знаю только, что храню верность тому, о чем писал в пятьдесят первом году в «Красках дня». Все ценности цивилизации — женские ценности. Христианство прекрасно это осознало благодаря Богоматери, но ограничилось религиозным идеалом. Оно начало с прославления слабости и закончило уроком силы: крестовые походы, истребление неверных, обращение в веру огнем и мечом, ереси и так далее. Христианство — это женственность, жалость, мягкость, прощение, терпимость, материнство, уважение к слабым. Иисус — это слабость; голос Христа был женским голосом. Но посмотри, что стало с ним в руках «мачо» [1]. Церковь потерпела крах с христианством, христианство потерпело крах с идеей братства, используя ее ради громких фраз. Когда Рене говорит в «Красках дня»: «Я верю в победу самого слабого», я принимаю это на свой счет во имя той струны женственности, которую общество должно было бы затронуть, пробудить и заставить звучать в каждом человеке, достойном такого звания. Однако я не настоль-

[1] Мужчина *(исп.)*. В широком смысле — мужчина, утверждающий свое превосходство над женщиной.

ко сладкоречив, чтобы сказать: «Надо поставить женщин на место мужчин, и у нас будет новый мир». Это глупо хотя бы потому, что большинство деятельных, активных женщин уже превратились в мужчин в силу самих потребностей и условий борьбы. «Мачизм» в юбке не более интересен, чем его собрат в штанах. Я просто говорю, что надо дать шанс женственности — подобного опыта еще не было, с тех пор как мужчина царит на земле. Женщин систематически отстраняли от духовной власти, от «руководства душами» и воспитания душ. Дерьмо, в котором мы все сегодня погрязли,— это мужское дерьмо. Посмотри на фотографии Национального собрания. Тьфу! Кругом — одни самцы... Возьми Мессмера или Миттерана: сущие головы древних римлян, бюсты гладиаторов, один к одному, лавры за ушами, тысячелетия за спиной... В концерте голосов, рокочущих над Европой,— ни единого женского голоса... Вот почему, кстати, нам подают Европу из говядины и свиного сала. Во всем этом нет даже намека на материнство... До тех пор пока мы не увидим на трибуне Национального собрания хотя бы одну беременную женщину, всякий раз, говоря о Франции, вы будете лгать! В политическом мире — устрашающее отсутствие женских рук... Вполне возможно, что на закате я подвожу итоги и осознаю все то, чем обязан женщинам, все то, что не смог им дать, и все то, что составляло счастье моей жизни... Тем не менее карта женственности еще не была разыграна, и у нас остается не так уж много карт...

Ф. Б. Давай вернемся в сорок пятый год. Ты покинул авиацию, прослужив семь лет. Ты стал заслуженным господином. Роман «Европейское воспитание», изданный сначала в английском переводе в сорок четвертом году, принес тебе премию Критики и был переведен на множество языков. Тебе было тридцать. Невозможно представить более удачного возвращения Одиссея... Ты сразу же получаешь два предложения, которые я бы назвал престижными: Жорж Бидо предлагает тебе работу в Министерстве иностранных дел, и группа прожженных дельцов, подыскивающих прикрытие, приглашает тебя возглавить административный совет, контролирующий три десятка борделей, разбросанных по всей Франции. Ты выбираешь министерство и отправляешься в качестве секретаря посольства в Софию...

Р. Г. Болгария, февраль сорок шестого года. Уже коммунистическая страна, но еще с царицей и царем-ребенком. Его отец, царь Борис, умер полутора годами раньше от отравления после встречи с Гитлером, утратившим к нему доверие... С приходом советских войск новым, подлинным царем стал легендарный Георгий Димитров — герой процесса о поджоге Рейхстага, человек, которого Гитлер не посмел уничтожить. Глава Коминтерна Димитров сделался при Сталине «патроном» всех компартий мира. Великий большевик-интернационалист подчинился грузинскому царю. Он был уже ходячим трупом, так как тяжело болел атеросклерозом и диабетом. Перед выходом в свет его львиное лицо покрывали румянами, чтобы скрыть зловещую бледность. Таким образом, еще при жизни его ежедневно мало-помалу «бальзамировали» в прямом и переносном смысле, ибо правил только Сталин, не терпевший чужого «величия». Можно лишь догадываться, что испытывал этот пламенный интернационалист, играя роль болгарского националиста... Я говорил с ним по-русски на приеме в нашей дипломатической миссии; по-видимому, он был удивлен и смотрел на меня с подозрением, как позднее Вышинский, когда я беседовал с ним в ООН в Нью-Йорке на нашем родном языке...

Когда я рассказал Димитрову о своем происхождении и отъезде из СССР в двадцать первом году, он произнес: «Много потеряли» — с такой горькой иронией, что невозможно было понять, то ли это презрение к Франции, то ли ненависть к России. Части Красной Армии стояли тогда по всей Болгарии, и впервые после революции я соприкоснулся со своими корнями. Знаешь ли, вот что странно: хотя я воспитан на русской литературе и, слушая однажды Синявского, довольно взволнованно повторял за ним слово в слово стихи, которые он читал, русские предельно далеки от меня — это доказывает, что мы становимся людьми не с помощью книг. К тому же, если бы во мне говорил «голос крови», не было бы Америки...

Итак, в той занесенной снегом стране существовали царица и маленький царь, заточенные в своем дворце, а также старорежимный клуб, где можно было увидеть тех, кому вскоре предстояло угодить на виселицу или сгнить в тюрьме, бежать из страны или уладить свои дела. Для болгар было безумно опасно появляться в обществе западных дипломатов, но они продолжали приходить, ибо еще находили у нас последние частицы самих себя. Всюду была икра, много икры. Она продавалась и в магазинах для дипломатов — таким образом власти проявляли свою обходительность. Я говорил с Димитровым о поджоге Рейхстага — одном из важных политических событий моей молодости. По-моему, до сих пор доподлинно не известно, то ли Геринг приказал устроить этот пожар, то ли он попросту воспользовался несчастным случаем. Димитров сказал мне: «Знаете, ведь я в самом деле спалил Рейхстаг». Я вежливо улыбнулся; это было очень смешно. Надо уметь смеяться над шутками царей. Это был юмор в духе Хрущева, который на каком-то приеме указал пальцем на Микояна и бросил журналистам: «Знаете, ведь это Микоян сбросил Берию!»

Ф. Б. Повлияла ли Болгария 1946—1948 годов на твое отношение к коммунизму?

Р. Г. Нет. Коммунизм не оказал на меня никакого влияния, и потому я не стал антикоммунистом, разочаровавшись в нем, как многие из моего поколения... которых ты знаешь. Все предрассудки отвратительны, и как профессионал я не имел на это права. В Болгарии мои функции заключались в хладнокровном и беспристрастном наблюдении за водворением коммунистического аппарата и овладением страной, из чего я должен был по возможности делать выводы об отношениях СССР с компартиями других стран и мифе «мировой революции». Я старался мыслить «по-коммунистически» и предвидеть следующий ход на шахматной доске.

Ф. Б. Что же ты предвидел как профессионал в Болгарии?

Р. Г. Это забавно и совсем неинтересно; сие значится под инициалами Р. Г. в депешах из Болгарии в Министерство иностранных дел. Два года спустя я получил назначение ближе к «отцу»: в Москву. Я отказался туда ехать: меня уже тошнило от икры.

Ф. Б. Каковы твои главные, наиболее яркие воспоминания о Болгарии почти тридцать лет спустя?

Р. Г. За исключением черного языка моего друга Петкова, повешенного Димитровым, я сохранил прекрасные воспоминания о Болгарии. Из всего моего послужного списка я отдаю предпочтение своему последнему посту в Калифорнии и первому — в Болгарии. Я пережил там незабываемые мгновенья. Например, шпионы. Ты никогда не знал, кто за кем шпионит, в чью пользу и с помощью чего: задницы, дружбы или любви. Жена британского военного атташе, бой-баба, целую неделю совершала обход всех западных посольств, чтобы оповестить нас о том, что ее засняли... у болгарского гинеколога и что, если мы получим эти снимки, не стоит воображать, будто речь идет о тайном свидании или каком-либо другом сеансе, а не о приеме у гинеколога. Великолепная женщина. Меня тоже сфотографировали... во всех ракурсах.

Ф. Б. Тебе было досадно?

Р. Г. Ужасно. Ужасно. Я был тогда не в форме. У меня не было вдохновения. Особа, замешанная в этом деле, совсем не помогала мне предстать в выгодном свете: более холодную говядину трудно себе представить. Мы были у нее, в комнате на первом этаже окнами в небольшой дворик; одно из оконных стекол было разбито, и, очевидно, нас засняли сквозь эту дыру. Поистине, я был не в духе: не пытаюсь оправдываться, ибо тут не может быть отговорок; надо всегда стараться изо всех сил: «двадцать раз на верстаке принимайтесь за работу» и т. д. Но «верстак» был из дерева, старик, из сухого дерева, я пыхтел один, так-то. Неделю спустя двое усатых болгар, смахивающих на «легавых», подходят ко мне на улице. Они хотели мне что-то показать. Мы заходим в кафе, садимся, и они выкладывают фотографии. Я смотрю на них, и меня охватывает стыд. Я был жалок, старик, просто жалок. Кроме того, угол, под которым мерзавцы снимали,

усугублял положение: это было... едва видно. Я был унижен. Мне было тридцать, это была моя первая дипломатическая должность, я представлял Францию... Эх! Если бы я знал, что у меня будут свидетели, что должен войти в историю как представитель Франции за границей, я сотворил бы что-нибудь потрясающее: в конце концов, ради моей страны следовало поддержать ее вековую славу — Жанну д'Арк, Декарта, Паскаля и так далее. Малышка тоже была не на высоте. На фото было видно ее лицо; она стояла на четвереньках, слегка повернув ко мне голову, и точно вопрошала: «Да что он там делает, этот тип?» Глядя на меня, можно было подумать, что я толкаю тележку. Я смотрел на снимки, а двое милиционеров и девушка на карточке глядели на меня. Это был полный провал. Я сказал сыщикам: «Послушайте, какой ужас. Я смущен». Они были довольны. Наконец самый суровый из двоих сказал: «При небольшом желании обеих сторон можно все уладить». Я стал рассыпаться в любезностях: «Грандиозно... спасибо, спасибо... Я прошу вас лишь дать мне еще один шанс... Пригласите эту юную особу или лучше другую, чуть более возбуждающую... Послушайте, хотя бы дочь вашего шефа, министра внутренних дел; мне всегда хотелось ее пощупать, и если бы вы могли мне помочь... Давайте разорвем эти позорные снимки и начнем все сначала. Я обещаю вам сделать свое дело гораздо лучше. Я обещаю сделать его блестяще, особенно если вы пообещаете поставить в углу трехцветный флаг — он всегда производит на меня потрясающий эффект в такие моменты, потому-то я и стал голлистом. Мы снова мило соберемся, и вы поснимаете всласть, с тщательно выбранных точек, чтобы я хорошо выглядел. Если вы не хотите пойти мне навстречу, сделайте это ради Рабле, Мадлон, Брантома и Мориса Тореза».

Я помню, что мой голос дрожал и я чувствовал — нет, я не шутил,— что говорю во имя народа Франции, во имя болгарских виноградарей и радости жизни. Два коммунистических болвана смотрели на меня так, словно перед ними — антихрист, и разве что не просили у официанта святой воды. Я никогда не выносил пуритан, никогда. Я вернул им снимки и ушел. На этом все и кончилось. Однако я прекрасно понимаю, что для людей, менее дружелюбно настроенных к вещам такого рода, для тех, кто считает, что человеческая честь и нравственность расположены на уровне зада, а не на уровне головы и сердца, подобный шантаж тотчас же оборачивается трагедией. Некоторые бедолаги даже лишали себя жизни из-за того, что их засняли за таким занятием.

Ф. Б. Итак, ты делал в Софии первые шаги на дипломатическом поприще... Слово «дипломатия» по-прежнему сохраняет некую ауру избранности, привилегированности, почти окутанную тайной...

Р. Г. Это пережиток прошлого, который берет начало в восемнадцатом и девятнадцатом веках, но он немногого стóит. В наше время любой посол, даже великий посол, реагирует в соответствии с тем, как его дергают за ниточки из Парижа. Разумеется, в одном и том же балете участвуют и дрянные, и очень искусные танцовщики, даже если Нижинские встречаются редко. Сегодня дипломаты играют главным образом роль медицинских сестер. Они нянчатся, утешают, обещают, что скоро будет лучше, что болезнь излечима. Мы находимся сейчас в конце цивилизации, и другая цивилизация на подходе: этот плод уже дрыгает ножкой, но еще не готов появиться на свет, и мы ничего о нем не знаем. Непонятная беременность... Известно, что у женщин это длится девять месяцев, но у цивилизаций... Честно и грубо говоря первородными словами этого языка в эпоху его великого расцвета, я думаю, что мы идем к дерьму, но пока неизвестно, в какой компании...

Ф. Б. Затем тебя направили во французское посольство в Берне, и ты пробыл там полтора года. Теперь выбирай слова, ведь я — швейцарец...

Р. Г. Не волнуйся: у меня не осталось никаких воспоминаний. В моей памяти — пробел в полтора года. Смутно припоминаю какие-то башенные часы с фигурками, отбивающие время, или что-то в этом роде. Я ничего не помню. Ах да, как-то раз я обедал в посольстве с Черчиллем, в тесном

кругу; он выпил сначала полбутылки виски, бутылку шампанского за едой и треть бутылки коньяка с кофе. Во время войны я влюбился в его дочь Мэри в поезде между Ватерлоо и Камберли. Мы ехали вместе час, но не обменялись ни словом, так как были одни в купе и я хотел показать, что мне известны английские правила хорошего тона. Это был час красноречивого молчания с моей стороны, а малышка не переставала смотреть в окно и не взглянула на меня ни разу: иначе она бы не устояла. Это было очень красиво и возвышенно. Лишь выходя, она посмотрела мне в глаза и произнесла: «Можно подумать, что вы говорите по-французски». Вот так прямо. И ушла. Я почувствовал себя столь омерзительно, что даже забыл сойти с поезда. Я был раздавлен. Но предстояло еще более ужасное испытание: в семьдесят втором году Мэри Черчилль, ставшая женой английского посла и госпожой Сомс, приглашает меня на прием в посольство Великобритании. Я был растроган: всего час молчания, а она еще не забыла обо мне тридцать лет спустя. Я заговорил с ней о нашем совместном воспоминании, и... нет, ты ни за что мне не поверишь: она ничего не помнила! Это была катастрофа. И вот я рассказываю Черчиллю, как чуть было не женился на его дочери в сорок третьем году. Подумав, он смотрит на меня в упор и говорит: «Ну конечно, от де Голля всего можно было ждать!» Это меня доконало, я был сам не свой.

Берн может производить на людей поистине странное впечатление. Это, несомненно, самый загадочный город на свете, эдакая Атлантида, которую еще надо отыскать. Один из тех уголков, знаешь ли, где все происходит в другом месте. В конце концов я отправил Бидо личную, зашифрованную, сверхсекретную телеграмму: «Я имею честь уведомить Ваше Превосходительство, что в час дня в Берне шел снег в течение двадцати минут. Следует отметить, что данный снегопад не значился в прогнозе швейцарского гидрометцентра, и я прошу Ваше Превосходительство сделать из этого соответствующие выводы». Бидо сделал из этого выводы и сказал начальнику отдела кадров Буске: «Отправьте его к психам». Вот так я получил назначение в Нью-Йорк и стал рупором Франции в ООН.

Ф. Б. В чем состояли твои функции?

Р. Г. В том, чтобы отражать французскую точку зрения в прессе, на телевидении и радио, а также представлять политику Четвертой республики по отношению к другим странам, главным образом в Европе, Индокитае и Северной Африке.

Ф. Б. Какое впечатление произвела на тебя ООН?

Р. Г. Ее разъедала язва национализма. Национализм, особенно когда он молод, свеж и элегантен, считает себя вправе безраздельно распоряжаться одним народом — с помощью внутренней тирании — во имя права всех народов распоряжаться собой. Ты можешь уничтожить миллион человек на территории своей страны и заседать в ООН в Комиссии по правам человека, подниматься на трибуну Генеральной Ассамблеи и произносить речи о свободе, равенстве и братстве, и тебе будут аплодировать, ибо внутренние дела государства — это святая святых. Даже слова «объединенные нации» — это вызов языку, искажение языка, насилие над языком. ООН — место, где комитет управляющих, то бишь Совет Безопасности, может похоронить любой труп, предать забвению любое зверство или рабство путем вето одной из великих держав: Франции, СССР, США, Великобритании или Китая, и тем не менее ты постоянно слышишь, как тот или иной министр иностранных дел из «могучей кучки» требует участия ООН в решении очередной проблемы. Как будто у великих нет права вето, позволяющего похоронить любую правду... Видишь ли, тут замешана пропаганда, поэтому в огонь бросают всякие дрова. Я попытался тогда выплеснуть это в книге «Человек с голубкой», изданной под псевдонимом Фоско Синибальди, но она получилась слишком невинной, слишком беззубой. Я видел на трибуне ООН нескольких самых свирепых и кровавых поставщиков для боен в истории человечества, таких, как прокурор всех крупных сталинских процессов Вышинский. Скажу больше: наиболее характерный для ООН момент, бесспорный момент истины наступал тогда, когда Вышинский

поднимался на трибуну, чтобы вещать о свободе народов, правах человека и обличать французский колониализм, в то время как его хозяин Сталин завершал переселение татар или вел счет истребленным народам; приблизительный отчет об этом ты найдешь в «Архипелаге ГУЛАГ» Солженицына. Я припоминаю одну из самых одиозно-комических сцен в моей жизни. Сталин только что умер незаслуженно легкой смертью, ибо он дал дуба сразу, так или иначе не заплатив. И вот все министры иностранных дел, все послы и представители всех наций выстроились в очередь, чтобы пожать руку Вышинскому и выразить ему свои соболезнования, сожаления и дружескую симпатию... Это был миг всеобщего братства в духе ООН, а позже те же люди проливали слезы о Солженицыне...

Ф. Б. Почему на набережной д'Орсэ выбирали именно тебя?

Р. Г. Я не знаю, даже понятия не имею. Я не думаю, чтобы у людей с набережной д'Орсэ было чувство юмора. Быть может, это произошло потому, что я говорил на «живом» английском, несмотря на ярко выраженный русский акцент. Многие мои коллеги хорошо говорили по-английски, но это был изысканный язык, который не проходит на телевидении или в дискуссиях и прессе. Я чувствовал себя в американском как рыба в воде, то есть выполнял завет председателя Мао, рекомендовавшего именно такой подход к изучению иностранных языков.

Ф. Б. Я не могу понять одну вещь. Помнится, перед войной ты жаловался, что не говоришь ни слова на этом языке, а между сороковым и сорок пятым, не считая двух лет африканского и средневосточного фронта, то есть за три года ты овладел английским в такой степени, что написал на нем шесть весьма литературных романов. Ты же служил во французской эскадрилье и был окружен французами. Как такое возможно?

Р. Г. Я находился в благоприятных условиях.

Ф. Б. Как тебе удалось выучить «живой» английский?

Р. Г. Были же всякие встречи.

Ф. Б. Под одеялом?

Р. Г. Были всякие встречи, все французские летчики говорили в конце войны по-английски в меру своих возможностей.

Ф. Б. «Возможностей» какого рода?

Р. Г. Мы были молоды, а в молодости все схватываешь на лету... Слушай, в Англии были девушки-ординарцы. В «Биггин Хилл», например, самой прославленной эскадрилье истребителей, женщины, составлявшие тридцать процентов летного состава, отбирались среди самых хорошеньких девушек Англии, и бомбардировочная авиация была оснащена не хуже.

Ф. Б. Говорят, что английский и американский все больше расходятся и становятся разными языками. Почему ты ощущаешь потребность писать по-американски?

Р. Г. К сожалению, я не могу писать ни на китайском, ни на греческом, ни на суахили. Я берусь за роман, чтобы попасть туда, где меня нет, чтобы увидеть, что происходит с другими, чтобы расстаться со своей оболочкой и перевоплотиться. Мне страшно недостает других способов бегства «в никуда» — например, живописи... Подчас это приводит к довольно забавным недоразумениям. Так, например, госпожа Жаклин Пьятье из «Монд» пришла к заключению, что Ромен Гари — сифилитик, сводник и шарлатан...

Ф. Б. ?

Р. Г. Видишь ли, я написал свой последний роман «Волшебники» от первого лица. Я должен был ввести в роман образ плута в том виде, как я обрисовал его в эссе о романе «В защиту Сганареля». Тебе не нужно объяснять, насколько важно для романиста выразить свои идеи на практике, воплотить то, что я назвал в подзаголовке «Поиски персонажа и романа», в каком-либо образе и произведении романического характера. Я попытался сделать это в «Волшебниках», создав Фоско Зага. Я много почерпнул у летописцев XVIII века и у великих авантюристов вроде Казановы, Космополиты и многих других вплоть до Александра де Тийи, не забывая о Вольтере как жулике и аферисте. Я сделал своего плута писателем, ибо все

авантюристы восемнадцатого века писали, и, кроме того, существует вечный тип литератора, переходящий из века в век, человека, который поглощен только своим сочинительством и извлекает из криков человеческой боли лишь радостные и мелодичные созвучья. Поэтому я создал племя волшебников и образ Фоско Зага, озабоченного прежде всего своими «литературными фокусами», и вдобавок проходимца, сводника, паразита и сифилитика. Чтобы как можно больше приблизиться к этому персонажу, который представляется мне довольно далеким от меня и моей жизни, я написал роман от первого лица. Я даже одолжил Фоско свою парижскую квартиру на улице Бак, чтобы попытаться найти между нами хоть что-то общее. На основании этих деталей и улицы Бак госпожа Жаклин Пьятье пришла в «Монд» к заключению, что герой романа — шарлатан, сводник и сифилитик — это я. Самая интересная и все более распространенная вещь в данной истории — это отрицание воображения. Чем больше в книге вымысла, тем она убедительнее и тем чаще я получаю от читателей письма с вопросами: «Это правда? Это действительно правда?» Дело в том, что мы дожили до того, что множество людей, читая романы — плод фантазии,— чувствуют себя обманутыми из-за интереса, который вызывает у них произведение. Подумать только, это же фикция, ложь, он сочинил все от начала до конца, до чего же отвратительно сочинять... Я знаю одного французского посла, который заявил мне, что он — человек серьезный и не читает романов, потому что ему стыдно читать «басни». Зато когда им подсовывают документальную книгу, сфабрикованную от начала до конца, у них находится для нее прекрасное оправдание, ибо это серьезно, нравственно и «подлинно», не какая-нибудь «лирика». Как-то раз, двадцать лет тому назад, я оказался в Берне за столом госпожи де Рот вместе с моим послом Анри Оппено. Я только что издал роман «Большая раздевалка», действие которого происходит после освобождения среди проституток и сводников. Госпожа де Рот повернулась ко мне и воскликнула: «Скажите, каким образом вы, такой воспитанный молодой дипломат, столь хорошо осведомлены о проститутках, сутенерах и бандитах?» Я попытался ее утешить: «Сударыня, прежде чем стать «воспитанным молодым дипломатом», я сам был проституткой и сутенером». Мой милый старый посол в свою очередь повернулся к хозяйке: «Ну, знаете, Ромен *немного* преувеличивает...»

Ф. Б. Тебе нравится быть самим собой?

Р. Г. По-моему, я не заслужил такого замечания. Человек, которому нравится «быть самим собой», либо болван, либо подлец. Никто не может быть самим собой, не играя в то же время чужие роли, и это, очевидно, создает некоторые трудности, не так ли? Много лет назад Артур Кёстлер спросил меня: «Почему вы вечно на себя наговариваете?» Кёстлер — один из умнейших людей нашего времени, и я был изумлен, услышав из его уст этот вопрос. Я не наговариваю на себя, а критикую свое «я», наше маленькое «царство я». Я уже распространялся на данную тему и не хочу больше к ней возвращаться, но «я» всегда в высшей степени смешно и слишком часто забывает об этом. Конечно, иногда оно приносит прекрасные плоды, но необходимо регулярно обрезать у него ветки, как у всех деревьев. Юмор отлично с этим справляется. Во Франции это очень трудно, ибо мы живем в стране индивидуалистов, где «я» имеет право на всяческие почести. Слово «шут» во французском языке носит пренебрежительный оттенок.

Ф. Б. В тридцать четвертом или тридцать пятом году ты получил диплом по специальности «славянские языки» в Варшавском университете. Ты был французом и католиком. В польских университетах поляки-католики сидели в одном месте, а поляки-евреи — в другом, на отведенных для них скамьях. Ты постоянно садился с польскими евреями и постоянно получал тумаки от польских христиан, так как в твоем личном деле было указано, что ты — католик, и они хотели запретить тебе сидеть с евреями.

Р. Г. Я высказывался по этому поводу в «Белой собаке». Я от рождения принадлежу к меньшинству. В Варшавском университете я садился рядом с теми, кто в меньшинстве. Я всегда против самых сильных.

Ф. Б. Что значит для тебя быть евреем?

Р. Г. Это один из способов подставлять себя под плевки.

Ф. Б. А Израиль?

Р. Г. Восхитительно. Я также очень люблю Италию. По-моему, из всех стран я предпочитаю Италию.

Ф. Б. А если бы Израиль вдруг перестал существовать как государство и его население было изгнано из страны, ты не почувствовал бы себя подавленным?

Р. Г. Не подавленным, а растерянным. Я не представляю себя в такой ситуации и надеюсь, что никогда в ней не окажусь, вот и весь ответ.

Ф. Б. Но ведь ты — еврей лишь наполовину, ты можешь выбирать...

Р. Г. Ну что ж, лукавь с этой добродушной улыбкой... Я не знаю, что такое полуеврей. Полуеврей все равно что полузонтик. К этому термину прибегают также израильские расисты-маньяки. Слушай, я тебе сейчас докажу. Несколько лет тому назад я получаю из Тель-Авива письмо от бог весть какой организации, вопрошающей, не хочу ли я фигурировать в «Who is who in the World Jewry» [1] — ежегодном международном справочнике известных евреев. Пораженный подобной широтой взглядов, я отвечаю утвердительно, заполняю и отправляю анкету. Затем эти мошенники присылают мне смущенное письмо, из которого вытекает, что я не обладаю надлежащими параметрами, чтобы считаться евреем. Ты видишь, они осмотрительнее самого Розенберга и Гиммлера... Они решают, кто имеет право на газовую камеру, а кто нет... Разозлившись, я напоминаю им, что моя мать была из племени Моисея, чистокровная еврейка, а у *нас*, кажется, главной считается мать, так что, если они не сунут меня в «Who is who», я устрою публичный скандал... Мертвая тишина, а затем я удостаиваюсь очень любезного дипломатического визита, во время которого мне битый час толкуют о каких-то теологических, государственных и технических тонкостях, подтверждающих, что их закон решает, кто имеет право на газовую камеру... В этом отношении немцы были не так зашорены.

Ф. Б. Вернемся в Америку. Что ты делал после Нью-Йорка?

Р. Г. Я получил трехмесячный отпуск после болезни и провел его в своем доме в Рокбрюне, работая над «Корнями неба». Я начал этот роман в Нью-Йорке в пятьдесят втором году и писал его от полудня до двух часов дня, а также очень рано утром, так как я — жаворонок и не могу писать по вечерам. Мне требуется девять часов сна. Я продолжал работать в Лондоне, куда меня направили, но вскоре там поменяли посла, и Шовель не захотел со мной знаться. Поэтому я провел месяц на юге, сочиняя роман. «Корни неба», как говорили,— это первый роман на тему экологии, защиты окружающей среды, но мне хотелось в первую очередь выступить в защиту человеческой среды обитания в более широком смысле, что предполагает уважение к человеку, независимость и благородство.

Ф. Б. После лондонского инцидента ты попросил другую должность?

Р. Г. Я никогда не выпрашивал должностей в министерстве, а просто ждал, когда меня куда-нибудь назначат. После лондонской несовместимости двух писателей столь неравного чина мне повезло. Кув де Мюрвиль был в ту пору послом в Вашингтоне, и он предложил мне Лос-Анджелес. Судьба преподнесла мне подарок, ибо генеральное консульство в Лос-Анджелесе — это не только Калифорния, но и Аризона с Нью-Мексико. Я прибыл туда в феврале пятьдесят шестого года с почти законченной рукописью «Корней неба». Консульство находилось в Голливуде и располагалось в очаровательном доме «испанского» стиля, как там говорят, с рабочими кабинетами на втором этаже и резиденцией на первом. Здание утопало в цветах жасмина и было окружено субтропической растительностью, которая в Калифорнии тотчас же завоевывает любые незастроенные участки земли. Секретарши, тщательно подобранные моим предшественником, были восхитительны. Предыдущий вице-консул удрал с казной, и пришлось отлавливать его в Мексике. Посидев немного в тюрьме, он сделался крупье в Монте-Карло.

---

[1] «Кто есть кто в еврейском мире» *(англ.)*.

Ф. Б. Чем был в ту прекрасную пору Голливуд?

Р. Г. Это не была уже прежняя прекрасная пора, но об этом еще не подозревали. В сорок седьмом, то бишь за девять лет до моего приезда, когда телевидение начало свое победное шествие, хозяева Голливуда не обратили на это внимания, и вместо того, чтобы его присвоить, что было возможно, так как боссы владели студиями, актерами, авторами и тысячами фильмов в фильмотеках, они последовали примеру царей, которым грозит революция: они в нее не поверили и позволили себя уничтожить, «слопать» за десять-двенадцать лет. Но в пятьдесят шестом году они еще как-то держались. Здесь царила жесткая иерархия. «Великие» приглашали только друг друга, и я присутствовал в Голливуде исключительно на «горизонтальных» ужинах: то есть они приглашали лишь гостей, находившихся на том же уровне богатства, успеха и власти. Они никогда не приглашали «вертикально»: ты не встречал там ни дебютантов-новичков, ни актеров, режиссеров или продюсеров на взлете, никаких молодых «дарований». Это была пирамида, каждый этаж которой был точно обозначен на языке успеха, денег, удачи. Иными словами, ты постоянно видел одни и те же физиономии, и там редко можно было встретить незамужнюю женщину, так как супруги этих господ жили в вечном страхе, что новенькая проникнет в их круг и отнимет у кого-нибудь законного «золотого тельца». Наиболее типичным был случай Патриции Нил — я надеюсь, она меня простит, ведь это было давным-давно. Она приехала из Нью-Йорка, где играла в театре, и после одного или двух фильмов обещала стать новой яркой «звездой» Голливуда. К несчастью, она влюбилась в Гари Купера, и Гари, который был женат, влюбился в нее и заикнулся о разводе. И тут произошло нечто жуткое. Все тетушки Голливуда, объединившись, ополчились против Патриции, и большие боссы, практиковавшие право «первой ночи» на диванах своих студийных кабинетов, будучи при этом приверженцами морали, семьи и религии, буквально вышвырнули ее из города. Лишь одна или две истории любви сумели выжить. Самой прекрасной из всех остается для меня любовь Кэтрин Хепбёрн и Спенсера Треси, который тоже был женат. Я редко встречал женщин, столь преданных мужчине, как Кэтрин Хепбёрн. Их роман продолжался двадцать лет, и весна сопутствовала им до конца. Когда уже больной Спенсер Треси согласился сниматься на Мартинике вместе с Фрэнком Синатрой, Кэтрин Хепбёрн отправилась на Мартинику, чтобы организовать диетическое питание для своего возлюбленного. У любви было крайне мало шансов в этом мире, где всё определяли конкуренция между «мачо», соперничество за сексуальное превосходство и прочие игры за власть.

Ф. Б. Знал ли ты Мэрилин Монро?

Р. Г. Очень мало.

Ф. Б. Что из себя представляла Мэрилин?

Р. Г. Это была девушка, не понимавшая, как себя вести, если ты — Мэрилин Монро, и что надо делать, чтобы остаться Мэрилин Монро. Если из тебя сотворили «миф», зовись ты Лана Тёрнер или Ава Гарднер, ты неизменно становишься Мэрилин Монро с безграничной долей нереального, и если эта безграничная доля нереального вступает в конфликт с маленькой долей нервной, физиологической и психической реальности, какой ты являешься, ты полностью и бесповоротно становишься Мэрилин Монро, лишая себя жизни. Одни начинают пить, но остаются в живых; другие начинают пить и не выживают. Бедная Вероника Лейк, недавно умершая от алкоголизма в возрасте пятидесяти лет, ибо ей потребовалось больше времени, чем Мэрилин Монро, была одной из величайших «звезд» сороковых годов — «Я женился на ведьме» Рене Клера, помнишь? — кончила официанткой в баре, а затем ей просто пришел конец. Я очень ее любил и до сих пор часто о ней думаю. Лана Тёрнер, одиннадцатилетняя дочь которой убила кухонным ножом любовника своей матери, также выжила... отчасти, как и Ава Гарднер. Они более или менее изжили в себе Мэрилин Монро... За исключением актрис, приехавших из Европы, таких, как Марлен Дитрих или Одри Хепбёрн, которые чудесным образом со-

хранили себя; все они были душевно надломлены, так как их лишили собственной личности. Они жили в мире, сотворенном на потребу толпе, и этот мир заменил им подлинную жизнь.

Ф. Б. Ты любил там кого-нибудь?

Р. Г. Что ты имеешь в виду?

Ф. Б. Я говорю о дружбе.

Р. Г. Да, Гари Купера. Это был поистине мужественный человек в самом женском значении слова. Мягкий. Милый. Неспособный ненавидеть. Остроумный и скромный. Это был великий американец.

Ф. Б. Ты назвал один из своих романов «Прощай, Гари Купер...».

Р. Г. Да, и все решили, что это книга о кино. Но я хотел сказать: прощай, традиционный американский герой, спокойный, уверенный в себе, в справедливости и деле, за которое ты борешься и неизбежно побеждаешь в конце; прощай, Америка, без страха и упрека; здравствуй, Америка, терзаемая сомнениями, тревогой, отвращением к себе, Америка Вьетнама и «Уотергейта». Я написал эту книгу на американском жаргоне, озаглавив «Ski Bum». Это был мой третий роман на английском после «Леди Л.» и «Пожирателей звезд». Переводческий труд — сущая мука. Я написал «Леди Л.» на английском за полтора месяца, а пять лет спустя работал над французской версией девять месяцев...

Ф. Б. Встречался ли ты с американскими писателями?

Р. Г. Я встречался пару раз с Хемингуэем у Лейленда Хейуорда, но он мне не понравился. Он был невротиком. Хемингуэй всю жизнь играл настоящего мужчину, но лишь один Бог знает, что он таил в своей душе; какие страхи и какие тревоги. Он был без ума от самого себя. Этот человек положил в основу своего имиджа «мачизм», но я подозреваю, что его подлинная сущность была иной. То ли в сорок третьем, то ли в сорок четвертом году, не помню точно — во всяком случае, Лондон тогда бомбили каждую ночь,— я потерял приятеля во время одного из обстрелов и принялся обходить госпитали. В больнице Святого Георгия раненые лежали повсюду: в коридорах, на столах, и без конца приносили новых. Кругом умирали люди... И вдруг появляется гигант в плаще, с перепачканным кровью лбом; у него трагический вид, и американские офицеры столь же трагически ведут его под руки. Это был Хемингуэй. Он попал в дорожную аварию на своем «джипе» во время затемнения и получил ссадину на волосатой лодыжке, только и всего. И вот он идет среди умирающих и вопит: «Я — Эрнест Хемингуэй! Я — Эрнест Хемингуэй! Перевяжите меня! Я ранен! Перевяжите меня!» А вокруг тем временем умирали настоящие раненые... Когда сравниваешь его с человеком, которого он играл всю жизнь, а также с персонажами его книг...

Как бы то ни было, «Прощай, оружие!» — по-прежнему один из лучших романов века о любви, но можно быть очень крупным писателем и в то же время довольно жалким типом. Это относится не только к Хемингуэю, а ко всем, ибо мы вкладываем лучшее, что в нас есть и чем мы пытаемся стать, в свои произведения, а остальное оставляем себе...

Ф. Б. Однако в наших беседах ты поступаешь совсем не так...

Р. Г. Просто я убедился, что хочу раскрыть свое «я» перед моими друзьями-читателями, которые добиваются встречи со мной, воображая, что найдут во мне произведение искусства... Но во мне не больше, а возможно, даже меньше ярких человеческих достоинств, чем у их соседей по лестничной клетке... Я неустанно повторяю это читателям и читательницам, присылающим мне душераздирающие письма. Они не хотят мне верить, зачастую настаивают, но я отказываюсь их принимать, ибо дорожу их иллюзиями... По причине тщеславия либо из уважения к мечте.

Ф. Б. Даже читательниц?

Р. Г. В этом отношении мне давно преподали урок, и я получил по заслугам. Дело было в пятьдесят первом году, после выхода моего четвертого романа, «Краски дня». Я работал тогда на Гаити. И вот туда стали приходить из Парижа письма от некоей читательницы, которой понрави-

лась книга; я ей ответил, она написала еще и прислала мне свою фотографию в купальнике с приглашением навестить ее, как только я вернусь в Париж. Она была очаровательной, и это сработало, суля заманчивый гонорар... Я возвращаюсь в Париж и звоню ей. Приятный голос отвечает: «Приходите ко мне завтра в пять часов дня на проспект Фоша». На другой день я чищу зубы, надеваю новую рубашку и спешу туда. Я вижу особняк; дверь открывает лакей; я прохожу через вестибюль; меня встречает дворецкий, открывает другую дверь, и я оказываюсь в уютной маленькой гостиной с софой и зеркалами по стенам и на потолке; тут же икра, шампанское в ведре и задернутые шторы. Дворецкий говорит: «Госпожа сейчас придет». Мне было не по себе, так как я видел пять дворецких в зеркалах, предназначенных для отражения совсем иных вещей; я рассчитывал не на такой гонорар. Затем открывается дверь, и входит роскошная особа лет шестидесяти в божественном неглиже. Я говорю себе: черт возьми! Это ее мамаша, она перехватила наши письма. В тот же миг женщина заявляет: «Вы удивлены, не так ли? Я послала вам свои фотографии, сделанные в ту пору, когда мне было двадцать семь лет, потому что в этом возрасте я страдала костным туберкулезом. Жизнь забрала у меня лучшие годы, и я считаю, что она передо мной в долгу; мне по-прежнему только двадцать семь». И вот она торжественно делает шаг вперед, а я незаметно на всякий случай отступаю к окну, которое выходило в сад, но ничего не произошло. Она достала кружевной платочек из-за своего корсажа и вытерла глаза. Я не смог не столько из-за ее возраста, сколько из-за зеркал, ибо увидел бы в них все, что стал бы делать. Я почтительно поцеловал ей руку, что было чистейшим хамством, учитывая обстоятельства, и был таков. Это послужило мне уроком...

Ф. Б. Я не думаю, что это послужило тебе уроком. Я вижу, что вынужден, невзирая на нашу старую дружбу, затронуть довольно щекотливую сторону твоей индивидуальности.

Р. Г. Валяй.

Ф. Б. Несколько месяцев назад я слушал в своем кабинете в Цюрихе какую-то передачу французского радио, и ведущая сказала, что согласно итогам опроса, который проводили сотрудники программы, имя Ромена Гари значится вместе с Мишелем Пикколи и кем-то еще как пример типичного «мужчины для женщин». Я припоминаю также, что когда ты был генеральным консулом в Лос-Анджелесе, пресса намекала на то, что ты больше поглощен «звездами», нежели экономическими интересами Франции... В памяти засело выражение, вычитанное в одной из газет, где тебя окрестили «сексуальным атташе»...

Р. Г. Ну да, и всем известно, что пресса всегда говорит правду, и когда какой-нибудь кретин пишет: «Слабые вечно проигрывают в книгах Ромена Гари, ведь недаром же он голлист», он знает, о чем говорит; и когда американский еженедельник сообщает, что Джин Сиберг, которая была моей женой, ждет ребенка от «черной пантеры» [1], он знает, о чем говорит. Их редактор присутствовал при семяизвержении, попробовал сперму на вкус и может отличить «черную пантеру» от Шамада, а духи «Мисс Диор» от бордо и бургундского. Я не собираюсь оправдываться, но все же я вправе упомянуть о том, что, когда я уходил со своего поста пять лет спустя, посольство в Вашингтоне и парижское руководство одновременно просили меня остаться. Конечно, «звезды» больше бросались в глаза, но Голливуд был лишь частью моей деятельности.

Ф. Б. Ты часто говорил, что Калифорния была твоим лучшим дипломатическим назначением и... самой прекрасной порой твоей жизни.

Р. Г. Во всяком случае, самой легкой, наименее изматывающей. Наконец, я встретил там Джин Сиберг, которой было двадцать лет; я ушел со службы, чтобы обрести свободу; затем мы поженились, у нас родился сын, и мы прожили вместе девять лет.

Ф. Б. Почему вы разошлись?

---

[1] «Черные пантеры» — радикальная негритянская организация в США.

Р. Г. Мы были счастливы в течение девяти лет, но наши отношения дали трещину, начали портиться, тускнеть, перестали дарить вдохновение. Я не терплю компромиссов, когда речь идет о любви... Наш развод был очень удачным; я был на двадцать пять лет старше Джин, и вполне естественно, что она сменила роль: из жены стала мне дочерью. У меня никогда не было дочери, и это тоже неплохо.

Ф. Б. В Голливуде ты успел закончить «Корни неба», написать «Обещание на рассвете», «Пожирателей звезд», «Леди Л.» и эссе о романе объемом в пятьсот страниц «В защиту Сганареля». Как тебе удавалось совмещать творчество с жизнью, которую можно было бы назвать поверхностной?

Р. Г. Я хотел бы заметить, что в моем понимании понятие «глубина человека» глубоко претенциозно. Глубинная трагедия человека заключается в его поверхностности и незначительности. Например, «глубина» Фрейда — это смешно: просто *детский сад*. Наконец, что может быть приятнее, чем после литературной схватки с самим собой отправиться в цирк? Голливуд был задуман и создан в великих традициях американского цирка Барнума, и все его хозяева были циркачами... Если ты попадал в Диснейленд, то в пяти случаях из десяти замечал у входа за оградой какого-то человека, державшего руки в карманах и следившего за тем, как идут сборы; он словно подсчитывал входивших посетителей: это был Уолт Дисней собственной персоной. Или взять Уолтера Уангера. Он считался самым просвещенным продюсером Голливуда, так как на него работал Скотт Фицджеральд, уже «слетевший с катушек», и Уолтер его доконал. Как-то раз он приходит ко мне в консульство и заявляет, что собирается снимать недорогой фильм за восемьсот тысяч долларов, «Антоний и Клеопатра» с Джоан Коллинз... и предлагает мне роль Цезаря! Он растолковал мне, что это хорошо скажется на престиже Франции! Уолтер несколько раз возвращался к этой идее и в конце концов остановился на Рексе Харрисоне в *моей* роли и Элизабет Тейлор в роли Клеопатры... таким образом, недорогой фильм обошелся в двадцать семь миллионов долларов, и его посмотрел весь мир... Я думаю, что застал последние «безумные годы» Голливуда, конец великого цирка... Я помню официальную церемонию в честь Лафайета, на которую мне пришлось надеть дипломатический «мундир», шляпу с перьями, фрак, расшитый золотом, прицепить шпагу и так далее. Успех превзошел все ожидания. На следующий день посыпались телеграммы от всяческих рекламных агентов, наперебой приглашавших меня агитировать за тот или иной товар — автомобили или стиральные машины — в моей парадной форме и шляпе с перьями... Мне предлагали тысячу долларов за каждое выступление. Это не Америка, это Калифорния. Или вот еще: шериф Лос-Анджелеса приглашает весь консульский корпус на обед. И куда же? В городскую тюрьму, в женское отделение, за решетку, с вооруженными надзирателями наготове... Дипломатов обслуживали... арестантки! Ты представляешь, какое это было кино? На протяжении всего обеда мне пришлось иметь дело с красоткой, которая ставила передо мной кушанья и в то же время с невинной улыбкой нашептывала мне на ухо чрезвычайно конкретные предложения. Да, это были лучшие, самые легкие годы моей жизни...

Ф. Б. Ты был в Лос-Анджелесе, когда тебе присудили в пятьдесят шестом году Гонкуровскую премию за «Корни неба»?

Р. Г. Нет. Я отправился в командировку в Боливию в качестве поверенного в делах и едва не упустил там Гонкуровскую премию...

Ф. Б. Едва не упустил?

Р. Г. Да, ведь Гонкуровскую премию не дают посмертно. За несколько дней до присуждения премии я отправился с одним или двумя коллегами, в том числе с торговым атташе Буланже, на остров Солнца, расположенный посреди озера Титикака. Мы сели на паром и приехали на остров. Было очень жарко, и мне хотелось пить. Я беру бутылку пива, снимаю крышку и пью из горлышка. Я чувствую что-то в своем горле, смотрю на горлышко бутылки и вижу, что оно треснуло и я проглотил два с половиной сантимет-

ра острого стекла. Прободение кишок было мне обеспечено. Там не было телефона, и невозможно было выбраться с острова раньше чем через двенадцать часов. Буланже смотрит на меня, делает ужасное лицо и говорит очень рассудительно: «Черт, жаль Гонкуровской премии». Я сажусь на землю и дожидаюсь первых признаков боли, а проводник-боливиец хохочет: с ним случился нервный припадок. В конце концов один из местных кабатчиков подсказывает решение: на острове живет колдунья, известная своими чудесными исцелениями. Я говорю: ладно, пусть будет ведьма. Ко мне приводят невероятное существо, ухмыляющуюся вонючую старуху, которая тотчас же внушила мне доверие, ибо сто́ило поглядеть на ее грязную физиономию, как становилось ясно, что она приходится роднёй Судьбе. Колдунья уходит, затем возвращается с двумя килограммами хлебного мякиша и бутылкой омерзительного масла и предлагает мне все это проглотить. Я добросовестно слопал два кило свежего хлебного мякиша, опорожнил бутылку масла, как ни тяжело это было, и лег, стараясь удержать в себе масло. Я не сомкнул глаз всю ночь из опасения лишиться Гонкуровской премии. У меня не было никаких болей, и когда я вернулся в Ла-Пас, в местной больнице довольно удачно извлекли стекло, окруженное защитным слоем хлеба с маслом. Поэтому не надо презирать ведьм. Несколько дней спустя боливийские газеты поместили на первых страницах заголовки: «Premio Goncourt aqui» (Гонкуровская премия здесь), а о самой новости сообщалось мелким шрифтом где-то в середине, так что вся страна решила, что Гонкуровскую премию получил какой-то боливийский писатель. Я получил двухмесячный отпуск, съездил в Париж, а затем вернулся к своим обязанностям в Лос-Анджелес, где пробыл еще четыре года.

Ф. Б. Какой эффект производит присуждение Гонкуровской премии?

Р. Г. Голливудский эффект. Здесь не обходится без рекламы, когда на тебя сыплются отовсюду сиюминутные награды, восторги и нападки.

Ф. Б. Это ничего не изменило в твоей жизни?

Р. Г. Это изменило мое место жительства. Я смог подарить себе Симаррон — дом на берегу моря на Мальорке, где я провожу пять-шесть месяцев в году, когда где-то обитаю.

Ф. Б. Ты проводишь много времени нигде?

Р. Г. Много, но я, по крайней мере, это осознаю, между тем как большинство людей, которых я встречаю, настолько прочно обосновались и убеждены, что находятся *здесь*, у себя дома, что это страшно... ирреально. Разумеется, с тех пор как я оставил службу, я беспрестанно разъезжаю по миру как профессионал, делаю репортажи и фильмы либо просто следую за вращающейся Землей, за которой нужно присматривать...

Ф. Б. Момент прощания с Лос-Анджелесом совпадает с переменами в твоей жизни. Ты разводишься с первой женой, уходишь из министерства на десять лет в «резерв» и, по-прежнему продолжая ежегодно публиковать романы, ставишь фильмы и занимаешься журналистикой, главным образом в Америке... Это был решительный разрыв с прошлым?

Р. Г. Да. Мне было сорок шесть, и я слишком удобно устроился в самом себе и министерском кресле; мне грозили рутина и пожизненное заключение в своей оболочке... Я решил все послать к чертям, устроить что-то вроде «культурной революции» в китайском духе, пересмотреть свои позиции в личном порядке. Это было не так уж легко, особенно в отношении службы. Я привык к обществу, привилегированной жизни за границей, кулуарному министерскому балету, дружбе, чехарде должностей, бесшумным шагам в коридоре и чувству принадлежности к весьма элитарному клубу... Через некоторое время я получил приглашение вернуться на набережную д'Орсэ в качестве советника по культуре в Риме, но в ту пору я уже отрастил очень длинные волосы, носил джинсы и, оттрубив семь лет в летных войсках и пятнадцать лет в министерстве, не захотел больше надевать на себя ярмо.

Ф. Б. Скоро, в мае семьдесят четвертого, тебе стукнет шестьдесят. Как это себе представить?

Р. Г. Это можно себе представить, вот и все.

Ф. Б. А в отношении будущего?

Р. Г. Посмертные неприятности меня не волнуют. Впрочем, я ничем не рискую. Я знаю один фокус.

Ф. Б. Фокус?

Р. Г. Да. С того дня, когда я не смогу больше заниматься любовью с женщинами, я буду чесать им спину.

Ф. Б. ?

Р. Г. Да. Они обожают это. Всю свою жизнь я только и слышал: «Почеши мне спину». Значит, когда все остальное кончится, я буду чесать им спину. Но без любви жить нельзя. Я, во всяком случае, не могу.

Ф. Б. Как же ты выходишь из положения?

Р. Г. Я живу любовными историями, о которых пишу. Я нахожу это у других и живу чужой любовью... Как в «Волшебниках», моей последней книге. У меня нет ни одного романа, который не был бы историей любви, будь то любовь к женщине или человечеству, к цивилизации или свободе, к природе или жизни, что, впрочем, одно и то же. Тема всех моих книг, включая самые легкомысленные с виду, такие, как «Леди Л.»,— это комедия абсолюта, вдохновение и мечта о нездешнем...

Ф. Б. А Бог?

Р. Г. Я не ищу себе другого пристанища. Однако любовь и братство — это несравненно более сильные потребности. Полное отчуждение культуры является одним из крупных поражений Запада, и сам Запад стал местом отчуждения. Культура уже давно стала то ли привилегией, то ли наслаждением, то ли извращением, то ли алиби; вот почему сегодня все идеологии оказываются бессильными, и это привело к сталинскому коммунизму и пражским событиям. Сталинский коммунизм или Прага не были неудачами коммунизма; это неудачи христианства, которое потерпело крах с идеей братства...

Ф. Б. Как ты жил после того, как покинул службу, гарантировавшую тебе определенный материальный достаток?

Р. Г. Мой американский издатель и «Галлимар» выделили мне постоянную ренту независимо от продажи моих книг; я даже не обязан их публиковать и могу оставить свои рукописи для посмертных изданий. Я совмещаю литературу с журналистикой и кино.

Ф. Б. Ты больше известен в США, чем во Франции?

Р. Г. Я не знаю, но тиражи там больше. Несколько лет я много писал для американских газет и еженедельников и сейчас продолжаю писать, но меньше. В течение двух лет у меня был специальный авиабилет, дававший право лететь в любом направлении в случае необходимости. Теперь я убавил скорость, так как стараюсь проводить больше времени с сыном. Я не хотел бы, чтобы он был похож на меня.

Ф. Б. Глядя на твой паспорт, я вижу в нем около тридцати виз и въездных штампов за один лишь семьдесят второй год: здесь и Африка, и Азия, и Южная Америка, и Польша...

Р. Г. Я не считал.

Ф. Б. Как же тебе удается создавать литературные произведения при такой жизни?

Р. Г. Я пишу либо диктую семь часов в день в любых условиях и в любом месте — иначе я не смог бы вынести эту жизнь. Не стоит забывать, что я был летчиком в течение семи лет, и мой подлинный отдых, мои «отключки» происходят только в самолете, во время долгих перелетов. Это единственные мгновенья, когда все нервные провода, связывающие меня с миром и другими человеческими оболочками, отсоединяются, боль проходит и не зовет меня больше к телефону. Прилетев куда-нибудь, будь то Бангкок, Сингапур или Йемен, я с утра набрасываюсь на бумагу, невзирая на мои журналистские обязанности в данный момент, а затем иду смотреть, на что похожа жизнь у других. Роман — это братство: ты вживаешься в образы других людей. Конечно, временами я ощущаю потребность вернуться в Париж, на улицу Бак, к своим привычкам, хочу посидеть в каких-то ресторанчиках, где я могу включиться

в безостановочный поток повседневности. Но это очень скоро проходит, и тогда я звоню Ланцу, который представляет мои интересы в Нью-Йорке. Он спрашивает: «Куда вы желаете отправиться?» — и всегда находит для меня репортаж или рассказ, который порой нужно написать в течение двух суток. Однажды я проснулся утром в Пенанге, в Малайзии, куда приехал за свой счет, так как думал, что влюблен, и обнаружил, что мне нечем платить за гостиницу. Я позвонил Роберту Ланцу в Нью-Йорк, и он выбил для меня репортаж... в Пенанге, для «Трэвел энд лейже»! У меня хорошая репутация в США, и дела всегда идут неплохо. Я очень любил писать для «Лайф», который перестал выходить, но чаще всего я даже не знаю, какая газета публикует мои материалы и где: в Сент-Луисе или Сиэтле. Я почти всегда путешествую без багажа, так как глупо везти вещи из Парижа в Новую Гвинею. Я покупаю шмотки на месте и, попотев в них, выбрасываю.

Ф. Б. Что заставляет тебя носиться по всему миру?

Р. Г. Я не знаю. Мне все время кажется, что в другом месте меня что-то ждет.

Ф. Б. Что именно?

Р. Г. Я не знаю. Что-то или кто-то. Но это существует, и надо искать.

Ф. Б. Но что же?

Р. Г. Послушай, Франсуа, если бы люди знали, они бы давно уже это нашли и больше бы не искали и не мучились.

Ф. Б. Другое место, что-то другое или кто-то другой?

Р. Г. Другое место, что-то другое или кто-то другой.

Ф. Б. Может быть, это обыкновенный метафизический страх?

Р. Г. Нет. Конечно, мне присуще знакомое тебе беспокойство, которое побуждает к гонкам по свету в поисках кого-то или чего-то, как ты очень точно заметил. Но это не поиски «утраченного дома», а поиски Романа. Мои гонки по свету — это погоня за Романом, за разнообразием жизни. Мне недостаточно моего «я», и если я провожу несколько недель, скажем, в Куала-Лумпуре, на маленькой улочке, среди малайцев и китайцев, мое «я» меняется; если же делать это пять-шесть раз в год, получается творческое разнообразие «я» и жизнь превращается в Роман. Творчество — это главное, ибо писать книгу или менять свою жизнь всегда значит творить, перевоплощаться, раздваиваться, разнообразить свои роли.

Ф. Б. Знакомо ли тебе счастье как внутреннее спокойствие, как душевный покой?

Р. Г. Душевный покой меня нисколько не интересует. Я не понимаю, что может дать человеку, который любит *настоящий момент*, безмятежность, отрешенность, слияние со Вселенной. Но это хорошее средство против ссор между автомобилистами, вооруженных нападений и полицейских зверств — лучше заниматься «дзэном», чем каратэ. Спокойствие, знаешь ли... Я буду достаточно спокойным, когда умру... В моей эскадрилье был один пилот, которого звали Бордье. Надевая перчатки, прежде чем взлететь, он смотрел на небо, на звезды и удовлетворенно говорил: «Ночь будет спокойной». Мы всегда возвращались расхристанными, теряли экипажи, но он постоянно твердил с довольной улыбкой из-под своих усиков: «Ночь будет спокойной». Как-то раз он тоже не вернулся... В небе вспыхнул еще один оранжевый шар... Мне кажется, что этот человек мечтал о покое... Конечно, со мной такое случается, бывает...

Ф. Б. Ты всегда был искателем приключений, одержимым желанием прожить бог весть сколько жизней зараз. Это настолько верно, что одной литературы тебе недостаточно, и ты берешься за кино, становишься режиссером, чтобы еще теснее соприкасаться со своими героями и управлять ими... Неудовлетворенность, вечная жажда и стремление утолить жажду, как у двух твоих самых показательных в этом смысле персонажей: нимфоманки Адрианы, которая делает попытку за попыткой,— отображение в форме сексуальной аллегории твоих отношений с жизнью вообще — и Лили в «Пляске Чингиз-Кона».

Р. Г. Я не согласен, но это не имеет значения. Меня привлекает чудес-

ное. Это пережиток детства, но без него не может быть творчества. Я испытываю очень сильную тягу ко всяческим сказочным мотылькам и пытаюсь их поймать. Наблюдаю ли я за ними со стороны, живу их жизнью или создаю их, неважно, это погоня за чудом. Кино является сачком для ловли бабочек, как и роман, как сама жизнь. Благодаря актерам оно позволяет вам приблизиться к своим персонажам, любоваться ими, широко раскрыв глаза, а также еще больше приблизиться к реальности. Вот почему я так симпатизирую актерам: они побуждают меня любить...

Ф. Б. Ты живешь один?

Р. Г. Точнее, я живу с мисс Одиночество и слишком к ней привязан; конечно, немного печально к чему-то привыкать — не люблю привычек... Две последние мисс Одиночество — семьдесят второго и семьдесят третьего года — были настоящими королевами красоты, единственными в своем роде... Оба моих кота, Биппо и Брюно, умерли, а наш старый Сэнди — тот, которому я посвятил «Белую собаку», после здравых раздумий предпочел остаться с Джин Сиберг. Там больше народа, чтобы о нем заботиться. Я на него не сержусь, но следует заметить, что с годами он стал изрядным эгоистом. Порой какая-нибудь добрая душа приходит меня поцеловать, а затем ретируется, ибо женщины не любят подростков... Мой сын поднимается ко мне каждый день, чтобы проверить, действительно ли я существую; я его обожаю и поэтому не знаю, как с ним говорить; ему одиннадцать лет, и он меня смущает...

Ф. Б. А как обстоят дела с самым главным?

Р. Г. Разумеется, это неизлечимо, я все еще мечтаю влюбиться, но что значит влюбиться!.. В шестьдесят лет это очень трудно из-за недостатка пространства и горизонта перед глазами... Не хватает широты, уже нельзя разбежаться... Мы почти закончили, да?

Ф. Б. Почти. Ты о чем-нибудь жалеешь?

Р. Г. Я недостаточно написал и, по-видимому, недолюбил.

Ф. Б. Тебя беспокоят призраки?

Р. Г. Это неинтересно: истории о самолетах, которые не вернулись и... начинают возвращаться тридцать лет спустя.

Ф. Б. А смерть?

Р. Г. Ее слишком переоценивают. Следовало бы попытаться найти что-то другое.

Ф. Б. Ну а если серьезно?

Р. Г. Я помню одного старого дворецкого, негра из Луизианы, который перед смертью спросил о погоде, чтобы знать, будет ли полет приятным или беспокойным...

Ф. Б. Был ли ты счастлив?

Р. Г. Нет... Да. Я не знаю. Я выходил сухим из воды.

Ф. Б. В чем состояло для тебя счастье?

Р. Г. Я лежу, слушаю и выжидаю, затем — звук ключа в замочной скважине, и дверь закрывается; я слышу, как она разворачивает на кухне свертки с покупками, зовет меня, спрашивает, дома ли я, но я молчу, улыбаюсь и жду; я счастлив, и в животе у меня урчит... Я очень хорошо это помню.

Ф. Б. И в заключение?..

Р. Г. Ночь будет спокойной.

Симаррон, март 1974 года

Л. МЯСНИКОВ

CONTRA CRITICOS LINGUARUAM ORTIFICIOSARUM, AUT DOCET AUTEM UTOPIA *

Публикуя во втором номере «ИЛ» статью Е. Маевского «Lingua Universalis, или Поучительная История Одной Попытки Усовершенствовать Природу», мы и представить себе не могли, какой шквал писем и звонков обрушится на редакцию. Таким пристальным вниманием у наших читателей пользовалась, пожалуй, лишь проблема эротики в литературе...

Предоставляя трибуну критику эсперанто, мы, как оказалось, обрекли себя на продолжение разговора о Lingua Universalis. Надеемся, что предлагаемая ниже статья снимет с нас упреки в одностороннем подходе к обсуждаемому явлению.

То, что хотел язык, разрушили языки.
Г. Шухардт, лингвист

В 1967 году в издательстве «Наука» появилась и сразу же была раскуплена любопытная книга Э. Свадоста «Как возникнет всеобщий язык?». В ней «на обширном материале показано, что всеобщий язык как второй (вспомогательный.— *М. Л.*) стал насущной жизненной потребностью нашего времени» (так написано в издательской аннотации). Работа Свадоста помимо общих социологических и лингвистических проблем проанализировала и саму историю попыток человечества преодолеть последствия гнева Божия (ох и суров же был Создатель, покарав нас таким образом!). Книга Свадоста широко известна и у нас, и за рубежом, ее многократно цитировали и цитируют, ее материалы, за неимением первоисточников, используют до сих пор. Но самый любопытный момент, отмечающийся во многих библиотеках с завидной постоянностью, заключается вот в чем: на библиографических карточках стоит «Э. Свадост. Как возникает всеобщий язык?». Такая характерная описка библиографов, людей ученых и искушенных, многого стоит (даже если отбросить фрейдистские причины и следствия подобного проявления психопатологии профессиональной жизни). Видимо, проблема всеобщего языка действительно назрела и стала «жизненной потребностью нашего времени». Но книга была издана в конце 60-х годов, создавалась же она значительно раньше. Если вспомнить советское общество той поры, то, во всяком случае, на поверхности эта проблема никоим образом не лежала. Русский язык безраздельно господствовал в межнациональном общении. Существенной была его роль и во внутринациональном общении некоторых теперь новых и независимых государств (Украина, Белоруссия и др.). На международном уровне тоже все было более или менее гладко — русский язык являлся одним из рабочих языков ООН и ее учреждений. Иностранный туризм функционировал в микроскопических дозах и под бди-

* Против критиков искусственного языка, или Утопия тоже учит *(лат.)*.

тельным оком тех, кому бдеть было положено. (Какое уж там «свободное общение»!) Подавляющее большинство учителей и преподавателей иностранных языков страны ни в каких заграницах не были и быть не предполагали. А многие и живого носителя языка никогда в глаза не видели. Короче, все было прекрасно, марксистско-ленинская теория национальных (и интернациональных) отношений торжествовала на 1/6 части суши.

С падением Берлинской стены, распадом СССР языковой баланс был взорван не только в рамках бывшего СССР, но и во всей Европе. Языковая ситуация изменилась основательно, что еще будет прочувствовано лет через десять — пятнадцать. Впрочем, все это было предсказуемо и, как выясняется сейчас, даже не раз предсказываемо.

В центре клубка проблем «национального» всегда находится язык. Вспомним новые прибалтийские государства (Литву, Эстонию, Латвию), где «в начале было Слово», то есть законы о языках. И где, кажется, вместе с грязной водой тоталитарного «интернационализма» бухнули в канаву и успели вывалять в грязи уже было — ура! ура! — отмытого «национального» ребенка. Перегнули, короче, палку, расхлебывать кашу придется еще много лет. Языковые конфликты, увы, не есть что-то специфическое для бывшего СССР, а периодически потрясают и благополучную Западную Европу (фламандцы в Бельгии, баски в Испании, нормандцы во Франции и т. д.), и Новый Свет (Канада), и Индию, и Африку. Право же, нет ни одного региона мира, где «национальное» (и вместе с ним языковое) не давало бы о себе знать.

Впрочем, речь не о том. Речь пойдет о языке общем, всеобщем, Lingua Universalis и т. д. Идея действительно завораживающая! Недаром же только в четко сформулированном философами XVII века виде она просуществовала уже четыре века (ничего себе заблуждение ума человеческого — утопия,— пережившее две НТР и неплохо уживающееся с третьей!).

И кого только не захватывала идея искусственного языка. Впрочем, упрекать Екатерину II в стремлении облагодетельствовать человечество всеобщим языком вряд ли стоит. По повелению императрицы в Академии была создана специальная словарная комиссия, которая разослала в ряд регионов России и российским представителям за рубежом списки слов для нахождения их эквивалентов. В 1787 и в 1789 годах академик П. С. Паллас издал два тома словаря под названием «Сравнительные словари всех языков и наречий, собранные десницею всевысочайшей особы». Данный словарь включал список из 185 слов на 200 языках и диалектах мира. В 1790—1791 годах вышло второе издание работы, содержавшее уже 272 языка. Этот труд был выполнен в духе общеевропейской тенденции сбора и описания данных о языках мира. Первая подобная работа появилась еще в 1555 году, это был известный «Митридат» К. Геснера. Труды такого рода способствовали в дальнейшем становлению сравнительно-исторического языкознания. Все же, справедливости ради, следует отметить, что работа в императорской комиссии привела к созданию искусственного языка, что, подчеркну, связано с Екатериной только косвенным образом. Речь идет о профессоре Петербургского университета Х. Г. Вольке, члене упомянутой комиссии, который в 1795 году разработал особую пазиграфическую систему, а в 1797-м еще одну. (Первый труд был описан в работе «О ДАЛЕКОПИСАНИИ, всеобщем языке и посредстве учреждать переписку с другими народами без познания о языке оных».)

Но прежде чем следовать далее, необходимо договориться о терминах, дабы внести некоторую ясность в расстроенные умы читателей. Термины несложны: это прежде всего «общий язык», то есть язык общения в любом разноязычном коллективе; «всеобщий язык» как термин используется для описания ситуации XVII—XVIII веков или же для определения гипотетического (sic!) языка отдаленного будущего; «международный язык» — это язык, используемый в общении между разными народами. Таким языком может быть как этнический язык (английский, французский, классический арабский, латынь), так и искусственный. Последние обычно называются в таком случае плановыми, что имеет определенный смысл. «Вспомогательный язык» представляет собой тот же международный, но не претендует на замену родного языка говорящего, а существует наряду с ним для вполне определенных ситуаций общения. «Интерлингвистика» — это отрасль языкознания, занимающаяся проблемами межъязыкового общения и его средствами. Последние представлены как «естественными», так и искусственными языками. Синонимом интерлингвистики одно время был термин «космоглоттика». И, наконец, «лингвопроектирование», то есть теория разработки искусственных языков, представляющая собой часть интерлингвистики. Е. Маевский в своей статье зачастую смешивает в одном термине «всеобщий язык» все четыре и совершенно не различает интерлингвистику и лингвопроектирование.

Даже беглое знакомство с историей лингвопроектирования позволяет констатировать тот простенький факт, что мотивов создания искусственных языков было значительно больше, чем один (установление «всеобщего счастья», в терминологии автора предыдущей статьи). Здесь и попытки реализовать в проектах какие-либо лингвистические или философские концепции, облегчить международные отношения с помощью нового языка, добиться различного рода националистических, пацифистских или иных социальных изменений, здесь и психологические мотивы, здесь и игровые (sic!) мотивы. Даже этот коротенький список показывает, что далеко не все создатели искусственных языков и их адепты были такими уж милыми голубками. Многие из них вовсе не были готовы и не собирались бескорыстно служить человечеству, напротив, преследовали вполне ясные, осязаемые и прагматичные до звона в ушах идеологические и политические цели. Возьмите, к примеру, Basic English, большим сторонником которого был и г-н У. Черчилль, его уж никак не упрекнешь в утопизме мышления.

Попытки создать искусственный язык, исправить Создателя, пойти наперекор «природе» существовали задолго до XVII века. Так, истории известен филолог (и утопист!) Алексарх, который еще в III веке до нашей эры создал некий искусственный язык для своей утопии, Уранополиса. К сожалению, никаких характеристик кроме глухих упоминаний о том, что это был язык на основе древнегреческого, мы не имеем. Известен и римский врач, основатель фармакологии, Клавдий Гален, который, как говорит предание, создал систему письменных знаков для общения. Автор «Церковной истории английского народа» Беда Достопочтенный в VII веке разработал особый жестовый («перстный») язык для миссионерских целей (см. работу «Dactylogia tractatus de loquela per gestum digitorum». Возможность создания универсального жестового языка вообще-то многим кажется легкопретворимой в реальность. Но, несмотря на кажущееся сходство отдельных жестов, системы жестикуляции (даже в пределах одного региона) несут тем не менее больше национальных особенностей, чем конвенциональные звуковые языки.

Конечно же, только XVII век с его философией универсальности человеческого разума, с его общими духовными исканиями, с его ментальностью (если слово приложимо к веку) мог дать толчок к пробуждению массового интереса к проблеме языка вообще и искусственного языка в частности. Последнее было стимулировано и чисто практическими потребностями. Если со II по XVII век зарегистрировано только 20 проектов, то один XVII век дал сразу 41. А вот следующий век принес уже 50 проектов, XIX — 246, а за 70 лет XX века разработано 560 проектов искусственных языков (данные тартуского ученого А. Д. Дуличенко). Поневоле начнешь считать Средние века «золотым веком» Европы! Ведь динамика нарастания «утопизма» свидетельствует, что в нашем веке живется худо, раз уж столько чудаков хотят построить «утопию».

В ПОИСКАХ ИСТИННЫХ ИМЕН?

Человек одинаков во всех народах, различны лишь имена; душа одна — различны голоса...

Тертуллиан

XVII век — рациональный, время становления новых экономических отношений (и что бы мы ни говорили, именно потребности практики диктуют общую направленность духовных исканий. Конечно же, существует и обратная зависимость, не столь, впрочем, явно прослеживаемая). Век XVII — это и век формирования национального самосознания европейских наций, широкого распространения книгопечатания и просвещения, которое перестает быть исключительным делом церкви. Именно в этом веке закладываются основы всех так называемых положительных наук, языкознания и новой философии.

Нам же интересны две разнонаправленные тенденции в языковой жизни Европы. С одной стороны, это утверждение роли национальных языков как «правильных», полноправных языков. С этим связана, кстати, активная, целенаправленная деятельность человека по совершенствованию языка, если хотите, внесение искусственных элементов в язык. Лингвисты согласны с тем, что ни один литературный национальный язык не является на 100% «естественным», а содержит определенный процент искусственных элементов. Кстати, если вспомнить значение слова-лингвонима «санскрит», то легко увидеть, что исправлять Создателя человек начал уже во время оно (санскрит — от слова «samskrta», то есть «обработанный, доведенный до совершенства»). Сравните

кодифицированный вариант любого языка с тем, что вы слышите на улице (даже по ТВ), и вы сами сделаете вывод об «естественности» первого.

Вторая тенденция состояла в следующем — латынь все более и более оттеснялась на периферию, ее роль как универсального языка ученой Европы существенно уменьшилась (что было связано со становлением национальных языков). Однако при этом существенно усилилась потребность в средстве межнационального научно-культурного общения.

Лингвистика как наука еще только зарождалась, поэтому все сколь-нибудь значимые лингвистические идеи века (как, впрочем, и предшествующих веков) появились в лоне философии, представленной такими именами, как Ф. Бэкон, Р. Декарт, В. Лейбниц и др. Названные философы действительно были новаторами, внесшими новую струю в духовную жизнь Европы, но представлять дело так, будто бы они никак не связаны со своим временем (своего рода «deus'ы ex machina»), было бы совершенно абсурдным. И Декарт, и Бэкон, и Лейбниц основывали свои штудии на критическом усвоении знания предшествующего этапа развития европейской научной мысли. (Подчеркну, это были «хорошо знающие» люди.) Никак не могли указанные ученые «продолжить дело, начатое философами древности, поиск «истинных имен вещей». Тут речь идет об известном диалоге Платона «Кратил», в котором выдвигаются и две теории происхождения имен: «фюсей» — «по природе», и «тесей» — «по установлению».

Но уже в «темные» Средние века бытовало более или менее четкое осознание того, что нет и быть не может никаких «истинных» имен вещей, отражающих их сущность. Так, в IV веке Григорий Нисский, один из представителей патристики, писал: «Оглушенный благозвучием Платоновой речи, он (Евномий.— *М. Л.*) почитает приличным сделать догматом церкви его философию. Сколькими, скажите мне, звуками, по различию народов, именуется небо? Мы (греки) называем его «уранос», еврей — «шамаим», римлянин — caelum, и иначе сириец, мидянин, каппадокиец, мавританец, скиф, фракиец, египтянин; даже исчислить нелегко различия имен... Какое же, скажи мне, естественное имя их, в котором обнаруживается величественная премудрость Божия?» Если вопросы этимологии, в смысле «истинности имен», и интересовали средневековых ученых, то только косвенным образом. Общекультурный подъем в Европе позднего Средневековья и Возрождения, интерес к логике (диалектике) и философии, расширение знакомства с трудами Аристотеля и других античных авторов изменили направленность мыслей теологов и философов.

Философов же XVII—XVIII веков «истинность имен», во всяком случае, вовсе не интересовала. Можно сослаться на авторитет Ф. Бэкона, который писал, что «...мы ни в коей мере не одобряем то скрупулезное исследование языка, которым, однако, не пренебрегал даже такой выдающийся ученый, как Платон». Занимало же их вот что: логические основы мышления и проблемы языка, естественным образом связанные с логикой, проблемы универсалий и т. п.

Таким образом, все предшествующее развитие философии подводило ученых XVII века к более глубокому анализу логико-языковых проблем. Анализ логических основ мышления был той путеводной звездой, которая освещала пути развития наук в этом веке. А науки накопили огромное количество данных, которые следовало систематизировать, и на этом пути, возможно, получить новые знания. Кстати, еще в XIII веке Раймунд Луллий на основе классификации понятий выделил ряд, по его мнению, элементарных. Более того, Луллий создал так называемую логическую машину, которая, как предполагалось, даст возможность получать новые понятия, то есть новые знания. Философы хорошо сознавали, что знаки человеческого языка произвольны, что между словом и вещью стоит еще и идея (мысль, понятие, концепт и т. д.). Было и понимание того, что эти идеи могут (должны) быть одинаковы у всех людей и только языки по-разному их вербализуют. Иными словами, все люди мыслят одинаково (вспомним в этой связи современную теорию универсального семантического кода). Отсюда сам собой напрашивался вывод, что стоит проанализировать эти идеи, весь континуум человеческих понятий, и можно будет дойти до элементарных. Далее окажется возможным показать, как из элементарных образуются более сложные, затем и новые. Идея семантических примитивов Новейшего времени продолжает дело, начатое философами XVII века и авторами искусственных философских языков, и в целом является идеей продуктивной. По мнению современных исследователей, «в ряде разработок искусственных языков того времени (XVIII века.— *М. Л.*) перечислены типы производных значений, близкие к современным аналогичным перечням».

Но вернемся в век XVII. Действительно, Ф. Бэкон писал о «философской грамматике», при этом учитывая предшествующий опыт философско-лингвистических теорий (спор «номиналистов»

и «реалистов», опыт так называемых модистов и др.). Создание философской грамматики мыслилось Бэконом следующим образом: «С нашей точки зрения, самой лучшей была бы такая грамматика, в которой ее автор, превосходно владеющий множеством языков, как древних, так и современных, исследовал бы различные особенности этих языков, показав специфические достоинства и недостатки каждого. Ведь таким образом языки могли бы обогащаться в результате взаимного общения, и в то же время из того, что есть в каждом языке самого лучшего и прекрасного, подобно Венере Апеллеса, мог бы возникнуть некий прекраснейший образец самой речи, некий великолепнейший образец того, как следует должным образом выражать чувства и мысли ума». Лучше не скажешь даже с точки зрения интерлингвиста (то есть ученого, занимающегося проблемами международных языков. Не путать с носителями искусственных языков, в частности интерлингвы — IALA). Причем здесь намечается целое направление лингвопроектирования, опирающееся на опыт языков «естественных», то есть апостериорное направление.

Совершенно иной подход намечен Р. Декартом, который предполагал сначала произвести логическую классификацию понятий (мысле-идей) и отношений между ними. Затем облечь эту логическую базу в языковые одежды. Грамматика же (то есть язык) — это уже вещь, впрочем, вторичная. Имея логически упорядоченный мир понятий, можно производить с последними определенные операции, для чего и нужно «означить» понятия. А каким образом это произойдет, будут ли это цифры, буквы или иероглифы — принципиального значения уже не имело. Разумеется, поскольку сами идеи логически упорядочены, следовало упорядочить и способы их внешнего выражения, отсюда и мысль о рационалистическом языке, то есть языке с единообразными склонениями, спряжениями, отсутствием разного рода исключений и т. д. Таким образом, у Декарта в принципе намечено два подхода: это язык философский (понятийный) и язык рационалистический (собственно язык).

Создание философских языков стимулировало в дальнейшем многие отрасли лингвистики и не только ее. Логические штудии Г. В. Лейбница легли в основу кибернетики, сгодились и при разработке языков-посредников машинного перевода. Кстати, сейчас в Германии (прагматичные немцы!?) ведутся работы в рамках проекта «Вербмобиль» над созданием глубокого анализа логической семантики языка.

Иронизируя над «рыцарями знаний» минувших веков, Е. Маевский упустил одну маленькую деталь из истории науки. Ведь наука XVII века исходила из положения о том, что природа абсолютно неизменна, все в ней задано от начала. Шел бурный процесс накопления эмпирического материала, который еще предстояло осмыслить. Этот период, как известно, завершился классификациями К. Линнея. Таким образом, лингвопроектирование, точнее, создание философских языков шло несколько впереди естествознания, отражая общие тенденции развития науки века. Верно отмечено, что философские языки были рассчитаны прежде всего для познания, являлись инструментом мышления. Вопросы удобства общения на них особо и не ставились. Но, право же, зачем упрекать Спартака в том, что он не пользовался клинками золингеновской стали? Каждому времени — свои прозрения и свои заблуждения, свои интеллектуальные высоты... И Дальгарно вовсе не собирался с «учительским занудством» учить крестьянина жить. В определенной степени его философский язык был стимулирован практическими потребностями учителя в школе для глухонемых детей.

Появляются проекты философских языков и в наше время. Классифицировать мир человек начал очень давно и будет продолжать делать это вечно. Конечно же, Борхес прав в том, что любая классификация «произвольна и проблематична». Вспомним заодно и Оскара Уайльда, который считал (и был при этом совершенно прав), что «дать определение — значит, ограничить». Но не стоит доводить дело ad absurdum. Да, любая классификация обладает определенной степенью жесткости, только Оруэлл здесь все-таки ни при чем. В «1984» дело обстояло, очевидно, следующим образом — искусственно ограничивался континуум понятий, из него специально извлекались нежелательные. Путем направленного воздействия изменялось содержание других. Если из текста в текст утверждать, что абракадабра это нечто в высшей степени осмысленное, но соленое, то через определенный промежуток времени это и закрепится («Война — это мир» и т. д.). Вспомните оруэлловского филолога Сайма: «...задача новояза — сузить горизонты мысли». Задача же философского языка из реальной истории — расширить эти горизонты, дать простор мышлению, скованному несовершенствами языка (как считали создатели языков классификационного типа). Единственно Верное Учение, в реальной человеческой истории, всегда излагалось на обычном, «естественном» языке и излагалось куда как доходчиво, не так ли? (Но на том же языке писались и апокрифы!)

КАК ЖИВОЙ, ТОЛЬКО...

Но завтра может случиться так, что в объединенной Европе страны откажутся от английского и захотят иметь новый, искусственный — общий для всех язык.

Из интервью У. Эко газете «Фигаро» (перепечатано газетой «Известия»).

К XIX веку Европа уже достаточно вкусила всю прелесть разобщенности новых наций. Проблема общего (точнее, международного) языка стала еще острее. Век предшествующий прошел под полным господством французского как международного языка Европы. Однако его звезда медленно, но неуклонно закатывалась и закатилась после поражения наполеоновской Франции. Латынь совершенно исчезла из научно-культурного обихода, оставаясь при этом школьным предметом. Изменение средств транспорта и коммуникации, ускорение темпов развития общества, науки и техники со всей настоятельностью потребовали общего средства межнационального (пока в рамках Европы) общения и прежде всего научного. Наука, как утверждает расхожее выражение,— явление интернациональное и границ не знает (знает же тысячи препон, связанных с национальным способом выражения получаемого знания).

Неудивительны поэтому попытки разработать универсальные письменные языки, пазиграфии, для целей научного общения. Существуют многочисленные проекты пазиграфий как символьного, так и пиктографического характера. Пазиграфии — это те же философские языки, ибо они в своем большинстве используют принципы логической классификации понятий в большей (философские пазиграфии) или меньшей (эмпирические пазиграфии) степени. Первые же пазиграфии появились еще в начале XVII века (ну что за славный был век!). Можно назвать Steganographia К. Лобковица или же Common Writing С. Гартлиба. Немало пазиграфий принес и нынешний век, например, геоязык Г. А. Загорельского.

В том же XVII веке зародилось и другое направление лингвопроектирования, эмпирическое, которое требовало от искусственного языка практических удобств при общении на нем. Так, в 1650-м, то есть раньше проектов Дальгарно (1661) и Уилкинза (1668), появился проект аббата Ф. Лаббэ под названием «Lingua Universalis» (вот добрались и до нашего термина!). Данный проект представлял собой апостериорную систему на основе латыни. Язык предназначался, как это следует из немецкого названия публикации, для миссионерских и торговых целей («... Sprache der Missionen und der Gewerben»), то есть для целей вполне прагматичных и прозаических. Любопытное явление представлял и проект «Руски jezuk» Ю. Крижанича. На этом сконструированном языке славянский мыслитель написал многие свои сочинения, например, известную «Политику». Вот образчик текста на языке Крижанича — «...jazika sowerszenóst iest sâmo potrébno orûdie k' mudrósti». Понятно ли? Вполне.

Мы уже говорили, что XIX век принес 246 проектов искусственных языков различных типов. Но только его последняя четверть отличалась резко выраженной тенденцией к апостериорности. (Вот когда, очевидно, прогремел гром Вавилонского смешения языков!) Но задолго до «чисто» апостериорных существовало множество попыток реформировать «естественные» языки (латынь, английский, французский и др.). Эти реформы предполагалось осуществить в области орфографии (что актуально для английского), в грамматике (латынь с ее четырьмя спряжениями, пятью склонениями, отложительными и полуотложительными глаголами и т. д.). До определенной степени попытки реформирования живых языков могут быть успешными и безболезненными. Вспомним в этой связи реформу орфографии русского языка после революции 1917 года. Однако не будем забывать при этом и жалобы многих русских поэтов. Или же работы по нормированию словаря турецкого языка, в ходе которых из словаря было удалено множество арабо-персидских элементов.

Далеко не все проекты искусственных языков предлагались в качестве мировых, существовало и много региональных. Например, для славянского ареала, романского, германского и других. Можно назвать «Vseslavjanski jezik» М. Бана или же «Узаjемнi славjанski jesik» М. Майара (как образчик последнего — «Он је родом Славјан, именом Радослав, занатом књигар»). Ряд авторов пытался совместить оба подхода, a priori и a posteriori. Языки такого типа называются языками «микст». Наиболее известен из них волапюк И. М. Шлейера из Констанца (Германия). В целом соглашаясь с оценкой волапюка, выраженной в предыдущей статье, хотелось бы

тем не менее расставить кое-какие точки над «i». Детище Шлейера пока еще не «тихо угасло», оно тлеет; так как существуют малочисленные сторонники волапюка, переиздается литература. Что же касается «марсианского звучания» волапюкской речи, то можно взять тексты на многих «естественных» языках и, уверяю вас, они прозвучат для нетренированного уха не менее марсиански. Возьмите, к примеру, китайский, турецкий и т. д. или же вспомните, как у Л. Толстого крестьянин сравнивает звучание французской речи с лягушачьим кваканьем.

Говоря о «Сильве», Е. Маевский упустил из виду еще один «музыкальный» факт. А именно, в конце прошлого века на оперных сценах Вены (!) с успехом шли оперы на волапюке. Дело, как видим, не в «марсианском звучании». Самым же существенным и наиболее поучительным было то, что волапюк, при всех своих структурных и идеологических несовершенствах (не будем вдаваться в разбор идеи пастора И. М. Шлейера), прекрасно продемонстрировал саму возможность массовой международной коммуникации на искусственном языке и таким образом сослужил добрую службу эсперанто.

Создавая эсперанто, Л. Заменгоф ориентировался на опыт волапюка самым незначительным образом. Во-первых, подходы к языку у Шлейера и Заменгофа были различными, во-вторых, вариант 1887 года был уже третьим (1878 — Lingve Universala, 1881 — Lingvo Universala и, наконец, 1887 — Esperanto (Lingvo Internacia). Справедливости ради, следует сказать, что в своей «Первой книге» Заменгоф ведет скрытую полемику со Шлейером и принципами волапюка, не называя, впрочем, имен. Создавая эсперанто, Заменгоф действительно надеялся помимо чисто практических целей облегчения межъязыковой коммуникации достичь и идеальные, утопические, если угодно, цели улучшения общего международного климата. (С этим связана так называемая «внутренняя идея эсперанто».) Однако уже на первом международном конгрессе эсперанто 1905 года (Булонь-сюр-Мер) была принята «Декларация об эсперантизме», которая заявила единственной целью эсперанто-движения распространение международного языка, а все остальные (в том числе и идеологические) цели объявила личным делом каждого носителя языка. Таким образом, сообщество отказалось «строить всеобщее счастье» и рассматривало язык только как инструмент общения.

Филолога с развитым эстетическим чувством может, согласен, иногда раздражать «непременная регулярность и единообразие», но не потому же, что «цензор» на эсперанто anzuristo, а «музыкант» — muzikisto. В таком случае почему это «музыкант» по-английски musician, а вот «водитель» — driver, а «социолог» — sociologist? Предсказуемость (логическая прозрачность) семантики слова — вещь очень удобная, особенно для изучающих чужой язык.

«Первая книга эсперанто» содержала, действительно, около 900 корневых слов, но уже принятый в 1905 году «Фундамент Эсперанто» включал более 3,5 тыс. корней. С тех пор количество корневых слов значительно возросло; многие официально утверждены Академией Эсперанто, другие бытуют в текстах неофициально. А, кстати, сколько корневых слов нужно среднему носителю русского языка? А сколько корневых слов у А. Пушкина? А у псковского крестьянина?

Смею заверить читателей, что человек, владеющий 2—3 европейскими языками, сможет прочитать текст на эсперанто, во всяком случае, понять общий смысл написанного. А, впрочем, судите сами — «Patro nia, kiu estas en la ĉielo, sankta estu via nomo; venu regeco via, estu volo via...» Узнали? Действительно, любой язык, будь то «естественный» или искусственный, нужно изучать, от этого никуда не денешься.

В «Первой книге» и в «Фундаменте Эсперанто» приводятся списки слов и их эквиваленты на ряде европейских языков, но не даются определения этих слов, как это делается в толковых словарях. Но в этнических языках сходные (международные) слова обладают, во-первых, различным набором значений, во-вторых, различной сочетаемостью с другими словами, коннотациями и т. д. Поэтому более или менее определенно семантика эсперантских слов сложилась уже в ходе эволюции языка, в процессе его социализаций. Аналогичные процессы произошли и в области грамматики. Фактически из той языковой схемы, которую разработал Заменгоф, процесс социализации создал полноценный язык, который с успехом используется для самых разных целей.

На эсперанто существует большой корпус художественной литературы, переводной и оригинальной, читая которую испытываешь в принципе такие же самые эстетические чувства, как и при чтении литературы на «естественных» языках. Может быть, Е. Маевский и прав, заявляя, что литература на эсперанто (читай — на всех искусственных языках) несопоставима с вершинами мировой литературы. В этой связи возникает вопрос — а разве вся литература на русском языке представляет собой «вершины», даже в национальных пределах? Конечно, многие беллетристические про-

изведения на эсперанто имеют чисто дидактический характер, но многие произведения вполне читабельны (извините за слово-монстр), и, вероятно, уже наступило время познакомить русскоязычных читателей и с этим видом «иностранной» литературы [1]. Кстати, некоторые эсперантские писатели работают параллельно на родном языке и на эсперанто (например, Иштван Немере из Венгрии).

Особенностью эсперанто является и то, что в нем развилось такое универсальное языковое явление, как перенос значения, метафора. Еще в начале века самим автором языка были заложены основы фразеологии (в искусственном языке!). В ходе развития эта фразеологическая база развернулась в развитую систему, сопоставимую по многим параметрам с фразеологическими системами развитых «естественных» языков. Более того, на неофициальном (то есть не утвержденном Академией) уровне существуют попытки смоделировать эсперантскую диахронию (показать, как эсперанто мог бы выглядеть, скажем, в Средние века), разработать жаргон и сленг (попытки бельгийца М. Гальвелика).

Эволюция эсперанто, как уже упоминалось, из проекта-схемы создала полноценный язык со всеми атрибутами, свойственными любым «естественным» языкам. В этом отношении автор предыдущей статьи, возможно, и прав, что не стоило и огород-то городить. Но у социализированных искусственных языков есть одно неоспоримое преимущество — он и нейтрален, он и ничей и для всех. А в наш бурный век это представляет собой категорию весьма существенную (см. вступление).

Тысячу раз прав Е. Маевский, заявляя, что лучшее — враг хорошего. И действительно, на эсперанто не закончилась история лингвопроектирования.

Одной из попыток создания языка лучшего стала и интерлингва (IALA), созданная международной группой лингвистов под руководством Ал. Гоуда. Но любопытно то, что Гоуд никак не предназначал свой проект для использования в качестве средства общения. Задачей его была попытка на современном ему лингвистическом уровне смоделировать универсалии, характерные для западно-европейских языков, проверить гипотезу Сепира — Уорфа. И только позднее, уже после смерти автора, были предприняты попытки, относительно успешные, социализировать язык. По мысли Ал. Гоуда, интерлингва должна была представлять собой модель среднезападноевропейского языка. Фактически, во всяком случае в лексическом отношении, интерлингва — IALA — стала моделью среднероманского. Интерлингва, несмотря на свою большую «естественность» по сравнению с эсперанто, имеет значительно меньшее количество сторонников, и ее эволюция, как ни странно, происходит медленно и скована узкими рамками более тщательной изначальной проработки на стадии проекта.

Обратим внимание, что двадцатый век характеризуется беспрецедентным движением людских масс через границы, которые становятся все более прозрачными. При таком движении естественным образом возникают проблемы языка общения, общего языка «по ту сторону». Эти проблемы медленно осознаются обществом. Но вспомним эйфорию «языкового бума» конца 80-х, когда пышным цветом расцвели многочисленные курсы, кружки, группы по изучению иностранных языков, которые предлагали, ничтоже сумняшеся, за неделю обучить ведению деловых переговоров на иностранном языке. Ан нет, разорилось или закрылось подавляющее большинство этих заведений. Язык оказался крепким орешком как для студентов, так и для преподавателей. Да и какой язык выбрать? Кто возьмет на себя ответственность однозначно предсказать судьбы даже великих наций (кстати, Китай относится ли к ним?) и соответственно их языков? Вот почему век двадцатый и увидел свыше полутысячи попыток решить проблему альтернативным путем, вот почему растут ряды сторонников искусственных языков (динамика этого роста для эсперанто: от одного человека в 1887 году до минимум 1 млн. в 1987-м)! Но справедливости ради отметим, что никто не может предсказать и судьбы искусственных языков.

Несомненно же пока одно — попытка создать искусственным путем адекватное средство международной коммуникации является частью европейского культурного наследия. И как таковое его необходимо осмыслить, но не отметать с порога [2]. Тем более что такая вот «утопия» на протяжении своей истории способствовала появлению многочисленных научных прозрений, плодами которых мы продолжаем пользоваться.

---

[1] При всем скептицизме «большого литературоведения» относительно литератур на искусственных языках, последние, в частности эсперанто, имеют уже собственную историю, периодизацию, жанры, школы и т. д. А собственно говоря, учитывая то, что вряд ли можно провести резкую грань между обыденным и изящным, почему же искусственные языки не могут выполнять и эстетическую функцию? *(Здесь и далее — прим. автора).*

[2] Кстати сказать, если энциклопедии действительно отражают «дух эпохи», то весьма показательна в этом отношении история статей об искусственных языках в российских энциклопедиях — от Брокгауза до последнего издания Энциклопедического словаря. Можно проследить, как менялось отношение общества к нашей проблеме (что характеризует и само общество).

UTOPIA PERPETUA

Утопия была скорее источником энергии, чем инструментом. Она открывала новые горизонты социального развития, корректируя тем самым ход истории.

Леклерк Ж., Канада

Готов еще раз повторить, что я не против того, чтобы будущий единый язык был искусственным, наоборот, могу это лишь приветствовать и думаю, что так оно и будет.

Аврорин В. А., социолингвист, 1975

Если под литературной утопией понимать всю совокупность произведений, описывающих общество будущего, будь то отдельное идеальное государство или же все человеческое общество, то мы без труда сможем выделить несколько способов прогнозирования языкового будущего.

Так, античность, в целом мало интересуясь всеобщим языком (для Греции / Рима вопрос был в принципе решен — есть греческий / латынь, все остальное варварство), все же дала несколько образцов идеального общества и соответственного языка. Например, уже упомянутый Уранополис Алексарха с его, очевидно, реформированным древнегреческим. Или чудесная страна Ябмула, жители которой имели раздвоенный язык (орган речи), могли вести сразу два разговора и владели многими языками. Великий же Платон ограничился лишь упоминанием о желательности общего языка.

Но уже у отца Утопии, Томаса Мора, есть относительно развернутое описание общего языка, причем сконструированного. Общение жителей Утопии происходит только на нем, но в памяти жителей еще живы воспоминания о том языке, который использовался ранее. Исследователи отмечают, что в моровской утопии нет в принципе ничего такого, что ранее не было бы известно ученой Европе, многочисленные аллюзии, понятные человеку той эпохи, пронизывают все произведение Мора. Это справедливо и в отношении языка Утопии. А вот доминиканский монах Т. Кампанелла не видел особой необходимости в разработке какого-либо особого языка для жителей Города Солнца. Вопрос решался широкой постановкой обучения иностранным языкам, подготовкой специальных переводчиков (позже Кампанелла все же занялся вопросами философского языка). И. Андрэ, автор менее известной «Христианской республики», предполагал обучать всех детей помимо родного еще и трем древним языкам — латыни, древнегреческому, древнееврейскому, т. е. языкам Библии. Таким образом, ранние утописты наметили несколько возможных вариантов разрешения от бремени гнева Создателя — искусственный язык, естественное многоязычие, использование древних языков.

Утописты же более позднего периода не только продолжали развивать пути, намеченные их предшественниками, но и конкретизировали целый ряд социолингвистических вопросов: как могли бы развиваться в будущем современные им языки и нации, как следует вводить всеобщий язык, как ему обучать и т. д. Например, у В. Вейтлинга мы найдем подробную схему введения всеобщего языка, который, по мнению автора, мог бы быть и искусственным: 1-е поколение изучает свой родной и один (!?) из всеобщих, 2-е — вводит всеобщий и семейный в общественный обиход, 3-е же уже полностью пользуется всеобщим.

У. Моррис, автор «Вестей ниоткуда», рассматривая будущую Англию, полагал, что и через сотни лет на территории страны сохранится английский, но ее жители будут владеть еще 2—3 иностранными языками, что полностью решит проблемы международной коммуникации. Кстати сказать, несколько лет назад газета «Московские новости» перепечатала любопытную статью из «Ньюсуик», из которой следует, что жители Соединенного Королевства заметно слабы (сравнительно с другими европейцами) в иностранных языках. Проблема языкового шовинизма великих наций еще ждет своего исследователя.

Аналогично видит будущее, но уже Франции, Л.-С. Мерсье, который утверждал, что в его стране будет безраздельно господствовать французский язык, но будут изучаться и живые иностранные языки. В дальнейшем, впрочем, Мерсье отказался от иностранных (видите, можно было бы сказать, что ксенофобия и национализм ведут свое начало от сторонников «естественных» языков. Но не будем делать такие скоропалительные выводы!).

Многие авторы-утописты, повествуя об обществе будущего, полагали все же, что отказ от родного языка невозможен.

А вот русский философ, экономист и писатель А. А. Богданов (Малиновский) писал, что языком международного пролетариата может быть только английский. С другой же стороны, в романе-утопии «Красная звезда», своего рода пособии по марксистской футурологии, Богданов пишет о будущем слиянии всех языков Марса (читай — Земли) в один всеобщий. Интересные мысли можно найти у Мантегацци («Anno 3000»), философов Ф. Ницше и Н. Федорова (вспомните его филологическую пятидесятицу), Г. Уэллса и многих других. В целом же, говоря о связях литературной утопии с лингвопроектированием (интерлингвистикой, если брать предельно широко), приходится констатировать, что между ними не существует прямой взаимосвязи, только некоторая параллельность и не более [1].

Утверждаемое же некоторыми внутреннее родство интерлингвистической утопии (а почему, собственно говоря, утопии? Ведь это уже реальность, за которой стоят миллионы сторонников) и утопии социалистической является не более чем передергиванием. С одной стороны, нас призывают не бояться чудаков-космоглоттов, с другой же — уравнивают лингвопроектирование и тоталитарный социализм. Последний, как мы имеем возможность наблюдать, отвергнут человечеством. Он принес только кровь и лишения, навязывался силой без учета реальностей политического и экономического развития общества. «Утопия» же искусственного языка, как мы видим, прекрасно вписывается в общие тенденции языкового развития человечества.

Носители искусственных языков и их авторы действительно люди безобидные — чего они делать не будут, так это навязывать силой эсперанто или иной язык, кровь не прольется (можно спать спокойно)! Более того, сторонники искусственных языков в своем большинстве прекрасно вписываются в существующий мир и не призывают «отречься, отряхнуть прах с ног» и т. д. Впрочем, мир, каков он есть, удовлетворяет только весьма ограниченные умы...

Натянута и аналогия с фаланстером. С равным успехом эсперанто-содружества можно было бы назвать и «пятой колонной», что, впрочем, уже было в истории России и Германии. Или же определить в такие вот «фаланстеры» автолюбителей, рокеров, шахматистов и прочих «радиолюбителей». А заодно с ними и «утопическую» организацию ООН с ЮНЕСКО вместе. Тем более что последняя уже дважды принимала резолюции, отмечающие успехи эсперанто-сообщества в деле международного интеллектуального обмена и взаимопонимания народов.

Авторы лингвопроектов вовсе не «архитекторы начала века». В угоду броскому сравнению Е. Маевский незаметно, и в который раз, подменяет понятие. Дело в том, что уже в XIX веке было осознано, что искусственные языки реально могут претендовать пока только на роль вспомогательного языка, то есть без вытеснения, тем более замены языков этнических. Поэтому вряд ли справедливо зачислять создателей лингвопроектов в ряды «архитекторов... призывавших к уничтожению исторически сложившейся городской застройки».

И вовсе не ушли профессионалы из области интерлингвистики и лингвоконструирования. Как раз наоборот, искусственные языки все больше и больше привлекают внимание специалистов самых разных областей, в том числе и лингвистов. Так, например, в Голландии ведутся работы по созданию системы машинного перевода, в которой в качестве языка-посредника используется эсперанто (система DLT). И, кстати, сфера деятельности современных лингвистов вовсе не ограничена вопросами методики преподавания языков (?) и алгоритмами машинного перевода. Лингвистика, помимо всего прочего, занимается и вопросами нормирования «естественных» языков и отдельных их систем. Это весьма актуально в настоящее время, когда пробуждаются новые нации, когда кипят страсти и льется кровь именно в связи с «проявлениями самобытности этносов». Лингвисты стремятся (и небезуспешно!) «обхитрить Создателя». Опыт искусственных языков оказывается здесь существенным подспорьем.

И реальное международное общение все чаще и чаще происходит с использованием языков искусственных. На многих крупных международных конгрессах использовались в качестве рабочих и эсперанто, и окциденталь Э. де Валя, и интерлингва. Конечно же, объем общения на языках больших наций сейчас значительно больше такового на языках искусственных, но ведь это пока начало пути (возможно, одного из путей).

Что же касается процесса формирования интернационального плана содержания, да, такой процесс — реальность, но... Национальные одежды этого интернационального содержания все же перевешивают эффективность международной коммуникации. Вот Западная Европа сколько лет живет вместе

[1] Данная проблема была исследована нами при поддержке фонда «Культурная инициатива», и, возможно, вскоре будет опубликован ряд статей, подробно анализирующих ее.

(естественным образом сложился общий круг понятий), а проблема общего языка, даже в пределах ЕС, становится с каждым годом все острее. И общий «предмет разговора» есть, да вот «звуки и буквы» подводят. И об этом стоит сокрушаться [1]. Как стоит сокрушаться и о том, что отсутствие «общего» языка зачастую является если не причиной, то поводом к кровопролитию.

Закончим же словами профессора Санкт-Петербургского и Варшавского университетов И. А. Бодуэна де Куртенэ, который, не будучи сторонником ни одного из искусственных языков, писал еще в 1918 году, что «стремление к распространению и развитию идеи международного языка является благодетельной реакцией против овладевшего всеми человеконенавистничества». Актуально, не правда ли? Особенно в конце века!

[1] И сокрушаются уже по поводу «франглийского», «америдатского» и «рязанско-айовского». Это, впрочем, только один пример «естественной эволюции» (по плану Создателя?).

«...Я ПОДОБЕН ЛИВНЮ...»

Хотя Германия дала миру таких мастеров, как Дюрер или Кранах, она, пожалуй, никогда не слыла законодательницей мод в мировом изобразительном искусстве.

Так было до начала двадцатого века, до тех двух первых десятилетий, визуальным символом которых стал немецкий экспрессионизм. Впрочем, экспрессионизм был чем-то бóльшим, чем очередное авангардное выступление группы художников. Это было особое мироощущение, образ жизни. Отсюда столь быстрая экспансия экспрессионизма в самые разные сферы — литературу, театр, хореографию, архитектуру, дизайн, кино.

Потом столицей мирового авангарда вновь стал Париж, уступивший к 50-м годам пальму первенства Нью-Йорку. На Германию опять поглядывали свысока, ее художественная жизнь казалась провинциальной. А ведь именно здесь, начиная с 60-х годов, подспудно вызревало то, что потом назовут постмодерном...

В середине 70-х годов Германия пережила небывалый и до сих пор не вполне понятный музейный, выставочный, галерейный бум. За последующее десятилетие ежегодное число посетителей музеев в ФРГ утроилось (!), дойдя до 66 миллионов человек, а количество частных картинных галерей выросло с 50-х годов почти в 40 раз и перевалило за тысячу.

Отдельные выставки собирали (и продолжают собирать) до полумиллиона зрителей, а то и больше. Такому ажиотажу, такому количеству проданных билетов может позавидовать любой чемпионат мира по самым зрелищным видам спорта.

Наиболее популярной была дармштадтская «Ретроспектива югендстиля» (1976), ее посетило более 600 тысяч человек, на западноберлинской выставке «Тенденции 20-х годов» (1977) побывало около 400 тысяч.

Через десять лет в Касселе состоялась 8-я «documenta», как всегда, посвященная ультрасовременному искусству. Но и эта, казалось бы, не рассчитанная на массового зрителя экспозиция собрала тоже почти 400 тысяч.

Тем более не приходится удивляться успеху сравнительно недавней выставки «Ван Гог и современность» с ее более чем полумиллионом посетителей.

Трудно сказать, послужил ли взрывной интерес немцев к современной живописи вообще причиной для повышенного интереса к собственным художникам, или же, наоборот, мода на новейших немецких художников вызвала живейший интерес ко всей современной живописи. Так или иначе, шумный, головокружительный успех выпал на долю сразу двух поколений немецких художников: тех, кого можно было бы назвать шестидесятниками, и тех, кто были их непосредственными учениками и преемниками.

В 60-е годы, когда начиналась творческая судьба Георга Базелица, Ансельма Кифера, Маркуса Люперца, Карла Хорста Хёдике, Бернда Коберлинга, Зигмара Польке и Георга Рихтера, атмосфера в Берлине была необычной. Он притягивал к себе талантливую молодежь, нонконформистов, аутсайдеров и маргиналов. Отсюда не брали в армию — даже этой единственной причины было бы достаточно, чтобы объяснить магнетизм Берлина. Вспоминая о той поре, Маркус Люперц писал: «Когда я приехал в Берлин, там царило странное настроение, создаваемое множеством молодых людей, которые тоже были приезжими... Это были художники, вполне соответствующие берлинской традиции, духу Бекмана и Кирхнера, тому типу немецкого экспрессионизма, центром которого всегда был Берлин. Я испытал чувство освобождения, оно было для меня очень важным...»

Эта отсылка к экспрессионистам не случайна. Молодые художники сознательно подчеркивали свою творческую связь с ранними экспрессионистами,

а в чем-то прямо подражали им. Пожалуй, именно это обстоятельство более всего смущало тогдашний художественный истеблишмент, да и публику тоже. Абстрактное искусство приобрело налет респектабельности. Авангард двигался в сторону «новой предметности и вещественности», которую представлял, например, веселый и беззаботный поп-арт, либо в сторону дальнейшего распредмечивания, дематериализации живописи, наступала пора концептуализма, хеппенингов и инсталяций.

На этом фоне тяжелая новая фигуративность, громадные форматы полотен, традиционная техника письма, традиционные материалы (холст и масло), обращение к темам из немецкой истории, в том числе недавней, поначалу казались возвратом назад. Понадобилось время и оглушительный успех художников уже следующего поколения, чтобы понять, что неоэкспрессионистами уже тогда, в 60-е годы, были сделаны первые шаги к постмодерну со всеми его сознательными ретродвижениями.

Творчество и личность Карла Хорста Хёдике (р. 1943) вызывают особый интерес тем, что в них наиболее явственно воплотилась преемственная связь классического экспрессионизма начала века через неоэкспрессионизм 60-х с экспрессионистическим постмодерном 80-х годов.

Работы Хёдике действительно обнаруживают вполне прямую перекличку с урбанистическими полотнами художников группы «Мост» берлинского периода. Достаточно взглянуть на виртуозную графику «Ирландской овцы», воспроизведенной на обложке «ИЛ», чтобы увидеть сходство с замечательной каллиграфической скорописью Эмиля Нольде. Вместе с тем личностная и творческая самобытность, острое чувство нового оказались у Хёдике настолько сильными, что его влияние испытали на себе двадцатилетние Саломе и Миддендорф, ставшие еще во время учебы в Берлинском высшем художественном училище по классу профессора Хёдике признанными лидерами «Новых диких».

Непосредственно к классике немецкого экспрессионизма, к художникам группы «Мост» обращается и другой шестидесятник — Йорг Иммендорфф (р. 1945). Пожалуй, наибольшую известность ему принес цикл картин «Кафе Германия», отправной точкой для которого послужила картина Ренато Гуттузо (кстати, тоже продолжателя экспрессионистического направления в живописи).

Героями этого цикла, как бы создающего панораму духовной жизни в обеих частях послевоенной Германии с ее прошлым и настоящим, становятся вполне узнаваемые, реальные исторические лица, среди которых часто оказываются сам Иммендорфф и его ближайший друг художник-диссидент из ГДР А. Р. Пенк.

Все неоэкспрессионисты 60-х, добившиеся всемирной славы, личности яркие. Но даже среди них есть фигура, которая выделяется своей эксцентричностью. Это Маркус Люперц (р. 1941).

Журнал «Штерн» в большом репортаже о Люперце дает следующий портрет художника: «Бритая голова, татуировка на руке, тяжелая золотая цепь, серьга в ухе, массивные кольца на пальцах. Носит дорогие костюмы, курит сигары, ездит на собственном «роллс-ройсе», иногда меняя его на не менее шикарный лимузин, тоже, разумеется, собственный. Бывший борец, боксер, футболист, любит похвастаться силой. Раньше буянил, дрался в пивных... Но на самом деле Люперц не таков, каким хочет казаться. Он лишь играет придуманную роль. За заносчивыми манерами скрывается вполне приятный человек с романтическими наклонностями. Он превратил свою жизнь в некое произведение искусства, сценическое действо, следуя завету Сальвадора Дали: «Разыгрывай из себя гения, и со временем ты станешь им».

Журнал «Капитал» в рейтинговом списке за 1992 год поместил Люперца среди абсолютных мировых лидеров по величине гонораров. Его полотна оцениваются в сотни тысяч марок. Кстати говоря, именно немецкие неоэкспрессионисты продолжают преобладать в десятке наиболее дорогих художников на международных аукционах. Такова материальная сторона их успеха. Есть и другая: почти все ведущие художники-неоэкспрессионисты стали со временем профессорами художественных вузов, Люперц с 1987 года — ректор Дюссельдорфской художественной академии.

К концу 70-х годов Люперц одним из первых обращается к постмодернистской технике стилизаций, цитирования чужих мотивов, фрагментов из известных картин. Осмысление художественного наследия, включение его в контекст современности, перевод на сегодняшний

живописно-образный язык, но и тем самым осознание художником своего места, своего видения в исторической перспективе — все это представляется Люперцу не менее творческим актом, чем создание оригинального произведения.

В 80-е годы Люперц не раз обращается к теме Пьеро или Арлекина, сознательно обыгрывая перекличку своих работ с известными работами Пикассо, Макса Бекмана, Жоржа Руо и Карла Хофера, для которых эта тема символизировала трагическую судьбу художника в XX веке, его одиночество, непонятость, житейскую неприкаянность. Эта же тема звучит и во многих стихах Люперца:

...смиритесь со мной,
от меня нет противоядия,
я подобен ливню,
благодаря которому в вас
расцветают цветы, земля
начинает дышать
и в вас просыпается жизнь.
Радуйтесь, когда мне страшно,
берегитесь моих картин,
снимайте их, поворачивайте
лицом к стене. Только,
прошу, не мешайте мне.

О. ХЛЕБНИКОВА

■

ДЖОН БЕЙЛИ

Алиса

John Bayley. Alice. «Duckworth»

Первый свой роман, «В другой стране», английский литератор Джон Бейли опубликовал в 1955 году. Почти сорок лет спустя вышел в свет второй его роман — «Алиса». Главные герои, наивные простаки Джинни и Том, оказываются втянутыми в делишки наркодельцов-дилетантов.

Молодая (ей около тридцати), вялая Джинни одиноко проводит отпуск в Сорренто. Там она знакомится со служащей отеля — сильной, деятельной Алисой, которая первую же ночь проводит в постели Джинни. Приятно удивленная новыми ощущениями, Джинни не отказывает Алисе в маленькой просьбе: прихватить с собой в Англию запечатанные коробки с ее подвенечным нарядом.

Между тем в промозглой, сырой зимней Венеции без гроша в кармане мерзнет студент-филолог Том. Случайный попутчик, майор Грей, сжалившись над симпатичным беднягой, дает ему денег и — с условием вернуть потом в Англии — добротное теплое пальто с очень плотной подкладкой. (Лишь позже Том узнает, что в подкладку были зашиты пакеты с зельем.)

Ничего не подозревающие «наркодельцы поневоле» благополучно минуют таможню, после чего все персонажи встречаются в Англии. Невеста Тома (она же Алиса) приглашает всех в свой загородный летний домик, где и наступает неожиданная развязка: внезапно появляется более могущественная шайка и отнимает «товар» у майора и Алисы.

РЕЖИН ДЕФОРЖ

Шелковая улица 1947—1949 годов

Régine Deforges. Rue de la Soie 1947—1949. «Fayard»

Этот том — пятый по счету в саге, начало которой положил роман «Голубой велосипед». Известная писательница и издательница Режин Деформ взялась создать французский вариант легендарного бестселлера «Унесенные ветром».

Основное действие происходит, как явствует из названия, в 1947—1949 годах. Уцелев во время второй мировой войны, супруги Франсуа и Леа могут наконец отдохнуть у домашнего очага либо в своей квартире на Университетской улице, либо в фамильном имении Леа под Бордо. Но Франсуа получает ответственное задание, санкционированное самим Президентом: отправиться в Индокитай, чтобы предотвратить угрозу военного конфликта. Пытаясь выполнить свою миссию, герой романа попадает в разные переделки. Немало испытаний выпадает и на долю Леа, которая, несмотря на недавние роды, присоединяется к мужу.

В романе «Шелковая улица» представлено начало этого конфликта, длившегося несколько лет. Франсуа с Леа уцелели и на сей раз, так что продолжение саги вполне возможно.

ФИЛИПП ДЖЬЯН

Убийцы

Philippe Djian. Assassins. «Gallimard»

Этот роман написан по всем правилам детективного жанра. Однако он не сводится к острому сюжету о противоборстве преступников (в данном случае это промышленники, загрязняющие воды отходами производства, которые губят в нем всю живность) и инспектора по охране окружающей среды. Последний, выполняя служебный долг, становится пленником экологических правонарушителей.

Но больше, чем проблемы экологии, популярного во Франции, особенно у молодежи, писателя Филиппа Джьяна тревожит другое: драматические и трагические последствия чинимого зла не останавливают одних и не слишком возмущают других. Катарсиса не происходит, и все остается по-прежнему. С вершины своих сорока пяти лет, перед лицом надвигающихся болезней и гнетущего страха состариться писатель по-особому задумывается о том, на что следует тратить дарованную жизнь, а на что — нет. С этой точки зрения Ф. Джьян оригинально трактует понятие «убийца»: людей губят не столько злодеи, сколько они сами, расточая время и силы на ненужное и пагубное. И окружающую среду, а значит, и жизнь людей загрязняют не только химические заводы — куда страшнее потоки словесной мути, несущиеся со всех сторон с утра до вечера и оседающие в голове человека.

ХАВЬЕР МАРИАС

Завтра в бою думай обо мне

Javier Marías. Mañana en la batalla piensa en mí. «Anagrama»

Этот роман — самое крупное и по объему, и по философскому звучанию произведение сорокадвухлетнего испанского писателя, лауреата различных премий.

Действие происходит в современном, но фантасмагорически представленном Ма-

дриде. Одна из примет точного времени — появление в эпизоде дворцовой сцены короля Испании: в нем легко узнаваем Хуан Карлос. Главный герой, телережиссер, приглашен дамой, с которой он едва знаком, отужинать в ее доме. Ее муж находится в командировке в Лондоне, а двухлетний ребенок в положенный час отправлен спать. Хозяйка и гость отправляются в спальню, но задуманному свершиться не дано: женщина неожиданно умирает. Перепуганный мужчина в страхе бежит прочь и поначалу молчит о случившемся. Терзаемый долгом единственного свидетеля, он все же решается пойти к родственникам покойной и рассказать обо всем. Его воспоминания и раздумья весьма обширны, однако причина смерти женщины и суть ее отношений с главным героем оставлены автором без объяснений до кульминационного момента.

ДЖОРДЖО МОНТЕФОСКИ

Отчий дом

Giorgio Montefoschi. La casa del padre. «Bompiani»

Живут в одном доме два римских семейства — Беллелли и Болигер. Мало-помалу к их соседским отношениям прибавляются и родственные узы. Пьетро Беллелли влюбляется в Ливию Болингер, но затем женится на ее кузине. Жизнь идет своим чередом — образуется еще одна супружеская пара: это Алессандра — сестра Пьетро, и Альберто — брат Ливии. Между тем у самого Пьетро уже появляется любовница, а его сын Марио, отправившись на каникулы к морю, встречает там очаровательную Франческу Сильвера. Их роман длится недолго: внезапно Франческа уезжает. Однако Марио находит новую счастливую любовь с Луизой Сильвера — кузиной Франчески. Вскоре он уже становится главным действующим лицом, ибо Пьетро умирает.

Такова семейная сага, поведанная Джорджо Монтефоски. Сюжет с подобными циклами свадеб и похорон, страстей и измен грозил бы превратить книгу в дешевое чтиво, не обладай его автор талантом передавать тончайшую психологию сложных взаимоотношений между отцами и детьми, влюбленными, супругами. Стремясь избежать однообразия в изложении, писатель умело чередует повествование от первого и третьего лица. Критики называют «Отчий дом» среди наиболее вероятных финалистов главной литературной премии Италии — «Стрега».

В. С. НАЙПОЛ

Путь в жизни

V. S. Naipaul. A Way in the World. «Heinemann»

В новой книге маститый автор, уроженец Тринидада, обращает взгляд на родной остров и близлежащую Венесуэлу. Фактически лишь одна из девяти глав — чисто беллетристическая; остальные представляют собой автобиографические сюжеты, зарисовки о местах, где случалось бывать, воспоминания о людях, с которыми сводила судьба, а также исторические миниатюры.

В целом книгу можно назвать посвящением разочарованным мужчинам, чей путь в жизни не привел к желанной цели. Таков путешественник Рэли, не нашедший своего Эльдорадо в Венесуэле в 1618 году; таков ссыльный революционер Франсиско Миранда, оказавшийся там же двумя веками позже: его освободительные устремления обернулись разгулом анархии. Литератор-англичанин Фостер Моррис не выполнил клятву, данную в юности; Лебрен — один из первых образованных чернокожих — стал революционером без революции; чиновник Бельбенуа не поднялся по служебной лестнице из-за расовой дискриминации.

Себя тринидадский хроникер относит к особой разновидности аутсайдеров — неудавшимся неудачникам. Не имея, по его словам, природного дара, будущий писатель осваивал азы профессии буквально с нуля — и победил. Впрочем, В. С. Найпол не придает этому большого значения, полагая, что жизнь — игра, пьеса, и по-настоящему серьезен в ней только финальный уход.

ГЭРИ УАЙТХЕД

Я справлюсь с чем угодно

Gary Whitehead. I Can Fix Anything. «Arsenal Pulp Press»

Г. Уайтхеда называют восходящей звездой современной канадской литературы. Он является сооснователем школы писательского мастерства Кутней близ Ванкувера; у себя на родине и в остальных англоязычных странах известен по публикациям в литературных журналах «Кэнэдиен фикшн мэгэзин», «Райтинг» и других.

Сборник рассказов «Я справлюсь с чем угодно» выдержан в присущей определенной части канадских (и вообще североамериканских) авторов манере: реализм почти бытового уровня с легкой примесью «черного юмора» и абсурда. Персонажи Г. Уайтхеда — это чужие друг другу и самим себе люди, которые пытаются жить по-своему разумно, невзирая на правила поведения. В их странных, глубоко личных мирах не всегда различима грань между счастьем и душевной болью, подлинным и выдуманным окружением; за внешним спокойствием кроются порой мрачные, порой утонченные трагедии.

В рассказе «На исходе века» некий молодой человек, зачарованный «Превращением» Кафки, устраивает разгром и хаос в ресторане. Главный герой рассказа «А теперь — комедия положений» возвращается в провинциальный солнечный городок Мейберри, подальше от капризов зимней погоды, отключений электричества и угрозы ядерной войны. Рассказ, давший название сборнику,— это история о том, как домовладелец поправляет у двух жильцов подтекающий кран — и не только его...

ДЖАНЕТТ УИНТЕРСОН

Искусство и обманы

Jeanette Winterson. Art & Lies. «Cape»

Каждая новая книга английской писательницы Джанетт Уинтерсон (о предыдущем ее романе, финалисте премии «Букер», «Надписи на теле» см. «ИЛ», 1993, № 6) неизменно привлекает к себе внимание. Не стал исключением и опубликованный недавно роман «Искусство и обманы».

Его сюжетный каркас строится из трех повествований: о «Сапфо» (призраке знаменитой поэтессы с Лесбоса), о «Пикассо» (униженной женщине, описывающей свою чудовищную семейку) и о «Ханделе» (докторе, священнике, мыслителе, дураке — холодном, бесполом человеке). К этим трем переплетающимся историям добавляются эпизоды о четвертом персонаже — разбитной женщине XVII века, похожей на героинь более ранних произведений Дж. Уинтерсон.

Сценой действия служит некий большой город, где царят нищета, жестокость и бездушная благотворительность. В таком же упадке находится патриархальная семья, где «мертвецы плодят друг друга». Досталось от автора и католической церкви с ее мракобесием в отношении противозачаточных средств и однополой любви; однако, как известно, религиозная мораль веками была глухонемой, когда людей кастрировали ради церковного пения. Но главное, о чем пишет Джанетт Уинтерсон,— это Искусство и внутренняя свобода, необходимая для творчества. Книга пестрит литературными аллюзиями и цитатами из Кальвино и Борхеса, Браунинга и Элиота, Шекспира и Стерна.

■

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» за 1994 г. (№ 1—12)

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ

Барнс Джулиан — см. Литературный гид, № 1.
Бергман Ингмар — Благие намерения (Роман. Перевод со шведского А. Афиногеновой), № 5.
Бойл Т. Корагессан — Восток есть Восток (Роман. Перевод с английского Г. Чхартишвили, Л. Мотылева, И. Бернштейн. Вступление Г. Чхартишвили), № 8.
Буццати Дино — Рассказы (Перевод с итальянского Г. Киселева и М. Аннинской), № 12.
Вассму Хербьёрг — В поисках Дины (Сын Счастья) (Роман. Перевод с норвежского и предисловие Л. Горлиной), № 6.
Гари Ромен — Воздушные змеи (Роман. Перевод с французского Е. Штофф), № 1, 2.
Гейм Стефан — Агасфер (Роман. Перевод с немецкого Б. Хлебникова), № 9.
Де Крешенцо Лючано — Диалоги Беллависты (Перевод с итальянского Э. Двин), № 2.
Зюскинд Патрик — Голубка. (Повесть. Перевод с немецкого и послесловие Э. В. Венгеровой), № 9.
Кальвино Итало — Если однажды зимней ночью путник (Роман. Перевод с итальянского Г. Киселева), № 4.
Кальвино Итало — Паломар (Повесть. Перевод с итальянского Наталии Ставровской), № 11.
Карпи Фабио, Малерба Луиджи — Собаки Иерусалима (Повесть. Перевод с итальянского Э. Двин), № 4.
Когоут Павел — Мерзость (Пьеса. Перевод с чешского В. Каменской. Вступление О. Малевича), № 5.
Кольер Джон — Если бы молодость знала, если бы старость могла...— (Рассказ. Перевод с английского А. Ливерганта), № 12.
Кортасар Хулио — Книга Мануэля (Роман. Перевод с испанского Е. Лысенко), № 3.
Кундера Милан — Бессмертие (Роман. Перевод с чешского Нины Шульгиной), № 10.
Ландольфи Томмазо — Слепая всевидящая богиня (Рассказ. Перевод с итальянского и послесловие Е. Солоновича), № 4.
Малерба Луиджи — см. Карпи Фабио, № 4.
Мили Алан Александр — Двое (Роман. Перевод с английского В. Кулагиной-Ярцевой. Предисловие Н. Демуровой), № 6.
Моравиа Альберто — Я и он (Главы из романа. Перевод с итальянского Г. Киселева), №.4.
Моррис Мэри — Отдых в складчину (Рассказ. Перевод с английского Татьяны Ивановой), № 5.
Моррисон Тони — Возлюбленная (Роман. Перевод с английского И. Тогоевой), № 12.
Мрожек Славомир — Любовь в Крыму (Трагикомедия в трех актах. Перевод с польского Л. Бухова). Интервью Славомира Мрожека (Перевод с польского Л. Бухова), № 10.
Образы Америки — (Рассказы из антологии. Перевод с английского и вступление Л. Мотылева), № 11.
Таунсенд Сью — см. Литературный гид, № 7.
Хюлле Павел — Рассказы (Перевод с польского К. Старосельской), № 11.
Цанин Мордехай — Рассказы (Перевод с идиш и послесловие Л. Беринского), № 7.

СТИХИ

Гинсберг Аллен — Стихи из сборника «Падение Америки» (Перевод с английского Андрея Сергеева), № 3.
Глюзинский Томаш — см. Из польской поэзии, № 8.
Декон Люк — см. Дом Поэзии, № 12.
Дом Поэзии — Жак Шарпантро. Жан-Люк Моро. Жан Леставель. Робер Удло. Люк Декон (Стихи. Перевод с французского. Вступление И. Кузнецовой), № 12.
Из польской поэзии — Ян Твардовский, Томаш Глюзинский (Перевод с польского А. Гелескула и А. Базилевского. Вступление А. Гелескула), № 8.
Каммингс Э. Э. — Баллада об интеллектуале (Перевод с английского и вступление Андрея Сергеева), № 11.
Лемер Жан-Пьер — Стихи (Перевод с французского Е. Туницкой), № 10.
Леставель Жан — см. Дом Поэзии, № 12.
Моро Жан-Люк — см. Дом Поэзии, № 12.
Моррисон Джеймс Дуглас — Стихи (Перевод с английского Г. Дашевского), № 3.
Павлов Константин — Стихи (Перевод с болгарского и вступление Маи Тарасовой), № 2.
Пиньотти Ламберто — Стихи из цикла «А теперь о другом» и визуальные стихотворения (Перевод с итальянского и предисловие Е. Солоновича), № 4.
Сен-Жон Перс — Фрагменты поэм (Перевод с французского Н. Стрижевской и М. Ваксмахера. Вступление Н. Стрижевской), № 7.
Твардовский Ян — см. Из польской поэзии, № 8.
Удло Робер — см. Дом Поэзии, № 12.
Фельдек Любомир — Стихи (Перевод со словацкого и вступление Олега Малевича), № 5.
Хан Улла — Лирика (Перевод с немецкого Е. Соколовой и Л. Керчиной), № 2.
де Чампурсин Эрнестина — Стихи (Перевод с испанского и вступление Натальи Ванханен), № 6.
Чеховский Хайнц — Стихи (Перевод с немецкого и вступление С. Морейно), № 9.
Шарпантро Жак — см. Дом Поэзии, № 12.
Шимборская Вислава — Стихи из последних книг (Перевод с польского и вступление Натальи Астафьевой), № 11.
Энрайт Деннис Джозеф — Стихи (Перевод с английского Г. Кружкова), № 3.

ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА

Вулф Вирджиния — Орландо. Биография (Перевод с английского и вступление Е. Суриц), № 11.
Гессе Герман — Время в саду (Поэма. Перевод с немецкого и вступление С. Апта), № 9.
Гессе Герман — Сиддхартха (Индийская поэма. Перевод с немецкого и комментарий Н. Федоровой), № 9.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Ариосто Лудовико — Неистовый Орланд (Фрагменты песен XXIX—XXX. Перевод с итальянского Е. Солоновича. Предисловие Р. Хлодовского), № 4.
Басё Мацуо — Проза в жанре хайбун (Перевод с японского и вступление Т. Соколовой-Делюсиной), № 7.
Д'Аннунцио Габриеле — Леда без лебедя (Повесть. Перевод с итальянского Наталии Ставровской), № 4.
Дикинсон Эмили — Три стихотворения (Переводы с английского. Вступление А. Зверева), № 5.
Немецкая эпиграмма (Перевод с немецкого. Вступление С. Морейно), № 9.
Пристли Джон Бойнтон — (К 100-летию со дня рождения). Русские писатели «романтического века». Русский балет (Перевод с английского и предисловие Ю. Фридштейна), № 10.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД

Барнс Джулиан — История мира в 10½ главах (Роман. Перевод с английского В. Бабкова. Послесловие А. Зверева), № 1.
Бейлис Виктор — Необязательные заметки о литературном успехе и денежном интересе, № 7.
Бодрийар Ж. — см. После времени, № 1.
Лиотар Ж.-Ф. — см. После времени, № 1.
Мокроусов Алексей — Бестселлер: русский акцент, № 7.
После времени. Французские философы постсовременности. **Ж.-Ф. Лиотар** — Заметка о смыслах «пост». **Ж. Бодрийар** — Фрагменты из книги «О соблазне» (Вступление и перевод с французского А. В. Гараджи), № 1.
ПОСТМОДЕРНИЗМ: ПОДОБИЯ И СОБЛАЗНЫ РЕАЛЬНОСТИ, № 1.
Раниев Владимир — Что несет с базара русский читатель (Заметки социолога), № 7.
Сухотин Михаил — О конкретной поэзии, № 1.
Таунсенд Сью — Мы с королевой (Роман. Перевод с английского И. Стам), № 7.
ФЕНОМЕН БЕСТСЕЛЛЕРА, № 7.
Халипов Виктор — Постмодернизм в системе мировой культуры, № 1.
Хлебников Борис — Секрет бестселлера, № 7.
Якимович Александр — О лучах Просвещения и других световых явлениях (Культурная парадигма авангарда и постмодерна), № 1.

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

Гари Ромен — Ночь будет спокойной (Фрагменты книги. Перевод с французского Н. Паниной), № 12.
Головнин Василий — Якудза отступает, но не сдается (Япония пытается покончить с легальной уголовщиной), № 8.
Дабро А. — см. Каплан Д., № 8.
Каплан Д. и Дабро А. — Якудза (Главы из книги. Перевод с английского Е. Богатыренко), № 8.
Меир Голда — Моя жизнь (Главы из книги. Перевод с иврита Р. Зерновой. Послесловие М. Горелика), № 2.

ПУБЛИЦИСТИКА

Бирман Вольф — Отречение (Перевод с немецкого А. Егоршева), № 9.
Генис Александр — Гипертекст — машина реальности, № 5.
Кеннеди Пол — Готовясь к XXI веку (Глава из книги. Перевод с английского Елены Богатыренко), № 5.
Кин Цецилия — Моя дорогая Италия (Главы из книги. Предисловие Джульетто Кьезы), № 4.
Лакс Эрик — Вуди Аллен (Главы из книги. Перевод с английского А. Казанской), № 11.
Маевский Евгений — Lingua Universalis, или Поучительная История Одной Попытки Усовершенствовать Природу, № 2.
Майнхоф Ульрика Мари — Напалм и пудинг. От протеста к сопротивлению (Статьи. Перевод с немецкого И. Ланина), № 3.
Мотылева Т. — Из воспоминаний (Вступление С. Апта), № 9.
Мошковский Анатолий — Константин Богатырев и его время, № 9.
Мясников Л. — Contra criticos linguarum ortificiosarum, aut docet autem Utopia, N 12.
Пинскер Борис — Предсказание катастрофы — всегда бестселлер (Заметки о жанре прогноза), № 5.
ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ, № 11.
Рейфилд Дональд — Как нас лишили последней невинности, № 3.
Рейфилд Дональд — Заметки об Англии, № 6.
Файбисович С. — Слово о «больших» и «малых» художниках, или Некоторые размышления об историко-культурологических аспектах бытования изобразительного искусства, № 11.
Харитонов Марк — Пригвожденный к работе. Встреча с Юккером, № 9.
Хлебников Борис — Полдень галактики (О книге в прошлом и настоящем. Заметки германиста), № 5.
Эко Умберто — Средние века уже начались (Перевод с итальянского Е. Балаховской), № 4.
Энценсбергер Х. М. — Великое переселение (Тридцать три фрагмента с одним примечанием о некоторых особенностях охоты на людей. Перевод с немецкого А. Егоршева), № 9.

КРИТИКА

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ, № 8.
Генис Александр — Треугольник (Авангард, соцреализм, постмодернизм), № 10.
Голышев В., Харитонов В. — Призрачное посредничество (К 90-летию со дня рождения М. Ф. Лорие), № 7.
Журнал «Akzente» (Перевод с немецкого и вступление Н. Васильевой), № 9.
ЗАПАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ, № 1, 2.
Карельский А. — Творческая индивидуальность переводчика и его «стилистический слух», № 6.
Кузнецов С. — 7 ½ замечаний о романе Джулиана Барнса, № 8.

Кузнецов С. — 1994: юбилей неслучившегося года (К десятилетию «года Оруэлла»), № 11.
Кундера Милан — Когда Панург перестанет быть смешным (Эссе. Перевод с французского Ю. Стефанова), № 7.
ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕССА МИРА, № 9
Моррисон Тони — Нобелевская лекция 1993 (Перевод с английского В. Кулагиной-Ярцевой), № 7.
Наврозов Лев — Эмиль Чоран: последний инакомыслящий?, № 1.
Наврозов Лев — Алек Деруэнт Хоуп, поэт страны «самой последней, самой пустой», № 2.
Писатели мира о русской прозе советских лет (**А. Кёстлер, Ф. Мориак, О. Хаксли, Д. Бассани, Э. Уилсон, Э. Витторини, Д. Дос Пассос, Э. Бёрджесс, Ч. Милош** (Перевод М. Ландора и Е. Лысенко. Составление и послесловие М. Ландора), № 7.
Рейнгольд Сергей — «Отравить монаха», или Человеческие ценности по Умберто Эко, № 4.
ТРИБУНА ПЕРЕВОДЧИКА, № 6, 7.
Файбисович С. — Вызов, № 8.
Харитонов В. — см. Голышев В., № 7.
Хьюитт Карен — «Любовник леди Чаттерли» в московском метро (Перевод с английского А. Кабалкина), № 11.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Книга должна найти своего читателя (Директор издательства «Художественная литература» **Г. А. Анджапаридзе** о своем издательстве), № 5.

К НАШИМ ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

Пригов Д. А. — Я его знал лично, № 1.
Хлебникова О. — «Не чувство — а система», № 11.
Хлебникова О. — «...я подобен ливню...», № 12.

У КНИЖНОЙ ВИТРИНЫ — № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12.

КУРЬЕР «ИЛ» — № 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11.
Краткая библиография итальянской литературы, № 4.
Немецкая литература на страницах «ИЛ», № 9.

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА, № 1—12.

Памяти Мориса Николаевича Ваксмахера, № 8.

Редакция приносит извинения за допущенную в № 10 за 1994 г. ошибку. Подпись к рисунку на стр. 231 следует читать: *Шарж на С. Мрожека польского художника А. Стопки.*

❖ АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

ТОНИ МОРРИСОН (TONI MORRISON, полное имя Клой Энтони Моррисон, род. в 1932 г.) — американская писательница, лауреат Нобелевской премии (1993 г.) и других литературных премий. Окончила Говардский университет в Вашингтоне, где обучаются в основном черные студенты, защитила докторскую диссертацию по произведениям Уильяма Фолкнера и Вирджинии Вулф. Преподавала в различных университетах; вела курс афро-американской литературы. С 1989 г.— профессор гуманитарных исследований в Принстонском университете. Автор романов «Самые голубые глаза» («The Bluest Eyes», 1970), «Сула» («Sula», 1974, Национальная книжная премия), «Песнь Соломона» («Song of Solomon», 1977), «Смоляное чучелко» («Tar Baby», 1981), «Джаз» («Jazz», 1992).

Роман «Возлюбленная», ставший бестселлером и отмеченный Пулицеровской премией, переведен по изданию: «Beloved». London, Chatto & Windus, 1987.

В подборке стихов французских поэтов «Дом Поэзии» представлены:

ЖАК ШАРПАНТРО (JACQUES CHARPENTREAU; род. в 1928 г.) — председатель парижского Дома Поэзии. Начал печататься в 1955 г., выпустил около двадцати поэтических сборников для взрослых и детей, несколько сборников сказок и рассказов, две книги поэтических переводов с английского, много поэтических антологий. Вице-президент Информационно-исследовательского центра литературы для юношества, лауреат премии Дома Поэзии.

Публикуемые стихи взяты из его сборников «Где ты, волк?» («Loup, y es-tu?», 1987), «Море-любовь» («La mer, l'amour», 1989), «Образы» («Images», 1989), «Золотая нить» («Le fil d'or», 1990), «Сокровенный музей» («Musée secret», 1992).

ЖАН-ЛЮК МОРО (JEAN-LUC MOREAU; род. в 1937 г.) — поэт и переводчик, член Совета парижского Дома Поэзии, лауреат премий Мориса Карема и Тристана Тцара. Преподает угро-финские языки в Институте восточных языков и цивилизаций. Автор книги «Московия» («Moscovie», 1964), «Под маской слов» («Sous le masque des mots», 1969), детских рассказов, составитель поэтических антологий, в том числе и русской поэзии.

Публикуемые стихи взяты из сборников «Дерево на ветке» («L'arbre perché», 1980), «Стихи зеленой мышки» («Poèmes de la souris verte», 1992), «Узда на сердце» («La bride sur le cœur», 1990).

ЖАН ЛЕСТАВЕЛЬ (JEAN LESTAVEL; род. в 1920 г.) — поэт, член Совета парижского Дома Поэзии. Консультант Совета Европы. Печатается с 1954 г. Автор поэтических книг «Шквал» («Rafale», 1954), «В память холодов» («En memoire du froid», 1987), «С открытым сердцем» («A cœur ouvert», 1989).

Публикуемые стихи взяты из сборника «Уходы» («Départs», 1992).

РОБЕР УДЛО (ROBERT HOUDELOT; род. в 1912 г.) — поэт, генеральный секретарь парижского Дома Поэзии. Юрист по образованию. Автор поэтических сборников «Утраченное время» («Le temps perdu», 1937), «Ты, спавшая в моих объятиях» («Toi qui dormais entre mes bras», 1947), «Где спит воспоминание» («Où dort le souvenir», 1950).

Публикуемые стихи взяты из сборника «Черный лавр и другие стихи» («Le laurier noir et autres poèmes», 1991).

ЛЮК ДЕКОН (LUC DECAUNES; род. в 1913 г.) — поэт, прозаик, составитель поэтических антологий, лауреат премии Дома Поэзии. Работал учителем, воевал, был в плену, после войны много писал для французского радио. Автор поэтических сборников «Суть тайны» («Le sens du mystère», 1946), «Сама любовь» («L'amour lui-même», 1947), «Право взгляда» («Le droit de regard», 1951), романов «Черные мысли» («Les idées noires», 1946, премия Стендаля), «Ни о чем не жалею» («Je ne regrette rien», 1950).

Публикуемые стихи взяты из сборника «Поэзия» («Poesie», 1992).

ДИНО БУЦЦАТИ (DINO BUZZATI; 1906—1972) — итальянский писатель, журналист. Литературную деятельность начал в 1933 году, опубликовав книгу «Барнабо с гор» («Barnabo delle montagne»). Роман «Татарская пустыня» («Il deserto dei tartari», 1940) и сборник рассказов «Семь гонцов» («I sette messaggeri», 1942) принесли автору признание не только в Италии, но и за ее пределами. Перу Д. Буццати принадлежат также книги «Любовь» («Un amore», 1963), «Тяжкие ночи» («Le notti difficili», 1971), пьесы «Клинический случай» («Un caso clinico», 1953), «Поэма в картинках» («Poema a fumetti», 1969) и др.

В русском переводе вышла книга рассказов «Семь гонцов» (в Библиотеке «ИЛ», 1985), куда включены также и другие рассказы Буццати разных лет.

Публикуемые рассказы взяты из сборника Буццати «Шестьдесят рассказов» («Sessanta racconti». Milano, Mondadori, 1961) и из серии «Классики искусства» («Classici dell'arte». Milano, Rizzoli, 1966).

ДЖОН КОЛЬЕР (JOHN KOLLIER; 1901—1980) — английский романист, новеллист, сценарист. Известность Кольеру принесли роман-бурлеск «Жена-обезьяна» («The Monkey-Wife», 1930), два сборника рассказов «Причуды на сон грядущий» («Fancies and Goodnights», 1951) и «Весь секрет в мускатном орехе» («All in a Nutmeg», 1943), из которого взят рассказ «Если бы молодость знала...»

РОМЕН ГАРИ (ROMAIN GARY, наст. имя РОМАН КАСЕВ; 1914—1980) — французский писатель русского происхождения, дипломат. «Иностранная литература» познакомила читателей с творчеством Ромена Гари, напечатав переводы его романов «Обещание на рассвете» (1993, № 2) и «Воздушные змеи» (1994, № 1—2). Под псевдонимом Эмиль Ажар им написаны романы «Жизнь впереди» («La vie devant soi»; Гонкуровская премия, 1975; рус. пер в Библиотеке «ИЛ», 1988), «Печаль царя Соломона» («L'angoisse du roi Salemon», 1979) и др.

Книга «Ночь будет спокойной», фрагменты которой публикуются в этом номере, вышла во Франции в 1974 году («La nuit sera calme». Paris, Gallimard, 1974).

МЯСНИКОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1953 г.) — кандидат филологических наук. Живет в городе Великие Луки Псковской области. Автор работ по интерлингвистике и фразеологии.

■ **Переводчики:**

ТОГОЕВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА — переводчик с английского и французского языков, кандидат филологических наук. В ее переводах публиковались романы африканских писателей Сембена Усмана «Вехи Тиосане», Камара Лая «Африканский мальчик», Уилсона Катийо «Сын земли», английского писателя Уилки Коллинза «Армадейл», американской писательницы Урсулы Ле Гуин «Порог» (Библиотека «ИЛ», 1989), «Волшебник Земноморья» (трилогия), «Левая рука Тьмы», «Техану», рассказы Монтегю Джеймса, А. К. Армы и др.

КИСЕЛЕВ ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ (род. в 1955 г.) — переводчик с итальянского. В его переводе напечатаны новеллы Т. Ландольфи (Библиотека «ИЛ», 1987), книга эссе и рассказов А. Савинио (Библиотека «ИЛ», 1990), роман Итало Кальвино «Если однажды зимней ночью путник» («ИЛ», 1994, № 4), «Четыре преамбулы» М. Бонтемпелли и др. Составитель сборника «Итальянская новелла XX века» на итальянском языке, 1988. Автор учебных пособий.

ПАНИНА НОННА ЮРЬЕВНА — переводчик с французского, критик. В ее переводах издавались мемуары Сары Бернар «Моя двойная жизнь», роман А. Давид-Ноэль «Магия любви и черная магия», стихи Э. Верхарна, Жака Бреля, Р. Мелика. В «ИЛ» напечатан роман Жана Жене «Дневник вора» (1993, № 1). Автор ряда статей по современной французской литературе.

■

ИЛ 1995

В фокусе нашего внимания по-прежнему будет находиться живой литературный процесс — самые яркие имена, самые заметные произведения. Мы предложим читателю романы, удостоенные престижных премий, попавшие в списки бестселлеров, вызвавшие повышенный интерес критики.

Где бы вы ни жили, подписавшись на «ИЛ», вы окажетесь в самом центре литературной жизни современного мира.

Стараясь сделать минимальным интервал между премьерой книги и ее появлением в русском переводе, редакция ведет переговоры о приобретении прав на публикацию целого ряда новых, но уже знаменитых романов и произведений документальной прозы. Среди наших авторов 1995 года — **Умберто Эко, Джулиан Барнс, Питер Устинов, Питер Акройд, Милош Форман, Милан Кундера, Федерико Феллини, Данило Киш, Чарльз Буковски, Гюнтер Грасс, Ханс Магнус Энценсбергер, Борис Виан, Альбер Камю** и многие другие.

Подписаться на журнал можно в любом отделении связи, а если у вас есть возможность получать номера в редакции, подписывайтесь прямо у нас — это гораздо дешевле.

Британская Энциклопедия

"БРИТАННИКА" - самая знаменитая и самая авторитетная энциклопедия в мире.
"БРИТАННИКА" - это мудрость веков и американская полиграфия 1994 года.

Что общего между Генри Фордом, Зигмундом Фрейдом, Бернардом Шоу и Львом Троцким?
Все они были авторами "БРИТАННИКИ".
Что общего между Елизаветой II, Милошем Форманом, Полом Маккартни и Маргарет Тэтчер?
Все они - владельцы комплекта "БРИТАННИКИ".
Что общего между историей Франции, правильным питанием, игрой на бирже и Ф. Дзержинским?
Обо всем этом Вы прочтете в "БРИТАННИКЕ".

"ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA"

это 33 роскошных тома с золотым обрезом и черным переплетом из натуральной кожи. 82 300 статей, 23 000 фотографий, двухтомный **"ИНДЕКС"** с 500 000 ссылками, бесплатный **"ЕЖЕГОДНИК"** с последней статистикой о 146 странах и обзором мировых событий за прошлый год, а также специализированные медицинские и научно-технические **"ЕЖЕГОДНИКИ"**.

Каждый покупатель получает официальное свидетельство и становится членом элитарного
"Клуба Владельцев Британники".
Для членов клуба комплект "ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA" обновляется ежегодно.

Другая продукция компании "ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA":

Полное издание словаря английского языка **WEBSTER'S** в 3 томах.
468 000 слов, 200 000 примеров словоупотребления, 3000 иллюстраций. В последенем томе - удобный англо-французско-немецко-итальянско-испанско-шведско-идиш словарь наиболее употребительных слов.
Крупноформатный Атлас мира **"BRITANNICA"**. Одно из самых знаменитых изданий в мире.
558 стр. Формат 286×381. Подробный индекс географических названий. Справочные таблицы. Специальная информация для путешественников. Красочное подарочное издание.
"GREAT BOOKS" - "Великие книги Западной цивилизации" в 60 томах. Единственное в мире издание подобного рода, включающее полные тексты 517 произведений 130 авторов, наиболее повлиявшие на развитие западной цивилизации. От Гомера до Орвелла, от Плутарха до Кейнса, от Архимеда до Макса Планка. Уникальный двухтомный индекс 3020 тем, обсуждаемых на каждой из 37 000 стр. этого издания, делает его естественным дополнением к "ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA".
Незаменимый справочник для всех, кто пишет по-русски и читает по-английски.
CD-ROM, содержащий двухтомный индекс "БРИТАННИКИ" и словарь WEBSTER'S.

"ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA" для детей:

"ОТКРЫТИЕ МИРА" - "Britannica Discovery Library" в 12 томах.
Красочная энциклопедия для малышей, начинающих учиться читать одновременно по-русски и по-английски.
"БРИТАННИКА" для детей младшего возраста. **"Young Children Britannica"** в 16 томах.
"ДЕТСКАЯ БРИТАННИКА" в 20 томах. **Простой английский язык, доступный школьнику. 6 770 страниц, 6000 иллюстраций. Дальние страны, великие люди, диковинные звери, персональные компьютеры... И еще 30 000 тем! В составе энциклопедии - аннотированный Атлас мира.**

Весь этот мир знаний впервые делает доступным фирма
"Мир Знаний",
эксклюзивный дистрибьютор компании
"ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA"
Телефон в Москве: (095) 161-07-75, 924-90-02
Факс: (095) 923-78-91
E.-mail: mir@znanija.msk.su

ИНДЕКС 70394
ISSN 0130—6545 «Иностранная литература», 1994, № 12, 1—256

Patriot